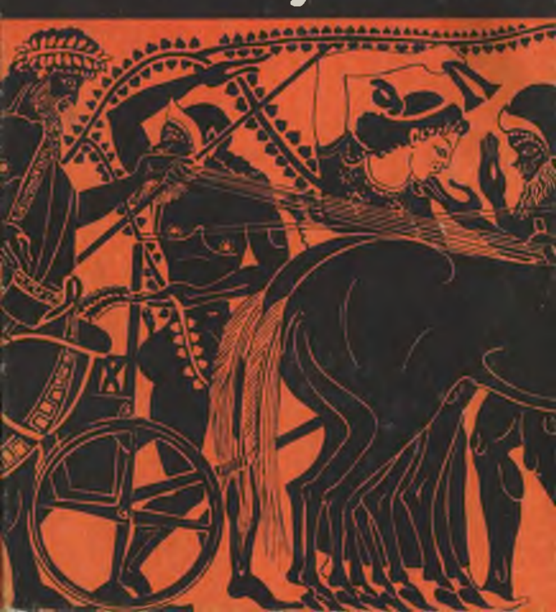
М.Л. ГАСПАРОВ

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГРЕЦИЯ



М.Л. ГАСПАРОВ

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГРЕЦИЯ



РАССКАЗЫ О ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Новое литературное обозрение
Москва

Гаспаров М.Л.

Занимательная Греция: Рассказы о древнегреческой культуре. – М.: Новое литературное обозрение, 1998. – 384 с.

«Занимательная Греция» – своеобразная энциклопедия древнегреческой культуры, которая была тем зерном, из которого выросла вся новоевропейская и русская культура. В шести частях книги (с IX по II вв. до н.э.) рассматриваются и политика, и быт, и военное искусство, и философия, и театр, и поэзия – все в неразрывной связи друг с другом и с эпохой. Стиль изложения продолжает традицию старинных книг о «достопамятных словах и поступках великих людей.

ISBN 5-86793-047-5

От сочинителя

Если вы, молодой читатель, перелистаете эту книгу, посмотрите картинки, заглянете в оглавление, прочитаете по нескольку страниц там и тут, — то первым вопросом, который вы зададите, будет, наверное, такой:

«А это правда так и было?»

Я отвечу: и да, и нет.

Правда то, что были славные победы греков над персами, а потом сказочно быстрое завоевание Востока Александром Македонским. Правда то, что спартанцы были непобедимыми воинами, а афиняне лучше других строили мраморные храмы и сочиняли трагедии для театра. Правда то, что в греческом языке впервые появилось слово «философия» и что в Александрийской библиотеке занимались почти всеми теми же науками, какими занимаемся и мы.

Но что вокруг этих событий было столько кстати сбывавшихся предсказаний оракулов; что все герои были героями без страха и упрека, а злодеи — злодеями до глубины своей черной души; что все речи, которые при этом говорились, были такими умными, краткими и складными; что все диковинки земной природы и людских обычаев, о которых слышали древние греки, были и вправду таковы, — за это, конечно, поручиться нельзя. Здесь много выдумки.

Чья же это выдумка?

Выдумал это сам греческий народ. Так ведь бывает всегда: когда случится какое-нибудь интересное событие, вести о нем передаются из уст в уста, обрастая новыми и новыми живописными подробностями, и под конец факты так тесно сплетаются с легендами, что ученому историку приходится много трудиться, чтобы отделить одно от другого.

Как историки восстанавливают действительный облик событий по противоречивым рассказам о них, — об этом можно было бы написать очень интересно, но это уже была бы совсем другая книга. Наша же книга — о том, каким запомнили свое прошлое сами древние греки. Можно ли су-

дить о человеке по тому, что он сам о себе рассказывает? Можно: даже когда он присочиняет, мы видим, каков он есть и каким ему бы хотелось быть. Вот так же можно судить и о целой древней культуре по ее рассказам о себе.

Все, что для нас сейчас само собой разумеется, когда-то было открыто впервые. И то, что надо слушаться закона; и то, что параллельные прямые нигде не пересекаются; и то, что биение пульса в человеке — от сердца; и то, что мысль о вещи может больше о ней сказать, чем взгляд на эту вещь; и то, что интересные истории можно разыгрывать в лицах и тогда это называется драма. Такие открытия порознь делались и в Вавилоне, и в Индии, и в Китае, и в Греции. Но наша собственная цивилизация, новоевропейская, развивалась главным образом на основе древнегреческой (и сменившей ее древнеримской). Поэтому древнегреческие открытия ближе нам, чем какие-нибудь иные.

Из столетия в столетие в учебниках математики переписывались почти те же определения, какие были когда-то даны Евклидом; а поэты и художники упоминали и изображали Зевса и Аполлона, Геракла и Ахилла, Гомера и Анакреонта, Перикла и Александра Македонского, твердо зная, что читатель и зритель сразу узнает эти образы. Поэтому лучше узнать древнегреческую культуру — это значит лучше понять и Шекспира, и Рафаэля, и Пушкина. И в конечном счете — самих себя. Потому что нельзя ответить на вопрос: «кто мы такие?», не ответив на вопрос: «откуда мы такие взялись?»

Впрочем, это я забегаю вперед. Потому что «познай самого себя» — это тоже один из заветов древнегреческой цивилизации, и вы еще не раз с ним встретитесь в этой книге. Желаю вам успеха!

Часть первая

ГРЕЦИЯ СТАНОВИТСЯ ГРЕЦИЕЙ, или До закона было предание

Есть племя людей,
Есть племя богов,
Дыхание в нас — от единой матери,
Но сила нам отпущена разная:
Человек — ничто,
А медное небо — незыблемая обитель
Во веки веков.
Но нечто есть,
Возносящее и нас до небожителей, —
Будь то мощный дух,
Будь то сила естества, —
Хоть и неведомо нам, до какой межи
Начертан путь наш дневной и ночной
Роком.

Пиндар



ВНАЧАЛЕ БЫЛА СКАЗКА

Историческая наука начинается с хронологии. Это, может быть, самая скучная часть истории, но и самая необходимая. Если не знать, что было в прошлом раньше и что потом, то все остальные знания теряют всякий смысл.

Греки это понимали и заучивали хронологию старательно. На острове Паросе старание дошло до того, что большая хронологическая таблица по греческой истории была вырезана на мраморе и выставлена на площади, чтобы прохожие смотрели и просвещались. Таблица эта сохранилась. Но выглядит она, на современный взгляд, немного странно. Вот ее начало с небольшими сокращениями.

.....οΥ...............ΝΓΑΝ...ΩΝ............ΝΩΝΑΝΕΓΡΑΨΑΤο
.....ΑΡΕΑΜ...οΣΑΓοΚΕΚΡοΓοΣΤοΥΓΡΩΤοΥΒΑΣΙΛΕΥΣΑΝΤοΣΑΘΗ
...ΥΑΝΑΚΤοΣΑΘΗΝΗΣΙΝΔΕΔΙοΓΝΗΤοΥ ΑΦοΥΚΕΚΡοΨΑΘΗΝΩ
ΜΕΝΗΑΚΤΙΚΗΑΓοΑΚΤΑΙοΥΤοΥΑΥΤοΧΘοΝοΣΕΤΗΧΗΗΗΔΓΙΙΙΑΦοΥΔ
..ΝΤοΣΑΘΗΝΩΝΚΕΚΡοΓοΣΕΤΗΧΗΗΗΔΑΦοΥΔΙΚΗΑΘΗΝΗΣΙ...ΝΕΤ

Год 1582 до н. э. Царь Кекроп воцаряется в Афинах.
Год 1529. Всемирный потоп, из которого спаслись Девкалион и Пирра.
Год 1519. Царь Кадм, основатель Кадмеи, пришел в Фивы из Финикии и научил греков письменности.
Год 1432. Царь Минос, сын Зевса, воцарился на Крите, а фригийские карлики научили греков ковать железо.
Год 1409. Богиня Деметра пришла в Афины и научила греков земледелию.
Год 1300. Геракл, очистив Авгиевы конюшни и победив царя Авгия, учредил Олимпийские игры.
Год 1260. Тесей, убив Минотавра, освободил Афины от дани, дал им законы и учредил Истмийские игры.

Год 1251. Поход Семерых против Фив, и тогда же учреждены Немейские игры.
Год 1208. 5 июня. Взятие Трои после десятилетней Троянской войны.
Год 1202. Орест, сын Агамемнона, мстя за отца, убивает свою мать, но оправдан судом Ареопага.
Год 1128. Переселение дорян во главе с царями Гераклидами в Пелопоннес.
Год 1085. Гибель Кодра, афинского царя, в войне с дорянами. Конец царской власти в Афинах.
Год 937. Расцвет поэта Гесиода.
Год 907. Расцвет поэта Гомера.
Год 895. Аргосский царь Фидон ввел в употребление точные меры, весы и деньги...

Вы скажете: «Разве это история? Это сказка! Это все равно что составлять таблицу по хронологии Киевской Руси и включать в нее даты: тогда-то Илья Муромец убил Соловья-разбойника, а тогда-то Руслан — Черномора».

Грек, услышав такие слова, обиделся бы. Может быть, он сам из знатного рода, который возводит свое происхождение к одному из мифологических героев, упомянутых здесь. Спартанский царь Леонид, герой Фермопил, считал себя прапра- (повторите это «пра» 20 раз!) -правнуком Геракла. Сроком жизни человеческой греки считали 70 лет, лучший срок для рождения сына – середина жизни, 35 лет. Леонид погиб в 480 г. до н. э. Отсчитайте от этой даты 23 раза по 35 лет (жизнь Леонида и 22 поколений его предков) и вы окажетесь в 1285 г. до н. э., как раз в том времени, в которое Паросская таблица поселяет Геракла. Как же не верить такой хронологии?

И не только тщеславные цари, но и более серьезные люди часто возводили свой род к героям и богам. Гиппократ был великим ученым, отцом греческой медицины; мы с ним еще встретимся в этой книге. Он был из рода потомственных врачей, Асклепиадов, а род этот начало вел от Асклепия, бога врачевания, сына Аполлона; Гиппократ был потомком бога в 18-м поколении. Если сделать расчет лет, то получится: бог жил незадолго до Троянской войны. И правда: в «Илиаде» написано, что сын бога Асклепия, Махаон, был, так сказать, главным врачом греческого войска под Троей. (Знаете большую яркую бабочку-махаона? Так вот, она названа в честь этого самого врача-полубога, а почему — я не знаю.)

Поэтому не будем смеяться заранее. Для грека хронология мифов была делом важным. Ею занимались большие ученые. Эратосфен, великий математик, впервые рассчитавший размер земного шара (как он это сделал, мы узнаем в последней части этой книги), столь же усердно рассчитывал и дату падения Трои. Кстати, она у него получилась другая, чем на Паросской таблице: 1183 год. Но это уже мелочи.

И еще два слова. Я сказал, что начало Паросской таблицы я переписал с небольшими сокращениями. Но я сделал в ней еще одно изменение — очень простое и очень бросающееся в глаза. Какое? Попробуйте догадаться. Кто не догадается, для тех я скажу об этом на 34-й странице.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ДОРЯН

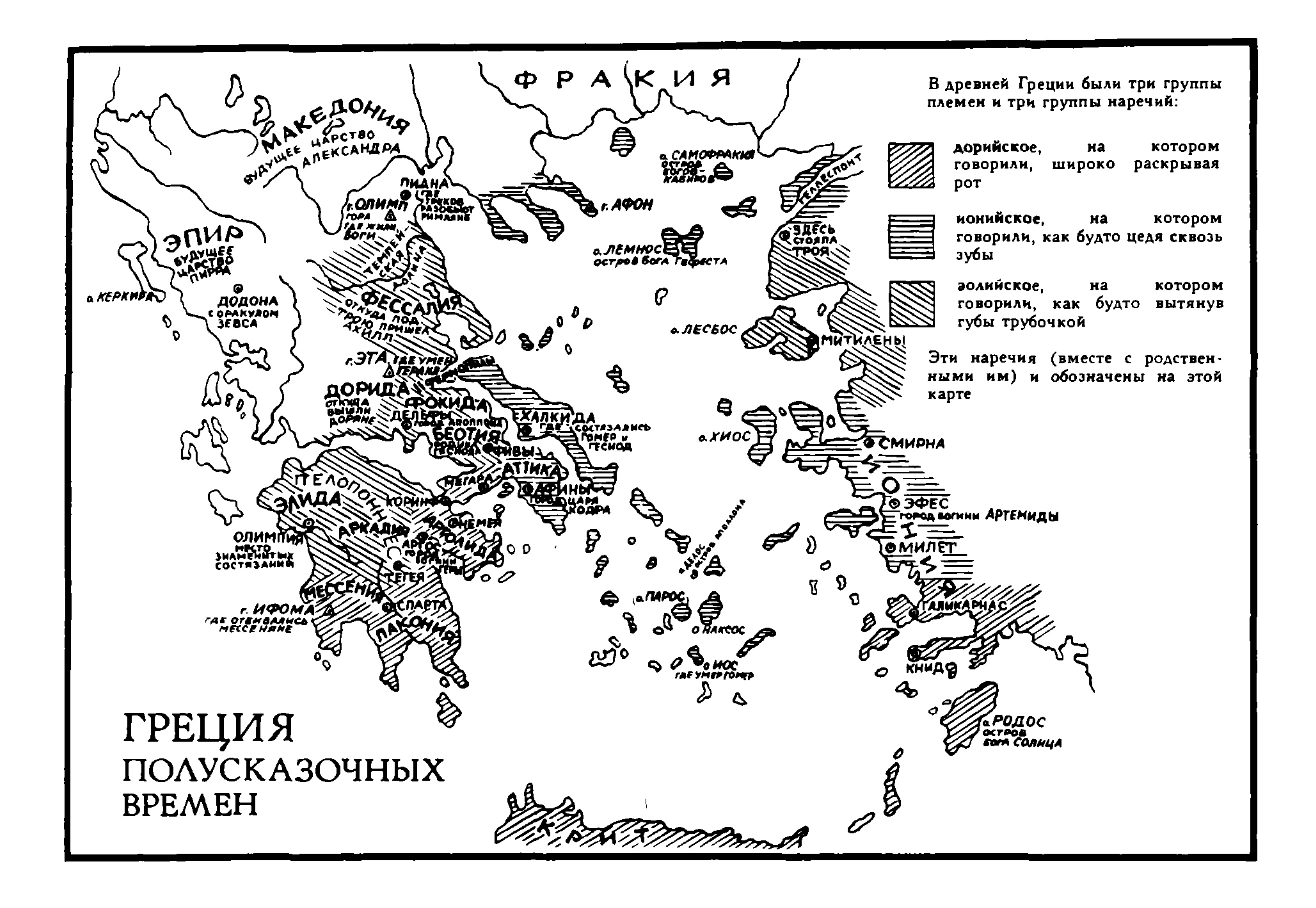
Если вы пересмотрите Паросскую хронологическую таблицу и попробуете угадать в ней то место, где кончается мифология и начинается история, то, скорее всего, это будет загадочная строчка: «Год 1128. Переселение дорян во главе с царями Гераклидами в Пелопоннес». Загадочная — потому что если кто из вас и помнит, кто такие Гераклиды, то вряд ли представляет, что это было за переселение.

А переселение было: это и вправду не только мифология, но и уже история. Греки — не исконные жители Греции, они — пришельцы. Они пришли сюда с севера, из-за Балкан; где и с кем они жили раньше — об этом ученые спорят до сих пор. Сами греки этого не помнили. Но они хорошо помнили другое — что переселялись они сюда двумя волнами. Первыми переселились ахейские племена; это об их царствах и княжествах сохранилась память в мифах. Вторыми переселились дорийские племена; и об этом переселении был сложен, можно сказать, последний греческий миф, а потом началась история.

Миф был вот какой.

Самым славным греческим героем был Геракл. Он был потомком аргосских царей. Но сам он не был царем: всю жизнь он прожил бездомным тружеником на чужих службах. Умирая, он приказал сжечь себя на костре на вершине горы Эты. От этого костра у подножья Эты забили горячие источники: по этим источникам соседний горный проход стал называться «Горячие ворота» — Фермопилы.

Рядом с горой Этой лежит крошечная горная область — Дорида. Здесь нашли приют сыновья Геракла; старшим и главным из них был Гилл. Им было тесно в маленькой



ГРЕЦИЯ
ПОЛУСКАЗОЧНЫХ
ВРЕМЕН
В древней Греции были три группы племен и три группы наречий:
дорийское, на котором говорили, широко раскрывая рот
ионийское, на котором говорили, как будто цедя сквозь зубы
эолийское, на котором говорили, как будто вытянув губы трубочкой
Эти наречия (вместе с родственными им) и обозначены на этой карте
ФРАКИЯ
МАКЕДОНИЯ
БУДУЩЕЕ ЦАРСТВО АЛЕКСАНДРА
ЭПИР
БУДУЩЕЕ ЦАРСТВО ПИРРА
ДОДОНА С ОРАКУЛОМ ЗЕВСА
о. КЕРКИРА
ПИДНА
г. ОЛИМП
ГОРА ГДЕ ЖИЛИ БОГИ
ФЕССАЛИЯ
ОТКУДА ПОД ТРОЮ ПРИШЕЛ АХИЛЛ
г. ЭТА
ДОРИДА
ФОКИДА
ДЕЛЬФЫ
БЕОТИЯ
ФИВЫ
ХАЛКИДА
АТТИКА
МЕГАРА
АФИНЫ
ПЕЛОПОННЕС
ЭЛИДА
КОРИНФ
НЕМЕЯ
АРКАДИЯ
АРГОЛИДА
АРГОС
ОЛИМПИЯ
МЕСТО ЗНАМЕНИТЫХ СОСТЯЗАНИЙ
ТЕГЕЯ
МЕССЕНИЯ
СПАРТА
г. ИФОМА
ЛАКОНИЯ
КРИТ
о. САМОФРАКИЯ
г. АФОН
ГЕЛЛЕСПОНТ
о. ЛЕМНОС
ОСТРОВ БОГА ГЕФЕСТА
ЗДЕСЬ СТОЯЛА ТРОЯ
о. ЛЕСБОС
МИТИЛЕНЫ
о. ХИОС
СМИРНА
ЭФЕС
ГОРОД БОГИНИ АРТЕМИДЫ
МИЛЕТ
ГАЛИКАРНАС
КНИД
о. РОДОС
ОСТРОВ БОГА СОЛНЦА
о. ПАРОС
о. НАКСОС
о. ИОС
ГДЕ УМЕР ГОМЕР

Дориде. Они собрали дружину из храбрых дорийских горцев и решили идти на Пелопоннес — добывать аргосское царство своих предков.

Перед походом, как водится, обратились к оракулу. (Оракул — это не человек, а святилище, где жрецы давали предсказания от имени бога; как это было устроено, мы расскажем дальше.) Получили ответ: «Ждите третьих плодов и ступайте через теснину». Гилл рассудил, что «третьи плоды» — это третий урожай, третье лето; он выждал два года, а на третий год повел своих дорян через «теснину» Коринфского перешейка. Навстречу им вышли местные ахейцы. Договорились решить спор единоборством вождей. Вожди сошлись — и Гилл пал. Дорянам пришлось ни с чем воротиться в Дориду.

Вновь обратились к оракулу: «Почему ты нас обманул?» Оракул ответил: «Вы сами не захотели правильно понять вещание. Плоды — не земные, а людские; теснина — не суша, а море». Гераклиды поняли: победа достанется не им, а только третьему поколению после них, и идти к ней нужно не по узкому Коринфскому перешейку, а вплавь через узкий Коринфский залив.

Пока сменились три поколения, прошло сто лет. Гераклиды терпеливо ждали своего срока. Наконец за сыновьями и внуками выросли правнуки: три брата — Аристодем, Темен и Кресфонт. Собрали войско, построили корабли для переправы. Вновь спросили прорицания у оракула: «Что нам сделать, чтобы победить?» Ответ звучал таинственно: «Возьмите трехглазого проводника». Братья задумались. Вдруг на дороге показался всадник на коне, слепом на один глаз. Это был этолийский князь Оксил: он убил родственника, десять лет бедовал в изгнании и теперь возвращался на родину. Его стали уговаривать примкнуть к походу. Он легко согласился, но сразу выговорил себе награду: один из лучших кусков Пелопоннеса — Элиду.

С трехглазым проводником трое братьев переправились в Пелопоннес, одержали долгожданную победу над ахейцами и стали делить завоеванные места. Середина Пелопоннеса — это дикое лесистое нагорье, но по сторонам его лежат четыре плодородные долины: на востоке — Аргос, на западе — Элида, на юге — Лакония и лучшая из всех — Мессения. Элиду отдали Оксилу, а о трех других областях три брата бросили жребий. В горшок с водой каждый опустил по камню: чей вынется первым, тот будет владеть Аргосом, чей вторым — Лаконией, чей третьим — Мессенией. Аристодем и Темен опустили свои жребии честно, а Кресфонт схитрил. Ему хотелось получить урожайную Мессению, и

он бросил в воду вместо камня ком земли, который разошелся в воде. Аргос достался Темену, Лакония — Аристодему, Мессения осталась на долю лукавого Кресфонта.

Совершив дележ, братья на трех алтарях принесли жертвы Зевсу. А наутро на их алтарях оказалось по неожиданному животному: на аргосском — жаба, на лаконском — змея, на мессенском — лиса. Гадатели, посовещавшись, объяснили: жаба — животное малоповоротливое, так что аргосским дорянам лучше не ходить на войну; змея — грозное, так что лаконским дорянам будет сопутствовать победа; а лиса — хитрое, в чем каждый мог и сможет убедиться. Братья переглянулись, поняли хитрость Кресфонта и затаили злую память на мессенских дорян.

ЦАРЬ КОДР

Когда доряне заняли Пелопоннес, то пелопоннесские ахейцы или подчинились им, или ушли в глухие горные местности. А самые знатные и гордые роды стали покидать страну и переселяться на север: в Беотию, где жило третье большое греческое племя — эоляне, и в Аттику, где жило четвертое племя — ионяне.

Их принимали гостеприимно, особенно в Аттике. Здесь как раз в это время умер последний царь из рода славного Тесея, победителя Минотавра. Старейшины посовещались и выбрали новым царем пришельца — ахейца из царского рода по имени Кодр.

Пелопоннесским дорянам было обидно видеть, что беглец из-под их власти стал царем на чужой стороне. Они пошли на Аттику войной и осадили Афины. Осада оказалась делом трудным, решили послать к оракулу и спросить: «Возьмем ли мы Афины?» Оракул ответил: «Возьмете, если не тронете царя». Доряне объявили по всему войску строгий приказ: никому не трогать царя Кодра ни под каким видом — и продолжали осаду.

В Афинах тоже узнали об ответе оракула. И царь Кодр решил спасти город ценой своей жизни.

Он оделся в рваное мужицкое платье, взвалил на плечи мешок, взял кривой серп для обрезания веток, вышел за ворота и стал собирать хворост. Его схватили и поволокли в дорийский лагерь. Он стал отбиваться, взмахнул серпом и ранил какого-то воина. Это разъярило дорян, его убили, а труп бросили в поле.

Афинские старейшины выслали в дорийский стан посольство: «По священным обычаям предков верните нам

для погребения тело нашего царя!» — «Мы не трогали вашего царя!» — ответили им. «Вот он!» — показали афиняне на мертвое тело в лохмотьях и с вязанкой хвороста за плечами. Доряне вгляделись и поняли: предостережение оракула они не соблюли. Они отдали убитого Кодра, сняли осаду и ушли из Аттики ни с чем.

Кодра похоронили как героя, у ворот спасенных им Афин. Над его могилой насыпали высокий курган и засеяли его пшеницею — в знак, что он отдал жизнь за счастье и процветание приемного отечества.

А старейшины, поразмыслив, постановили: после Кодра никто в Афинах не достоин носить имя «царь» — отныне глава государства будет выборным и будет называться просто правителем, по-гречески — архонтом.

Первые архонты в Афинах выбирались пожизненно и только из числа потомков Кодра; потом только на десять лет; потом только на один год — и уже из любых знатных семейств. Первые архонты управляли единовластно; потом в помощь такому архонту стали выбираться еще три, поделивших между собой три главные царские заботы, — архонт-жрец, архонт-воевода и архонт-судья; потом одного архонта-судьи стало мало, и начали выбирать целых шесть. Так составилась коллегия девяти архонтов, управлявших Афинами в течение года; а отслужив свой срок, они становились членами совета старейшин, заседавшего на холме бога Ареса — Ареопаге.

Так в Афинах власть царя сменилась властью знати — монархия сменилась аристократией.

ГОМЕР РАССТАЕТСЯ СО СКАЗКОЙ

Семь спорят городов о дедушке Гомере —
В них милостыню он просил у каждой двери.
(Английская эпиграмма)

После переселения дорян в Греции сразу стало тесно. Нужно было искать новые земли. Люди стали собираться отрядами, садились на корабли и отправлялись за море основывать новые греческие поселения на иноземных, «варварских» берегах.

Первое направление этой колонизации напрашивалось само собой: через Эгейское море, на противоположный малоазиатский берег. Все четыре греческих племени зашевелились и тронулись с места. С острова на остров, как с камня на камень, они перешли Эгейское море. Эоляне заняли

север малоазиатского побережья с островом Лесбос, доряне — юг с островом Родос, ионяне — середину с островами Хиос и Самос и с новооснованными городами Смирной, Эфесом, Милетом. Ахейцы же обратились в другую сторону и направили первые корабли в бурное западное море, к берегам Италии и Сицилии.

Новые места всколыхнули старые воспоминания. Поселенцы малоазиатских берегов вспоминали, как невдалеке от этих мест их давние предки бились под Троей; разведчики западных морей вспоминали, как в этих же краях скитался по дороге на родину Одиссей. И когда знатные люди новых городов сходились на пиры и развлекались песнями, они все чаще требовали, чтобы им пели про Троянскую войну и про странствия Одиссея.

Пели эти песни сказители — аэды. Они передавали их из рода в род, изменяли или дополняли древние песни, слагали по их образцу новые. Поколения аэдов выработали для песен мерный длинный стих — гекзаметр, поэтический язык, богатый старинными словами и оборотами, набор готовых выражений для описания часто повторяющихся действий. Такие песни были очень похожи на наши былины. И длиной они были как былины: на час пения или около того, чтобы слушатели не заскучали. Если нужно, певец всегда мог и сжать и растянуть свой рассказ — например добавить подробностей, как герой, вооружаясь к бою, надевает сперва поножи, потом панцирь, потом шлем, берет меч, потом щит, потом копье, и какой мастер изготовил этот щит, и от какого предка достался ему этот меч.

Таким аэдом, бродячим слепым сказителем, был и Гомер — тот, кто впервые создал вместо коротких песен две большие поэмы-эпопеи: «Илиаду» о Троянской войне и «Одиссею» о возвратных странствиях героя. О самом Гомере никто не помнил ничего достоверного — даже места его рождения:

Семь городов соревнуют за мудрого корень Гомера:
Смирна, Хиос, Колофон, Саламин, Пилос, Аргос, Афины.

Эти семь спорили всего упорней; но и другие города считали себя родиной Гомера — даже Вавилон и Рим. Соглашались лишь в том, что жил он бродячим бедняком, зарабатывая на жизнь пением песен. Например, таких:

Если вы денег дадите, спою, гончары, я вам песню:
«Внемли молитвам, Афина! десницею печь охраняя,
Дай, чтобы вышли на славу горшки, и бутылки, и миски,
Чтоб обожглись хорошенько и прибыли дали довольно,
Чтоб продавалися бойко на рынке, на улицах бойко,

Чтобы от прибыли жирной за песню и нас наградили».
Если ж, бесстыжее племя, певца вы обманете дерзко,
Тотчас же всех созову я недругов печи гончарной:
«Эй, Разбивака, Трескун, Горшколом, Сыроглинник коварный,
Эй, Нетушим, на проделки во вред ремеслу тороватый,
Бей и жаровню и дом, вверх дном опрокидывай печку,
Все разноси; гончары же пусть криком избу оглашают...
Пусть они с жалобным стоном на лютое бедствие смотрят!»
Буду, смеясь, любоваться на жалкую долю злодеев.
Если спасать кто захочет, тому пусть голову пламя
Всю обожжет, и послужит другим его участь наукой.

«Илиада» и «Одиссея» — очень длинные поэмы, по триста с лишним страниц. Переход от сочинения небольших былин к сочинению длинных связных эпопей — дело сложное. Тут было два пути. Один более легкий: можно было нанизать эпизоды подряд, слаживая конец одного с началом другого, от самого похищения Елены и до возвращения всех героев. Другой более трудный: можно было взять какой-нибудь один эпизод и, расширяя его подробностями, вместить в него все, что было поэтически интересного во всей Троянской войне.

Гомер пошел по трудному пути. Он выбрал для каждой поэмы только по одному эпизоду из десятилетней войны и десятилетних странствий. Для «Илиады» это гнев Ахилла на Агамемнона и его жестокие последствия: гибель Патрокла и месть Ахилла Гектору. Для «Одиссеи» это последние два перехода в плаваньи героя: от острова Калипсо до острова феаков и от острова феаков до родной Итаки, а там — встреча с сыном, расправа с женихами Пенелопы и примирение. Все предшествующие эпизоды скитаний Одиссея вмещены в его рассказ о себе на пиру у феаков; все остальные эпизоды Троянской войны вмещены в попутные упоминания в речах действующих лиц. А за всем этим — то в ходе рассказа, то в пространном описании, то в беглом сравнении — проходит целая энциклопедия картин народной жизни — труд пахаря и кузнеца, народное собрание и суд, дом и сражение, оружие и утварь, состязания атлетов и детские игры. Нынешнему читателю они могут показаться длиннотами, отвлекающими от действия, но современники Гомера ими наслаждались.

Это не случайно. Это значит, что современники Гомера почувствовали: между ними и мифическими временами легла непереходимая грань. По эту сторону — будни, труды, гнет, бедность, засилье гордой и жестокой знати; по ту сторону — подвиги, величие, богатство, блеск, каждый доблестен, могуч и благороден, и всякую подробность хочется бережно сохранить в памяти и подолгу ею любоваться. Поэто-

му поэмы Гомера так длинны, и поэтому они так подробны. В них Греция, вступая на порог истории, прощается с царством сказки.

ПРОЩАНИЕ ГЕКТОРА С АНДРОМАХОЙ

Вот один из самых знаменитых эпизодов «Илиады». Идет первый большой бой, описанный в поэме. Ахилл уже поссорился с Агамемноном и уже отстранился от битв, но греки еще сильны и теснят троянцев. Тогда троянский вождь Гектор покидает поле сражения и идет в Трою: пусть троянские женщины помолятся враждебной Афине — может быть, она смилостивится и пощадит троянцев. Отдав распоряжения, он хочет увидеть свою жену Андромаху и своего младенца-сына Астианакта («Градовластителя»): вдруг он погибнет в бою и больше их не увидит? И он встречает их у самых ворот, ведущих к полю боя. В общем ходе событий «Илиады» это пауза, передышка, обо всем этом можно было бы и совсем не рассказывать, но Гомер вмещает сюда и трагический контраст грозной военной и мирной семейной жизни, и — в словах Андромахи — эпизод из начальных лет Троянской войны, и — в предвиденье Гектора — грядущий исход войны, и долг тех, кто со щитом, и долю тех, кто за щитом.

Гектор, пройдя через город широкий, ворот достигает
Скейских — как раз через них и выход был на равнину, —
Вдруг домовитая тут ему повстречалась супруга,
Дочь Этиона великодушного, Андромаха.
Жил Этион отец у подножья лесистого Плака
В Фивах нижнеплакийских и киликийцами правил;
Дочь же его за меднодоспешного Гектора вышла.
Там она встретилась с мужем; за нею почтенная няня,
Нежно прижавши к груди младенца, несла малютку,
Сына Гектора милого, — был, как звезда, он прекрасен,
Гектор Скамандрием звал его, прочие ж в городе люди
Астианактом за то, что оплотом для Трои был Гектор.
Как поглядел на ребенка, невольно отец улыбнулся.
Рядом жена Андромаха стояла и плакала горько.
За руку мужа взяла она и так говорила:
— Ты, удивительный, сам себя губишь своею отвагой.
Видно, не жалко ни сына тебе, ни меня, горемычной,
Что вдовою скоро останусь: ведь скоро ахейцы,
Ринувшись все на тебя, умертвят, — а мне так отрадней
Было бы в землю сойти, чем мужа лишиться. Какое
В жизни мне будет тепло, когда тебя гибель постигнет?
Скорби одни! Ведь нет у меня ни отца, ни родимой:
Ах, убил отца моего Ахилл боговидный,
Да и город родной киликийцев сровнял он с землею —
Фивы высоковоротные. Но Этионово тело,

Даже убитого, не обнажил, сохраняя почтенье.
Сжег его он по чину с доспехами бранными вместе
И могильник насыпал. Вокруг же вязы взрастили
Горные нимфы, Зевеса эгидоносного девы.
Гектор, ты мне отец, и мать для меня ты, Гектор,
Ты один мне брат, и ты мне супруг цветущий,
Сжалься теперь надо мной, останься с нами на башне,
Войско ж поставь у дикой смоковницы: там всего меньше
Город наш защищен и доступней для приступа стены.
Ей отвечает сверкающий шлемом Гектор великий:
— Все, что ты здесь говоришь, и меня беспокоит, но стыдно
Мне пред троянцами и троянками в длинных одеждах,
Если буду, как трус дрянной, уклоняться от битвы.
Сам я знаю отлично, поверь и сердцем и духом:
Будет некогда день — и священная Троя погибнет,
С нею погибнет Приам и народ копьеносца Приама!
Но не о гибели стольких троянцев теперь сокрушаюсь,
Не о братьях отважных моих, которые скоро
В прах полягут, убиты рукою врагов разъяренных, —
Лишь о тебе я горюю! Ахеец в панцире медном
Всю в слезах тебя уведет далеко в неволю:
В Аргосе будешь ты ткать полотно чужеземной хозяйке,
Воду будешь носить с Мисеидских ключей и Гиперских,
Сердце скрепя, подчиняясь невольно безрадостной доле.
Кто-нибудь, видя, как слезы ты проливаешь, промолвит:
«Гектора это жена, был в сраженьях воителем первым
Он среди войска троянцев, когда Илион разрушали».
Скажет так кто-нибудь, и сильней защемит на сердце:
Нет человека, который тебя от неволи б избавил.
Пусть же я умру и сыпучим песком закроюсь
Раньше, чем плен твой увижу и жалобный плач твой услышу! —
Так говоря, наклонился к ребенку блистательный Гектор,
Но младенец на грудь своей няни в одежде прекрасной
С криком отпрянул назад, испугавшись отцовского вида:
Меди он забоялся, султана из конской гривы,
Видя, как она свесилась с самой верхушки каски.
Милый отец и добрая мать рассмеялись на это.
Гектор блистательный шлем с головы своей быстро снимает,
Ставит на землю проворно сияньем блестящую каску,
Сам же сына целует и, на руки взявши, высоко
Вверх поднимает, Зевсу молясь и прочим бессмертным:
— Зевс и вечные боги! взгляните на сына-младенца!
Вырастет пусть он, как я, выдающимся между троянцев.
Силы пошлите ему, добродетель, — да царствует мощно,
Чтобы могли сказать про него: «Отца превзошел он!» —
Глядя, как с битвы идет, возвращаясь с кровавой добычей,
Снятой с убитых врагов, материнское радуя сердце. —
Сына с рук на руки передает он милой супруге.
Крепче она прижала дитя к груди благовонной
И улыбнулась сквозь слезы. Взглянул супруг, умилился,
Ласково обнял ее и так говорит напоследок:
— Бедная ты! не кручинь обо мне свою душу сверх меры.
Если судьба мне живым быть, никто на тот свет не отправит,
А судьбы своей ни один не избегнет из смертных,

Ни дурной, ни хороший, с первой минуты рожденья.
Ты же домой отправляйся, займись своими делами,
Сядь за станок иль за прялку да наблюдай, чтоб без дела
Девушки не болтались. Война — занятье мужское:
Мне из мужчин илионских оно особенно близко.
  Так сказав, поднимает свой шлем блистательный Гектор
С конской гривой. Супруга ж домой пошла восвояси,
Но, не раз обернувшись, глазами его провожала...

СПАРТА, СЛАВНАЯ МУЖАМИ

Из трех государств, основанных дорянами в Пелопоннесе, самым сильным оказалось одно — лаконская Спарта. Его сила была в его организации. Это было государство, устроенное как военный лагерь.

В Спарте было три сословия — три класса: спартанцы, периэки, илоты. Спартанцы были потомками завоевателей-дорян, периэки и илоты — завоеванных ахейцев. Спартанцы правили и воевали, периэки ковали оружие и платили подать, илоты пахали и собирали жатву. Спартанцев было девять тысяч семейств: вся земля Лаконии была разделена для них на девять тысяч равных наделов — ведь на войне все равны. Илотов, государственных рабов, никто не считал, но их было вдесятеро больше. Спартанцев они ненавидели смертной ненавистью. Если бы спартанцы хоть на день забыли, что они на войне, Спарта была бы стерта с лица земли. Спартанцы этого не забывали. Они ели и спали с копьем с руке. Все статуи богов в Спарте были с копьями в руке — даже статуя Афродиты.

На войне люди живут только войною. Спартанцам было запрещено заниматься чем бы то ни было, кроме военного дела. Труд — дело периэков и илотов. Однажды Спарта созывала союзников для похода. Союзники роптали, что Спарта берет с них больше воинов, чем дает сама. «Это не так», — сказал спартанский царь. Он посадил спартанское войско справа от себя, союзные — слева, потом приказал: «Медники, встаньте!» Среди союзников некоторые встали, среди спартанцев — никто. Горшечники, встаньте! Плотники, встаньте!» Под конец союзники стояли почти все, спартанцы сидели, как сидели. Вот видите, — сказал царь, — настоящих воинов выставляем мы одни».

На войне нет места богатству и наживе. Чтобы спартанцы не копили богатств, в Спарте деньгами служили железные прутья. Железные деньги громоздки: для небольшой покупки их надо везти целый воз. Железные деньги бесполезны: их нарочно закаливали в уксусе, чтобы железо ста-

ло хрупким и его нельзя было ни во что перековать. Спартанцы не копили денег.

Нет денег — нет роскоши. Крыша дома должна быть сделана только топором, дверь — только пилой. В богатом Коринфе спартанцы впервые увидели штучные потолки. Они спросили: «Неужели у вас растут квадратные деревья?»

Ничего лишнего в жилье — ничего лишнего в еде. Спартанцы обедали не дома, а в казармах: каждый отряд вместе. Главным кушаньем была черная кровяная похлебка из свинины с чечевицей, уксусом и солью. Она была невероятно питательна и невероятно противна на вкус. Спартанцы ею гордились. Персидский царь, когда был в Греции, заставил пленного спартанца сварить ему такую похлебку, попробовал и сказал: «Теперь я понимаю, почему спартанцы так храбро идут на смерть: им милее гибель, чем такая еда».

На войне и говорить полагалось по-военному: точно и кратко. Это умение называлось и до сих пор называется «лаконизм» — по имени области Лаконии. Кто отвлекался, того обрывали, даже если он говорил умные вещи: «Ты говоришь дело, но не к делу».

Самым знаменитым было лаконическое изречение спартанки, провожавшей сына на войну. Она подала ему щит и сказала: «С ним или на нем!» Со щитом возвращались победители, на щите приносили павших.

Спартанец пришел послом к македонскому царю. «Ты — один?» — удивился царь, привыкший к пышным и многолюдным посольствам. «К одному», — ответил спартанец.

Македонский царь послал сказать спартанцам: «Если я вступлю в Пелопоннес, Спарта будет уничтожена». Спартанцы ответили одним словом: «Если!»

В Спарту пришли послы с острова Самоса — просить помощи. Они произнесли длинную и красивую речь. Спартанцы сказали: «Дослушав до конца, мы забыли начало, а забыв начало, не поняли конца». Самосцы оказались догадливы. На следующий день они пришли в собрание с пустым мешком и сказали только четыре слова: «Мешок есть, муки нет». Спартанцы их пожурили — достаточно было двух слов: «муки нет», — но были довольны такой сообразительностью и обещали помочь.

На войне спартанец был в своей стихии. Он шел на бой, как на пир, разодевшись, намазав маслом и расчесав длинные волосы. (Полководцы говорили: «Заботьтесь о прическе: она делает красивых грозными, а некрасивых страшными».) Одевались в красное — чтобы было страшнее и чтобы

не видно было ран. Другие греки шли на бой под дикий рев труб, спартанцы — под мерный свист свирели: их боевой пыл приходилось не разжигать, а умерять.

Спартанцы первые научились биться строем, фалангой, а не каждый сам за себя: покинуть место в строю, чтобы броситься на врага или от врага, было одинаковым преступлением. Дисциплина была превыше всего. Спартанец Леоним в бою занес меч над врагом, но услышал отбой и отдернул меч: «Лучше оставить в живых врага, чем ослушаться команды». Мальчик Исад убежал на войну и храбро бился — ему дали венок за храбрость и высекли розгами за нарушение дисциплины.

Спартанцу предложили в подарок боевых петухов: «Они дерутся до смерти». Спартанец ответил: «Подари мне тех, которые дерутся до победы».

Хромой спартанец шел на войну. «Зачем ты идешь?» — «Я иду не бежать, а биться». Слепой спартанец шел на войну. «Зачем ты идешь?» — «Чтобы притупить собою меч врага». Старый спартанец шел на войну. «Зачем ты идешь?» — «Заслонить молодых».

«Мой клинок короток», — сказал спартанец. «Подступи к врагу на шаг ближе», — ответил ему начальник.

Перед сражением спартанцы приносили жертву не богам войны, а мирным Музам. «Почему?» — спрашивали их. «Потому что мы молимся не о победе, а о певцах, достойных этой победы». После сражения приносили в жертву богам петуха. «Почему?» — «Потому что в Спарте не хватило бы быков для наших побед».

СПАРТАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

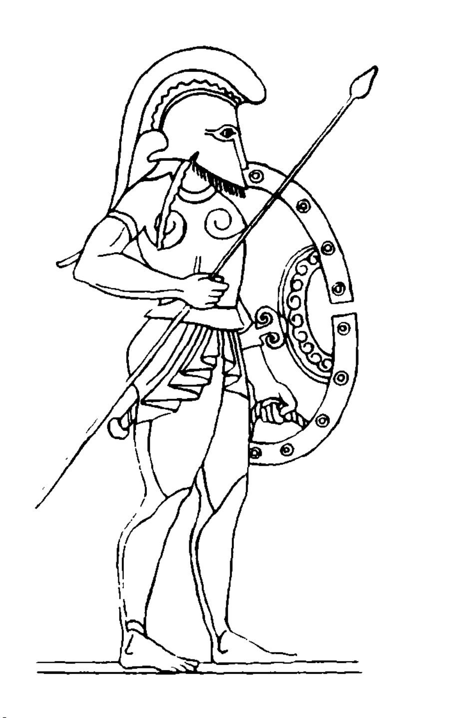
Афинянин спросил спартанца: «Какое в Спарте наказание за супружескую измену? — «Никакого», — ответил тот. Афинянин не отставал. Спартанец сказал: «Нужно принести в жертву такого быка, который, стоя на горе Тайгете, пьет воду из долины Еврота». — «Но разве бывают такие быки?» — «А разве бывают в Спарте супружеские измены?»

Женщины в воинском государстве были под стать мужьям: мужественные, сильные, закаленные. Они не жили затворницами, как в остальной Греции: с ними считались. «Только в Спарте мужья слушаются жен», — сказали спартанке. «Потому что только в Спарте жены рожают настоящих мужей», — ответила спартанка.

Спартанка послала в бой пятерых сыновей и ждала вес-

тей у ворот. Появился гонец. «Как дела?» — «Все пятеро убиты», — ответил гонец. «Я не о том спрашиваю: кто победил?» — «Мы». — «Тогда я счастлива, что они погибли», — сказала мать.

Новорожденного ребенка спартанец приносил в совет старейшин. Его осматривали. Если ребенок был хилым или больным, ребенка убивали: бросали в черную расщелину невдалеке от Спарты. В Спарте должны были расти только сильные и здоровые дети.





Греческие латники. Бронзовый панцирь скреплялся из двух половин, защищавших грудь и спину; снизу пристегивался кожаный или войлочный передник, часто с нашитыми металлическими полосами. На голове шлем с гребнем: у одного воина с забралом, у другого — с открытым лицом; на ногах у одного — поножи, подбитые кожей. Живот был прикрыт только щитом

В семь лет ребенок покидал дом и поселялся со сверстниками в казармах. Здесь учились жить по-спартански. Ели впроголодь, ходили круглый год в одном плаще, спали на жестком тростнике, нарванном голыми руками. Раз в го-

ду всех наперечет секли розгами на алтаре Артемиды, где когда-то приносили человеческие жертвы. Надо было вынести порку без единого стона. Некоторые умирали под розгами.

Чтобы уметь добывать пропитание на войне, подростки учились воровать. Кто приходил ни с чем, того били, кто был пойман с поличным, того тоже били. Один мальчик украл лисенка. К нему подошли, он спрятал лисенка под плащ. Лисенок вгрызся ему в живот. Мальчик стоял твердо и говорил спокойным голосом. Его не заподозрили. Лисенок прогрыз ему внутренности. Мальчик умер. О его поступке рассказывали детям, как о подвиге.

Учились прежде всего бою и борьбе. Борцов-учителей не было: спартанец должен побеждать не хитрыми приемами, а силой и храбростью. В олимпийских и других спортивных состязаниях спартанцам участвовать запрещалось: «Спарте нужны не атлеты, а воины».

Учились презирать и ненавидеть илотов. Чтобы молодежь не приучалась к вину, поили допьяна илота и водили мимо обеденных столов — один вид его вызывал отвращение. Чтобы молодежь приучалась к войне и в мирное время, устраивали тайные ночные походы на беззащитные селения илотов. Походы были настоящие, с кровопролитием: убивали тех, кого слишком ненавидели или боялись.

Учились почитать стариков. На Олимпийских играх один старик искал себе места среди зрителей. Он пробирался между скамьями, но места не было. Он дошел до скамей, где сидели спартанские юноши, — все как один вскочили перед ним, уступая место. Стадион разразился рукоплесканиями. Старик воскликнул: «Все греки знают, что такое хорошо, но только спартанцы умеют поступать хорошо». А кто-то сказал: «Только в Спарте стоит жить до старости».

Учились простоте и прямоте, учились не заниматься пустяками. Гость сказал спартанцу: «А я простою на одной ноге дольше тебя». Спартанец ответил: «А мой гусь — дольше тебя». Спартанцу предложили послушать певца, который поет, как соловей. «Я слышал самого соловья», — ответил спартанец.

Много лет спустя, когда Спарта уже слабела, македонский царь разбил спартанцев и потребовал от них заложников: пятьдесят мальчиков. Спартанцы ответили: «Возьми лучше взрослых: мы не хотим, чтобы мальчики вернулись к нам не по-спартански обученными».

СПАРТАНСКИЕ ЗАКОНЫ

В Спарте было два царя. Это было удобно: во время войны они могли воевать на два фронта, во время мира они не давали друг другу слишком усилиться и притеснять народ или знать.

Два царя выбирались из двух родов, происходивших от двух близнецов — Прокла и Еврипонта. Это были сыновья Аристодема, того самого, который по жребию Гераклидов получил Лаконию. Умирая, он не назначил преемника. Спросили оракул — оракул сказал: «Власть — обоим, честь — старшему». Но который старший? Близнецы были еще грудными младенцами. Спросили мать — она отказалась назвать старшего. Тогда догадались подсмотреть, не кормит ли она одного сына всегда раньше другого. Так и оказалось. Поэтому с тех пор Еврипонт и его потомки при равных правах всегда почитались больше, чем Прокл и его потомки.

При двух царях собирался совет старейшин: 28 человек, с царями — 30. Выборы в совет старейшин были особенные: по крику. Народ сходился на собрание перед запертым домом, кандидатов в совет старейшин выводили к народу по одному, и народ приветствовал каждого криком. В запертом доме сидело несколько человек с писчими табличками: они не видели, кого выводят, а только слышали крик. На табличках они отмечали, которому кричали громче. Кому кричали громче всех, тот и провозглашался избранным.

При совете старейшин каждый год выбирались пять «блюстителей» — эфоров. Они следили, чтобы народ исполнял законы, а цари не превышали власти. Раз в восемь лет, в безлунную ночь, эфоры садились рядом и молча смотрели в небо. Если в это время вспыхнет и скатится звезда, то эфоры объявляли, что цари правят незаконно. После этого отправляли послов в Дельфы и успокаивались лишь тогда, когда оракул заступался за царей.

Вступая в должность, эфоры издавали указ: «Брить усы и повиноваться законам». Это делалось для того, чтобы спартанцы одинаково слушались властей и в малом деле, и в большом.

При старейшинах и эфорах собиралось народное собрание. Оно только подтверждало решения старейшин, крича «да» или «нет». Советы подавали редко. Однажды дурной человек подал в собрании хороший совет. Ему приказали сесть, а хорошему человеку — повторить его слова.

Спартанцы гордились своими законами. На вопрос, откуда они, спартанцы отвечали: «От Ликурга». На вопрос, кто

такой Ликург, отвечали: «Больше бог, чем человек». В Спарте был храм Ликурга, в храме приносили жертвы.

Говорили, что Ликург был древним правителем Спарты. Он был братом спартанского царя, праправнука Прокла. Он мог бы и сам стать царем, но уступил престол племяннику, царскому сыну. Издать законы побудил его бог Аполлон. Образцом законов послужили критские законы, изданные, по преданию, самим Миносом, сыном Зевса.

В храме стояла статуя Ликурга. Он был изображен одноглазым, как изображают богов Солнца. Это объясняли так. Когда Ликург издал свой главный закон — о всеобщем воинском равенстве и простоте, — против него восстали богачи. Его избили палками, их вождь Алкандр выбил ему глаз. Народ выручил Ликурга и выдал ему Алкандра на расправу. Ликург взял его к себе в дом и велел себе прислуживать. Алкандр увидел, как умеренно и мудро живет Ликург, и из врага стал его самым страстным приверженцем. А в народное собрание с тех пор было запрещено ходить с палками.

Дав Спарте законы, Ликург позаботился, чтобы они были вечными и неизменными. Он объявил, что едет в Дельфы спросить еще раз волю Аполлона, и взял со спартанцев клятву не менять законов до своего возвращения. Спартанцы поклялись. Тогда Ликург уехал в Дельфы и там, на чужбине, бросился на меч. Даже тело свое он завещал сжечь, а пепел развеять над морем, чтобы его останки не попали в Спарту. Спартанские законы остались неизменными навеки.

Спартанцы гордились, что их законы — самые лучшие и древние. Чужеземцев они презирали. Уезжать за границу спартанцу запрещалось, как запрещается воину покидать лагерь. Чужеземцев, приезжавших в Спарту, раз в несколько лет изгоняли поголовно особым указом — чтобы спартанцы не научились плохому, а иноземцы — хорошему. Один афинянин сказал спартанцу: «Вы, спартанцы, — неучи». — «Да, — ответил спартанец, — из всех греков мы одни не научились у вас ничему дурному».

Назойливый чужеземец докучал спартанцу: «Кто самый лучший человек в Спарте?» Спартанец ответил: «Тот, кто меньше всего похож на тебя».

Другой чужеземец похвастался спартанскому царю: «Меня все называют другом Спарты». Он ждал похвалы. Но царь ответил: «Лучше бы тебя называли другом твоей родины».

ПЕРВАЯ МЕССЕНСКАЯ ВОЙНА: АРИСТОДЕМ

Царя Феопомпа спросили, почему у города Спарты нет стен. Он ответил: «Стены Спарты — наши копья, границы — их острия».

А царь Агид говорил: «Спартанец спрашивает не сколько врагов, а где они».

Первые жертвы спартанских копий оказались рядом. Это были жители Мессении, где правили потомки лукавого Кресфонта и где были самые плодородные земли во всем Пелопоннесе. Мессения была завоевана в два приема, в двух долгих и тяжелых войнах. Вождями мессенцев в этих войнах были два героя с похожими именами: Аристодем и Аристомен.

Среди мессенской равнины возвышалась гора Ифома, посвященная Зевсу, высокая и неприступная. На ее вершине мессенцы устроили военный лагерь и переселились туда с женами и детьми. Спартанцы осадили Ифому. Мессенцы послали гонца в Дельфы, к оракулу Аполлона: как спастись? На обратном пути на гонца напали спартанцы, изранили, чуть не убили; но раздался неведомо чей голос: «Оставь несущего ответ божий!» — и они, расступясь, пропустили гонца к своим. Гонец передал слова оракула, упал и умер от ран.

Веление оракула было страшным. «По жребию или добровольно выберите деву из рода Кресфонта и принесите ее в жертву подземным богам». Бросили жребий между потомками Кресфонта, он пал на дочь вождя по имени Ликиск. Узнав об этом, Ликиск с дочерью бежал в Спарту. Мессенцы были в отчаянии. Тогда к алтарю шагнул другой полководец из рода Кресфонта — Аристодем и добровольно предложил в жертву собственную дочь. Все были потрясены. Только один человек бросился вперед, чтобы спасти девушку, — это был ее жених. Он сказал: «Ты обручил ее со мной — теперь уже не тебе, а мне принадлежит ее жизнь!» Его оттащили. Тогда он крикнул: «Ты не знаешь, Аристодем, что твоя дочь уже не дева: она моя жена, и она беременна!» В ярости Аристодем бросился на дочь, выхватил меч и убил ее у самого алтаря. Она не была беременна: юноша солгал, чтобы защитить невесту. Все же жрецы сказали, что боги не принимают этой смерти: девушка пала жертвой ярости отца, а не жертвой подземным богам. Поднялось смятение и крик: одни рвались растерзать Аристодема как дочереубийцу, другие славили его как спасителя отечества. Вожди из потомства Кресфонта с трудом успокоили народ: все они боялись за собственных дочерей и поэтому убежда-

ли, что с гибелью дочери Аристодема веление оракула уже исполнено. Народ нехотя поверил. Собрание было распущено. Никто так и не знал, смилостивились боги над Мессенией или разгневались еще больше.

Аристодем был выбран царем. Спартанцы не могли взять Ифомы. Они послали в Дельфы. Оракул сказал: «Кресфонт овладел Мессенией хитростью — стало быть, хитрость позволена и вам». Спартанцы не умели хитрить. Они не придумали ничего лучше, как подослать к мессенцам сотню воинов под видом перебежчиков. Аристодем отослал их обратно. «Хитрость старая, хоть подлость и новая», — велел он передать спартанцам.

Наконец разнеслась весть, что оракул открыл тайну победы: победит тот, кто раньше поставит сто треножников вокруг жертвенника Зевсу на Ифоме. Обычно такие треножники делались из меди. На это нужно было много времени и металла. Мессенцы решили схитрить: они стали торопливо, всем народом сколачивать треножники из дерева. Тогда спартанцы тоже решили схитрить: один из них, человек незнатный и неприметный, сделал из глины сто игрушечных треножников величиною с кулак, положил в мешок, пробрался незаметно на Ифому и ночью расставил их вокруг жертвенника. Мессенцы поняли, что дело их проиграно. Царь Аристодем покончил самоубийством на могиле убитой им дочери. Кто мог, бежал в Аркадию или в Аргос. Остальные сдались. Спартанцы обратили покоренных мессенцев в илотов:

Словно навьюченный скот, несущий тяжелую ношу,
Гордым они господам шлют половину плодов.

ВТОРАЯ МЕССЕНСКАЯ ВОЙНА: АРИСТОМЕН

Сменилось два поколения, и мессенские илоты восстали против спартанцев. На этот раз они укрепились не на Ифоме, а на другой горе — Эйре. Их вождем был Аристомен, народный герой мессенцев, о котором еще много веков спустя слагались сказания. Ему предлагали стать царем, но он предпочел оставаться выборным полководцем.

Первый бой окончился ничем. Аристомену нужно было ободрить своих и устрашить врагов. Он взял щит убитого спартанца и незамеченным прокрался в Спарту. В Спарте был храм Афины Меднодомной: и стены, и кровля, и статуя богини-воительницы в нем были из меди. Ночью Аристомен положил у ног Афины этот щит с надписью: «Богине — дар, отбитый у спартанцев». А наутро он был уже далеко.

Спартанцы были в ужасе. Послали в Дельфы. Оракул велел призвать советника из афинян. Преодолев гордость, спартанцы попросили ненавистных афинян о помощи. Афиняне ответили издевательством: они послали в Спарту советником хромого и убогого школьного учителя — Тиртея. Но случилось неожиданное. Тиртей оказался поэтом, и его воинственные стихи подняли боевой дух спартанцев лучше, чем советы любого полководца.

Славная доля — в передних рядах с супостатом сражаясь,
  В подвигов бранных грозе смерть за отчизну принять!
Биться мы стойко должны за детей и за землю родную,
  Грудью удары встречать, в сече души не щадя.
Духом великим и сильным могучую грудь укрепите:
  Жизнелюбивой душе в жарком не место бою.

Спартанцы стали одерживать победы. Однажды они окружили мессенский отряд, подступивший к самой Спарте. В плен попали пятьдесят человек, среди них — израненный и обессиленный Аристомен. Их решили сбросить в ту самую горную пропасть, куда в Спарте сбрасывали слабых детей и осужденных преступников. Аристомен спасся чудом. Его сбросили последним, он упал на груду трупов своих товарищей и остался жив. Он лежал, закутанный в плащ, и ждал голодной смерти. Прошел день, прошла ночь, вдруг он услышал шум и увидел лисицу, которая глодала чье-то мертвое тело. До сих пор лисиц в ущелье не было — стало быть, эта пришла снаружи. Аристомен ухватился за ее хвост и пополз следом. Лисица скользнула в узкую щель, сквозь которую слабо виднелся дневной свет. Аристомен, ногтями разгребая землю, расширил щель и протиснулся на волю. Через несколько дней он уже снова был во главе своего войска. Спартанцы были в панике: Аристомен воскрес из мертвых!

Эйра пала из-за предательства. Среди восставших был спартанский илот-перебежчик. Он перебежал к мессенцам из любви к одной мессенской женщине. Однажды ночью, когда муж этой женщины нес стражу над обрывом, илот был у нее в хижине. Ночь была непроглядно-ненастная, лил проливной дождь. Вдруг в дверь постучали. Илот спрятался. Вошел муж. «Мы разошлись с постов, — сказал он, стряхивая воду с плаща. — В такой ливень спартанцы все равно не пойдут на приступ. А Аристомен ничего не узнает: он ранен и этой ночью не будет обходить посты». Илот все слышал. Он выскользнул из хижины, бросился к обрыву, скатился вниз и бегом побежал через поле к спартанскому стану. Через час спартанские воины, скользя по глине, уже

взбирались под ливнем по крутому склону Эйры. Стражи наверху не было, но были сторожевые собаки. Они взвыли. Мессенцы бросились из палаток, полуодетые, вооруженные чем попало. Бились во мраке, ливень гасил факелы. Потом рассвело, но дождь не переставал. В тучах грохотал гром — справа от спартанцев, слева от мессенцев; для спартанцев это было хорошим знамением, для мессенцев — дурным. Спартанцы все время сменяли усталых бойцов свежими, мессенцы бились без отдыха. Бой длился три дня. Наконец Аристомен затрубил сбор. Женщин и детей поставили в середину, воины стали впереди и по сторонам и наклонили копья к земле. Это значило, что они не хотят больше драться и просят лишь прохода. Спартанцы умели ценить мужество и во врагах. Они расступились, и уцелевшие мессенцы строем покинули Эйру.

Война кончилась. Мессения снова была порабощена. Те, кто покинул Эйру с Аристоменом, сели на корабли и выселились в Сицилию. Там они основали город, который и сейчас называется Мессиной. Сам Аристомен поехал на восток — поднять против Спарты азиатских царей. По пути он задержался на острове Родосе. Родосский царь искал себе жену, оракул сказал ему: «Женись на дочери лучшего из греков». Царь попросил в жены дочь Аристомена. Справили свадьбу; вскоре после этого Аристомен умер. Родосцы почитали его как героя-покровителя.

ПЕЛОПОННЕССКИЙ СОЮЗ

У Спарты были три соседние области: Мессения, Аркадия, Арголида. Мессения была покорена. Спартанцы стали воевать с Аркадией.

Главный город лесистой Аркадии назывался Тегея. Спартанцы пошли войной на Тегею. Перед походом, как обычно, спросили совета в Дельфах. Оракул сказал:

Слышу, железные цепи звенят на лодыжках у пленных,
Вижу, спартанские люди поля тегейские мерят.

Решили, что предсказание доброе, и двинулись в поход, захватив даже цепи, чтобы заковывать пленных. Но был бой, и спартанцы потерпели поражение. Оказалось, что мерить тегейские поля суждено было спартанцам не как победителям, а как пленникам с цепями на ногах. А цепи, предназначенные для тегейцев, тегейцы захватили с добычей и повесили в храме Афины; их показывали там еще много веков спустя.

Раздосадованные спартанцы спросили оракул, что же им сделать, чтобы победить. Оракул сказал: «Найдите кости Ореста, сына Агамемнона». Но где их искать? Оракул сказал:

Ветер на ветер летит, удар отвечает удару,
Злая беда лежит на беде: там — Орестовы кости.

Это звучало очень красиво, но непонятно. Вдруг один спартанец крикнул: «Я понял!» Он объяснил: «Однажды я был в Тегее, зашел в кузницу, разговорился с кузнецом, и кузнец мне сказал, что двор его заколдован, что там под землею лежит гроб, а в гробу — кости великана ростом в семь локтей: он нашел их, когда копал колодец, и сам измерил. Видимо, это и есть Орест, а описание места говорит о кузнице: «ветер на ветер» — это кузнечные мехи, «удар на удар» — это молот и наковальня, «беда на беде» — это железо под молотом, потому что железо создано на горе роду человеческому». Спартанцы обрадовались. Человека, истолковавшего оракул, для виду обвинили в преступлении и изгнали. Он отправился в Тегею, поступил в подручные к кузнецу, а потом упросил его сдать ему внаем всю кузницу. Когда он этого добился, то выкопал кости и бежал с ними в Спарту. После этого спартанцы снова пошли на Тегею и на этот раз одержали победу.

Справившись с Аркадией, спартанцы двинулись на Арголиду. На границе их встретили аргосские войска. Начались переговоры. Постановили решить дело как бы дуэлью: каждое войско оставило на границе по триста человек и отступило. Оставленные начали битву. Бились день напролет; к ночи в живых осталось только трое: два аргосца и один спартанец по имени Офриад. Все были изранены, ни у кого не было сил сражаться дальше. Два аргосца, поддерживая друг друга, ушли к своим — возвестить о победе. Офриад остался. Опираясь на обломок копья, он прошел по полю, снимая доспехи с убитых врагов, потом развесил их на дереве среди поля и своею кровью написал на щите: «Спартанцы — Зевсу, в дар от своей победы». Такой столб с оружием назывался «трофей» — его ставили победители в знак, что поле боя осталось за ними. Наутро к полю подошли войска спартанцев и аргосцев: и те и другие считали себя победителями. Разгорелся спор, спор перешел в схватку, схватка — в сражение; победа осталась за спартанцами. Офриада прославляли, как героя. Но Офриад был мрачен. Он считал позором оставаться в живых, когда все его товарищи погибли. Вскоре он покончил с собой.

Спартанский царь Клеомен подступил к городу Аргосу.

Мужчин, способных носить оружие, в Аргосе больше не было. Тогда на стены вышли женщины. Они были в доспехах, собранных из храмов, и во главе их была поэтесса Телесилла. Клеомен не захотел подвергать свое войско позору битвы с женщинами. Он отступил. Когда его в Спарте спросили, почему он не взял Аргос, он ответил: «Чтобы молодежи было с кем учиться воевать». А в Аргосе этот день стал женским праздником: женщины в этот день надевали мужское платье, а мужчины — женское. Поэтессе же Телесилле была поставлена статуя в аргосском храме Афродиты: у ног ее была книга, а в руках — шлем.

Аргос остался свободным, но все остальные города Арголиды подчинились спартанцам. Ни арголидцев, ни аркадцев Спарта не обратила в илотов: со столькими илотами она бы не справилась. Они считались союзниками Спарты — слушались ее распоряжений и помогали ей войсками. Так сложился Пелопоннесский союз — самое сильное государственное объединение Греции. Хозяином в нем была Спарта.

Как щит создал Грецию

У древнегреческого круглого щита было две рукояти: одна в середине, в нее просовывали руку по локоть; и другая с краю, ее сжимали в кулаке. Так было не всегда: это изобретение приблизительно конца VIII в. до н. э. Как раз в это время в Греции устанавливался тот гражданский строй, какой мы знаем: республики с народным собранием и государственным советом, без таких царей и вельмож, которых описывал еще Гомер в «Илиаде». И некоторые историки думают, что одно с другим связано.

Пока на щите была одна рукоять, в середине, твердо удерживать его было гораздо труднее. Приходилось делать щиты меньшего размера, которые едва прикрывали тело одного бойца. Такая пехота сражалась врассыпную и, конечно, была слабее, чем всадники, а тем более колесничники; а именно с боевых колесниц сражались гомеровские цари и вельможи. На этом и держалась их сила в военное время — а стало быть, и власть в мирное время.

Когда появилась вторая рукоять, круглый щит сразу стал шире (легко прикинуть: два локтя в поперечнике). Это значило: два воина, ставши рядом, прикрывали краями своих щитов друг друга. А строй воинов, ставших в ряд, оказывался прикрыт сплошной стеной щитов и неуязвим для ударов противника. Так благодаря новому щиту вместо рассыпного боя появился сплоченный строй; а благодаря строю — главной военной силой стала тяжеловооруженная пехота. А значит, и в мирное время главной силой государства почувствовали себя те среднезажиточные люди, у которых хватало средств на тяжелое вооружение с панци-

рем и щитом. Их количество исчислялось уже не десятками, а многими сотнями и даже тысячами. С этого и начался долгий путь греческого общества к демократии.

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Не надо путать Олимпию и Олимп. Олимп — это гора в северной Греции, высокая, скалистая, со снежной вершиной, окутанной туманом; говорили, что там живут боги. А Олимпия — это городок в южной Греции, в Пелопоннесе, в области Элиде: зеленая дубовая роща, посвященная Зевсу, при роще — храм Зевса, а при храме — место для знаменитых олимпийских состязаний.

Покорив Аркадию и Арголиду, Спарта могла без труда покорить и Элиду с Олимпией, но поступила умней. Она объявила Олимпию нейтральной землей и взяла на себя ее защиту. Раз в четыре года, в пору летнего солнцестояния, по всей Греции объявлялось священное перемирие: все войны прекращались, и в Олимпию по всем дорогам стекались толпы народа — участвовать в состязаниях или поглядеть на состязания. В остальное время греки чувствовали себя только гражданами своих маленьких городов-государств, вечно ссорившихся друг с другом. Здесь, в Олимпии, они чувствовали себя сыновьями единого народа. Таких общегреческих праздников, сопровождавшихся священным перемирием, было четыре: кроме Олимпийских, это были Пифийские в Дельфах, Истмийские в Коринфе и Немейские в тех местах, где Геракл когда-то убил каменного льва. Но Олимпийские считались самыми древними.

Состязания были посвящены Зевсу Олимпийскому: считалось, что богу приятно смотреть на людскую силу и ловкость. Но какие именно проявления силы и ловкости людям нужнее всего — это решалось самыми земными привычками. Что должен уметь пастух, чтобы уберечь свое стадо от разброда, волков и разбойников? Нагнать хищников, перескочить через расселину, издали уметить в противника камнем или палкою, изблизи вступить с ним в драку и одолеть. Отсюда и программа ранних олимпийских состязаний: бег, прыжок в длину, метание диска и копья, борьба. Лишь потом к ним добавились скачки верхом и в колесницах, а бег и борьба разделились на несколько разновидностей.

Рекордные результаты не отмечались, смотрели только, «кто раньше» или «кто дальше». Поэтому лишь в редких случаях мы можем сравнивать достижения греческих атлетов с нынешними. Бегун Тисандр пробежал за час около

19 км — это очень хороший показатель и для современного бегуна. Дискобол Флегий перебросил диск через олимпийскую речку Алфей — это около 50 м по нашему счету, достижение международного класса, а ведь греческие диски были обычно тяжелее наших. Камень с надписью «Бибон поднял меня над головою одной рукой» весит 143,5 кг — это очень большой вес для двух рук и почти невообразимый для одной. Атлет Фаилл сделал прыжок в длину на 16 м — это почти вдвое дальше современных рекордов, и многие считают такой успех легендой; но здесь сравнивать трудно, потому что греки прыгали иначе, чем мы, — они почти не разбегались, зато они держали в руках гири-гантели, чтобы придать телу дополнительную инерцию, а в наши дни такая техника разработана мало.

Наградой в Олимпии был только оливковый венок, а в Дельфах — лавровый. Но эта награда означала, что носитель ее — любимец бога, даровавшего ему победу на своих играх. И его чтили и славили как любимца бога. В честь его устраивались праздники, воздвигались статуи, слагались песни. Особенно знамениты были те, кто подряд одерживал победы на всех четырех общегреческих играх — Немейских, Истмийских, Пифийских, Олимпийских. Знаменитый родосский борец Диагор сам был таким четверным победителем и двух сыновей своих видел такими четверными победителями; а когда подросли его внуки, тоже одержали победу в Олимпии и в ответ на приветствия народа подхватили на плечи своего доблестного деда и понесли по стадиону, то народ от восторга себя не помнил, а один спартанец крикнул: «Теперь умри, Диагор: на земле ничего славнее уже нет, а на небо тебе все равно не взойти!»

ОЛИМПИЙСКИЕ АТЛЕТЫ

Греки любили свои спортивные состязания без памяти. На Олимпийские игры народ сходился толпами. Справлялись они в самом разгаре лета; давка и жара была такая, что один хозяин, говорят, грозил провинившемуся рабу: «Вот пошлю я тебя не жернова ворочать, а в Олимпию на игры смотреть!» Имена победителей в соревнованиях были у всех на устах. Об атлетах ходило множество рассказов — иногда восторженных, иногда насмешливых.

Самым знаменитым атлетом всех времен был Милон Кротонский, ученик философа Пифагора. Это он мальчиком стал тренировать силу, поднимая на плечи теленка и каждый день обнося его вокруг площадки для упражнений. Те-

ленок рос, но росли и силы Милона; прошло года три, и он с такой же легкостью носил вокруг стадиона большого быка.

Когда Милон одержал победу, в честь его отлили бронзовую статую в полный рост; он вскинул ее на плечо и сам принес в храм. Забавлялся он тем, что брал в пальцы гранатовое яблоко и предлагал его вырвать у него; никто не мог, а между тем держал он его так легко, что гранат оставался нераздавленным. Забавлялся он и тем, что обвязывал себе голову веревкой, а потом вздувал жилы на висках и рвал веревку, не коснувшись ее руками. Забавлялся и тем, что протягивал руку дощечкой и предлагал отвести мизинец от других пальцев; никто не мог.

Он погиб, когда гулял в лесу и увидел дерево, расщепленное молнией; для потехи он решил разломать дерево надвое, но был уже стар, не рассчитал силы, руки его защемило в расщепе, и он не мог их вырвать; и когда пришел дикий лев и набросился на него, Милон оказался беззащитен.

Другой атлет, Полидамант, с голыми руками ходил на льва, подражая Гераклу; хватая быка за ногу, он отрывал ему копыто; останавливал на бегу колесницу, запряженную четверней; приглашенный к персидскому царю, убил там в единоборстве трех царских гвардейцев — из тех, которые у персов зовутся «бессмертными». Он погиб, когда сидел с товарищами в пещере и над ними вдруг треснул и стал обваливаться свод; товарищи бросились прочь, но Полидамант счел это позорным, остался, подпер обвал плечами и был засыпан.

Атлет Феаген одержал 1400 побед. Это значит, что у него было 1400 побежденных соперников, и все они ему завидовали. Когда Феаген умер, один из них приходил по ночам к статуе Феагена (всем олимпийским победителям ставили статуи) и хлестал ее бичом. Статуя упала и задавила хлеставшего. Статую обвинили в убийстве, судили и бросили в море. На следующий год настал неурожай, начались моровые болезни; граждане обратились к оракулу, и прорицательница-пифия велела им вернуть всех изгнанников. Граждане объявили всем изгнанникам дозволение вернуться, но мор не кончался. Опять пошли к оракулу, пифия сказала: «Забыли Феагена». Статую вытащили сетями из моря, поставили на место, устроили в честь ее празднество, и все кончилось благополучно.

Атлет Главк был крестьянский сын. Отец, увидав, как он голыми руками вбивает в соху сошник, привел его в Олимпию. Начался кулачный бой. Главка стали бить, а он

стоял и терпел, опасаясь не в меру зашибить противника. Отец из публики крикнул ему: «Бей, как по плугу!». Главк развернулся и ударил, и победа осталась за ним.

У атлета Демократа заболели ноги, а отказаться от состязаний он не хотел. Он пришел в Олимпию, встал среди поля и предложил столкнуть или стащить его с места. Никто не смог. Демократу присудили победу.

На скачках кобыла наездника Фидола сбросила седока, но продолжала скачку и пришла первой. Фидол был объявлен победителем — за то, что у него такая хорошая лошадь.

Атлет Аполлоний опоздал в Олимпию, потому что выступал за деньги за морем, но признаться в этом он постеснялся и сказал, что его задержали встречные ветры. Он вступил в состязания, вышел победителем, получил венок, но тут обман его раскрылся, венок с него сняли и возложили на его соперника. Аполлоний тут же набросился на соперника с кулаками, тот бросился бежать с венком на голове; кому присудить победу, так и осталось нерешенным.

Обман в Олимпии наказывался сурово: возле стадиона стояли в ряд статуи Зевса, сооруженные только на штрафы, собранные с нарушителей. Один атлет хотел воспользоваться тем, что его соперник Эгмий был отроду немой, и подкупил судью, чтобы тот подсудил в его пользу, думая, что Эгмий не сможет пожаловаться. Но Эгмий, увидев это, пришел в такое негодование, что вскрикнул и впервые в жизни заговорил.

А вообще олимпийские судьи судили честно. Перед состязанием они должны были проверять лошадей, допускаемых к скачкам, и давали при этом две клятвы: во-первых, судить по совести и, во-вторых, никому не объяснять, почему они судили так, а не иначе. Греки понимали, что бывают и такие случаи, когда правильное решение чувствуешь, а объяснить не можешь.

ЛЕТОСЧИСЛЕНИЕ

В реке под Москвой поймали щуку, на хвосте у щуки было серебряное кольцо, на кольце надпись: «Сие кольцо надето за семь лет до нашествия Наполеона на Москву». Умные люди посмотрели, улыбнулись, сказали: «Подделка». Почему? Потому что кто же мог знать заранее, что Наполеон через семь лет пойдет на Москву?

Вы догадались, к чему этот пример? На девятой странице я спросил вас, что я изменил в Паросской хронологичес-

кой таблице, переписывая ее в этой книге. Конечно, это были обозначения дат. Ни в одной настоящей древней надписи не могло быть дат вроде «Год 1582 до нашей эры». «До нашей эры» — это ведь значит «до рождества Христова»; а кто же мог знать, что через столько-то лет родится Христос? Или чтобы сказать еще точнее: кто же мог знать, что через много-много лет будет принята именно такая-то условная дата рождения Христа? Потому что дата рождения Христа — в высшей степени спорная и условная: даже христиане в Западной Европе стали ею пользоваться только с VI в. н.э., а в Византии (и затем на Руси) избегали ею пользоваться и того дольше, предпочитая отсчитывать годы прямо от сотворения мира, — почему-то считалось, что эта дата известна более точно.

Что же было вместо этого написано на паросском камне? Нечто неожиданное и неудобное: «1318 лет назад — царь Кекроп... 1265 лет назад — всемирный потоп...» Иными словами, все даты отсчитывались назад от года, когда была высечена эта самая надпись. (Сосчитайте сами, когда это было.) Легко понять, что уже через несколько лет эти даты мало что говорили паросскому прохожему.

Какая же нумерация годов («летосчисление» в буквальном смысле слова) была у греков?

А никакой.

Каждый год в каждом городе имел свое название по главному должностному лицу этого года — в Афинах по первому архонту, в Спарте по первому эфору и т.д. Знаменитый договор 421 г. до н.э. между Афинами и Спартой — Никиев мир — был датирован так: «При спартанском эфоре Плистоле, за 4 дня до окончания месяца артемисия, и при афинском архонте Алкее, за 6 дней до окончания месяца элафеболиона». (Месяцы ведь тоже в каждом государстве были свои собственные!) И когда на смену грекам придут римляне, у них мы увидим все то же: годы не нумеруются, а обозначаются именами должностных лиц: «в консульство такого-то». Настоящие хронологические таблицы, которые были у греков и римлян, имели вид длинных списков имен — как телефонные книги. «В архонтство Каллиада... в архонтство Евфина... в архонтство Херонда...» Вот я назвал три даты и уверен: угадать, какая из них раньше, какая позже, смогут во всем мире лишь человек десять специалистов. А ведь это даты больших событий: Саламинская победа, начало Пелопоннесской войны, Херонейское поражение.

Что это — мелочь, случайно недодуманная великим народом? Нет. В этой мелочи видна огромная разница между

античной и современной культурой. Мы представляем себе время движущимся вперед — как стрела, летящая из прошлого в будущее. Греки представляли себе время движущимся на одном месте — как звездный небосвод, который вращается над миром одинаково и неизменно как за тысячу лет до нас, так и через тысячу лет после нас. Для нас прогресс — что-то само собою разумеющееся: 1097, 1316, 1548 годы — даже если мы не помним ни одного события, происходившего в эти годы, мы не сомневаемся, что в 1548 году люди жили хоть немного лучше и были хоть немного умнее, а может быть, и добрее, чем в 1097 году. А для грека прогресс если и существовал, то когда-то в незапамятном начале, при титане Прометее, а после этого жизнь казалась вечной, устойчивой и неизменной и все годы похожими друг на друга: «в архонтство Каллиада... в архонтство Каллистрата... в архонтство Каллия...»

Я не случайно заговорил об этом именно здесь. Вам, наверное, не раз приходилось читать: «Греки так чтили Олимпийские игры, что вели свое летосчисление по олимпиадам». Так вот, это неверно. Счет времени по олимпиадам («В 3-й год 72-й олимпиады греки победили персов при Марафоне...») вели некоторые греческие историки, чтобы уследить за длинным рядом событий. Но это была их кабинетная выдумка, и не более того. Ни в одном документе, ни в одной надписи таких дат не было. Греки не вели летосчисления по олимпиадам, они не вели вообще никакого летосчисления. Годы в их сознании были не нанизаны на тянущуюся нить, а как бы рассыпаны пестрой неподвижной россыпью.

Кстати, о годовщинах

Битва при Саламине, которая спасла Европу от Азии, произошла в 480 г. до н.э. Когда исполнилась ее 2400-летняя годовщина? Вы скажете: «В 1920 году». И ошибетесь: не в 1920-м, а в 1921-м. Вы удивитесь: почему? **Потому что нулевого года не было.** *В самом деле: когда исполнилась ее 479-я годовщина? В 1 г. до н.э. А 480-я? В 1 г. н.э. А 500-я? В 21 г. н.э. И так далее.*

Не смущайтесь: когда речь идет о пересчете через рубеж нашей эры, то эту ошибку хочется сделать каждому. Современные греки чувствуют себя потомками древних греков и чтят их даты. Но когда они всенародно, по государственному указу отмечали юбилей победы над персами, то это было все-таки в ошибочном 1920 году.

ДЕЛЬФЫ

Вы уже заметили: если в нашем рассказе до сих пор и был наиболее часто упоминаемый герой, то это был дельфийский оракул — без его пророчеств не обходилось, кажется, ни одно событие. Пора теперь познакомиться с ним поближе.

В средней Греции много гор. На горах — пастбища. На одном пастбище паслись козы. Одна коза отбилась от стада, забралась на утес и вдруг стала там скакать и биться на одном месте. Пастух полез, чтобы снять ее, и вдруг остальные пастухи увидели: он тоже стал прыгать, бесноваться и кричать несвязные слова. Когда его сняли, то оказалось: в земле в этом месте была расселина, из расселины шли дурманящие пары, и человек, подышав ими, делался как безумный.

Испуганные пастухи пошли к жрецам. Жрецы, посовещавшись, сказали: «Это — то самое место, где некогда бог Аполлон убил дракона Пифона, сына Земли. Нужно в этом месте выстроить храм, над расселиной посадить прорицательницу, и она, надышавшись опьяняющим паром, будет предсказывать будущее».

Так был построен храм Аполлона в Дельфах. Считалось, что это самый первый греческий храм — первый дом, построенный для бога, сошедшего с небес к людям. Священные пчелы Аполлона принесли неведомо откуда восковую модель чертога, обнесенного колоннами; по ней выстроили деревянный храм, потом на его месте — медный, потом на его месте — каменный. Все остальные греческие храмы были копией с этого. Здесь жил Аполлон девять месяцев в году, а остальные три месяца жил Дионис.

В середине храма овальной глыбой лежал большой белый камень — «пуп земли». Греки представляли себе землю плоским кругом, а самой серединой этого круга — Дельфы. Говорили, что Зевс, желая найти середину земли, выпустил с запада и с востока двух голубок навстречу друг другу, и они встретились как раз над этим камнем.

Раз в месяц на треножник в глубине храма садилась прорицательница — пифия. Ей задавали вопросы, она отвечала на них несвязными криками, а жрецы перекладывали ее слова благозвучными стихами и передавали спрашивающим. Со всей Греции стекались в Дельфы просители; храм процветал и богател с каждым годом.

Предсказание будущего — дело рискованное. Это, по-видимому, понимали не только жрецы, но и спрашивающие. Поэтому вопросы в прямой форме: «удастся ли мне сделать

то-то и то-то?» — задавались редко. Чаще спрашивали: «Что сделать, чтобы мне удалось то-то и то-то?» Оракул отвечал: «Принеси жертвы таким-то богам» или «Заручись поддержкой надежных людей», и спрашивающие оставались довольны. Если дело все же не удавалось, это значило, что или боги остались недовольны жертвами, или люди оказались недостаточно надежными, а оракул ни при чем.

Бывали, однако, и случаи более затруднительные. С некоторыми из них мы уже встретились. А самым знаменитым был случай с царем Крезом.

Поперек Малой Азии текла река Галис; на запад от нее, ближе к Греции, лежала Лидия, на восток — Мидия. Царем Лидии был Крез, самый богатый правитель на свете. Он задумал воевать с Персией, но хотел сперва спросить совета у оракула. Но у какого? Как узнать, правду ли скажет оракул или солжет? И Крез решил испытать все знаменитейшие оракулы мира. Он послал людей и в Дельфы, и в Додону, и в Абы, и в Милет к Бранхидам, и в Египет к Аммону, и в пещеру Трофония, из которой кто возвращается, тот больше никогда не смеется. Всем посланцам было велено одно и то же: отсчитать сотый день от своего отправления и в этот день спросить у оракула: что делает сейчас Крез, царь Лидии?

Что ответили на этот вопрос другие оракулы, история умалчивает. А дельфийский оракул ответил вот что:

В море я капли сочту и на бреге исчислю песчинки,
Знаю, что мыслит немой, и слышу, что молвит безгласный;
Чую вкус черепахи, что варится вместе с ягненком, —
Медь вверху, и медь внизу, а они посредине.

Посланцы ничего не поняли, но аккуратно записали предсказание и доставили Крезу. Крез возликовал. Из всех ответов этот один оказался правилен и точен, ибо в назначенный день Крез, чтобы испытать всеведенье оракулов, занимался тем, что варил в медном котле мясо черепахи вместе с мясом ягненка, будучи уверен, что чего-чего, а этого придумать и угадать никто не сможет.

Крез послал в Дельфы несметные подарки и задал теперь оракулу свой главный вопрос: переходить ли ему через Галис, чтобы воевать с Персией? Оракул ответил:

Крез, перейдя через Галис, разрушит великое царство.

Крез понял эти слова так же, как и вы их поняли, и бодро пошел на Персию войной. О войне этой мы расскажем в другой раз, потому что с нее начались великие греко-персидские войны. Кончилась она, как вы узнаете, полным

поражением Креза. Царь едва не погиб, а когда он все же уцелел, то первое, что он сделал, — это послал в Дельфы и спросил: почему бог Аполлон так жестоко его обманул?

Ответ был неожиданным. «Знай, Крез, — писали жрецы, — что Аполлон не обманул тебя ни единым словом. Перейдя через Галис, ты разрушил великое царство — только не персидское, а свое собственное. Аполлон тебя любит за богатые дары, но помочь ничем не может: ты расплачиваешься за грехи предков. Все, что мог сделать Аполлон, — это отсрочить твое падение на три года. Знай же, что ты и так правил на три года дольше, чем велено судьбой, и цени это».

Вот как оракул Аполлона и в этом опасном испытании остался кругом прав.

Дельфы были священным городом под покровительством Аполлона: без стен, без войска. Все окрестные государства заключили друг с другом договор: защищать Дельфы от любого нападения общими силами, а между собой жить по возможности в мире. Раз в четыре года в Дельфах, как в Олимпии, объявлялся «божий мир» для всей Греции и устраивались общегреческие состязания — Пифийские игры. Они были такие же, как Олимпийские, но в них были еще и музыкальные состязания — на лире и на флейте. Аполлон недаром был богом света, знания и искусства.

МОЛИТВЫ, ЖЕРТВЫ, ГАДАНИЯ

«На бога надейся, а сам не плошай», — говорит старинная пословица. Греки очень хорошо умели не плошать, но для верности они хотели еще и надеяться на бога. Поэтому-то почти на каждой странице этой книги о чем-нибудь молят богов и ради чего-нибудь приносят им жертвы. Как это выглядело?

Молитва — это разговор с богом. Человек становился лицом к тому богу, которому молился, протягивал к нему руки и вслух произносил сперва обращение к богу, потом похвалу ему, потом свою просьбу, потом обещание благодарности за исполнение этой просьбы. Если он молился в храме, то протягивал руки к статуе бога; если небесным богам — то к небу; если речным или морским — опускал их в воду; если подземным — ударял ими по земле или топал ногою. Современный верующий на молитве стоит спокойно (иногда на коленях), сложив руки перед грудью, и молится про себя, уверенный, что его бог услышит и такую молитву. Но грек разговарил с богом, как с человеком, и на колени не вставал никогда.

Жертва — это угощение богу. Если бог помогает человеку во всех делах, то от всякой удачи нужно с ним делиться. Когда собирали урожай, то первые колосья и первые плоды приносили богу. Когда пили, то перед каждым пиром несколько раз плескали вином наземь. Когда ели, то откладывали для бога специально выпеченное печенье или медовую лепешку. А когда ели мясное — в бедном греческом быту это было нечастым праздником, — то делиться с богом было обязательно. Тогда и устраивались те жертвоприношения быков, овец, коз и свиней, о которых чаще всего упоминается в книгах.

Перед храмами, а часто и отдельно, на площади или перекрестке, стояли алтари. Алтарь — это божий стол: прямоугольная глыба, земляная или, чаще, каменная, иногда маленькая, иногда очень большая. На нем разводился священный огонь. Головню из огня опускали в сосуд с водой — в этой воде присутствующие омывали руки, чтобы очиститься перед жертвоприношением. К алтарю подводили жертвенное животное, обрызгивали его водой, осыпали жареным ячменем и солью, а потом оглушали ударом дубины и быстро закалывали. Затем начиналось угощение богов. С туши сдирали кожу, вырубали спинную часть, обкладывали жиром и внутренностями и сжигали на алтаре. Жирный дым всходил к небу: небесные боги могли лакомиться жертвою. Для подземных богов жертву зарывали в землю. Несколько кусков мяса уделялось жрецам и храмовым служителям. Остальное съедалось на пиру. Люди ели мясо и чувствовали себя сотрапезниками богов.

Иногда жертва была особенной — очистительной. Если человек совершил нечаянное убийство, он должен был покинуть родину и искать очищения на чужбине. Его не спрашивали, в чем дело: жрец зажигал огонь на алтаре, закалывал молочного поросенка, обрызгивал его кровью руки пришедшего, а потом омывал их священной водой и вытирал. Это означало, что кровь смыта кровью и человек может возвращаться к сородичам. А очистительного поросенка не сжигали, чтобы не осквернять огня: его закапывали в глухом месте и возвращались оттуда, не оглядываясь.

Иногда жертва предназначалась для гадания. Такие жертвы приносились перед сражениями. Зарезав животное, смотрели, как горит на алтаре его мясо, особенно хвост: если хвост скручивался, это предвещало трудности, если конец его опускался вниз — неудачу, если поднимался вверх — удачу. Выпотрошив животное, смотрели на его внутренности, особенно на печень: если вид их казался необычным, это значило, что животное нездорово и, стало быть, неугод-

но богам — боги не насытились и требуют новой жертвы. Чтобы добиться добрых знамений, приходилось иной раз закалывать не один десяток баранов или овец. При каждом войске гнали на всякий случай целое небольшое жертвенное стадо.

Были и другие способы гадания. Гадали по полету птиц, по крику птиц, по грому и молнии, по кометам и затмениям, по плеску воды и дыму ладана. В Додонском лесу гадали по шелесту листьев священного Зевсова дуба. А в ахейском городе Фарах гадали так: на рыночной площади стояла статуя Гермеса, перед ней — курильница, рядом с ней — урна-копилка. Гадающий подходил к статуе, воскурял ладан, опускал монету в урну, говорил на ухо статуе свой вопрос, поворачивался, затыкал уши и шел прочь. Дойдя до конца рынка, он открывал уши и первое слово, которое слышал, считал божьим знамением.

В особенном почете были гадания по вещим снам. В Эпидавре был храм бога-целителя Асклепия; больные приходили сюда, приносили жертвы и оставались ночевать; утром жрецы выслушивали, что им снилось, и назначали лечение. А однажды было даже так. Бог Асклепий явился во сне бедной женщине Аните и сказал: «Ступай к слепому Фалисию и передай ему это письмо!» Она проснулась — рядом лежали восковые таблички. Она пошла искать слепого Фалисия, нашла его, рассказала ему свой сон и подала таблички. С одного взгляда на них он прозрел и прочел письмо. В нем было написано: «Дать Аните две тысячи золотых монет». Так бог Асклепий одним сном сделал два добрых дела.

БОГИ СВОИ И БОГИ ЧУЖИЕ

Когда греков спрашивали: «Кто ваш бог?», они отвечали: «Богов у нас много». Когда спрашивали: «А кто главный?», они отвечали: «Двенадцать олимпийцев:

Гестия, Гера, Гермес, Деметра, Арес, Артемида,
Зевс, Афродита, Гефест, Аполлон, Посейдон и Афина».

Список этот был нетвердый: то и дело в него включался, например, Дионис вместо Ареса или Гефеста. И список этот был неполный: в нем не были названы бесчисленные божества природы, часто гораздо более близкие человеку. В каждой речке жила своя наяда, в каждом дереве — дриада, в каждой скале — ореада. И много веков спустя, когда императоры и церковь приказали людям быть христианами,

крестьяне со вздохом отрекались от Зевса и Аполлона, но долго еще тайком ходили в рощи молиться деревьям и ручьям.

У богов были разные имена и прозвища. Аполлон был также и Феб-Сияющий, и Локсий-Вещающий, и Пеан-Врачующий, и Гекаэрг-Далекоразящий, и Пифий-Драконоубийца, и Мусагет — Вождь Муз, и Делий — Рожденный на Делосе, и Ликей — то ли «Светлый», то ли «Волчий», и, может быть, даже Гелиос-Солнце. Дионис — это и Вакх, и Иакх, и Лиэй, и Бассарей, и Бромий, и Эвий. Артемида была и Селеной, богиней луны, и Илифией, помощницей рожающих женщин, и Гекатой, покровительницей колдуний; впрочем иногда Геката отождествлялась с Деметрой, а иногда почиталась отдельно. Мы видим: прозвище бога могло превратиться в имя самостоятельного бога и, наоборот, самостоятельный бог мог слиться с другим и его имя превратиться в прозвище.

Даже один и тот же бог в разных местах изображался и почитался настолько по-разному, что можно было задуматься: да точно ли он один и тот же? На острове Крите чтили пещеру, где вырос Зевс-младенец, и чтили могилу, где погребен Зевс-покойник. Когда критянам говорили: «Но ведь Зевс бессмертен!», они отвечали: «Не умирает только тот, кто не рождался». В Аркадии в одном храме чтили сразу трех Гер: Геру-девицу, Геру-царицу и Геру-вдовицу. Когда аркадянам говорили: «Не может быть Гера сразу и девицей и вдовицей», они отвечали: «Не знаем, но так чтили ее наши предки». В Спарте стояли статуи Ареса в оковах и Афродиты в оковах; спартанцы объясняли: «Это чтобы бог войны не покидал нашего государства, а богиня любви — наших семейств», но, кажется, сами не очень доверяли своим объяснениям.

Кроме богов, почитали и обожествленных героев. Тут тем более один город другому не указчик. Аяксу Саламинскому приносили жертвы на Саламине, Елене и Менелаю — в Спарте, Гераклу — повсюду, но по-разному. Например, в городе Эрифрах Геракла почитали только женщины-рабыни, потому что когда-то кумир Геракла приплыл сюда по морю на плоту, подтянуть плот к берегу (сказали гадатели) можно было только канатом из женских волос, свободные женщины пожалели обрезать свои волосы, а рабыни обрезали. А были герои и еще более неожиданные. Так, в городе Аканфе почитали умершего здесь перса Артахея, начальника строительства Ксерксова канала, за то, что он был ростом в пять локтей без четырех пальцев (это значит: 2 м 23 см) и имел голос громче всех на свете.

Все это причудливое разнообразие имело очень важные последствия. Оно учило греков терпимости. Никто, даже афиняне, не могли сказать: «Только мы чтим Афину правильно, а все остальные — неправильно; только наша Афина настоящая, а все остальные — не настоящие». Все были настоящие, потому что все почитались по заветам предков: значит, сама богиня хотела, чтобы ее почитали по-разному и чтобы не знали, какова она на самом деле. «Каковы боги на самом деле?» — спросил мудрого поэта Симонида царь Гиерон Сиракузский. Симонид попросил день на размышление, потом еще два, потом еще четыре и так далее; Гиерон удивился, а Симонид сказал: «Чем больше я думаю, тем труднее мне ответить».

По этой же причине греки не удивлялись и не возмущались, что у других народов есть свои собственные боги. Они просто говорили: «В Египте чтят Диониса под именем Осириса, в Финикии — Геракла под именем Мелькарта, в Сирии — Афродиту под именем Астарты, в Риме — Зевса под именем Юпитера, у германцев — Гермеса под именем Вотана» и т. д. А если рассказы об этих богах не всегда похожи на греческие, то ведь и греческие рассказы о них не везде одинаковы.

Если бы Греция была единым государством, то, вероятно, жрецы различных храмов организовались бы в единую церковь и стали следить не только за тем, правильно ли люди поклоняются богам, но и за тем, правильно ли люди думают о богах. К счастью, этого не случилось. Жрецы в Греции не были самостоятельным сословием, как, например, в Египте. Это были государственные должностные лица, избиравшиеся всенародным голосованием и следившие, чтобы государство не обидело своих богов и не лишилось их покровительства. Для этого нужно было соблюдать обряды: каждый гражданин обязан был участвовать в шествиях, молебствиях, жертвоприношениях, какими бы странными они ему ни казались. А верил он или не верил в то, что об этих богах рассказывалось, и если не верил, то во что он верил вместо этого, — в это жрецы не вмешивались. Потому что они помнили: каковы боги на самом деле — не знает никто.

А когда о вере спрашивали ученых людей, то они отвечали: «Есть вера гражданина, вера философа и вера поэта. Гражданин говорит: «Зевс — это покровитель нашего города, которого мы должны чтить так-то и так-то». Философ говорит: «Зевс — это мировой закон, вида и облика не имеющий». Поэт говорит: «Зевс — это небесный царь, то и дело сбегающий от своей небесной царицы к земным женщинам, то в виде быка, то в виде лебедя, то еще в каком-ни-

будь». И все правы. Только не нужно эти три вещи смешивать».

СКАЗКА НА КАЖДОМ ШАГУ

Кто помнит миф об Одиссее, тот не забыл трогательного эпизода: Одиссей в образе нищего, неузнанный приходит в свой дом, ему омывает ноги старая ключница и вдруг вскрикивает, нащупав шрам на ноге: она узнала его, это шрам Одиссея — ему в молодости нанес эту рану кабан на охоте.

Так вот, греки тоже не забыли этого кабана: невдалеке от Дельфов показывали место, где когда-то родился тот кабан, который потом когда-то нанес Одиссею ту рану, по шраму от которой потом когда-то Одиссей был узнан.

А по дороге в Дельфы, в местечке Панопее, показывали остатки той глины, из которой Прометей лепил когда-то первых людей. Это были две глыбы, каждая величиною с воз, а пахли они, как человеческое тело.

В Элиде было гнилое заразное болото. Говорили, что оно образовалось на том месте, где кентавры, раненные Гераклом, пытались промыть раны от его отравленных стрел.

На Делосе во время празднеств Аполлона юноши пляшут «журавлиную пляску» вокруг алтаря, целиком сложенного из левых рогов жертвенных животных. Они движутся вереницей, делающей причудливые изгибы. Эту пляску учредил Тесей, возвращаясь с Крита, и ее повороты — это изгибы Лабиринта, по которому он шел со спутниками навстречу Минотавру.

Корабль, на котором Тесей плавал на Крит, хранился на афинском Акрополе. Когда какая-нибудь доска сгнивала, ее заменяли новой: под конец в корабле не осталось ни одного первоначального куска. Философы показывали на него и говорили: «Вот образец диалектического противоречия: это и тот корабль, и не тот корабль».

Там же на Акрополе показывали и еще более древние достопримечательности. Когда-то за покровительство Аттике спорили Посейдон и Афина. Посейдон ударил трезубцем, и из земли забил источник соленой воды; Афина ударила копьем, и из земли выросло оливковое дерево; боги решили, что дар Афины полезнее, и присудили ей победу. Этот колодец с соленой водой показывали в храме Эрехтея, а эту оливу — в храме Афины-Градодержицы.

Точно известна была не только первая в мире олива, но и вторая: она росла невдалеке от Афин в священной роще

Академа, где учил философ Платон. Только два дерева на свете были старше этих двух: священная ива Геры на Самосе и священный дуб Зевса в Додоне. А следующими по старшинству после двух олив были лавр Аполлона на острове Сиросе и тополь, посаженный в Аркадии царем Менелаем перед походом на Трою. Им поклонялись и приносили жертвы.

В пелопоннесском городе Лепрее ничего особенного не показывали. Зато сам город носил имя царя Лепрея, соперника Геракла. Лепрей вызвал Геракла на спор, кто больше съест, и остался победителем в этом нелегком состязании. Тогда, возрадовавшись, он вызвал Геракла на спор, кто кого поборет, и из этого спора уже живым не вышел. Не знаю, есть ли здесь чем гордиться, но лепрейцы гордились.

Такие местные предания рассказывались повсюду. Сказка отошла в прошлое, но следы ее оберегались и чтились. Часто эти рассказы противоречили друг другу, но никто этим не смущался. На Крите рассказывали, что Минос, сын Зевса, был мудрый и справедливый царь, давший людям первые законы; в Афинах рассказывали, что Минос был жестокий угнетатель, бравший с Афин дань живыми людьми в жертву чудовищу Минотавру. Греки помнили рассказы критян, но охотнее пересказывали рассказы афинян: они были интереснее. «Вот как опасно враждовать с городом, где есть хорошие поэты и ораторы!» — замечает по этому поводу писатель Плутарх.

Эти предания служили даже доводами в политических спорах. Между Афинами и Мегарой лежал остров Саламин (впоследствии знаменитый); оба города долго воевали за него друг с другом, а потом, изнемогши, решили отдать свой спор на третейский суд Спарте. Выдвинули доводы. Мегаряне сказали: «В Афинах жрица Афины-Градодержицы не имеет права есть афинский сыр, а саламинский сыр ест; стало быть, Саламин — земля не афинская». Афиняне возразили: «В Мегаре покойников хоронят головой на восток, в Афинах — на запад, на Саламине — как в Афинах; стало быть, Саламин — земля афинская». Этот довод показался спартанцам более веским: Саламин остался за Афинами.

Поэтому неудивительно, что, когда античный человек действительно сталкивался с диковинкой природы, он прежде всего объяснял ее каким-нибудь мифологическим воспоминанием, так что нам даже трудно понять, что же это было на самом деле. Вы думаете, что козлоногие сатиры перевелись, когда бог Дионис перестал показываться людям? Нет. Последнего сатира поймали римские солдаты, когда их полководец Сулла, трезвый, жестокий и ни в ка-

ких сатиров не веривший, воевал в Греции с царем Митридатом Понтийским. Сатира связали, притащили в лагерь и стали допрашивать через переводчиков на всех языках, но он, большой, лохматый и грязный, только испуганно озирался и жалобно блеял по-козлиному. Сулле стало страшно, и он приказал отпустить сатира. И все это было лет через пятьсот после тех времен, о которых мы рассказываем, когда сказка, казалось бы, давно уже отошла в прошлое.

СКАЗКУ НАЧИНАЮТ ОСПАРИВАТЬ

Сказка сказке рознь. Одни сказки рассказывают и верят, что так оно и было; это — мифы. Другие — рассказывают и знают, что все это придумано, а на самом деле такого не бывает; это — сказка в полном смысле слова. Мифы могут превращаться в сказки: какая-нибудь баба-яга для совсем маленького ребенка — миф, а для ребенка постарше — сказка. Рассказ о том, как Геракл вывел из преисподней трехголового пса Кербера, для греков времен Гомера был мифом, для нас это сказка. Когда произошла эта перемена? Для кого как. Люди темные до конца античности, да и много позже, верили и в Кербера, и в еще более сказочных чудовищ. Люди вдумчивые начинали оставлять эту веру как раз в пору, до которой дошел наш рассказ.

В самом деле. С виду мы представляем себе богов как людей, только лучше; стало быть, и нрав и поступки у богов должны быть как у людей, только лучше. Между тем в мифах боги ведут себя так, как не позволил бы себе ни один человек. Кронос, отец богов, пожирал своих детей; Аполлон и Артемида за гордость Ниобы перебили всех ее сыновей и дочерей; Афродита изменяла своему мужу, хромому Гефесту, с воинственным Аресом; Гермес, едва родившись, украл коров у Аполлона, и так далее, без конца. Можно ли все это понимать буквально? Очевидно, нет. Понимать это нужно иносказательно.

Иносказания могут быть двоякого рода. Можно сказать: Зевс — это молния, Гера — небо; если в «Илиаде» сказано, что Зевс бил Геру, это значит, что была гроза и молнии полосовали небо. Или можно сказать: Геракл — это разум, дикие чудовища — это страсти; подвигами своими Геракл учит нас властовать нашими страстями.

До таких сложных выдумок пока еще было далеко. Но что привычные гомеровские сказания нужно воспринимать не как миф, а как наивную сказку и что представлять себе богов толпой бессмертных исполинов, у которых все, как у

людей, уже всерьез нельзя — это многим становилось понятно. И уже ходил по Греции поэт-философ Ксенофан, дразня слушателей вызывающе смелыми стихами:

Все Гесиод и Гомер на богов возвели понапрасну,
Что меж людьми позорным слывет и клеймится хулою —
Красть, и жен отбивать, и друг друга обманывать хитро...

И еще:

Для эфиопа все боги, как сам он, черны и курносы,
А для фракийца они, как он сам, синеоки и русы...
Если бы руки имели быки, или львы, или кони,
То и они бы придали богам свой собственный облик:
Бык быку, конь коню написал бы подобного бога...

И слушатели восклицали «Он прав! Лучше вообще не верить в богов, чем верить в таких, как у Гомера: меньше грешит неверующий, чем суеверный. Что бы ты предпочел: чтобы о тебе говорили: „Такого человека нет“ или „Такой человек есть, но он зол, коварен, драчлив и глуп“? Уж, пожалуй, лучше первое!»

Если мифы о богах усложнялись в толкованиях, то мифы о героях упрощались. Собственно, начал это еще Гомер. Каждый знает выражение «ахиллесова пята», которое значит «слабое место»: богиня — мать Ахилла омыла его младенцем в волшебной воде, и он стал неуязвим повсюду, кроме пятки, за которую она его держала. Но если перечитать «Илиаду», то ни единого упоминания об Ахиллесовой пяте там нет: Ахиллу защита — не волшебство, а его смелость и ратное искусство. Вот таким же образом стали перетолковывать слишком неправдоподобные места и в других мифах. Дедал с Икаром сделали себе крылья и улетели по воздуху от царя Миноса? Нет, это значит: Дедал изобрел первые паруса, и непривычным к этому людям они показались крыльями. Ревнивая Медея подарила невесте Ясона плащ, намазанный волшебным зельем, и та в нем сгорела? Медея была с Кавказа, на Кавказе из земли бьет горючая нефть, ею-то и был намазан плащ, а когда невеста подошла в нем к зажженному алтарю, он воспламенился. На Крите был Лабиринт, куда заключали пленников на съедение Минотавру? Просто это была очень большая тюрьма под таким названием. Ниоба, оплакивающая своих детей, обратилась в камень? Просто она умерла, и над могилой ее поставили каменную статую. Таких объяснений набралась впоследствии целая книга — по правде сказать, довольно-таки скучная.

Всерьез ли относились греки к таким прозаическим толкованиям? Вряд ли. Просто они понимали, что если сказоч-

но-поэтическое объяснение и разумно-практическое объяснение поставить рядом, то от этого и поэзия и разум станут каждый по-своему выразительнее.

ЧЕМ КОНЧИЛАСЬ ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА?

Эта глава — только для тех, кто хорошо помнит миф о Троянской войне: от похищения Елены до падения Трои. Греки этот миф знали отлично, потому что один из его эпизодов излагался в национальной поэме греческого народа — в «Илиаде» легендарного Гомера. А сейчас вы узнаете, как один из греков с самым серьезным видом — чтобы было забавнее — доказывал, что «на самом деле» все должно было быть иначе: Елена не была похищена и Троя не была взята. Этого грека звали Дион Златоуст. Он жил уже во времена Римской империи. Он был странствующим философом и оратором: разъезжал по греческим городам и произносил речи на самые разнообразные темы. Он был умный человек и, как мы увидим, не лишенный чувства юмора. Эту свою речь он произнес перед жителями Трои. Да, Трои: на месте легендарной столицы царя Приама через несколько веков был построен греческий городок. Он был маленький и захудалый, но гордо носил свое славное имя. Итак, слово предоставляется философу Диону по прозвищу Златоуст.

«Друзья мои троянцы, человека легко обманывать, трудно учить, а еще трудней — переучивать. Гомер своим рассказом о Троянской войне обманывал человечество почти тысячу лет. Я докажу это с совершенной убедительностью; и все-таки я предчувствую, что вы не захотите мне поверить. Жаль! Когда мне не хотят верить аргосцы, это понятно: я отнимаю у их предков славу победы над Троей. Но когда мне не хотят верить троянцы, это обидно: им же должно быть приятно, что я восстанавливаю честь их предков-победителей. Что делать! Люди падки до славы — даже когда она дурная. Люди не хотят быть, но любят слыть страдальцами.

Может быть, мне скажут, что такой великий поэт, как Гомер, не мог быть обманщиком? Напротив! Гомер был слепым нищим-певцом, он бродил по Греции, пел свои песни на пирах перед греческими князьями и питался их подаянием. И, конечно, все, о чем он пел, он перетолковывал так, чтобы это было приятнее его слушателям. Да и то ведь — заметьте! — он описывает лишь один эпизод войны, от гнева Ахилла до смерти Гектора. Описать такие бредни, как похищение Елены или разорение Трои, — на это даже

у него не хватило духу. Это сделали обманутые им более поздние поэты.

Как же все было на самом деле? Давайте посмотрим на историю Троянской войны: что в ней правдоподобно, а что нет.

Нам говорят, что у спартанской царевны Елены Прекрасной было много женихов; она выбрала из них Менелая и стала его женой; но прошло несколько лет, в Спарту приехал троянский царевич Парис, обольстил ее, похитил и увез в Трою; Менелай и остальные бывшие женихи Елены двинулись походом на Трою, и так началась война. Правдоподобно ли это? Нет! Неужели чужеземец, приезжий мог так легко увлечь за собой греческую царицу? Неужели муж, отец, братья так плохо следили за Еленой, что позволили ее похитить? Неужели троянцы, увидев у своих стен греческое войско, не захотели выдать Елену, а предпочли долгую и погибельную войну? Допустим, их склонил на это Парис. Но ведь потом Парис погиб, а троянцы все-таки не выдали Елену — она стала женой его брата Деифоба. Нет, скорее всего, все было иначе. Действительно, у Елены было много женихов. И одним из этих женихов был Парис. Что было за душой у греческих вождей, сватавшихся к Елене? Клочок земли да громкое звание царя. А Парис был царевичем Трои, а Троя владела почти всей Азией, а в Азии были несметные богатства. Что же удивительного, что родители Елены предпочли всем грекам-женихам троянца Париса? Елену выдали за Париса, и он увез ее в Трою как законную жену. Греки, конечно, были недовольны: во-первых, было обидно, во-вторых, уплывало из рук богатое приданое, в-третьих, было опасно, что могучая Троя начинает вмешиваться в греческие дела. Оскорбленные женихи (конечно, каждый был оскорблен за себя; за обиду одного лишь Менелая они бы и пальцем не шевельнули!) двинулись походом на Трою и потребовали выдачи Елены. Троянцы отказались, потому что они знали: правда на их стороне и боги будут за них. Тогда началась война.

Теперь подумаем: велико ли было греческое войско под Троей? Конечно, нет: много ли народу увезешь на кораблях за тридевять земель? Это был, так сказать, небольшой десантный отряд, достаточный, чтобы грабить окрестные берега, но недостаточный, чтобы взять город. И действительно: девять лет стоят греки под Троей, но ни о каких победах и подвигах мы ничего не слышим. Вот разве что Ахилл убивает троянского мальчика-царевича Троила, когда тот выходит к ручью за водой. Хорош подвиг — могучий герой убивает мальчишку! И разве не видно из этого рассказа,

как слабы в действительности были греки: даже мальчик, царский сын, безбоязненно выходит по воду за городские ворота.

Но вот приходит десятый год войны — начинается действие «Илиады» Гомера. С чего оно начинается? Лучший греческий герой Ахилл ссорится с главным греческим вождем Агамемноном; Агамемнон созывает войско на сходку, и оказывается, что войско так и рвется бросить осаду и пуститься в обратный путь. Что ж, это вполне правдоподобно: ссоры начальников и ропот солдат — самое естественное дело на десятом году неудачной войны. Затем троянцы наступают, теснят греков, отбрасывают их к самому лагерю, потом к самым кораблям, — что ж, и это правдоподобно, даже Гомер не смог здесь извратить действительного хода событий. Правда, он старается отвлечь внимание читателя описанием поединков Менелая с Парисом, Аякса с Гектором — поединков, доблестно закончившихся вничью. Но ведь это известный прием: когда на войне дела плохи и армия отступает, то в донесениях всегда кратенько, мимоходом пишут об отступлении, а зато очень пространно — о каком-нибудь подвиге такого-то и такого-то удалого солдата.

Теперь — самое главное. Слушайте внимательно, друзья мои троянцы: я буду перечислять только факты, а вы сами судите, какое их толкование убедительней. В первый день троянского натиска Ахилл не участвует в бою: он еще сердит на Агамемнона. Но вот во второй день навстречу троянцам выходит могучий греческий герой в доспехах Ахилла. Он храбро сражается, убивает нескольких троянских воинов, а потом сходится с Гектором и гибнет. В знак победы Гектор снимает и уносит его доспехи. Кто был этот воин в доспехах Ахилла? Каждому понятно, это был сам Ахилл, это он выступил на помощь своим, и это он погиб от руки Гектора. Но грекам обидно было это признать — и вот Гомер изобретает самую фантастическую из своих выдумок. Он говорит: в доспехах был не Ахилл, а его друг Патрокл; Гектор убил Патрокла, а Ахилл на следующий день вышел на бой и отомстил за друга, убив Гектора. Но кто же поверит, чтобы Ахилл послал своего лучшего друга на верную смерть? Кто поверит, что Патрокл пал в бою, когда курганы всех героев Троянской войны до сих пор стоят недалеко от Трои, а кургана Патрокла среди них нет? Наконец, кто поверит, что сам Гефест ковал для Ахилла новые доспехи, что сама Афина помогала Ахиллу убить Гектора, а вокруг бились друг с другом остальные боги — кто за греков, кто за троянцев? Все это детские сказки!

Итак, Ахилл погиб, сраженный Гектором. После этого дела греков пошли совсем плохо. Между тем к троянцам подходили все новые и новые подкрепления: то Мемнон с эфиопами, то Пенфесилея с амазонками. (А союзники, известное дело, помогают только тем, кто побеждает: если бы троянцы терпели поражения, все бы их давно покинули!) Наконец греки попросили мира. Договорились, что в искупление несправедливой войны они поставят на берегу деревянную статую коня в дар Афине Палладе. Так и сделали, а потом греки отплыли по домам. Что же касается истории о том, будто в деревянном коне сидели лучшие греческие герои и будто отплывшие греки вернулись под покровом ночи, проникли в Трою, овладели ею и разорили ее, — все это настолько неправдоподобно, что даже не нуждается в опровержении. Греки выдумали это, чтобы не так стыдно было возвращаться на родину. А как по-вашему, когда царь Ксеркс, разбитый греками, возвращался к себе в Персию, о чем он объявил своим подданным? Он объявил, что ходил походом на заморское племя греков, разбил их войско при Фермопилах, убил их царя Леонида, разорил их столичный город Афины (и все это была святая правда!), наложил на них дань и возвращается с победою. Вот и все; персы были очень довольны.

Наконец, посмотрим, как вели себя греки и троянцы после войны. Греки отплывают от Трои наспех, в бурную пору года, не все вместе, а порознь: так бывает после поражений и раздоров. А что ждало их на родине? Агамемнон был убит, Диомед — изгнан, у Одиссея женихи разграбили все имущество, — так встречают не победителей, а побежденных. Недаром Менелай на обратном пути столько мешкал в Египте, а Одиссей — по всем концам света: они просто боялись показаться дома после бесславного поражения. А троянцы? Проходит совсем немного времени после мнимого падения Трои — и мы видим, что троянец Эней с друзьями завоевывает Италию, троянец Гелен — Эпир, троянец Антенор — Венецию. Право же, они совсем не похожи на побежденных, а скорее на победителей. И это не выдумка: во всех этих местах до сих пор стоят города, основанные, по преданию, троянскими героями, и среди этих городов — основанный потомками Энея великий Рим.

Вы не верите мне, друзья мои троянцы? Рассказ Гомера кажется вам красивее и интереснее? Что ж, я этого ожидал: выдумка всегда красивее правды. Но подумайте о том, как ужасна война, как неистовы зверства победителей, представьте себе, как Неоптолем убивает старца Приама и малютку Астианакта, как отрывают от алтаря Кассандру,

как царевну Поликсену приносят в жертву на могиле Ахилла, — и вы сами согласитесь, что куда лучше тот исход войны, который описал я, куда лучше, что греки так и не взяли Трою!»

СОСТЯЗАНИЕ ГОМЕРА С ГЕСИОДОМ

Вы помните: в Паросской хронологической таблице стояли рядом имена двух самых древних греческих поэтов — Гомера и Гесиода. Имя Гомера нам уже знакомо, а с Гесиодом мы еще не встречались. Это был такой же народный певец, как Гомер, но пел он совсем о другом: не о сказке, а о жизни. Его самая известная поэма называлась «Труды и дни». Это были стихотворные советы крестьянам: когда пахать землю, когда сеять, как хозяйничать, чтобы иметь доход и пользоваться уважением. «Малопоэтическая тема!» — скажете вы. Пожалуй; однако слушатели у Гесиода были. И однажды ему даже присудили победу в состязании с самим Гомером. Это тоже было признаком времени: время сказки начинало отходить в прошлое.

За честь зваться родиной Гомера спорили семь городов; о родине Гесиода споров не было, потому что он сам ее называет в своей поэме. Он был крестьянином из беотийской деревушки Аскры; у него был злой брат, который оттягал у Гесиода его законный участок земли; в поучение этому брату и написал Гесиод свою наставительную поэму.

Встретились два певца на большом народном празднике в городе Халкиде. Зачинщиком состязания был Гесиод. Чтоб легче одержать победу, он вызвал Гомера на сочинение стихов не героических, а поучительных:

О песнопевец Гомер, осененный мудростью свыше,
Молви, какая на свете для смертных лучшая доля?

Ответ Гомера был мрачный:

Лучшая доля для смертных — совсем на свет не родиться,
А для того, кто рожден, — скорей отойти к преисподним.

Гесиод спросил снова:

Молви, прошу, еще об одном, Гомер богоравный:
Есть ли для смертных для нас какая на свете услада?

Ответ Гомера был бодрый:

Лучшее в жизни — за полным столом, в блаженстве и в мире
Звонкие чаши вздымать и слушать веселые песни.

Гесиод сократил вопрос с двух стихов до одного:

Молви в коротких словах, чего нам молить у бессмертных?

Гомер сделал то же самое:

Сильного тела и бодрого духа: не в этом ли счастье?

Гесиод ухватился за последнее слово:

Что же у нас, кратковечных людей, называется счастьем?

Гомер ответил:

Жизнь без невзгод, услады без боли и смерть без страданий.

Увидев, что Гомер слагает поучительные стихи не хуже, чем он, Гесиод решил одолеть соперника хитростью. Он стал запевать загадочные или прямо бессмысленные строки, а Гомер должен был их подхватывать и на ходу распутывать все непонятности. Гесиод начал:

Спой нам песню, о Муза, но спой не обычную песню:
Не говори в ней о том, что бывало, что есть и что будет.

Гомер тотчас откликнулся:

Истинно так: никогда не помчатся в бегу колесничном
Смертные люди, справляя помин по бессмертному Зевсу.

Гесиод начал описание какого-то странного пира:

Сели они, чтобы вволю поесть коней быстроногих...

Гомер подхватил:

... коней быстрогоних
Мирно пустили пастись: довольно они воевали.

Гесиод продолжал:

Так пировали они целый день, ничего не вкушая...

Гомер подхватил:

... ничего не вкушая
Из своего добра: но все им давал Агамемнон.

Гесиод продолжал:

После свершили они возлиянья и выпили море...

Гомер и тут вышел из положения:

... море
Стали они бороздить на своем корабле крутобоком.

Тогда Гесиод увидел, что Гомера не возьмешь и на загадках. Оставалось одно: чтобы каждый спел перед судьями тот отрывок своей поэмы, который он считает лучшим. Гомер запел о битве:

Щит со щитом, шишак с шишаком, человек с человеком
Тесно смыкался; касалися светлыми бляхами шлемы,

Зыблясь на воинах: так аргивяне, сгустяся, стояли;
Копья змеилися, грозно колеблемы храбрых руками;
Прямо они на троян устремляясь, пылали сразиться...
Грозно кругом зачернелося ратное поле от копий,
Длинных, убийственных, частых, как лес; ослеплялися очи
Медным сияньем от выпуклых шлемов, безмерно сверкавших,
Панцирей, вновь уясненных, и круглых щитов лучезарных
Воинов, к бою сходящихся...

А Гесиод запел о посеве:

Вечным законом бессмертных положено людям трудиться:
Делай, что я говорю, за работой работу свершая!
Лишь на востоке начнут восходить семизвездьем Плеяды,
Жать поспешай; а начнут заходить — за посев принимайся.
Влажная почва ль, сухая ль — паши, передышки не зная,
С ранней вставая зарею, чтоб пышная выросла нива.
Семя землею засыпь. Для смертных порядок и точность
В жизни полезней всего, а вреднее всего беспорядок.
Склонятся так до земли наливные колосья на ниве —
Только бы добрый исход пожелал даровать Олимпиец!..

Народ рукоплескал Гомеру. Однако судьи, посовещавшись, объявили: «Победитель — Гесиод». Почему? «Потому что Гомер воспевает войну, а Гесиод — мирный труд, Гомер учит убийству и разрушению, Гесиод — созиданию и справедливости. Кто же достойней?» С этим всем пришлось согласиться. Награду получил Гесиод.

О том, как Гомер умер, рассказывали вот что. Мы видели, как он разгадал все загадочные стихи, предложенные ему Гесиодом. Гордый своей проницательностью, он приехал на островок Иос. На берегу Иоса сидели два рыбака и обирали вшей с одежды. Гомер не видел этого: он был слепой. Он сказал им:

Доброго здравья, друзья-рыбаки! Велика ли добыча?

Рыбаки ответили:

Все, что поймаем, — отбросим, чего не поймаем – уносим.

Это тоже была загадка, и Гомер не смог ее отгадать. Он попросил объяснения. А узнав, как проста была разгадка, он загрустил, затосковал и скоро от горя умер. Его могилу показывали на острове Иосе. Из-за нее даже не спорили семь городов.

О том, как умер Гесиод, рассказывали по-другому. Одержав победу, он решил обойти всю Грецию и научить народ справедливости. Это оказалось нелегким делом. Гесиод уже одряхлел, а научить народ справедливости все никак не удавалось. Тогда он взмолился богам, и боги сделали чудо: вернули ему молодость. Со свежими силами он взялся

вновь за свое доброе дело. Однако вместе с юной силой к нему вернулась юная красота, и это его погубило. Дело было опять в Халкиде, где когда-то он победил Гомера. В него влюбилась одна из самых знатных девушек города. Братья девушки возмутились. Что они сделали с сестрою, неизвестно, но Гесиода они подстерегли и убили. Тело его бросили в море, и море вынесло его на берег его родной Беотии. Надпись на его могиле сочинил другой великий беотийский поэт — Пиндар:

Дважды ты юношей был и дважды изведал кончину. —
Будь же для нас, Гесиод, мудрости вечный пример!

«ВОЙНА МЫШЕЙ И ЛЯГУШЕК»

Прощаться с прошлым можно в слезах, а можно с улыбкой. Последним прощанием греков с царством сказки была улыбка. Самым полным итогом мифологического века были поэмы Гомера, и вот на поэмы Гомера была сочинена веселая пародия под заглавием «Война мышей и лягушек», по-гречески — «Батрахомиомахия». Она вся состоит из привычных гомеровских строк и оборотов, только имена и предметы названы в них совсем не героические, потому что воюют не ахейцы с троянцами, а мыши с лягушками. Греки уверяли, что сочинил эту поэму сам Гомер в веселую минуту.

В жаркий летний полдень мышиный царевич Крохобор пил воду из болотца и встретил там лягушиного царя Вздуломорда. Тот обратился к нему с теми же словами, с какими не раз обращались к скитальцу Одиссею:

Странник, ты кто? из какого ты рода? и прибыл откуда?

Слово за слово, они познакомились, лягушка посадила мышь себе на спину и повезла показывать чудеса земноводного царства. Плыли мирно, как вдруг лягушонок увидел впереди водяную змею, пришел в ужас и нырнул в воду из-под товарища. Несчастный мышонок утонул, но успел произнести страшное проклятие:

... Грозного не избежишь ты возмездья от рати мышиной!

И действительно, мыши, узнав о смерти своего царевича, взволновались. Царь Хлебогрыз произнес трогательную речь:

Други, хотя и один я теперь претерпел от лягушек,
Лютая может беда приключиться внезапно со всяким!
Жалкий, несчастный родитель, троих сыновей я лишился:

Первого сына сгубила, свирепо похитив из норки,
Нашему роду враждебная, неукротимая кошка.
Сына второго жестокие люди на смерть натолкнули,
С необычайным искусством из дерева хитрость устроив, —
Эту пагубу нашу ловушкой они называют.
Третий же сын, был и мой он любимец и матери нежной, —
Ах, и его погубил Вздуломорд, сманивши в пучину!
Но ополчимся, друзья, и грянем в поход на лягушек,
Тело, как должно, свое облачив в боевые доспехи!..

Мыши вооружаются по всем эпическим правилам:

Прежде всего облекли они ноги и гибкие бедра,
Ловко для этого стручья зеленых бобов приспособив, —
Их же в течение ночи немало они понагрызли.
А с камышей прибережных сняв шкуру растерзанной кошки,
Мыши, ее разодравши, искусно сготовили латы.
Вместо щита был блестящий кружочек светильни, а иглы
(Всякою медью владеет Арес!) им как копья служили.
Шлемом надежным для них оказалась скорлупка ореха.
Во всеоружье таком на войну ополчились мышата.

Лягушки — тоже:

Голени прежде всего они листьями мальвы покрыли,
Крепкие панцири соорудили из свеклы зеленой,
А для щитов подобрали искусно капустные листья.
Вместо копья был тростник у них длинный и остроконечный.
Шлем же для них заменяла улитки открытой ракушка.
Так на высоком прибрежье стояли, сомкнувшись, лягушки,
Копьями все потрясали, и каждый был полон отваги.

Зевс, как в «Илиаде», созывает богов и предлагает им помогать, кто кому хочет. Но боги осторожны. «Не люблю я ни мышей, ни лягушек, — говорит Афина, — мыши грызут мои ткани и вводят в расходы на починку, а лягушки кваканьем мешают мне спать;

Да и зачем вообще помогать нам мышам иль лягушкам?
Острой стрелою, поди, и бессмертного могут поранить!
Бой у них ожесточенный, пощады и богу не будет;
Лучше, пожалуй, нам издали распрей чужой наслаждаться».

А на берегу болота уже начинается битва и уже гибнут (в безукоризненно гомеровских выражениях) первые герои:

Первым Квакун Сластолиза (тот в передних рядах подвизался)
Метким копьем поражает в самую печень по чреву:
С грохотом страшным он пал, и доспехи на нем зазвенели.
Этому вслед Норолаз поражает копьем Грязевого
Прямо в могучую грудь: отлетела от мертвого тела
Живо душа, и упавшего черная смерть осеняет...
Соне Болотному смерть причинил Блюдолиз безупречный,
Дротик свой бросив, — и тьма ему взоры навеки покрыла.
Это увидел Чесночник и, за ноги труп расторопно

Крепкой рукою схвативши, в болото Болотного бросил.
Тут за убитого друга герой Крохоед заступился —
Ранил жестоко Чесночника в печень, под самое чрево:
Тело простерлось бессильно, душа же в Аид отлетела...

Мыши одолевают. Особенно среди них отличается

... Славный герой Блюдоцап, знаменитого сын Хлебоскреба.

Сам Зевс, глядя на его подвиги, говорит, «головой сокрушенно качая»:

Боги! великое диво я вижу своими глазами —
Скоро, пожалуй, побьет и меня самого сей разбойник...

Зевс бросает с небес молнию — мыши и лягушки содрогаются, но не перестают воевать. Приходится применить другое средство:

Вдруг появились создания странные: кривоклешневы,
В латы закованы, винтообразны, с походкой кривою,
Рот — словно ножницы, кожа — как кости, а плечи лоснятся,
Станом искривлены, спины горбаты, глядят из-под груди,
Рук у них нет, зато восьмеро ног, и к тому ж двухголовы.
Раками их называют... И тотчас они начинают
Мышьи хвосты отгрызать, а с хвостами и ноги и руки.
Струсили жалкие мыши и, копья назад повернувши,
В бегство пустились постыдное... Солнце меж тем закатилось,
И однодневной войне волей Зевса конец наступает.

...А еще о петухах и кошках

Двести лет назад вы прочли бы в учебниках, что «Войну мышей и лягушек» написал, конечно, сам Гомер. Сто лет назад вы прочли бы, что ее сочинили на два-три века позже, во время греко-персидских войн (сухопутные персы, земноводные греки — чем не повод для пародии?). Теперь вы прочтете, что она сочинена еще двумя веками позже, в александрийскую эпоху, когда люди уже научились думать и писать не по-гомеровски и посмеиваться над гомеровской манерой стало нетрудно. А впервые усомнились ученые в авторстве Гомера вот почему. В «Войне мышей и лягушек» богиня Афина жалуется, что кваканье лягушек не дает ей спать до петушьего пения. А петухи и куры появились в Греции только через двести лет после Гомера: когда Гомер описывает богатые дома и дворы, там еще нет кур, а есть только гуси. Разведение кур пришло из Азии, и курица еще долго называлась «персидской птицей». А домашние кошки, приученные ловить мышей, появились в Европе совсем поздно, уже в римскую эпоху. Кошки, о которых упоминается в «Войне мышей и лягушек», — только дикие (лесные или камышовые) и очень хищные.

СЛОВАРЬ I

Все начинается с азбуки

В Паросской хронологической таблице было сказано: «Царь Кадм пришел из Финикии и научил греков письменности». Здесь миф сохранил память о действительности: в самом деле, греки заимствовали и очертания, и названия своих букв у финикийцев. А от греков их переняли, по-разному видоизменив, с одной стороны, римляне с их латинским языком (и за ними все народы новой Европы), а с другой — славяне, в том числе мы.

С буквами греческой азбуки можно встретиться и в математике, и в физике, и в астрономии. Поэтому вот вам весь греческий алфавит: двадцать четыре буквы плюс три добавочных. Слева написаны названия этих букв в финикийском языке и значения этих названий.

					лат.	*рус.*
алеф (бык)	Αα	альфа	*а*	1	A	А
бет (дом)	Ββ	бета (вита)	*б→в*	2	B	В
гимел (верблюд)	Γγ	гамма	*г*	3	C,G	Г
далет (дверь)	Δδ	дельта	*д*	4	D	Д
хэ ———	Εε	эпсилон	*э краткое*	5	E	Е
———	ϛ	(стигма)	———	6		
зайн (оружие)	Ζζ	дзета (зита)	*дз→з*	7	Z	З
хет (ограда)	Ηη	эта (ита)	*э долгое→и*	8	H	И
тэт (груз)	Θϑ	тэта (фита)	*$т^х$ →англ. th*	9		
йод (рука)	Ιι	иота	*и*	10	I	
каф (ладонь)	Κϰ	каппа	*к*	20	K	К
ламед (стрекало)	Λλ	ламбда	*л*	30	L	Л
мем (вода)	Μμ	мю (ми)	*м*	40	M	М
нун (рыба)	Νν	ню (ни)	*н*	50	N	Н
самех (подпорка)	Ξξ	кси	*кс*	60		
айн (глаз)	Οο	омикрон	*о краткое*	70	O	О
пе (рот)	Ππ	пи	*п*	80	P	П
коф (обезьяна)	Ϙ	(коппа)	———	90	Q	
реш (голова)	Ρϱ	ро	*р*	100	R	Р
шин (зуб)	Σς	сигма	*с*	200	S	С
тав (крест)	Ττ	тау	*т*	300	T	Т
вав (гвоздь)	Υυ	ипсилон	*нем. ü, фр. u→и*	400	Y	У

------	Φφ	фи	$п^x \to ф$	500		Ф
------	Χχ	хи	$к^x \to х$	600	X	X
------	Ψψ	пси	*пс*	700		
------	Ωω	омега	*о долгое*	800		
цадэ ---	ϡ	(сампи)	---	900		

В греческом языке было легкое придыхание, вроде *h* в начале английского *house* или немецкого *Haus* (^{x}юдор — вода), и были три придыхательных согласных звука, вроде т^x, п^x и к^x. Но что значат эти стрелки и что значат эти цифры?

Стрелки значат, что некоторые буквы в разные эпохи произносились по-разному: например, *бета* в древности произносилась *б*, а в средние века стала произноситься *в* (и называться *вита*; отсюда наше слово «алфа-вит»). У этих перемен были некоторые неожиданные последствия. В старину в русском алфавите было целых три буквы для звука *и* — «И», «И с точкой» и «ижица» (писалась V); почему? Потому что русский алфавит вышел из старославянского, а старославянский был создан в средние века по образцу греческого, а в греческом тогда для *и* было как раз три буквы: *эта* (*ита*), *иота* и *ипсилон*. В русском алфавите было две буквы для звука *ф*: «Ф» и «фита»; почему? По тому же самому: русская буква «Ф» передавала греческое *фи*, а русская «фита» — греческую *тэту*. Одни и те же имена перешли в латинский язык (и оттуда в европейские), когда в них звучали еще древние звуки, а в славянский (и оттуда в русский), когда эти звуки стали звучать по-новому. Поэтому одно и то же имя по-немецки или по-французски звучит *Теодор*, а по-русски *Феодор*, *Федор*; по-итальянски *Базилио*, а по-русски *Василий*.

И не только имена. Можно сказать *киник*, и тогда это будет означать философа одной греческой философской школы; можно сказать *циник*, и тогда это будет означать человека умного, но грубого и не желающего знать приличий. Почему так переосмыслилось это слово, вы прочтете в этой книге дальше.

Поэтому на всякий случай помните: на самом деле древнегреческие названия часто звучали совсем не так, как их произносим мы. Мы говорим *Фивы*, а грек говорил *Т^{x}эбай*; мы говорим *Афины*, грек говорил *Ат^{x}энай*; мы говорим *Сиракузы*, грек говорил *Сюракосай*. Впрочем, с названиями это дело обычное: точно так мы называем город *Пари* Парижем, *Рома* — Римом, *Ландон* — Лондоном, а *Вин* — Веной.

А цифры значат вот что. У греков не было особых знаков для цифр: числа обозначались буквами. Чтобы написать 1994, писали A′ϡϘD: 1000+900+90+4. От 1 до 999 хватало букв алфавита (правда, к ним пришлось добавить три старинные и малоупотребительные; на таблице они в скобках), тысячу обозначали A′, десять тысяч I′, а с очень большими числами греки почти не имели

дела. Поэтому слова и числа выглядели очень похоже. Буквы XIA можно было прочитать как слово *хиа* (женщина с острова Хиоса), и можно — как число: 600+10+1=611. Такой игрой в числовые значения слов увлекались еще много веков спустя после того, как перешли к более удобной записи чисел. Так, у Льва Толстого в «Войне и мире» Пьер Безухов, обнаружив, что сумма букв-чисел в его имени и в имени Наполеона одна и та же, делает из этого вывод, что именно ему предназначено судьбой убить Наполеона.

И не удивляйтесь, что одни и те же знаки «Н», «Р», «Х» в русской и латинской азбуке значат разные звуки. Русский алфавит восходит к восточногреческому, а латинский к западногреческому, а между ними были небольшие отличия. Что же касается букв «П» и «Р», то просто они первоначально писались Г и Ꝛ, и потом в одном алфавите упростились в «П» и «Р», а в другом в «Р» и «R».

Заодно с буквами вот вам кое-что и о числах. Корень *одно-* будет ***моно-***, *перво-* — ***прото-***, *дву-* — ***ди-***, *трех-* — ***три-***, *четырех-* — ***тетра***, *пяти-* — ***пента***, *шести-* — ***гекса***, *семи-* — ***гепта***, *восьми-* — ***окто-***; *десяти-* — ***дека***, *сто-* — ***гекато-***, *тысяча* — ***хили-***, *десять тысяч* — ***мириа-***. Многие из этих корней вам знакомы: *мон-арх*, едино-властник; *прото-н*, перво-частица; *ди-лемма*, выбор между двумя решениями; *три-гоно-метрия*, наука о соотношении сторон тре-угольников; *тетра-дь*, то есть попросту «четвертка», лист, сложенный вчетверо; *пента-гон*, «пятиугольник», так называется здание американского военного министерства, построенное в форме пяти-угольника. *Гекато-* исказилось в *гект-* и вошло в слово «гектар» (сто соток); *хили-* исказилось в *кило-* и присутствует в таких употребительных словах, как «килограмм» и «километр». А *мириада* (сто сотен) стало выражением неопределенно большого числа: «на темном небе лучились мириады звезд...»

Часть вторая

ВЕК СЕМИ МУДРЕЦОВ, или Греция открывает закон

Разрастается доблесть,
Как дерево, мечущее зеленые ветви,
Вознося во влажный эфир
Меж мудрыми и праведными мужами...
Что сказано хорошо,
То звучит, не умирая,
И ложится на всеродящую землю и море
Светлых дел
Негаснущий луч.

П и н д а р



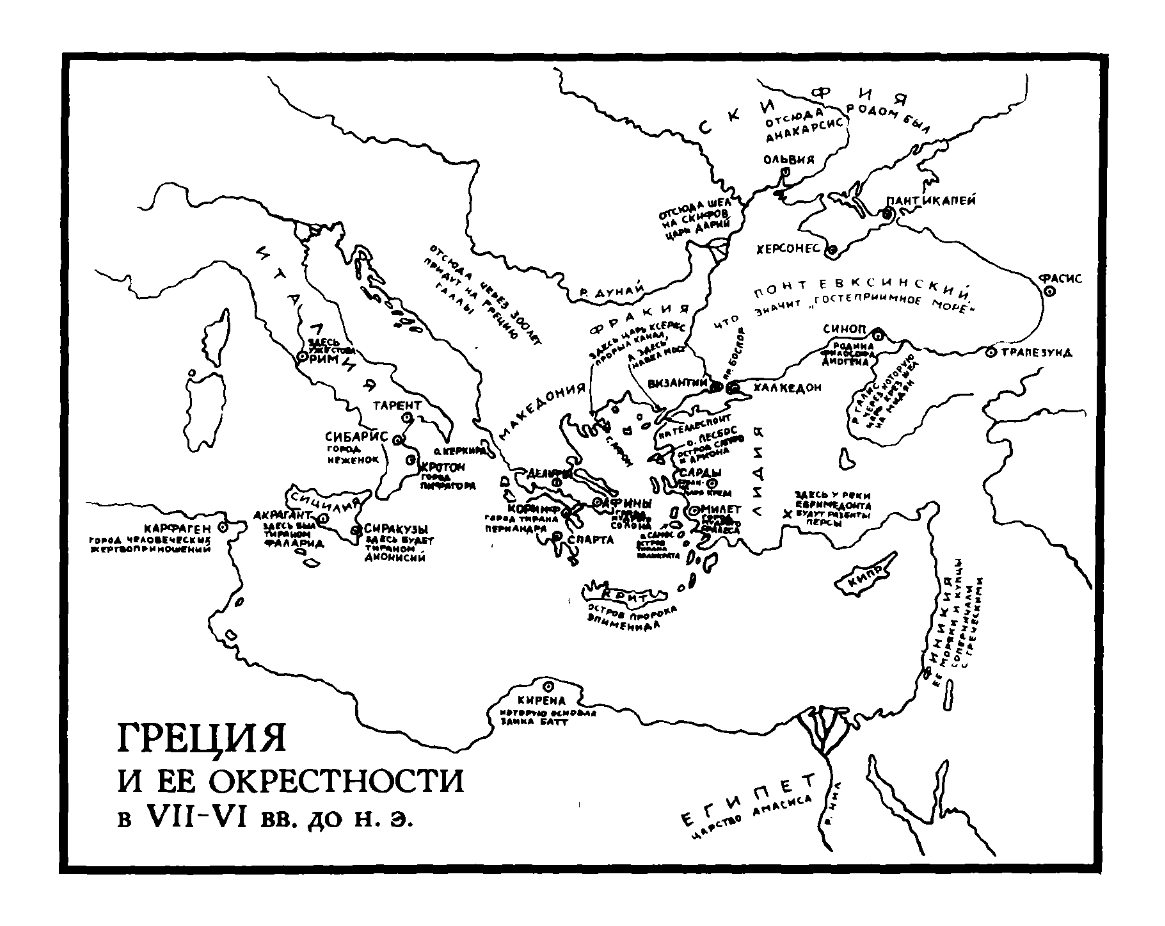
МИР-СЕМЕЙСТВО И МИР-ГОСУДАРСТВО

Древнейшие греки представляли себе мир и мировой порядок очень просто. Мир для них был похож на удобное родовое хозяйство, которое сообща вела большая семья олимпийских богов с ее домочадцами — низшими божествами, вела собственноручно, заботливо и деловито. Каждый бог успевал всюду поспеть, каждый знал свое дело, но в случае необходимости мог исполнить и чужое; каждый, завидев непорядок, тотчас вмешивался сам и восстанавливал положение. Случались недоразумения и ссоры, как во всяком доме, но быстро улаживались. О законах никто не думал: когда вы живете в семье, разве вам нужны законы? Здесь все кажется простым, привычным и само собой разумеющимся: и что кому делать, и кому кого слушаться.

Время шло, жизнь становилась сложнее. Люди жили уже не родовыми поселками, а городами и государствами, общих дел стало гораздо больше, споров и несогласий вокруг этих дел — тоже. Раньше все дела были привычные, повторяющиеся из поколения в поколение; теперь все чаще приходилось сталкиваться с делами новыми и самим придумывать, как с ними сообща управляться. В дополнение к старым обычаям понадобились новые законы. Но если государство не может держаться без законов, то тем более не может держаться без законов огромный мир: никакому олимпийскому семейству сразу всюду не поспеть, всего не решить и обо всем не договориться. Очевидно, и в мире действуют какие-то общие законы, которым подчиняются и боги, и звезды, и земля, и люди. Каковы же они?

С этих пор мысль о всеобщих законах, управляющих и природой, и человеческим обществом, овладела умом грека и уже не покидала его.

Законы природы были предметом теоретическим, до них приходилось доходить умом. Законы общества приходилось осваивать практически: их нужно было составлять самим. И здесь начиналась жестокая борьба. Знать говорила: «Мы потомки богов и героев, наши деды и прадеды


ГРЕЦИЯ
И ЕЕ ОКРЕСТНОСТИ
в VII–VI вв. до н. э.
СКИФИЯ
ОТСЮДА РОДОМ БЫЛ АНАХАРСИС
ОЛЬВИЯ
ОТСЮДА ШЕЛ НА СКИФОВ ЦАРЬ ДАРИЙ
ПАНТИКАПЕЙ
ХЕРСОНЕС
Р. ДУНАЙ
ПОНТ ЕВКСИНСКИЙ, ЧТО ЗНАЧИТ „ГОСТЕПРИИМНОЕ МОРЕ"
ФАСИС
ФРАКИЯ
ЗДЕСЬ ЦАРЬ КСЕРКС ПРОРЫЛ КАНАЛ,
А ЗДЕСЬ НАВЕЛ МОСТ
ПР. БОСПОР
ВИЗАНТИЙ
ХАЛКЕДОН
СИНОП
РОДИНА ФИЛОСОФА ДИОГЕНА
ТРАПЕЗУНД
Р. ГАЛИС, ЧЕРЕЗ КОТОРУЮ ЦАРЬ КРЕЗ ШЕЛ НА МИДЯН
ИТАЛИЯ
ОТСЮДА ЧЕРЕЗ 300 ЛЕТ ПРИДУТ НА ГРЕЦИЮ ГАЛЛЫ
МАКЕДОНИЯ
ЗДЕСЬ УЖЕ СТОИТ РИМ
ТАРЕНТ
СИБАРИС
ГОРОД НЕЖЕНОК
О. КЕРКИРА
КРОТОН
ГОРОД ПИФАГОРА
ДЕЛЬФЫ
Г. АФОН
ПР. ГЕЛЛЕСПОНТ
О. ЛЕСБОС
ОСТРОВ САПФО И АРИОНА
САРДЫ
ЛИДИЯ
АФИНЫ
ГОРОД МУДРОГО СОЛОНА
КОРИНФ
ГОРОД ТИРАНА ПЕРИАНДРА
СПАРТА
МИЛЕТ
ГОРОД МУДРОГО ФАЛЕСА
О. САМОС
ОСТРОВ ТИРАНА ПОЛИКРАТА
ЗДЕСЬ У РЕКИ ЕВРИМЕДОНТА БУДУТ РАЗБИТЫ ПЕРСЫ
СИЦИЛИЯ
АКРАГАНТ
ЗДЕСЬ БЫЛ ТИРАНОМ ФАЛАРИД
СИРАКУЗЫ
ЗДЕСЬ БУДЕТ ТИРАНОМ ДИОНИСИЙ
КАРФАГЕН
ГОРОД ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ
КРИТ
ОСТРОВ ПРОРОКА ЭПИМЕНИДА
КИПР
ФИНИКИЯ
ЕЕ МОРЯКИ И КУПЦЫ СОПЕРНИЧАЛИ С ГРЕЧЕСКИМИ
КИРЕНА
КОТОРУЮ ОСНОВАЛ ЗАИКА БАТТ
ЕГИПЕТ
ЦАРСТВО АМАСИСА
Р. НИЛ

правили этим государством и передали свой опыт нам, мы богаты, крепки телом, даже грамотны — по справедливости власть должна принадлежать нам». Народ говорил: «Нас много, на войне наш строй спасает государство, в мирное время наш труд кормит государство, без нас знатные правители бессильны — по справедливости власть должна принадлежать нам». Справедливость спорила со справедливостью: решать спор должен был закон.

Пока спор происходил в старых городах, борющихся сдерживала старая сила: обычай, ссылка на заветы отцов. Но когда воздвигались новые города на новых местах, то здесь обычаев не было. Старались, конечно, сохранить и на новых местах обычаи тех старых мест, откуда явились основатели и поселенцы. Но их нужно было согласовать, нужно было отбросить что-то устарелое и добавить что-то непредусмотренное; не приложив ума, с этим было не справиться. Так появились первые записанные и — что важнее — первые продуманные законы.

А новых городов на новых местах именно в эту пору строилось очень много. Это были колонии.

КОЛОНИИ

Греция — каменистая бесхлебная страна, край пастухов и рыбаков. Плодородных долин было мало. Перенаселение грозило ей голодом. Спасаясь от голода, Греция искала новых земель для заселения. Мы видели, как были заселены ближные заморские земли — малоазиатский берег Эгейского моря. Теперь пришел черед и для дальних заморских земель.

Есть старинное русское слово «выселки» — когда часть жителей селения снимается с места, перебирается на новое и там ставит отдельное селение. Именно таковы были новые заморские города греков. Мы их называем латинским словом «колонии». Но не надо понимать его в современном смысле слова: «зависимые и эксплуатируемые земли». Новые города были независимы от старых, откуда выселились их жители, и нимало не эксплуатировались ими. Это было отношение взрослых детей к родителям: независимое, но с почтением. Государство, основавшее колонию, так и называлось по-гречески: «метрополия», то есть «город-мать».

У греческой колонизации было три направления. Первое — на запад: там были заселены берега Южной Италии

5 Зак. 4463.

и Сицилии (где вырос город Сиракузы), а передовые поселения продвинулись еще дальше. Второе — на север: через Мраморное море в Черное море и по его берегам, вплоть до нынешних Ольвии, Херсонеса, Керчи и Риони. Третье — на юг: через Средиземное море, в Кирену и окрестные места. Все колонии были приморские. «Греки живут вокруг моря, как лягушки вокруг болота», — говорил философ Платон. Отправляясь в путь, переселенцы обращались к дельфийскому Аполлону за советом, куда ехать, зажигали факел от священного огня «города-матери», садились на суда с женами и детьми и плыли к чужим берегам. Там договорами или силой отбирали у местных племен кусок прибрежной земли, ставили храмы, возводили дома и засевали поля.

Иногда целые города бросали старые места и переправлялись на новые. Когда персы осадили ионийский город Фокею, то фокейцы всем народом сели на корабли, бросили в море кусок железа, сказали: «Когда это железо всплывет из моря, тогда и мы вернемся под власть персов!» — и отплыли в западные моря.

Иногда отплывал не целый народ, а целое поколение. Тарент, самый большой греческий город в Италии, был основан так. Шла первая Мессенская война. Десять лет спартанцы осаждали мессенцев на горе Ифоме, поклявшись не возвращаться в Спарту до победного конца; десять лет спартанки в Спарте ждали мужей и не рождали детей. Спартанцы забеспокоились, что останутся без потомства, и позволили женам взять в наложники илотов. Родились дети, выросли, потребовали гражданских прав, но война уже кончилась, и им отказали. Тогда они всем поколением выселились в Италию и основали там Тарент. Во главе переселенцев был сын того спартанца, который подал совет завести детей от илотов.

Потомок аргонавтов Батт с острова Феры был заикою. Он отправился в Дельфы спросить, как ему избавиться от заикания. Оракул сказал: «Выведи поселение в Ливию». Батт удивился, потому что спрашивал он совсем не об этом, но послушался оракула. Греки высадились на песчаном ливийском берегу, и Батт вышел в степь вознести молитву Аполлону. Вдруг он услышал страшное рычание: перед ним стоял лев. Батт взмолился к Аполлону, чтобы бог охранил его, безоружного, и от потрясения молитва слетела с его губ внятная и незаикающаяся. Так Батт избавился от недуга, а в Ливии была основана Кирена.

Новые города росли и богатели. Из колоний везли в Грецию зерно, металлы, рабов, из Греции в колонии — ви-

но, оливковое масло, изделия кузнецов и гончаров. Греческие города в Италии величали себя «Великой Грецией», и о привольной жизни в них рассказывались чудеса. В Таренте было больше праздников в году, чем будней; тарентинцы говорили: «Мы одни живем по-настоящему, а все другие лишь учатся». В сицилийском Акраганте дома и обеды были так роскошны, что философ Эмпедокл сказал: «Здешние люди строятся так, словно им жить вечно, а едят так, словно им завтра умереть». А в Сибарисе были такие богачи, которые спали на розовых лепестках и еще жаловались, что им жестко. Слово «сибарит» с тех пор стало означать лентяя и неженку:

Червонцев я себе повытаскаю груду —
Так завтра же богат я буду
И заживу, как сибарит.
(И. А. Крылов, «Бедный богач»)

ЗАКОНЫ

Здесь, в новых городах, раньше всего явились писаные законы. Для городов Италии и Сицилии их писали мудрецы Залевк и Харонд, такие полусказочные, что сами греки их часто путали. Потом уже появились в Афинах законы Дракона, в Митиленах законы Питтака и т.д.

Греки помнили: что имеет начало, то имеет и конец. Старинные неписаные законы не имели начала, они восходили к незапамятным временам и потому соблюдались. Законодатели боялись, что к новым законам такого уважения не будет, что их станут менять и отменять. А иметь меняющиеся законы — это все равно что не иметь никаких. Поэтому прежде всего они заботились о нерушимости своих предписаний.

Кто захочет внести в закон хоть какое-нибудь изменение, постановили Залевк и Харонд, тот должен явиться в народное собрание с петлей на шее и сделать свое предложение. Если его отвергнут — он должен тут же на месте удавиться. Если при разбирательстве какого-нибудь дела одна сторона будет толковать закон так, а другая иначе, то оба спорящих должны явиться в суд с веревками на шее, и чье толкование будет отвергнуто, тот должен на месте удавиться.

Говорят, что эти меры помогли, и за триста лет в законы Залевка и Харонда внесены были только два улучшения. Первое было такое. В первоначальном законе говорилось: «Если кто кому выколет глаз, то сам должен ли-

шится глаза»; к этому было добавлено: «...а если выколет одноглазому, то должен лишиться обоих». Все согласились, что это справедливо. Второе было такое. В первоначальном законе говорилось: «Кто развелся бездетным, тому дозволяется взять новую жену»; к этому было добавлено: «...но не моложе прежней». С этим тоже все согласились.

Если же от первого брака у человека были дети, то второй брак ему не разрешался совсем. У Харонда об этом сказано: «Кто в первом браке сумел быть счастлив, тот не порти себе счастья; кто не сумел, тот не повторяй несчастья».

Закон требовал слушаться всех, кто имел право приказывать. Если врач запрещал больному пить вино, а больной пил и выздоравливал, больного казнили за неповиновение врачу. Потому что, кто не слушается приказов, тот не будет слушаться и законов.

За клевету, за трусость, за роскошь наказывали стыдом. Кто уличен в клевете, тот должен носить, не снимая, миртовый венок, чтобы все видели, с кем имеют дело. Кто уличен в трусости, тот должен три дня сидеть на площади в женском платье. А о роскоши закон гласил: «Тонкие ткани и золотые украшения лицам хорошего поведения носить воспрещается, лицам дурного поведения — разрешается».

Не все законы были такие мягкие. В Афинах первые писаные законы составил Дракон: в них за все проступки, малые и большие, назначалось только одно наказание — смерть. Его спрашивали, почему так строго. Он отвечал: «Ни меньшего, ни большего наказания я придумать не мог». Потомки говорили: «Драконовы законы писаны не чернилами, а кровью».

Встречались, конечно, и такие случаи, которые точно под закон не подходили. Законодателей спрашивали: «Чем пожертвовать: законом или человеком?» Законодатели отвечали: «Законом. Лучше, чтобы остался безнаказанным виновный, чем оказался наказанным невинный: первое — ошибка, второе — грех».

Вообще же законы следовало соблюдать во что бы то ни стало. «Лучше дурные законы, которые соблюдаются, чем хорошие, которые не соблюдаются», — говорили греки. Оба древнейших законодателя показали это своим примером. У Залевка сын совершил преступление, за которое по закону полагалось выколоть оба глаза. Залевк не стал его оправдывать и только попросил суд, чтобы один глаз выкололи у сына, а второй — у него самого. Что сказали на

это судьи, мы не знаем. Харонд запретил в законе появляться в народном собрании при оружии, а сам однажды, преследуя врага, вбежал в собрание с мечом на боку. «Ты нарушаешь собственный закон, Харонд!» — крикнули ему. «Нет, подтверждаю!» — ответил он, выхватил меч и пронзил себе грудь.

СОЛОН-МИРОТВОРЕЦ

Самым мудрым из законодателей этого времени считался афинянин Солон.

Он был не только мудрец, но и воин и поэт. Первую свою славу он приобрел вот как. Афины вели войну с Мегарою за остров Саламин. Афиняне потерпели такое поражение, что в отчаянии собрались и постановили: от Саламина отказаться навсегда, а если кто вновь заговорит о войне за Саламин, того казнить смертью. Но Солон придумал, как заговорить о запретном. Он притворился сумасшедшим, который не может отвечать за свои слова. Всклокоченный, в рваном плаще, он выбежал на площадь, вскочил на камень, с которого выступали глашатаи, и заговорил с народом стихами. В стихах говорилось:

... Лучше бы мне не в Афинах родиться, а в месте безвестном,
Чтобы не слышать укор: «Сдал он врагам Саламин!»
Если ж афиняне мы, то вперед — и на остров желанный!
Смело на бой, чтобы смыть с родины черный позор!

Услышав эти стихи, народ словно сам обезумел: люди схватили оружие, бросились в поход, одержали победу и заключили мир. Доводы, которыми помогла им получить Саламин «сказка на каждом шагу», мы уже пересказали в другом месте.

Когда в Афинах внутренние раздоры дошли до предела, Солон был избран архонтом для составления новых законов. Он сделал, говорят, очень многое. Он запретил в Афинах долговое рабство и вернул кабальным должникам отнятые у них наделы. Он допустил к участию в народном собрании не только богатых «всадников» (у которых хватало средств на боевого коня), не только зажиточных «латников» (у которых хватало средств на тяжелый доспех для пешего строя), но и неимущих «поденщиков», которых было очень много. Для предварительного рассмотрения дел он поставил во главе народного собрания «совет четырехсот». Солон говорил, что новый совет и старый ареопаг — это два якоря государственного корабля, на которых он вдвое крепче будет держаться в бурю.

Но греки гораздо лучше запомнили не эти, а другие законы Солона — те, которые служили воспитанию гражданских нравов.

До Солона был закон: «Кто терпит обиду, тот может жаловаться в суд». Солон его изменил: «Кто видит обиду, тот может жаловаться в суд». Это учило граждан чувствовать себя хозяевами своего государства — заботиться не только о себе, но и о других.

До Солона считалось, что междоусобные раздоры — это зло, и сам Солон так считал. Однако он издал закон: «Кто во время междоусобных раздоров не примкнет ни к одной из сторон, тот лишается гражданских прав». Это учило граждан быть хозяевами своего государства не только в мыслях, но и на деле: где все привыкли быть недовольными, сложа руки, там властью легко овладеет жестокий тиран.

Власти не любили, когда народ в разговорах обсуждал и осуждал их действия, а народ не любил, когда ему это запрещали. Солон издал закон: «Бранить живых людей запрещается в правительственных зданиях, в суде, в храмах, в торжественных процессиях» (а разрешается, стало быть, и на улице, и на площади, и дома). И добавил: «Бранить же мертвых запрещается везде» — потому что мертвые бессильны защищаться.

Законы Солона учили трудолюбию. Был закон: «Кто не может указать, на какие средства он живет, тот лишается гражданских прав». Говорили, что этот закон Солон заимствовал у египтян. Был другой закон: «Если отец не научил сына никакому делу, то такого отца такой сын не обязан содержать в старости». Этот закон Солон ввел сам.

Законы учили уважать трудолюбие даже в животных. Запрещалось убивать пахотного быка, «потому что, — говорилось в законе, — он товарищ человеку по работе».

Солон больше всего гордился тем, что не дал своими законами перевеса ни богатым и ни бедным, ни знатным и ни безродным, ни землевладельцам и ни торговцам:

Я меж народом и знатью, щитом прикрывая обоих,
Стал, — и ни тем ни другим кривдой не дал побеждать.

Конечно, это ему только казалось: там, где он видел справедливое равновесие, мы бы вряд ли это увидели. Но его убеждение, что главное в мире — закон и главное в законе — чувство меры, осталось грекам близко во все века.

СЕМЬ МУДРЕЦОВ

На стенах дельфийского храма было написано семь коротких изречений — уроков жизненной мудрости. Они гласили: «Познай себя самого»; «Ничего сверх меры»; «Мера — важнее всего»; «Всему свое время»; «Главное в жизни — конец»; «В многолюдстве нет добра»; «Ручайся только за себя».

Греки говорили, что оставили их семь мудрецов — семь политиков и законодателей того времени, о котором мы рассказываем. Это были: Фалес Милетский, Биант Приенский, Питтак Митиленский, Клеобул Линдский, Периандр Коринфский, Хилон Спартанский, Солон Афинский. Впрочем, иногда в числе семерых называли и других мудрецов, иногда приписывали им и другие изречения. Стихотворение неизвестного поэта говорит об этом так:

Семь мудрецов называю: их родину, имя, реченье.
«Мера важнее всего!» — Клеобул говаривал Линдский;
В Спарте — «Познай себя самого!» — проповедовал Хилон;
«Сдерживай гнев», — увещал Периандр, уроженец Коринфа;
«Лишку ни в чем», — поговорка была митиленца Питтака;
«Жизни конец наблюдай», — повторялось Солоном Афинским;
«Худших везде большинство», — говорилось Биантом Приенским;
«Ни за кого не ручайся», — Фалеса Милетского слово.

Говорили, что однажды рыбаки на острове Кос вытащили из моря великолепный золотой треножник. Оракул велел отдать его самому мудрому человеку в Греции. Его отнесли Фалесу. Фалес сказал: «Я не самый мудрый» — и отослал треножник Бианту в Приену. Биант переслал его Питтаку, Питтак — Клеобулу, Клеобул — Периандру, Периандр — Хилону, Хилон — Солону, Солон — обратно Фалесу. Тогда Фалес отослал его в Дельфы с надписью: «Аполлону посвящает этот треножник Фалес, дважды признанный мудрейшим среди эллинов».

Над Фалесом смеялись: «Он не может справиться с простыми земными заботами и оттого притворяется, что занят сложными небесными!» Чтобы доказать, что это не так, Фалес рассчитал по приметам, когда будет большой урожай на оливки, скупил заранее все маслодавильни в округе, и, когда урожай настал и маслодавильни понадобились всем, он нажил на этом много денег. «Видите, — сказал он, — разбогатеть философу легко, но неинтересно».

Биант с другими горожанами уходил из взятой неприятелем Приены. Каждый тащил с собою все, что мог, один Биант шел налегке. «Где твое добро?» — спросили его. «Все мое — во мне», — отвечал Биант.

Питтак справедливо правил Митиленами десять лет, потом сложил власть. Народ наградил его большим земельным наделом. Питтак принял только половину и сказал: «Половина больше целого».

Клеобул и его дочь Клеобулина первыми в Греции стали сочинять загадки. Вот одна из них, ее разгадает всякий:

Есть на свете отец, двенадцать сынов ему служат;
Каждый из них родил дочерей два раза по тридцать;
Черные сестры и белые сестры, друг с другом несхожи;
Все умирают одна за другой, и все же бессмертны.

Хилон говорил: «Лучше решать спор двух врагов, чем двух друзей: здесь сделаешь одного из врагов другом, там — одного из друзей врагом». Кто-то похвалился: «У меня нет врагов». — «Значит, нет и друзей», — сказал Хилон.

Солона спросили, почему он не установил для афинян закона против отцеубийства. «Чтобы он не был нужен», — ответил Солон.

Кроме того, семерым мудрецам, вместе и порознь, приписывали и другие уроки жизненной мудрости. Вот некоторые их советы:

Не делай того, за что бранишь других.
О мертвых говори или хорошо, или ничего.
Чем ты сильнее, тем будь добрее.
Пусть язык не опережает мысли.
Не спеши решать, спеши выполнять решенное.
У друзей все общее.
Кто выходит из дома, спроси: зачем? Кто возвращается, спроси: с чем?
Не чванься в счастье, не унижайся в несчастье.
Суди о словах по делам, а не о делах по словам.

Вы скажете, что это и так все знают? Да, но все ли так и поступают?

Впрочем, ведь и сами мудрецы, когда их спросили, что на свете труднее всего и что легче всего, ответили: «Труднее всего — познать самого себя, а легче всего — давать советы другим».

МУДРЕЦЫ ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ

У писателя Плутарха есть сочинение под заглавием «Пир семи мудрецов». Там описывается, как однажды Периандр, управлявший Коринфом, созвал у себя всех мудрецов и других ученых мужей, как они угощались и вели между собою умные речи.

Среди гостей были двое, с которыми мы скоро познакомимся поближе: скиф Анахарсис и фригиец Эзоп — дикарь-мудрец и раб-мудрец. Грекам приятно было оттенять высокую мудрость своих знатных законодателей простым здравым смыслом пришельца из варваров и выходца из народа.

Повод для беседы был такой. Эфиопский царь и египетский царь спорили за одну пограничную область; и вот, чтобы не воевать, они решили состязаться, задавая друг другу загадки. Египтянин задал девять вопросов: что всего старше, что всего прекрасней, что всего больше, что всего разумней, что всего неотъемлемей, что всего полезнее, что всего вреднее, что всего сильнее и что всего легче? Эфиоп ответил: «Старше всего время; прекраснее всего свет; больше всего мироздание; разумнее всего истина; неотъемлемей всего смерть; полезнее всего бог; вреднее всего демон; сильнее всего удача; легче всего сладость». Периандр спросил гостей: «Удачные это ответы или нет?»

Мудрецы порассуждали и решили — не очень удачные. Нельзя сказать, что время всего старше: ведь время есть и прошедшее, и настоящее, и будущее, причем будущее, несомненно, моложе настоящего. Нельзя сказать, что удача всего сильнее: ведь то, что крепко и сильно, не бывает так изменчиво. Нельзя даже сказать, что смерть всего неотъемлемей: в тех, кто жив, смерти нет.

«А как же ответить лучше?» И Фалес Милетский ответил так: «Старше всего — бог, ибо он вечен. Прекраснее всего — мир, ибо в нем все согласованно и стройно. Больше всего — пространство, ибо в нем мир, а в мире все остальное. Разумнее всего — время, ибо оно всему учит. Неотъемлемей всего — надежда, ибо она есть и у тех, у кого больше ничего нет. Полезнее всего — добродетель: с нею все на свете хорошо. Вреднее всего — порок: с ним все на свете плохо. Сильнее всего — неизбежность: она всем властвует. Легче всего — мера: без меры даже наслаждение бывает в тягость».

Ответы понравились; тогда Периандр попросил каждого ответить на три вопроса: каким должен быть дом, каким должен быть город и каким должен быть правитель?

На вопрос, какой дом — лучший, Солон ответил: «Тот, где добро приобретается без несправедливости, сохраняется без недоверчивости и тратится без раскаянья». Питтак ответил: «Где нет ни потребности в излишнем, ни нехватки в необходимом». Хилон ответил: «Где хозяин — как мудрый царь». Биант ответил: «Где хозяин ведет себя по доброй воле точно так же, как вне дома — по воле зако-

на». Клеобул ответил: «Где хозяина больше любят, чем боятся». А Фалес ответил: «Где хозяину не о чем заботиться». Что сказал скиф Анахарсис, вы узнаете на следующей странице.

И Периандр, послушав, сказал: «Видно, недаром говорят: кто-то Ликургу посоветовал устроить в Спарте народовластие, а Ликург ответил: «Сперва сумей устроить народовластие в собственном доме!»

На вопрос, какой город — лучший, Солон ответил: «Тот, где обидчика требует к ответу не только обиженный, но и необиженный». Фалес ответил: «Где нет ни слишком бедных, ни слишком богатых». Анахарсис ответил: «Где лучшее воздается добродетели, худшее — пороку, а все остальное — поровну». Питтак ответил: «Где дурным людям нельзя править, а хорошим нельзя не править». Биант ответил: «Где закона боятся больше, чем правителя». Клеобул ответил: «Где порицания боятся больше, чем закона». А Хилон ответил: «Где больше слушают законы, чем ораторов».

И Периандр, послушав, сказал: «Видимо, значит это, что народовластие тем лучше, чем больше похоже оно на единовластие!»

Наконец, на вопрос, какой правитель — лучший, Фалес ответил: «Тот, который сможет дожить до старости и умереть своей смертью». Хилон ответил: «Тот, который думает не о смертном, а о бессмертном». Питтак ответил: «Тот, кто приучит подданных бояться не его, а за него». Анахарсис ответил: «Кто всех более разумен». Клеобул ответил: «Кто всех менее легковерен». Биант ответил: «Кто дает пример покорности законам». А Солон ответил: «Кто сам отречется от своего единовластия».

И Периандр, послушав, сказал: «Видимо, значит это, что и единовластие тем лучше, чем больше похожа на народовластие?»

«Мера — важнее всего!» — ответили ему мудрецы.

АНАХАРСИС, МУДРЕЦ-ДИКАРЬ

Анахарсис, восьмой при семи мудрецах, был скиф. Скифы жили в причерноморских степях: одни кочевали, другие сеяли хлеб и продавали в греческие города. Анахарсис был сын скифского царя, он часто бывал в греческих городах на Черном море. Ему нравилось, как живут греки; он построил себе в их городе дом, подолгу там жил, носил греческое платье и молился греческим богам. Ски-

фы, узнав про это, возроптали, и однажды, когда Анахарсис устроил праздник греческим богам не дома, а в степи, они убили его стрелой из лука.

Этот Анахарсис, говорят, ездил в Грецию, был учеником Солона и своею мудростью вызывал всеобщее удивление. Он явился к дому Солона и велел рабу сказать хозяину, что скиф Анахарсис хочет видеть Солона и стать ему другом. Солон ответил: «Друзей обычно заводят у себя на родине». Анахарсис сказал: «Ты как раз у себя на родине — так почему бы тебе не завести друга». Солону это понравилось, и они стали друзьями.

Грекам казалось смешно, что скиф занимается греческой мудростью. Какой-то афинянин попрекал его варварской родиной; Анахарсис ответил: «Мне позор моя родина, а ты позор твоей родине». Смеялись, что он нечисто говорит по-гречески; он ответил: «А греки нечисто говорят по-скифски». Смеялись, что он, варвар, вздумал учить мудрости греков; он сказал: «Привозным скифским хлебом вы довольны; чем же хуже скифская мудрость?» Смеялись: «У вас нет даже домов, одни кибитки; как же можешь ты судить о порядке в доме, а тем более — в государстве?» Анахарсис отвечал: «Разве дом — это стены? Дом — это люди; а где они живут лучше, можно и поспорить».

Скифы живут лучше, говорил Анахарсис, потому что у них все общее, ничего нет лишнего, каждый довольствуется малым, никто никому не завидует. «А у вас, греков, — продолжал он, — даже боги начали с того, что поделили весь мир: одному небо, другому море, третьему подземное царство. Но землю даже они не стали делить: ее поделили вы сами и вечно из-за нее ссоритесь».

Его спрашивали: «Правду ли говорят, что вы, скифы, умеете ходить по морозу голыми?» Анахарсис отвечал: «Ты ведь ходишь по морозу с открытым лицом? Ну вот, а у меня все тело — как лицо».

В греческой жизни он больше всего удивлялся мореходству и вину. Узнав, что корабельные доски делаются толщиной в четыре пальца, он сказал: «Корабельщики плывут на четыре пальца от смерти». На вопрос, кого на свете больше, живых или мертвых, он переспросил: «А кем считать плывущих?» На вопрос, какие корабли безопаснее — длинные военные или широкие торговые, он ответил: «Вытащенные на сушу».

О вине он говорил: «Первые три чаши на пиру — это чаша наслаждения, чаша опьянения и чаша омерзения». А на вопрос, как не стать пьяницей, он сказал: «Почаще смотреть на пьяниц».

Его спросили, что ему показалось в Греции самым удивительным. «Многое, — ответил он. — То, что греки осуждают драки, а сами рукоплещут борцам на состязаниях; осуждают обман, а сами устраивают рынки нарочно, чтобы обманывать друг друга; и что в народных собраниях у них вносят предложения люди умные, а обсуждают и утверждают люди глупые».

И когда Солон гордился своими законами, Анахарсис говорил: «А по-моему, всякий закон похож на паутину: слабый в нем запутается, а сильный его прорвет; или на канат поперек дороги: маленький под него пролезет, а большой его перешагнет».

Так, чтобы не зазнаваться в своей мудрости, семеро мудрецов оглядывались на скифа Анахарсиса.

ЭЗОП, МУДРЕЦ-РАБ

Эзоп был сочинителем басен. Считалось, что все басенные рассказы, которые потом на разный лад пересказывались в течение многих веков, впервые были придуманы Эзопом: и про волка и ягненка, и про лису и виноград, и про лягушек, просящих царя. Его имя так срослось со словом «басня», что, когда какой-нибудь писатель брался за сочинение басен, он писал на своей книге: «Эзоповы басни такого-то писателя».

Эзоп сочинял басни потому, что он был раб и говорить прямо то, что он думал, было для него опасно. Это был его иносказательный, «эзоповский язык». А о том, как он был рабом, и у кого, и что из этого получалось, в народе рассказывали множество веселых историй.

Рабом он был, так сказать, от природы: во-первых, он был варвар, во-вторых, урод. Он был фригиец, из Малой Азии, а фригийцы, по твердому греческому убеждению, только и годились, чтобы быть рабами. А вид его был такой: голова как котел, нос курносый, губы толстые, руки короткие, спина горбатая, брюхо вспученное. Зато боги его наградили даром слова, острым умом и искусством сочинять басни.

От речистого раба хозяин сразу поспешил отделаться, и повел работорговец Эзопа с партией других рабов на рабский рынок на остров Самос. Стали разбирать дорожную поклажу, Эзоп просит товарищей: «Я здесь новый, слабый, дайте мне вон ту хлебную корзину» — и показывает на самую большую и тяжелую. Посмеялись над ним, но дали. Однако на первом же привале, когда все поели хле-

ба, Эзопова корзина сразу стала легче, а у остальных рабов их мешки и ящики как были тяжелы, так и остались. Тут-то и стало ясно, что ум у уродца не промах.

На острове Самосе жил простак-философ Ксанф. Увидел он трех рабов на продаже: двое были красавцы, а третий — Эзоп. Спросил он: «Что умеете делать?» Первый сказал: «Все!» , второй сказал: «Все!», а Эзоп сказал: «Ничего!» — «Как так?» — «Да вот мои товарищи все уже умеют, мне ничего не оставили». — «Хочешь, я куплю тебя?» — «А тебе не все равно, чего я хочу? Купи меня в советники, тогда и спрашивай». — «Ты всегда такой разговорчивый?» — «За говорящих птиц дороже платят». — «Да ты-то ведь не птица, а урод». — «Бочки в погребе тоже уродливы, а вино в них на славу». Подивился Ксанф и купил Эзопа.

Устроил Ксанф угощение ученикам, послал Эзопа на рынок: «Купи нам всего лучшего, что есть на свете!» Пришли гости — Эзоп подает одни только языки: жареные, вареные, соленые. «Что это значит?» — «А разве язык не самое лучшее на свете? Языком люди договариваются, устанавливают законы, рассуждают о мудрых вещах — ничего нет лучше языка!» — «Ну так на завтра купи нам всего худшего, что есть на свете!» Назавтра Эзоп опять подает одни только языки: «Что это значит?» — «А разве язык не самое худшее на свете? Языком люди обманывают друг друга, начинают споры, раздоры, войну — ничего нет хуже языка!» Рассердился Ксанф, но придраться не мог.

После обеда стали пить вино. Ксанф напился пьян, стал говорить: «Человек все может сделать!» — «А море выпьешь?» — «Выпью!» Побились об заклад. Утром Ксанф протрезвел, в ужас пришел от такого позора. Эзоп ему: «Хочешь, помогу?» — «Помоги!» — «Как выйдете вы с судьями и зрителями на берег моря, так ты и скажи: море выпить я обещал, а рек, что в него впадают, не обещал; пусть мой соперник запрудит все реки, впадающие в море, тогда я его и выпью!» Ксанф так и сделал, и все только и дивились его мудрости.

Послал Ксанф Эзопа за покупками, встретил Эзоп на улице самосского градоначальника. «Куда идешь, Эзоп?» — «Не знаю!» — «Как так не знаешь? Говори!» — «Не знаю!» Рассердился градоначальник: «В тюрьму упрямца!» Повели Эзопа, а он оборачивается и говорит: «Видишь, начальник, я тебе правду сказал: разве я знал, что в тюрьму иду?» Рассмеялся начальник и отпустил Эзопа.

Собрался Ксанф в баню, говорит Эзопу: «Ступай вперед, посмотри, много ли в бане народу?» Эзоп возвращается и

говорит: «Только один человек». Ксанф обрадовался, идет и видит: в бане полным-полно. «Что же ты мне вздор говорил?» — «Не вздор я тебе говорил: лежал перед баней на дороге камень, все об него спотыкались, ругались и шли дальше, и только один нашелся, который как споткнулся, так тут же взял камень и отбросил с пути. Я и подумал, что народу тут много, а настоящий человек — один».

Созвал Ксанф в гости друзей и учеников, а Эзопа поставил у ворот и велел: «Смотри, чтобы никто из простых людей не прошел, а только одни ученые!» Подошел гость, Эзоп его спрашивает: «Чем собака поводит?» Гость не понял, подумал, что его собакой обзывают, обиделся, пошел прочь. За ним другой, третий, десятый; наконец нашелся один и ответил: «Хвостом и ушами!» Эзоп обрадовался: «Вот тебе, хозяин, ученый гость, а больше не было!» На другой день ученики жалуются Ксанфу на Эзопа, а тот объясняет: «Какие же они ученые, если на такой простой вопрос ответить не могли?»

Много раз просил Эзоп Ксанфа освободить его, а Ксанф не хотел. Но случилась на Самосе тревога: заседал перед народом государственный совет, а с неба налетел орел, схватил государственную печать, взмыл ввысь и оттуда уронил ее за пазуху рабу. Позвали Ксанфа истолковать знамение. Ксанф, по своему обычаю, гвоорит: «Это ниже моего философского достоинства, а вот есть у меня раб, он вам все растолкует». Вышел Эзоп: «Растолковать могу, да не к лицу рабу давать советы свободным: освободите меня!» Освободил народ Эзопа; Эзоп говорит: «Орел — птица царская; не иначе, царь Крез решил покорить Самос и обратить его в рабство». Огорчился народ и отправил Эзопа к царю Крезу просить снисхождения. Щедрому царю умный урод понравился, с самосцами он помирился, а Эзопа сделал своим советником.

Долго еще жил Эзоп, сочинял басни, побывал и у вавилонского царя, и у египетского, и на пиру семи мудрецов. А погиб он в Дельфах. Посмотрел он, как живут дельфийцы, которые не сеют, не жнут, а кормятся от жертв, приносимых Аполлону всеми эллинами, и очень ему это не понравилось. Дельфийцы испугались, что он разнесет о них по свету дурную молву, и пошли на обман: подбросили ему в мешок золотую чашу из храма, а потом схватили, обвинили в краже и приговорили к смерти. Эзоп припал к алтарю Муз — его оторвали и повели на казнь. Он сказал:

«Не к добру вы обидели Муз! Так же вот спасался однажды заяц от орла и попросил помощи у навозного жука.

Посмеялся орел над таким заступником и растерзал зайца. Жук стал мстить: высмотрел орлиное гнездо, вытолкнул оттуда орлиные яйца, а сам улетел. Где ни вил орел гнездо, всюду жук разбивал его яйца; наконец положил их орел за пазуху к самому Зевсу. А жук скатал навозный ком, взлетел к Зевсу и тоже бросил его богу за пазуху; возмутился Зевс, вскочил, чтобы отряхнуться, и орлиные яйца опять упали и разбились. И пришлось Зевсу, чтобы не перевелся орлиный род, устроить так, чтобы орлы несли яйца в ту пору, когда жуки не летают. Не обижайте слабых, дельфийцы!»

Но дельфийцы не послушались и сбросили Эзопа со скалы. За это их город постигла чума, и еще долго пришлось им расплачиваться за Эзопову смерть.

Так рассказывали о народном мудреце Эзопе.

БАСНИ ЭЗОПА

Большинство эзоповских басен вам хорошо знакомо: они пересказывались на всех языках и в стихах и в прозе, в том числе и нашим Крыловым. Но есть среди них и такие, которые меньше известны; вот некоторые из них.

Волк увидел огромную собаку в ошейнике, на цепи и спросил: «Кто это тебя так приковал и так откормил?» Ответила собака: «Хозяин!» — «Нет, — сказал волк, — не для волка такая судьба! Мне и голод милей, чем рабский ошейник».

Свинья смеялась над львицей, что та рождает только одного детеныша. Львица ответила: «Одного, но льва!»

Задумались зайцы, какие они трусливые, и порешили, что лучше всем им разом утопиться. Подошли к пруду, а лягушки, заслышав их, одна за другой попрыгали в воду и спрятались. Увидели это зайцы и сказали: «Подождем топиться: видно, есть на свете кто-то и трусливее нас».

Волы тянули телегу, а немазанная ось скрипела. Обернулись они и сказали ей: «Эх, ты! Мы везем, а ты стонешь?»

Шел осел через реку с грузом соли, поскользнулся и упал; соль подтаяла, и ему стало легче. Он обрадовался и в следующий раз, подойдя к реке, упал уже нарочно. Но на этот раз был на нем груз губок, губки от воды разбухли, отяжелели, и осел утонул.

Зевс устроил праздник и для всех животных выставил угощение. Не пришла одна черепаха, сказавши: «В гостях хорошо, а дома лучше». Рассердился Зевс и заставил ее вечно таскать на спине свой собственный дом.

Шел человек зимой по лесу и заблудился. Пожалел его лесной сатир, привел в свою пещеру, предложил горячей похлебки. Вошел человек, стал дышать себе на руки. «Что ты делаешь?» — «Отогреваю их». Сел человек, стал дуть на похлебку. «Что ты делаешь?» — «Стужу ее». Помрачнел сатир, вывел гостя и прочь послал. «Видно, — говорит, — двуличный ты человек, если у тебя из одних и тех же губ и тепло идет, и холод».

У отца было две дочери. Одну он выдал за огородника, другую — за горшечника. Пришел навестить первую, спросил, как дела; та отвечала: «Да вот молим богов, чтобы дождь пошел и овощи напились». Пришел навестить вторую, спросил, как дела; та ответила: «Да вот молим богов, чтобы солнышко светило и горшки хорошенько просохли». Сказал отец: «Если так, то с кем же из вас молиться мне?».

Сделал мастер статую Гермеса и понес на рынок. Никто не подходил; тогда он стал кричать: «Вот продается бог, податель благ, хранитель прибыли!» Спросил его прохожий: «Что же ты такого полезного бога не у себя держишь, а на рынке продаешь?» Мастер ответил: «От него польза нескорая, а мне нужна скорая».

Был человек бегун и прыгун, только неудачливый. От досады он уехал из родных мест, а потом вернулся и стал рассказывать, как хорошо выступал он в других городах, а на Родосе сделал такой прыжок, какого никто не делал; все, кто там был, это видели! Но на это сказал один из земляков: «Дорогой мой, если ты правду говоришь, зачем тебе свидетелей звать? Вот тебе Родос, тут ты и прыгай!»

МЕРА, ВЕС, МОНЕТА

«Закон — это мера», — говорили греки, и повторяем мы. Но ведь у слова «мера» есть и прямое значение — единица измерения. Греки его не забывали и даже, как мы помним, называли, кто у них первый завел точные меры, вес и монету: аргосский царь Фидон. Это была первая система мер в Европе; посмотрим же на нее.

Стадий = 100 охватов ≈ 185 м.
Охват = 4 локтя = 6 ступней ≈ 1 м 85 см.
Локоть = 2 пяди ≈ 46 см 2 мм.
Ступня = 4 ладони ≈ 30 см 8 мм.
Пядь = 12 пальцев ≈ 23 см 1 мм.
Ладонь = 4 пальца ≈ 7 см 7 мм.
Палец ≈ 1 см 9 мм.

И удобство и неудобство этой системы сразу бросаются в глаза. Удобство — в том, что все единицы почти точно соответствуют размерам человеческого тела, от пальца до охвата рук (по-русски — «сажень», «сяжень», насколько можно «досягнуть» руками), — смерьте! — незачем и линейку с собой носить. Неудобство — в том, что пересчет из одних единиц в другие очень громоздок: попробуйте быстро сказать, сколько *ладоней* в *охвате*? Ничего не поделаешь, так уж сложено человеческое тело. Зато нетрудно представить, какой хорошей школой изучения пропорций были эти меры для художников и скульпторов.

Почему греческий *стадий* был именно такой длины, этому я читал два объяснения. Первое: это расстояние, которое может пройти пахарь за плугом от передышки до передышки (само слово «стадий» приблизительно и значит «стоянка»). Второе: это расстояние, которое может пробежать бегун на самой высокой скорости. Я спросил моего знакомого специалиста по античному спорту, так ли это. Он посчитал данные современных олимпийских рекордов, и оказалось: да, так, самую высокую скорость бегун развивает не на стометровке, а на двухсотметровке! Разница, конечно, маленькая-маленькая; какова же была зоркость греков, что они это заметили!

Бочка для зерна (*медимн*) = 48 дневных пайков ≈ 52,2 л.
Дневной паек (зерновой) = 4 кружки ≈ 1,1 л.
Бочонок для вина (*амфора*) = 12 кувшинов ≈ 39,3 л.
Кувшин = 12 кружек ≈ 3,3 л.
Кружка = 6 черпаков ≈ 0,27 л.
Черпак (*киаф*) ≈ 0,045 л.

Здесь тоже легко понять систему мер: в основе ее — кружка, которую удобно держать в руке, паек, который человек съедает в день, и другие столь же практичные меры. Греческая кружка — чуть побольше нашего стакана, а греческий черпак — точь-в-точь такой, каким и сейчас хозяйки пользуются на кухне.

Талант = 60 мин ≈ 26,2 кг.
Мина (фунт) = 100 драхм ≈ 436,6 г.
Драхма (горсть) = 6 оболов ≈ 4,4 г.
Обол (прут) ≈ 0,7 г.

Происхождение мер веса немного более запутанно. *Талант* (нагрузка, полный вес) — это тяжесть, которую может нести на себе один носильщик; это можно себе представить. *Обол* — это столько, сколько весят 12 ячменных зерен, этих простейших подручных разновесков. А соотношения и названия установились лишь тогда, когда греки

приступили к чеканке монеты. Монеты обычно чеканились из серебра, потому что золота в Греции почти нету. Такое количество серебра, на которое можно было купить барана или бочку ячменя, стало главной монетой и весовой единицей — *драхмой*. А названия «драхма» и «обол» перешли на эти монеты с тех времен, когда и серебро еще не было в ходу, а вместо денег служили бронзовые и железные прутья (такие, какие еще долго ходили в Спарте). Промежуточная же единица «мина» была заимствована с Востока, и название ее — не греческое. *Мина* — это примерно столько бронзы, сколько можно купить за один обол серебра.

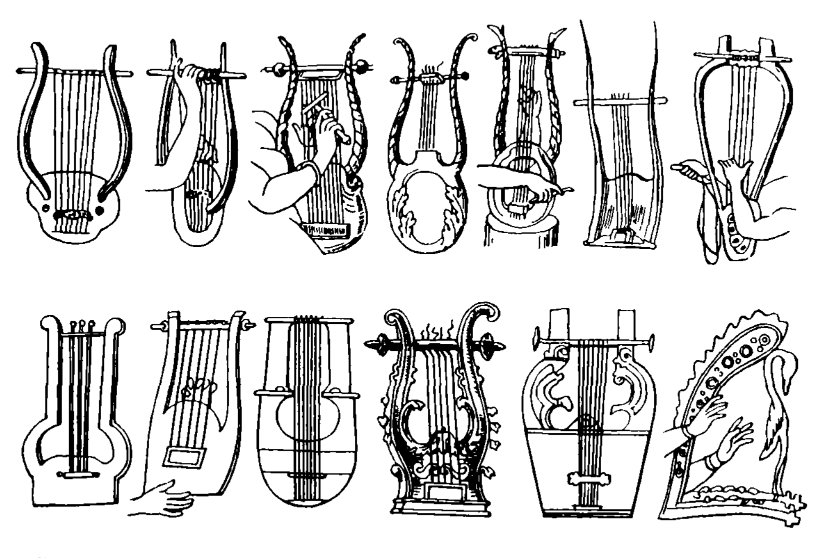
Сперва денег чеканилось мало, и поэтому ценились они дорого: баран стоил драхму, бык — пять драхм. Но так как чеканить деньги все-таки легче, чем разводить скот и сеять хлеб, то количество денег в обороте росло быстрее, чем количество быков, баранов и бочек ячменя. Поэтому деньги постепенно дешевели, а товары дорожали: через полтораста лет бык уже стоил 50 драхм, а баран 10 драхм. Поэтому подсчитывать, скольким рублям и копейкам равняется драхма, мы не будем: в разные времена это было по-разному.

Монеты в одну драхму и меньше были маленькие, как серебряные чешуйки; вместо кошелька их носили во рту за щекой. Чеканить предпочитали *тетрадрахмы* — монеты по четыре драхмы. Величиной они были с наши прежние пятнадцати-, двадцатикопеечники. В Афинах на лицевой стороне тетрадрахм изображалась голова богини Афины, на оборотной — ее священная птица, сова. («Не носи сов в Афины», — говорила греческая пословица; это значило: в Афинах и так денег много.) В Коринфе изображали на монетах крылатого Пегаса, в Эфесе — пчелу, в Фокее — тюленя (по-гречески тюлень — «фока»), в Эгине — черепаху (морскую, пока Эгина была великой морской державой, и сухопутную — потом). Впоследствии, когда деньги подешевели, монеты пришлось делать крупнее, и на них стало возможно изображать целые мифологические сцены; по тонкости чеканного рисунка они часто замечательны.

ТЕРПАНДР И АРИОН

По-гречески «закон» будет «номос». Слово это многозначно, и одно из его значений неожиданно. Оно значит: «музыкальное произведение строгой формы». Почему? По-

тому что для грека музыка была самым совершенным выражением порядка. Когда все звуки согласованы со всеми, они звучат прекрасно; когда хоть один выбивается из согласия — вся гармония гибнет. Там, где в мире все упорядочено до совершенства, сама собой возникает музыка: глядя на мерное круговое движение небесных светил, греки верили, что они издают дивно гармонические звуки, «музыку сфер», и мы ее не слышим только потому, что с младенчества к ней привыкли. И наоборот, там, где возникает музыка, все вокруг из беспорядка приходит в порядок: когда мифический Орфей играл на лире, то слушавшие его дикари переставали быть дикарями, подавали друг другу руки, договаривались об общих законах и начинали жить семьями, городами и государствами.



В самых древних лирах нижней частью корпуса служил панцирь черепахи (хороший резонатор для звука!), а верхней — два рога козы. В более поздних кифарах полый корпус изготовлялся из дерева или металла. Лиры изображены в верхнем ряду, кифары — в нижнем

Орфей погиб, растерзанный вакханками — неистовыми служительницами бога Диониса, которые хотели жить не по закону, а по природе, как ветер дует и трава растет. Его голову и лиру бросили в море. Их понесло волнами и вынесло по другую сторону моря — на остров Лесбос. И Лесбос стал колыбелью греческой музыки. На нем родились Терпандр и Арион.

Спарта была сильна мужами и крепка оружием. Но два раза это не могло выручить ее из беды — и тогда ее спасало не оружие, а песня. Один раз это было во время внешней войны — с Мессенией: тогда Спарту спас афинский гость — поэт Тиртей. Другой раз это было опаснее — во время внутренних раздоров: тогда Спарту спас лесбосский гость — Терпандр.

Из-за чего возникли раздоры, никто не помнил, но они были страшные: город был как безумный, люди бросались друг на друга с мечами и на улицах и в застольях. Обратились в Дельфы; оракул сказал: «Призовите Терпандра и почтите Аполлона». Призвали Терпандра. В руках у него была невиданная лира — не четырехструнная, какую знали раньше, а семиструнная, какой она и осталась с тех пор. Он ударил по струнам — и, слушая его мерную игру, люди стали ровнее дышать, добрее друг на друга смотреть, побросали оружие, взялись за руки и, ступая в лад, повели хоровод в честь бога Аполлона. Он играл перед советом и народным собранием — и несогласные приходили к согласию, непримиримые мирились, непонимающие находили общий язык. Он играл в застольях и домах — и в застольях воцарялась дружба, а в домах — любовь. Потомки ничего не запомнили из песен Терпандра — разве что несколько строчек. Но память его благоговейно чтили во все века.

Как Терпандр приплыл с Лесбоса в Спарту, так Арион прибыл с Лесбоса в Коринф — учить греков закону гармонии. Это было уже при тиране Периандре. Угождая народу, Периандр завел в Коринфе праздники в честь Диониса, бога вечно возрождающейся природы. На праздниках выступали хоры; участники хоров были одеты сатирами — веселыми козлоногими спутниками Диониса; они пели песни о его деяниях — не такие торжественные, но такие же стройные, как и в честь Аполлона, а сочинял эти песни Арион.

Отслужив Периандру, Арион поехал с песнями в другие города, заработал там много денег и пустился обратно в Коринф. Корабельщики, с которыми он плыл, увидели его богатство и решили Ариона убить, а деньги его поделить. Разжалобить их было невозможно. Тогда Арион попросил об одном: он споет свою последнюю песню и сам бросится в море. Ему позволили. Он надел свой лучший наряд, взял в руки лиру, встал на носу корабля, громким голосом пропел высокую песнь и бросился в море. И случилось чудо: из моря вынырнул дельфин, принял Ариона на свою крутую спину и после долгого плавания вынес его на гречес-

кий берег. Изумленный Периандр воздал Ариону почести, как любимцу богов, корабельщики были наказаны, а на том берегу поставили медную статую человека верхом на дельфине.

Двадцать пять веков спустя от имени этого Ариона написал свое аллегорическое стихотворение Пушкин — о том, что, несмотря ни на какие бедствия, он верен своим идеалам:

Я гимны прежние пою
И ризу влажную мою
Сушу на солнце под скалою.

МЕДНЫЙ БЫК

Благо было тем городам, в которых закону удавалось примирить народ и знать! Но случалось это редко. То тут, то там вспыхивали усобицы, дело доходило до оружия, и пощады не было никому. В городе Милете народ выгнал аристократов, а детей их бросил на ток и растоптал бычьими копытами. А когда аристократы вернулись, они схватили детей своих противников, вымазали в смоле и заживо сожгли.

Собираясь у алтарей богов, аристократы произносили присягу: «Клянусь быть черни врагом и умышлять против нее только злое...» На пирах они под звуки флейт повторяли стихи Феогнида Мегарского: «Крепкой пятою топчи пустодумный народ беспощадно, бей его острым бодцом, тяжким ярмом придави!..» А народ отвечал им такою же ненавистью.

Знать была сильна единством. Но иногда это единство нарушалось. Или род ссорился с родом, или находился талантливый одиночка, считавший, что строгие нравы аристократического равенства сковывают его силы. Тогда он мог обратиться к народу: «Я ваш друг; соперники мои — ваши угнетатели; помогите мне против них — и я помогу против них вам». Если такой человек показал себя удачливым на войне и щедрым в мире, то народ за ним шел. Он захватывал власть, расправлялся с врагами, и враги называли его тираном.

В наше время слово «тиран» значит просто «жестокий правитель». У греков это слово значило «правитель, незаконно захвативший власть». Нашего Павла I, хоть он и был жесток, греки тираном не назвали бы. А Наполеона назвали бы.

Знать ненавидела тиранов, народ им не доверял. Со зна-

тью тираны расправлялись, народ они привлекали добычами от войн и доходами от торговли. Расправы были действительно страшные, а рассказы о них — еще страшней.

Самым знаменитым был рассказ о медном быке Фаларида, тирана из Акраганта в Сицилии. Медник Перилл сделал для него статую быка, пустую внутри; в боку была дверца, а под медным брюхом разжигали костер. Кого Фаларид хотел казнить, того он бросал внутрь быка и сжигал заживо. Крики умирающих гудели в полой меди, и казалось, что бык мычит.

Перилл не самостоятельно изобрел эту смертельную машину. У сицилийских греков был опасный сосед: карфагеняне. Город Карфаген, колония финикиян, стоял напротив Сицилии на африканском берегу. Рассказывали, что когда-то финикийская царица Дидона, изгнанная из родных мест, приплыла сюда и попросила африканцев продать ей столько земли, сколько обнимет бычья шкура. Они согласились. Тогда Дидона разрезала бычью шкуру на тонкие ремни, оцепила ими крутой прибрежный холм и на этом холме выстроила крепость Бирсу: по-финикийски это слово означает «крепость», а по-гречески — «бычья шкура». Вокруг крепости вырос город Карфаген. В нем молились финикийским богам, а в трудные времена приносили им человеческие жертвы. Говорили, будто в их храме стояла медная статуя бога с пустым туловищем и в ней сжигали в дар богу детей-первенцев, а родители должны были смотреть на это с радостными улыбками. Вот этому карфагенскому изобретению и подражал Перилл, когда делал своего медного быка. Смертоносную технику часто перенимают охотнее и раньше, чем технику, полезную для жизни.

Впрочем, не все верили этим рассказам о Фаларидe. Говорили, будто Перилл действительно сделал и поднес ему страшного быка, но Фаларид этому так ужаснулся, что приказал схватить Перилла и самого сжечь в его медном чудовище. (Судьба его стала примером пословицы: «Не рой другому яму, сам в нее попадешь».) А потом над медной статуей совершили очищение, как после убийства, и отправили ее в Дельфы, в дар Аполлону.

Кстати, о тиране Фаларидe

Тиран Фаларид, сжигавший людей в медном быке, имел еще одну удивительную славу. Очень долгое время он считался самым первым в Греции писателем-прозаиком. Первый поэт — Гомер, а первый прозаик — Фаларид. Получилось это вот как.

В древнегреческих школах — много позже, уже после Александра Македонского и потом при римских императорах, — были упражнения по развитию речи. Одним из них было сочинение писем от имени старинных исторических лиц. Что написал бы Анахарсис Солону, предлагая стать его другом? Что ответил бы ему Солон? Что написал бы мудрец Фалес царю Крезу, когда тот решил воевать с персами? Как оправдывался бы Фемистокл, когда ему пришлось — вы об этом еще прочитаете — бежать в Персию? Какие письма разослал бы друзьям перед смертью Сократ? И, конечно: как оправдывался бы тиран Фаларид в своих злодействах? Может быть, ссылался бы на то, что и другие тираны не лучше его? А может быть, уверял бы, что все — клевета, быка он посвятил богам и никого в нем не сжигал?

Таких писем-упражнений сочинялось очень много. Лучшие из них переписывались по многу раз, собирались в сборники. Проходили столетия, прошлое забывалось, люди становились легковернее и думали, что эти письма и вправду писали Анахарсис, Солон, Фалес, Фемистокл, Сократ, Фаларид. Фаларид был из них самым древним, письма его были написаны не менее красиво, чем другие, поэтому к ним относились с уважением. Отсюда и слава тирана-литератора.

Только в XVII в. один английский филолог написал разбор, в котором показал, что в «письмах Фаларида» и события упоминаются такие, о которых он еще не мог знать, и слова употребляются такие, которые появились в языке лишь много позже. В истории науки о древности это стало большим событием.

КИЛОНОВА СКВЕРНА

Самыми знаменитыми тиранами этой поры были Кипсел с Периандром в Коринфе, Поликрат на Самосе и Писистрат с сыновьями в Афинах. Но прежде чем рассказывать о них, нужно рассказать о Килоне, которому так и не удалось стать тираном.

Это было еще за поколение до Солона. Знатный афинянин Килон одержал победу на Олимпийских играх и почувствовал себя избранником богов. Он решил стать тираном в Афинах. Друзей у него было много, соседние тираны обещали ему поддержку, а народ мог легко увлечься славой олимпийского победителя. Килон дождался летнего праздника Зевса Олимпийского и с отрядом товарищей захватил афинскую крепость — акрополь.

Но народ не пошел за Килоном. Афиняне сбежались с оружием и осадили акрополь. Осаду возглавил архонт Ме-

гакл из рода Алкмеонидов. Осада затянулась, осажденные начали страдать от голода и жажды. Килон пал духом и бежал из акрополя, оставив товарищей на произвол судьбы. Тогда они прекратили сопротивление, а сами сели вокруг алтаря перед храмом Афины. Здесь они были под защитой богини. Но сидеть там без конца тоже было нельзя: если бы кто-нибудь из них умер от голода, это стало бы осквернением святыни.

Мегакл и его родичи Алкмеониды предложили пленным выйти из храма и явиться на суд ареопага. Им обещали не делать ничего дурного. Но пленники мало доверяли этим обещаниям. Они взяли длинную веревку, привязали конец ее к алтарю Афины и, держась за другой ее конец, сошли нетвердыми шагами с Акрополя. Это значило, что и здесь они остаются под покровительством Афины.

Тут и совершилось злодеяние, запятнавшее весь род Алкмеонидов. Когда пленники были уже на полпути между холмом акрополя и холмом ареопага, веревка вдруг разорвалась — или кто-то ее перерезал. «Бейте их: богиня от них отрекается!» — крикнул архонт Мегакл. Толпа бросилась на кучку беззащитных и растерзала их.

Потом, как водится, пришла расплата: моровые болезни, неудачи в битвах, дурные знамения со всех сторон. Решили, что это гнев Афины и нужно произвести великое очищение всего города от скверны убийства. Для этого был приглашен самый святой человек в Греции — критский гадатель Эпименид.

Вы не читали американскую сказку о Рип ван Винкле? Точно такой рассказ был у греков об Эпимениде. Когда он был еще юношей, отец послал его в поле за пропавшей овцой. Его застиг полдень, он прилег переждать жару и проспал пятьдесят семь лет. Проснувшись, он стал искать овцу, не нашел, вернулся в усадьбу и увидел, что там все переменилось и хозяин новый; пошел в город, там незнакомые люди стали спрашивать его, кто он такой; и, только отыскав своего младшего брата, уже седого и дряхлого, он понял, в чем дело. После этого чуда его стали почитать любимцем богов. А всего, говорят, он прожил сто пятьдесят семь лет, из которых пятьдесят семь — во сне.

Великое очищение Эпименид совершил так. Он велел согнать на место преступления стадо черных и белых овец, дать им разбрестись, куда хочется, и, где какая ляжет, там принести жертву и воздвигнуть жертвенник с надписью: «Неведомому богу». А Мегакл, зачинщик скверны, был изгнан из Афин, и с тех пор угроза изгнания вечно висела над каждым его потомком.

Афиняне хотели дать Эпимениду талант денег, но он отказался и попросил только ветвь от их священной оливы — той, которую взрастила сама богиня Афина. С нею он и вернулся на Крит. А по разным концам Аттики еще долго стояли алтари с загадочной надписью: «Неведомому богу». И когда семь веков спустя (так рассказывают христиане) в Афины пришел с проповедью новой веры апостол Павел и его привели на Ареопаг и спросили: «О каком новом боге говоришь ты нам?» — он будто бы показал афинянам на такой алтарь и сказал: «Вот об этом, которого вы, сами не зная, чтите».

КИПСЕЛ И ПЕРИАНДР

На перешейке между средней и южной Грецией, между двух морей стоял город Коринф с гаванями на обоих морях. Крепость его возносилась на неприступной скале так высоко, что с нее можно было видеть с одной стороны Афины за широким проливом, с другой — Парнас над дальними Дельфами. Через город шли пути и сухопутные — с юга на север, и морские — на запад и восток. Коринф был могуч и богат.

Правил Коринфом знатный род Бакхиадов. Каждый год они выбирали градоправителя из членов своего рода, а чтобы крепче держать власть, они по старинному обычаю выдавали дочерей замуж только внутри рода. Но у одного из Бакхиадов была хромая дочь — Лабда. Ее никто не хотел брать в жены, и поэтому ее выдали, в нарушение обычая, за простого крестьянина. У Лабды родился сын. Она послала к оракулу спросить о его судьбе. Оракул сказал:

Камень тобою рожден, и раздавит он лучших в Коринфе.

Об этом оракуле прослышали правители и забеспокоились. Решили, что младенца нужно убить. За ним послали десять человек в деревню к Лабде. Посланные сговорились: кому первому она даст ребенка, тот и ударит его головой о камень. Молодая женщина радостно вынесла им спеленутого младенца: она думала, что это ее отец хочет увидеть внука. Один из посланных взял младенца на руки и, перед тем как ударить его о камень, заглянул ему в лицо. Младенец тоже взглянул в лицо нагнувшемуся над ним воину и доверчиво улыбнулся. У воина дрогнули руки — вместо того чтобы бросить ребенка оземь, он быстро передал его другому и отошел в сторону. Второй посмотрел

на малютку и отдал его третьему, третий — четвертому, а когда он дошел до последнего, тот поколебался мгновение и вернул дитя матери. Лабда, недоумевая, унесла ребенка в дом, а десятеро посланных набросились друг на друга, упрекая в малодушии. Наконец решили войти в дом все сразу и умертвить малютку вместе. Но Лабда стояла за дверью и слышала их разговор. Она испугалась и спрятала младенца в ларец. Воины вошли в дом, обыскали все комнаты, но в ларец не заглянули. Мальчик остался жив, и звали его с этих пор Кипсел, что по-гречески значит «ларец».

Когда он вырос и узнал об оракуле, полученном при его рождении, он решил захватить власть в Коринфе. На всякий случай он еще раз обратился к оракулу. Оракул сказал:

Благословен, о Кипсел, ты и дети твои, но не внуки!

Но Кипсел был молод и о внуках своих не задумывался. Он захватил власть и стал тираном: со знатью расправлялся, а народ задабривал. Правил он тридцать лет и оставил власть своему сыну Периандру — тому самому, который считался седьмым из семи мудрецов.

Получив власть, Периандр задумался, продолжать ли ему расправу со знатью или уже можно вести себя милостивей. Он послал гонца в Милет — спросить совета у старого милетского тирана Фрасибула. Фрасибул выслушал вопрос и вдруг сказал гонцу: «Хочешь посмотреть, как у меня хлеба в поле растут?» Недоумевающий гонец шел следом и смотрел, как Фрасибул помахивает посохом: где тот видел колос повыше и получше, он сбивал его посохом и вминал в землю. Закончив прогулку, Фрасибул сказал: «Ступай назад и расскажи, что ты видел». Периандр понял урок и стал так суров ко всем, кто выделялся в его городе знатностью или богатством, что далеко превзошел своего отца Кипсела.

Привычка к казням и расправам тяжела. Периандр делался вспыльчив и подозрителен даже к друзьям. У него была жена Мелисса, дочь соседнего правителя, которую он очень любил. Однажды в припадке гнева он ударил ее. Она умерла. Периандр похоронил ее по-царски, а в гробницу положил лучшие украшения и одежды. Ночью Мелисса явилась к нему во сне и грустно сказала: «Мне холодно в царстве мертвых: ведь тени человека нужна тень одежды!» На следующий день Периандр устроил великий женский праздник в храме Геры. Знатнейшие коринфянки явились в храм в лучших нарядах. И тогда Периандр приказал

своей страже храм оцепить, женщин раздеть, а наряды их сжечь на огромном костре, чтобы жене его Мелиссе не было холодно в царстве мертвых.

У Periандра от Мелиссы остался сын Ликофрон. Он перестал говорить с отцом, ходил по дворцу молча, смотрел на всех с ненавистью. Периандр рассердился, выгнал сына из дому и под страхом штрафа запретил кому-нибудь принимать его и даже говорить с ним. Исхудалый и оборванный, бродил Ликофрон по улицам, питаясь отбросами. Наконец сердце Периандра не выдержало, он подошел и спросил: «Неужели мне меньше жаль твою мать, чем тебе? Перестань упорствовать, вернись домой». Но Ликофрон только мрачно ответил: «Теперь, Периандр, сам плати штраф за то, что говорил с отверженным».

На западном море у Коринфа была колония Керкира. Туда отправил Периандр Ликофрона, там он и жил, пока Периандр не состарился и не попросил его вернуться и принять власть. «Ноги моей не будет в городе, где ты живешь!» — ответил Ликофрон. «Хорошо, — написал ему Периандр, — приезжай в Коринф и правь Коринфом, а я уеду на твое место и буду править Керкирой». Ликофрон согласился, но керкиряне от одной мысли иметь своим правителем Периандра пришли в ужас. Они убили Ликофрона, а Периандру написали, что сын его умер и что Периандру нет никакой нужды перебираться на Керкиру. Периандр пришел в ярость. Он пошел на Керкиру войной, разгромил ее, а триста знатных юношей продал в рабство в Лидию, мстя за сына. Им удалось спастись почти чудом: их пожалел самосский тиран Поликрат и предоставил им убежище в храме Геры.

Старый и всеми ненавидимый, доживал Периандр свой век. Он боялся, что, когда умрет, граждане разроют могилу и осквернят его прах. И он решил умереть так, чтобы никто никогда не узнал, где его могила. Он вызвал к себе двух воинов и отдал им тайный приказ: в полночь выйти из дворца по Сикионской дороге, первого встречного путника убить и похоронить тут же на месте. Потом он вызвал четверых воинов и отдал приказ: через час после полуночи выйти на Сикионскую дорогу, настичь двух воинов и умертвить их. Потом вызвал восьмерых воинов и приказал: через два часа после полуночи выйти вслед четверым и умертвить их. А когда настала полночь, Периандр закутался в плащ, незаметно вышел из дворца и пошел по Сикионской дороге навстречу двум солдатам. Была тьма, узнать его никто не мог. Через полчаса он был убит двоими, еще через час эти двое были убиты четырьмя, еще через

час эти четверо были убиты восемью. Так исполнилось последнее желание Периандра: никто никому не мог указать место его погребения.

ПОЛИКРАТОВ ПЕРСТЕНЬ

Остров Самос, где спаслись триста пленников тирана Периандра, лежит у берега Ионии напротив Милета. Он красив и богат. Три самые большие постройки, какие были у греков, находились на Самосе. Первая — храм Геры, величайший из греческих храмов. Вторая — мол-волнолом возле гавани, в триста шагов длиной. Третья — туннель с водопроводом, пробитый в каменной горе, в тысячу шагов длиной; пробивали его с двух сторон сразу и сошлись в середине горы почти точно. (Туннель этот сохранился до наших дней, и нынешние инженеры дивятся ему не меньше, чем древние.)

На Самосе правил тиран Поликрат. Не было на свете более удачливого правителя. Флот его плавал по всем морям. Войско его покоряло все города на суше. Афинский тиран Писистрат и египетский царь Амасис были его друзьями и союзниками. Двор его блистал пышностью, и веселый старик Анакреонт слагал там свои радостные песни.

И вот однажды Поликрат получил письмо от своего друга Амасиса. Египетский царь, знавший в жизни и удачи и невзгоды, писал Поликрату: «Друг, я рад твоему счастью. Но я помню, что судьба изменчива, а боги завистливы. И я боюсь, что чем безоблачней твое счастье, тем грознее будет потом твое несчастье. Во всем нужна мера, и радости должны уравновешиваться печалями. Поэтому послушайся моего совета: возьми то, что ты больше всего любишь, и откажись от него. Может быть, малой горестью ты отвратишь от себя большую беду».

Поликрат был тиран, но он помнил, что миром правит закон, а закон — это мера, и он понял, что друг его прав. У него был любимый изумрудный перстень в золотой оправе с печатью изумительной резьбы. Он надел этот перстень на палец, взошел на корабль и выплыл в открытое море. Здесь он снял перстень с пальца, взмахнул рукой и на глазах у спутников бросил его в волны.

Прошло несколько дней, и ко двору Поликрата пришел рыбак. «Я поймал рыбу небывалой величины и решил принести ее тебе в подарок, Поликрат!» Поликрат щедро одарил рыбака, а рыбу отправил на кухню. И вдруг раб, разрезавший рыбу, радостно вскрикнул: из живота рыбы

сверкнул изумрудный перстень Поликрата. Он вернулся к своему хозяину.

Пораженный Поликрат написал об этом Амасису и получил такой ответ: «Друг, я вижу, что боги против тебя: они не принимают твоих жертв. Малое несчастье тебя не постигло — поэтому жди большого. А я отныне порываю с тобой дружбу, чтобы не терзаться, видя, как будет страдать друг, которому я бессилен помочь».

И большое несчастье скоро пришло к Поликрату. Его замыслил погубить персидский наместник, правивший в Сардах, по имени Оройт. Он позвал Поликрата в гости, чтобы договориться о тайном союзе: Поликрат поможет Оройту восстать против царя, Оройт поможет Поликрату подчинить себе всех греков. Дочь Поликрата умоляла отца не ездить. «У меня был дурной сон, — говорила она, — я видела, будто ты паришь между небом и землей и Солнце тебя умащает, а Зевс омывает». Но Поликрат не верил женским снам. «Берегись, — сказал он дочери, — вот вернусь я как ни в чем не бывало и продержу тебя в девках всю жизнь за то, что твердишь мне на дорогу недобрые слова!» — «Ах, если бы это так и обошлось!» — отвечала дочь.

Оройт казнил Поликрата такой жестокой казнью, что греческие историки не решились ее описать. Труп его был распят на кресте, и под солнечными лучами из него выступала влага, а Зевсовы дожди смывали с него пыль. Так сбылся сон дочери Поликрата.

А Поликратов перстень пятьсот лет спустя показывали в коллекции римского императора Августа. Времена были другие, и он казался в ней одним из самых простых и дешевых.

АНАКРЕОНТ

Сделаем передышку в нашем странствии по мрачным судьбам греческих тиранов. Мы упомянули веселого старика Анакреонта, который слагал свои песни при дворе тирана Поликрата. Его имя стало знаменитым: до сих пор словами «анакреонтическая лирика» называются беззаботные стихи про вино и любовь. Сам Анакреонт тоже представляется потомкам как бы мудрецом, учителем жизни доброй, простой и радостной. Таким его изображали и позднейшие поэты. Вот стихотворение пятнадцатилетнего Пушкина, которое называется «Гроб Анакреона» (при Пушкине произносили не «Анакреонт», а «Анакреон»).

Все в таинственном молчаньи;
Холм оделся темнотой;
Ходит в облачном сияньи
Полумесяц молодой.
Вижу: лира над могилой
Дремлет в сладкой тишине;
Лишь порою звон унылый,
Будто лени голос милый,
В мертвой слышится струне.
Вижу: горлица на лире,
В розах кубок и венец...
Други, здесь почиет в мире
Сладострастия мудрец.
Посмотрите: на порфире
Оживил его резец!
Здесь он в зеркало глядится,
Говоря: «Я сед и стар,
Жизнью дайте ж насладиться;
Жизнь, увы, не вечный дар!»
Здесь, подняв на лиру длани
И нахмуря важно бровь,
Хочет петь он бога брани,
Но поет одну любовь.
Здесь готовится природе
Долг последний заплатить:
Старец пляшет в хороводе,
Жажду просит утолить.
Вкруг любовника седого
Девы скачут и поют;
Он у времени скупого
Крадет несколько минут.
Вот и музы, и хариты
В гроб любимца увели;
Плющем, розами увиты,
Игры вслед за ним пошли...
Он исчез, как наслажденье,
Как веселый сон любви.
Смертный, век твой — привиденье:
Счастье резвое лови;
Наслаждайся, наслаждайся;
Чаще кубок наливай;
Страстью пылкой утомляйся
И за чашей отдыхай!

А вот несколько стихотворений самого Анакреонта — те самые, которые имел в виду Пушкин, изображая все три сцены на его надгробном барельефе. Правда, теперь считается, что это не подлинные стихи Анакреонта, а произведения его позднейших подражателей. Но именно по таким стихам, коротеньким, бесхитростным и как будто игрушечным, представляло его себе потомство.

Мне девушки сказали:
«Анакреон, стареешь!
Вот зеркало, взгляни-ка:
Твои опали кудри,
И темя облысело».
А я, растут ли кудри,
Или давно их нету, —
Не знаю, только знаю,
Что старику не стыдно
Тем веселей резвиться,
Чем ближе смертный жребий.

Хочу запеть о Трое,
Хочу о древнем Кадме,
А лира моя, лира
Звенит мне про Эрота.
Я струны перестроил,
Я лиру переладил,
Я начал петь Геракла,
А лира мне — Эрота.
Прощайте же, герои:
Как видно, петь могу я
Эрота, лишь Эрота.

Как пьет земля сырая,
Так из земли — деревья,
А море пьет из речек,
А солнце пьет из моря,
А месяц пьет из солнца.
Друзья мои, за что же
Вы пить мне не даете?

Стихотворение про гроб Анакреона Пушкин написал еще на школьной скамье; но и потом, возмужав, он не раз возвращался мыслью к старому утешителю. Он перевел несколько его стихотворений. Вот одно из них, на этот раз — не позднейшее подражание, а настоящий Анакреонт. Пушкин только переименовал «фракийскую» лошадку Анакреонта в «кавказскую»:

Кобылица молодая,
Честь кавказского тавра,
Что ты мчишься, удалая?
И тебе пришла пора;
Не косись пугливым оком,
Ног на воздух не мечи,
В поле гладком и широком
Своенравно не скачи.
Погоди; тебя заставлю
Я смириться подо мной:
В мерный круг твой бег направлю
Укороченной уздой.

ДЕВЯТЬ ЛИРИКОВ

Греки любили составлять списки знаменитостей. Великих эпиков было двое: Гомер и Гесиод; великих трагиков трое: Эсхил, Софокл и Еврипид; великих ораторов десятеро, и перечислять мы их сейчас не будем; чудес света семь, с ними мы еще встретимся. А великих лириков, преемников Терпандра и Ариона? Конечно, их было девять — по числу девяти Муз:

Муз провозвестник священный, Пиндар; Вакхилид, как сирена,
  Пеньем пленявший; Сафо, цвет эолийских харит;
Анакреонтовы песни; и ты, из Гомерова русла
  Для вдохновений своих бравший струи Стесихор;
Прелесть стихов Симонида; и снятая Ивиком жатва
  Юности первых цветов, сладостных песен любви;
Меч беспощадный Алкея, что кровью тиранов нередко
  Был обагряем, права края родного храня;
Женственно-нежные песни Алкмана, — хвала вам! Собою
  Лирику начали вы и положили ей грань.

Не обо всех этих поэтах сохранились такие же яркие рассказы, как о Терпандре и Арионе. Молчат предания и о старшем из девяти, благодушном Алкмане, и о младшем, благодушном Вакхилиде; молчат о буйном Алкее, всю жизнь проведшем в междоусобных войнах на Лесбосе, и о мирном старике Анакреонте, развлекавшем застолье Поликрата на Самосе. А об остальных рассказы были.

Самый сказочный из них — о Сафо. Среди девятерых она была единственная женщина; «десятая Муза», — называли ее. Конечно, это не давало покоя сочинителям красивых легенд. Они не могли вообразить Сафо невлюбленной и только думали: в кого? Наконец придумали. Между островом Лесбосом и материком, рассказывали они, плавал паром, а паромщиком на нем был юноша Фаон. Однажды случилось ему перевозить одну старушку, такую слабую и убогую, что он ее пожалел и не взял с нее платы. А старушка та была сама богиня Афродита, следовавшая куда-то по тайным своим делам. За доброе сердце она одарила Фаона дорогим, но опасным даром: приворотным зельем, внушавшим любовь всем женщинам. В этого любимца Афродиты и влюбилась Сафо. Но он от нее отвернулся: как соловей поет дивные песни, а сам невзрачен, так Сафо сочиняла прекрасные стихи, а сама была некрасивой, маленькой и смуглой. Отвергнутая им, Сафо взбежала на Белую Скалу на Лесбосе и бросилась в море. А Фаона потом убили мужья тех женщин, которые были в него влюблены. Сафо написала много замечательных сти-

хов, но их забыли, а легенду о Фаоне помнили.

О Стесихоре рассказывали, что однажды он написал песнопение о похищении Елены и начале Троянской войны. В ту же ночь он ослеп. Он взмолился богам. Тогда в сновидении ему явилась обожествленная Елена и сказала: это наказание за то, что он сочинил про нее такие недобрые стихи. Стесихор сложил тогда новое песнопение — о том, что Парис увез в Трою совсем не Елену, а только призрак ее, настоящую же Елену боги перенесли в Египет, и она пребывала там, верная Менелаю, до самого конца войны. И этот странный миф умилостивил героиню: Стесихор прозрел.

Ивик был странствующим певцом. Однажды он шел лесной дорогой, спеша на состязания, и на него напали разбойники. Умирая, он взглянул в небо — там летела вереница журавлей. «Будьте моими мстителями!» — воззвал он к ним. Разбойники только посмеялись. Убив певца и поделив его добро, они пошли в город — посмотреть на те состязания, до которых так и не дошел Ивик. Неслись колесницы, бились кулачные бойцы, соревновались певцы — и вдруг в небе над полем показались журавли. «Вот они, Ивиковы мстители!» — сказал убийца убийце. Эти слова были услышаны. Народ заволновался. Сказавшего схватили, начался допрос, а за допросом — признание и казнь. По этому рассказу о заговорившей совести Фридрих Шиллер написал (а В. А. Жуковский перевел) знаменитую балладу «Ивиковы журавли».

Симониду один борец заказал песню в честь своей олимпийской победы. Обычно эти песни писались так: в начале и в конце — хвала победителю, его городу и роду, а в середине — какой-нибудь миф. Симонид вставил в середину миф о героях-борцах Касторе и Полидевке, сыновьях Зевса. На пиру в честь победы хор пропел эту песню. Но заказчику показалось, что миф занял слишком много места, а хвала — слишком мало, и он заплатил Симониду только треть обещанной награды, «а остальное пусть заплатят Кастор и Полидевк». Пир продолжался; вдруг вошел раб и сказал, что поэта Симонида хотят видеть двое могучих юношей, явившихся неведомо откуда. Симонид вышел — никого не было. И тут за спиною у него раздался грохот, и пиршественный чертог рухнул на пирующих. Погибли все, кроме Симонида. Так расплатились Кастор и Полидевк.

Пиндар был самым знаменитым из девяти лириков — недаром в стихотворном перечне он назван первым. Сами боги пели его стихи: один путник, заблудившийся в горах,

встретил там бога Пана, который распевал песню Пиндара. И рождение и смерть Пиндара были чудесны. Когда он, новорожденный, лежал в колыбели, пчелы слетелись к его устам и наполнили их медом — в знак, что речь его будет сладкой как мед. Когда он умирал, ему явилась во сне Персефона и сказала: «Ты воспел всех богов, кроме меня, но скоро воспоешь и меня». Прошло десять дней, и он умер; прошло еще десять дней, он явился во сне своей родственнице-старушке и продиктовал ей гимн в честь Персефоны. Так и за гробом он слагал стихи.

ОТКУДА БЕРУТСЯ ОТРЫВКИ

Попробуйте представить себе страшную картину: во всем мире вдруг исчезли все издания сочинений Пушкина. И собрания сочинений, и отдельные издания, и давние, и недавние — все до одного. Что было бы тогда? Так и осталось бы человечество без Пушкина?

На первый взгляд — да. А если подумать — нет. Загляните в ваш учебник русского языка. Там к каждому правилу даны примеры и упражнения; по большей части это фразы из сочинений русских классиков. Выберите оттуда все фразы Пушкина — вы сами удивитесь, как их много. А теперь представьте себе, что точно так же вы пересмотрели и все учебники прошлых лет, все существующие книги по языкознанию, все словари и извлекли оттуда все цитаты из Пушкина. Это будет еще больше. Теперь перейдем к учебникам литературы: как много в них написано о Пушкине, как много там цитат; а кроме того, там есть пересказы многих произведений — это, конечно, не пушкинские слова, но они тоже помогают понять Пушкина и, что важнее, догадаться, какие цитаты взяты из каких произведений. А ведь, кроме учебников, о Пушкине написано великое множество книг, из которых можно извлечь очень много материала. Потом возьмемся за хрестоматии и сборники: ведь по нашему условию они не погибли. Они наверняка дадут нам в общей сложности несколько десятков законченных стихотворений и отрывков из поэм. Наконец, кроме русских хрестоматий, есть и иностранные; большинство стихов в них, конечно, те же самые, но вдруг в них найдется английский или испанский перевод какого-нибудь стихотворения, нам еще незнакомого. А потом, собрав этот пестрый материал, филолог будет долго и бережно его сортировать и группировать и после этого издаст от-

дельной книгой, на которой будет написано: «А.С. Пушкин. Отрывки». Уверяю вас, что получить общее представление о Пушкине по такой книге все же будет возможно.

Вот так, без всякого «если бы», приходится ученым составлять издания очень многих древнегреческих писателей. Целые произведения их не дошли до нас, а цитаты из них дошли. Мы только что перечислили девятерых лириков; из них законченные произведения — и то далеко не все! — сохранились лишь от великого Пиндара да от веселого Анакреонта. Всех остальных мы смогли представить себе лишь тогда, когда были собраны их отрывки, — лет двести—триста тому назад. Сперва такая возможность казалась странной: великий насмешник Свифт, автор «Гулливера», издевательски писал: «Как сообщает такой-то писатель в такой-то главе и параграфе своего полностью утраченного сочинения...» Потом привыкли, и теперь в чтении отрывков мы умеем находить не только пользу, а и удовольствие.

В самом деле: отрывки — это ведь по большей части цитаты, а в цитаты попадают обычно самые яркие строки поэта. Раскроем сборник отрывков неистового Алкея — и видим:

Медью воинской весь блестит,
весь оружием убран дом —
Аресу в честь.
Тут шеломы как жар горят,
и колышутся белые
На них хвосты.
Там медяные поножи
на гвоздях поразвешены;
Кольчуги там.
Вот холстинные панцири;
вот и полые, круглые
Лежат щиты.
Есть булаты халкидские,
есть и пояс, и перевязь, —
Готово все.
Ничего не забыто здесь —
не забудем и мы, друзья,
За что взялись!

У отрывка нет ни начала, ни конца, но все видно и все понятно, а «за что взялись», мы догадываемся по биографии Алкея: за мятеж против митиленского тирана.

Раскроем теперь Сафо:

Я негу люблю,
юность люблю,
радость люблю и солнце.

Жребий мой — быть
в солнечный свет
и в красоту влюбленной.

Весь отрывок — две строки, и в них все сказано. Раскроем Пиндара, высочайшего из поэтов; самый знаменитый из его отрывков — даже не два, а один стих:

Что есть бог? Бог есть все!

Раскроем Архилоха — бродячего воина, которого греки считали вторым после Гомера начинателем поэзии, потому что он первый стал сочинять стихи не для пения, а просто для громкого чтения:

Сердце, сердце! Грозным строем встали беды пред тобой.
Ободрись и встреть их грудью, и ударим на врагов!
Пусть везде кругом засады — твердо стой, не трепещи!
Победишь — своей победы напоказ не выставляй,
Победят — не огорчайся, запершись в дому, не плачь!
В меру радуйся удаче, в меру в бедствиях горюй:
Смену волн познай, что в жизни человеческой царит.

Раскроем Гиппонакта — нищего насмешника, выдумавшего «хромой стих» с забавным перебоем ритма на конце:

Богатства бог — недаром говорят:
слеп он!
Ведь нет чтобы к поэту заглянуть
в гости
Да молвить: «На, мол, тридцать серебра
фунтов,
А там и больше». Нет ведь, не зайдет:
трусит!

Пять поэтов, пять отрывков, один короче другого; и ни одного не спутаешь с другим. Простимся на этом с девятью лириками и поблагодарим собирателей их отрывков.

ПИСИСТРАТ В АФИНАХ

В Афинах явилось новое зрелище: трагедия. Поэт Феспис, сочинявший песнопения для сельских праздников в честь бога Диониса, решил не только рассказывать в песнях, но и представлять в лицах мифы о героях. Например, хор одевался товарищами Геракла и пел тревожную песню, что Геракл ушел на подвиг и неизвестно, жив ли; а потом выходил актер, одетый вестником, и рассказывал стихами, что случилось с Гераклом, и хор отвечал на это новой песней, радостной или скорбной.

Афиняне были в восторге от нового зрелища. Недоволен был только старый Солон. Он спросил Фесписа: «И тебе не

стыдно притворяться при всех и лгать, будто ты — Гераклов вестник?» Феспис ответил: «Да ведь это игра!» Солон покачал головой: «Скоро для нас все будет игрою».

У Солона был молодой родственник по имени Писистрат. Когда-то отец Писистрата приносил жертву в Олимпии — и случилось чудо: котел с жертвенным мясом закипел без огня, и вода полилась через край. Мудрец Хилон сказал ему: «Это значит, что сыну твоему тесны будут законы твоего города. Поэтому не заводи сына, а если завел — отрекись!» Но отец не решился отречься от сына. Писистрат вырос, стал хорошим полководцем, народ его любил, и вот законы города стали для него тесны.

Однажды Писистрат изранил сам себя мечом, изранил мулов, запряженных в его повозку, выехал в таком виде на площадь и стал жаловаться народу, что на него напали его враги и он с трудом от них ускользнул. Его стали жалеть. Только Солон мрачно сказал: «Не верьте ему, граждане: это он играет трагедию». Но Солона не послушали.

Писистрат попросил, чтобы ему позволили держать при себе телохранителей. Ему позволили. Правда, не копьеносцев — это было бы слишком похоже на царскую власть, — а только дубиноносцев. Но Писистрату и этого было достаточно. Прошло немного времени, и со своими дубиноносцами он захватил акрополь и стал править как тиран.

Солон сказал афинянам: «Писистрат умнее одних из вас и храбрее других: умнее тех, кто не понял его хитрости, храбрее тех, кто понял, да смолчал. Встаньте на защиту закона!» Но народ остался спокоен: Писистрата любили. Тогда дряхлый Солон надел оружие и сел на своем пороге: «Если вы не хотите уберечь ваш город — я хочу уберечь свой дом». Его спросили: «На что ты надеешься?» Он ответил: «На мою старость».

В этот раз Писистрат недолго был у власти: против него соединились двое знатных соперников, тоже мечтавших о тирании, и изгнали его. Но скоро они поссорились друг с другом, и Писистрат сумел вернуться из изгнания. Возвращение устроили необычное. В деревне близ Афин нашли крестьянку, рослую и красивую, на нее надели шлем и панцирь, дали копье и щит, поставили на колесницу и повезли в город. Глашатаи кричали: «Богиня Афина сама едет в свой город и ведет за собой Писистрата!» Народ сбегался и преклонялся перед богиней. Если бы это увидел Солон, он сказал бы: «Писистрат опять играет трагедию».

Это был еще не конец. На Писистрата восстал его соперник Мегакл Алкмеонид (внук виновника «килоновой скверны»), и дело дошло до сражения. Но войска Мегакла

отказались биться с Писистратом и разбежались, а вслед бегущим поскакали на фракийских конях два сына Писистрата, громким голосом крича, чтобы никто ничего не боялся и каждый возвращался к своему очагу: Писистрат не мстит никому. Уйти в изгнание пришлось теперь Мегаклу с его Алкмеонидами. Вслед за ними собрались было прочь и некоторые другие знатные люди, опасаясь Писистрата. Но Писистрат вышел вслед им сам с мешком за плечами. «Что это значит?» — спросили они его. «Это значит, что или я уговорю вас остаться со мной, или уйду с вами». Они остались.

В Афинах сохранилась добрая память о правлении Писистрата. Он был мягок и щедр, старался угождать народу. Однажды кто-то, обидевшись на него, вызвал его в суд, и Писистрат исправно пришел держать ответ, но обвинитель оробел и сам не явился. А пока был жив Солон, Писистрат оказывал ему великое почтение и во всем спрашивал его совета.

Один юноша влюбился в дочь Писистрата и до того дошел в своей страсти, что поцеловал ее на улице. Жена Писистрата возмутилась и попросила мужа наказать дерзкого. Писистрат ответил: «Если мы будем наказывать тех, кто нас любит, то что же нам делать с теми, кто нас не любит?» —и выдал дочь замуж за этого юношу.

Когда-то мудреца Питтака спросили: «Что на свете самое удивительное?» Он ответил: «Тиран, доживший до старости». Таким удивительным тираном оказался Писистрат. Он дожил до преклонных лет, народ его слушался, и враги его не тревожили. Но за него расплатились его сыновья.

ТИРАНОБОРЦЫ

Пифия недаром сказала когда-то Кипселу:

Благословен, о Кипсел, ты и дети твои, но не внуки.

Тираны не удерживались у власти дольше двух поколений. Тот, кто захватывал власть при поддержке народа, обычно пользовался этой поддержкой и дальше; но дети его, получившие власть по наследству, такой поддержки уже не имели. Знать их ненавидела, а народ к ним был равнодушен. Он уже получил от них все вольности, какие мог, и не собирался их отдавать.

После смерти Писистрата править Афинами стали два его сына: Гиппий и Гиппарх. Они твердо держались обычаев отца: граждан не обижали и не обирали, город укра-

шали постройками, празднества для народа справляли с великой пышностью. Но чувствовалось, что их не любят, и вскоре это стало явным.

В Афинах жили два друга: Гармодий и Аристогитон. Тиран Гиппарх влюбился в сестру Гармодия и преследовал ее, уговаривая стать его любовницей. Девушка отвергла тирана. Гиппарх не простил ей этого: когда в Афинах был праздник и девушки лучших семейств должны были идти с корзинами на головах в торжественной процессии к храму Афины, Гиппарх запретил сестре Гармодия участвовать в этом шествии, заявив, что она недостойна такой чести.

Гармодий решил отомстить за унижение сестры. В заговоре с ним было лишь несколько человек, среди них — одна женщина, по имени Леэна. Приближался праздник Панафиней, когда юноши должны участвовать в процессии с щитами и копьями в руках. Заговорщики явились на этот праздник и с мечами, скрыв их ветками мирного мирта. Здесь Гармодий и Аристогитон бросились на Гиппарха и убили его. Но Гиппий спасся. Началась расправа. Заговорщиков жестоко пытали, выведывая имена соучастников. Тверже всех держалась женщина, Леэна. Чтобы не заговорить под пытками, она сама откусила себе язык. Аристогитон поступил иначе: на допросе он назвал своими соучастниками всех лучших друзей тиранов, чтобы Гиппий их погубил и остался одинок.

Все заговорщики погибли. Афиняне потом чтили их как героев. О Гармодии и Аристогитоне сложили песню и на городской площади воздвигли им памятник. Это был первый памятник не богу, не мифическому герою, не олимпийскому победителю, а гражданам, совершившим подвиг на благо отечества. А в честь Леэны, чье имя значит «львица», была поставлена бронзовая статуя львицы, у которой в раскрытой пасти не было языка.

Гиппий, лишившись брата, стал подозрителен и суров. До сих пор его не любили — теперь стали ненавидеть. И на это тотчас откликнулись вечные враги Писистратова рода — изгнанники Алкмеониды.

Золото их предка Алкмеона очень пригодилось им на чужбине. В Дельфах случился пожар и сгорел знаменитый храм. Алкмеониды явились в Дельфы и подрядились за свой счет выстроить новый храм. Обещали храм из известняка, а выстроили из мрамора, не в пример богаче и красивее прежнего. Дельфийские жрецы не могли прийти в себя от восторга. Не приходится удивляться, что после этого какое бы государство ни присылало к оракулу послов, все они получали от пифии один и тот же ответ: «По-

могите Алкмеонидам изгнать тиранов из Афин, и тогда во всем вам будет удача».

Получали такой ответ и спартанцы, к тому же не раз и не два. Наконец им это надоело. Они уже подавили тиранию и в Сикионе, и в Коринфе; теперь спартанский царь осадил Гиппия в афинском акрополе. Случилось так, что два сына Гиппия, пытаясь проскользнуть из акрополя и спастись, попались в руки осаждающих. Отцу пришлось вступить в переговоры. Ему вернули сыновей, а он сдал акрополь и удалился в изгнание за море — в Персию. Здесь он ждал случая восстановить в Афинах свою власть. Мы еще встретимся с ним.

Навести порядок в Афинах взялся сын Мегакла Алкмеонида Клисфен. И он это сделал. У власти вновь встало народное собрание; во главе его вместо прежнего «совета четырехсот» стал новый — «совет пятисот», а выборы в него были устроены так, что простой народ всегда имел перевес над знатью.

Царство произвола кончилось, царство закона восстановилось. Но закон, как все убедились, тоже можно было понимать по-разному. «Равнозаконие!» — говорили поборники народа. «Благозаконие!» — говорили поборники знати. Борьба будет еще долгой, но сейчас перевес был на стороне «равнозакония». В песне в честь тираноборцев пелось:

Буду меч я носить под веткой мирта,
Как Гармодий и как Аристогитон,
Когда пал тиран,
ими сражен,
И процвело в стране
равнозаконие.

С ЧЕГО НАЧАЛАСЬ ФИЛОСОФИЯ

Когда семеро мудрецов изрекали свои правила поведения, им не нужно было придумывать что-то новое: все эти мысли давно были выношены народной мудростью, им оставалось лишь высказать их коротко и ярко. Когда же один из этих мудрецов, а потом его ученики стали задумываться не о законах человеческой жизни, а о законах мирового устройства, то мысль их пошла по нехоженым путям. Правила семи мудрецов были проверены веками: это была мудрость. Новые, неиспытанные домыслы никто не решался назвать мудростью: это было лишь «стремление к мудрости», «искание мудрости». И новые мыслители сами стали себя называть не «мудрецы», а «любомудры»: по-гречески — «философы».

Над первыми философами смеялись. Зачем искать неизвестное и ненадежное, когда есть известное и надежное? Зачем думать об устройстве мира, когда и устройство земной жизни приносит столько хлопот? Все с удовольствием рассказывали, как однажды Фалес Милетский вышел ночью наблюдать светила, но не посмотрел под ноги и упал в колодец, а служанка сказала ему: «Что в небе, ты видишь, а что под ногами, не видишь?»

Впрочем, учения первых философов звучали с непривычки так странно, что посмеяться было легко.

На одном конце греческого мира, в Милете, философ Фалес (тот самый, один из семи мудрецов) говорил ученикам: «Все на свете создалось из воды». Его ученик Анаксимандр не соглашался с ним: «Все на свете создалось из неопределенности». Ученик Анаксимандра Анаксимен не соглашался и с этим: «Все на свете создалось из воздуха». А в соседнем городе Эфесе Гераклит откликался посвоему: «Все на свете создалось из огня».

На другом конце греческого мира, в городе Кротоне, философ Пифагор говорил ученикам совсем непохожее: «Все на свете создалось из числа. Единица — это точка, двойка — линия, тройка — плоскость, четверка — тело. Кроме того, двойка — число женское, тройка — число мужское, пятерка — число супружества, восьмерка — число дружбы, десятка — число мудрости и совершенства. Пирамида есть знак огня, куб — земли, восьмигранник — воздуха, двенадцатигранник — воды. Семь струн на лире, семь светил на небе, каждое из них звучит, как струна, и звуки их слагаются в музыку сфер».

Странно? Странно. Но если подумать, то окажется, что мысль первых философов была удивительно разумна и последовательна.

Фалес и его ученики рассуждали так. Давайте для каждого понятия подбирать другое понятие, более широкое и общее. Что такое Фалес? Житель Милета. Что такое житель Милета? Грек. Что такое грек? Человек. Что такое человек? Живое существо. А что такое живое существо? Тут, пожалуй, и не ответишь: такого общего понятия еще нет в языке. Начнем с другого конца. Что такое вот эта штучка в перстне? Аметист. Что такое аметист? Камень. Что такое камень? Вещество. А что такое вещество? Опять нельзя дать ответа: опять мы пришли к тому самому общему понятию, которого еще нет в языке. Как же назвать это понятие, которое должно охватывать все, что есть на свете, — и человека, и камень, и траву, и ветер? «Назовем его водой», — говорил Фалес. Почему он так говорил? Мо-

жет быть, потому, что воду легче всего видеть и твердой, и жидкой, и газообразной; а может быть, потому, что он вспоминал древний миф, по которому прародителем всего, что есть на свете, был старец Океан, объемлющий весь мир. Последователи Фалеса соглашались с этим ходом мысли, но не соглашались с названием и предлагали другие. Какое же из этих названий победило? То, которое два века спустя предложил философ Аристотель. Он предложил для самого общего понятия обо всем, что есть на свете, слово «лес» — лес как строительный материал, из которого делаются любые постройки. Римляне, перенимая греческую философию, перевели это слово на свой язык: по-латыни «строительный лес» будет «материес». А отсюда пошло то слово, которым и до наших дней философы обозначают все вместе взятое, что существует на свете, — слово «материя». Вам еще не приходилось встречать это слово в таком важном значении? Не беда, еще придется.

Пифагор рассуждал иначе. Хорошо, думал он, пусть человек и камень одинаково состоят из воды, огня или чего угодно, но ведь тем не менее человек и камень — это совсем не одно и то же! В чем же между ними разница? Очевидно, разница — в их внутреннем строении. А что такое строение? Это размеры и соотношение частей. А чем определяются размеры и соотношения? Числом! Стало быть, сущность любого предмета со всеми его качествами можно выразить числом: число — начало всего. Да вот и пример: кто из людей сильнее — мужчина или женщина? Мужчина. А какие из чисел сильнее — четные или нечетные? Нечетные: потому что четное можно разделить пополам, и от него ничего не останется, а нечетное нельзя разделить бесследно — от него всегда останется единица в остатке. Вот и получается, что числом женщины будет двойка, первое четное число, а числом мужчины — тройка, первое нечетное число (единица не в счет), а числом брака — пятерка, их сумма... и так далее, и так далее.

Нам незачем следить за ходом мысли первых философов во всех подробностях. Скажем одно: какого ни взять мыслителя в истории европейской мысли за две с половиной тысячи лет, взгляды его, бесконечно упрощая, всегда можно будет свести или к взглядам Фалеса, или к взглядам Пифагора: или к «материализму», или к «идеализму», как выражаются философы. Но это — уже за пределами нашей книги.

ПИФАГОР

Пифагор был великим математиком и мудрецом, но этого ему было мало. Он хотел быть пророком и полубогом.

О нем рассказывали чудеса. Белый орел слетал к нему с неба и позволял себя гладить. Переходя вброд реку Сирис, он сказал: «Здравствуй, Сирис!» И все слышали, как река прошумела в ответ: «Здравствуй, Пифагор!» В один и тот же полдень его видели в городе Кротоне и в городе Метапонте, хотя между Кротоном и Метапонтом — неделя пути. Он говорил: «Я не учу мудрости, я исцеляю от невежества». Он разговаривал с медведицей, и медведица с тех пор не трогала ничего живого; он разговаривал с быком, и бык с тех пор не касался бобов. Однажды на берегу моря он увидел рыбаков, которые, надсаживаясь, тянули тяжелую сеть; он им сказал: «В сети будет пятьсот восемнадцать рыб». Так и оказалось, и пока рыб пересчитывали на сухом песке, ни одна из них не издохла.

Он говорил, что после смерти душа человека переселяется в новое тело и начинает новую жизнь. Например, его душа была когда-то душою Эталида, сына Гермеса. Гермес предложил сыну на выбор любой дар, кроме бессмертия. Эталид выбрал память о прошлых жизнях своей души. Поэтому Пифагор помнил, что после Эталида он был троянцем Евфорбом, которого ранил Менелай; потом — милетцем Гермотимом, который когда-то узнал щит Менелая среди полусгнивших щитов на стене храма Аполлона; потом — Пирром, рыбаком с острова Делоса; и наконец стал Пифагором.

Самое известное из открытий Пифагора — это, конечно, теорема о том, что в треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Повод для этого открытия был самый прозаический. Нужно было решить задачу, с которой сталкивается любой землемер или строитель: как по данному квадрату построить квадрат, вдвое больший? Пифагор решил ее: нужно провести через данный квадрат диагональ и построить на ней квадрат, и он будет вдвое больше данного. А потом, разглядывая свой чертеж, он достиг и более общей формулировки теоремы. После этого он объявил, что сами боги подсказали ему это решение, и принес богам самую щедрую жертву, какую знало греческое благочестие, — гекатомбу, стадо из ста голов скота.

У Пифагора было много учеников. Их учение продолжалось пятнадцать лет. Первые пять лет ученик должен был молчать: это приучало его к сосредоточенности. Вторые пять лет ученики могли только слушать речи учителя, но не видеть его: Пифагор говорил с ними ночью и из-за занавеси. Только последние пять лет ученики могли беседовать с учителем лицом к лицу. Наставления Пифагора начинались словами: «Самое священное на свете — лист мальвы, самое мудрое — число, а после него — тот из людей, кто дал всем вещам имена».

Когда его ученики просыпались по утрам, они должны были произносить такие два стиха:

Прежде чем встать от сладостных снов, навеваемых ночью,
Думой раскинь, какие дела тебе день приготовил.

А отходя ко сну — такие три стиха:

Не допускай ленивого сна на усталые очи,
Прежде чем на три вопроса о деле дневном не ответишь:
Что я сделал? чего я не сделал? и что мне осталось?

Пифагор говорил: «Главное — это отгонять от тела болезнь, от души — невежество, от утробы — сластолюбие, от государства — мятеж, от семьи — раздор, отовсюду — нарушение меры».

И еще: «Боги дали людям две благодати: говорить правду и делать добро».

Как и семь мудрецов, он давал наставления о том, как надо жить. Но у мудрецов все было сказано кратко и ясно, а Пифагор нарочно говорил загадочно и иносказательно. Что, например, могут значить такие заветы: «Не разгребай огонь ножом», «Не ходи по качающемуся бревну», «Не наступай на обрезки волос и ногтей», «Помогай ношу взваливать, а не сваливать», «Что упало, не поднимай», «Не разламывай хлеба надвое»? И даже: «Обувай первой правую ногу, а мой левую», «Не оставляй след горшка на золе» — и так далее, и так далее.

Некоторые отгадки сохранились. «Не разгребай огонь ножом» — это значит: человека вспыльчивого и надменного резкими словами не задевай. «Помогай ношу взваливать, а не сваливать» — поощряй людей не к праздности, а к добродетели и к труду. «Что упало, не поднимай» — перед смертью не цепляйся за жизнь. «Не разламывай хлеба надвое» — не разрушай дружбы. «Через весы не шагай» — соблюдай меру во всем. «Венка не обрывай» — не нарушай законов, ибо законы — это венец государства. «Не ешь сердца» — не удручай себя горем. «По торной до-

роге не ходи» — следуй не мнениям толпы, а мнениям немногих понимающих.

Самое же знаменитое его требование было — не есть бобов. Объяснений ему (и в древности, и в новое время) приводилось очень много: и потому-де, что это слишком насыщенная белками пища, и потому, что с виду они похожи на аидовы врата, и потому, что они состоят из двух половинок, точно так же, как человек, у которого всего по два: и рук, и ног, и так далее, и даже «потому, что они подобнее всего человеческому составу, и если во время цветения бобов взять цветок, уже потемневший, положить в глиняный сосуд, закопать в землю на девяносто дней, а потом откопать и открыть, то вместо боба в нем окажется человеческая голова». Не думаю, чтобы кто-нибудь в Греции проверял эти опыты.

Из-за бобов Пифагор и погиб. Он жил в городе Кротоне в Италии, знать его почитала и училась у него, а народ ненавидел. Против Пифагора и его учеников вспыхнуло восстание. Пифагор бежал, за ним гнались. Впереди было поле, засеянное бобами. Пифагор остановился: «Лучше погибнуть, чем потоптать бобы». Здесь его и убили.

Почему же Пифагор и его ученики так много занимались математикой? Почему потом Платон, многое перенявший от пифагорейцев, написал на дверях своей школы: «Не знающим геометрии вход воспрещен»? Потому что знание математики более всего приближает человека к богам. Чем? Тем, что даже бог не может сделать, например, чтобы дважды два не равнялось четырем, а сумма квадратов катетов — квадрату гипотенузы. Если есть в мире законы, которым повинуется все на свете — и люди, и боги, то это прежде всего законы математические. Кто знает математику, тот знает то, что выше бога.

Дела и годы (до н.э.)

776	—	первые Олимпийские игры
VIII в.	—	расцвет поэтов Гомера и Гесиода
ок. 725	—	первая Мессенская война
676	—	музыкант Терпандр в Спарте
ок. 650	—	вторая Мессенская война
ок. 632	—	Килонова смута в Афинах
625—585	—	тиран Периандр в Коринфе
621	—	законы Дракона в Афинах
ок. 600	—	поэтесса Сафо на Лесбосе, музыкант Арион в Коринфе
594	—	законы Солона в Афинах
ок. 585	—	расцвет философа Фалеса Милетского и «семи мудрецов», его современников
571—555	—	тиран Фаларид в Акраганте
561—528	—	(с перерывами) тиран Писистрат в Афинах
ок. 560	—	победа Спарты над Тегеей
546	—	лидийский царь Крез «переходит через Галис»
538—522	—	тиран Поликрат на острове Самосе. Поэт Анакреонт при его дворе
ок. 530	—	расцвет философа Пифагора в Южной Италии
514	—	тираноубийцы Гармодий и Аристогитон
508	—	падение тирании в Афинах, реформы Клисфена
ок. 475	—	расцвет поэта Пиндара

СЛОВАРЬ II

Греческие имена

У вас, вероятно, уже зарябило в глазах от множества греческих имен: все разные и все похожие. Как бы в них не запутаться? Поэтому — два слова о том, что эти имена значат. У нас в русском языке тоже есть значащие имена: *Вера*, *Надежда*, *Любовь*; *Ярослав* (яркий славой); *Владимир* (владеющий миром); *Людмила* (людям милая). Так вот, у греков почти все имена были значащие. *Алекс-андр* — защитник людей. *Фил-ипп* — любитель коней (конный спорт был делом знати, имена на *-ипп* были аристократическими). *Геро-дот* — богини Геры дар. *Поли-крат* — много-властный. *Демо-сфен* — народа сила. *Пери-кл(ес)* — «со всех сторон слава», вроде нашего *Всеслав*. *Иеро-кл(ес)* — святая слава, вроде нашего *Святослав*. И так далее. Зная небольшой набор корней, из которых составлялись такие имена, можно выкладывать из них новые, как из мозаики.

И в начале, и в конце имени можно встретить такие корни:

-агор- — говорить
-анакс-, ***-анакт-*** — владыка
-андр- — человек, муж
-арх(и)- — начальник
-дем-, ***-дам-*** — народ
-(г)ипп- — конь
-крео(н)- — царь
-крин-, ***-крит-*** — судить, судья
-кл(ес), ***-клео-***, ***-клит-*** — слава
-ксен- — гость
-ник- — побеждать, победитель
-страт- — войско
-фил- — любить

Преимущественно в начале имени встречаются корни:

алк- — сила
алекс- — защита
ант(и)- — вместо, против
арист- — лучший
(г)иер- — святой, священный
ев-, ***эв-*** — хороший
еври-, ***эври-*** — широкий
исо- — равный
ифи- — сильный
калли- — красивый
левк- — белый
лик- — светлый или волчий
лиси- — прекращать, разрушать
метро- — мать, материнский
нео- — новый, молодой
патро- — отец, отцовский
пери- — со всех сторон
пиф- — убеждать

ксанф-, ксант- — рыжий
пракс- — дело
прот- — первый
тим- — почесть
поли- — много
фраси- — храбрый
хрис- — золотой
эпи- — после

Кроме того, многие имена бывают производными от имен богов: *аполло-, афино-, гермо-, геро-, гераклео-...* Кончаются они обычно на *-дор, -дот* (что значит «дар») или *-ген* (что значит «рождение», «рожденный»). ***Зено-*** и ***Дио-*** одинаково значат «Зевсов», а ***фео-*** (или ***тео***) — «божий» вообще.

Окончания имен обычно такие:

-анф, -ант — цвести
-бул — советовать
-ген, -гон — рожденный
-дор, -дот — дар
-дам(ант) — укротитель
-крат — власть
-лай — народ
-мах — борьба, война
-мед — мысль, забота
-сфен — сила
-фан — явленный, видный
-фрон — разумный

Теперь, кто хочет, пусть проверит себя: что значит *Филодем? Каллиник? Протагор? Ификрат? Диоген? Аристипп? Андромаха? Поликсена?* Как назвать по-гречески «дар Зевса»? «рыжую лошадь»? «отцовскую славу»? «убедительную речь»? «начальника мысли»? «прекратителя войны»?

Вот теперь, может быть, вам будет легче помнить такие имена.

Часть третья

ГРЕКО-ПЕРСИДСКИЕ ВОЙНЫ, или Закон борется с самовластием

Павшие в Фермопилах, —
Славна их участь, красен их жребий:
Курган их — алтарь, возлиянье — память,
скорбь о них — хвала,
И таких похорон
Не затмит всеукрощающее время.
Здесь свято место, где прах храбрецов,
А печется о нем
Добрая молва по всей Элладе.
И свидетель тому — спартанский Леонид,
Чей след на земле —
Вечная краса доблести и славы...

Симонид



ЧЕТЫРЕ КРАЯ СВЕТА

При Гомере греки представляли себе Землю большим кругом, по краю которого течет Океан — не море-океан, а река-океан, граница вселенной. В середине этого круга находились Дельфы, вокруг них — Греция, рядом — Эгейское море, а дальше — неведомые пространства, по которым много лет скитался Одиссей.

С тех пор мир прояснился и раздвинулся. Средиземное море стало для греков своим, домашним, и о всех прибрежных его странах греки имели самые точные сведения. На западе был Карфаген, суровый город человеческих жертвоприношений, опасный сосед и частый враг. На юге был Египет, цари его охотно принимали в гавани греческих купцов, а на службу — греческих воинов. На восток от Средиземного моря была Финикия, за спиной у нее — Ассирия и Вавилония, а за спиной у них — Мидия и Персия. Эти страны были заняты внутренними войнами и до поры до времени неопасны. На восток от Эгейского моря была Лидия. Это была почти своя земля: цари ее приглашали в гости греческих мудрецов и дарили в Дельфы столько даров, сколько не дарили и сами греки. Наконец, на севере была Скифия — край степей и лесов, но и он был уже знаком, и оттуда ездил в Грецию Анахарсис.

Половину мира занимала Азия, четверть — Европа, четверть — Африка.

Сказочные страны и народы, однако, не исчезли, они только отодвинулись дальше к краю Земли. Греки до них не доходили, но с жадностью пересказывали все слухи о них. Слухи были все похожи друг на друга: всюду оказывалось, что страны там богатые, а народы дикие, золота и серебра много, но пользоваться ими люди не умеют.

На западе, в Испании, в земле столько золота, что при лесных пожарах оно плавится в жилах и само вытекает на поверхность. Реки там текут золотым песком. Но люди в тех местах, кельты и иберы, не умеют даже сеять хлеб и питаются желудями. Они жестоки и бесстрашны: когда им нужно гадать о будущем, они убивают человека ножом в



ТАК ГРЕКИ ПРЕДСТАВЛЯЛИ МИР НАКАНУНЕ ГРЕКО-ПЕРСИДСКИХ ВОЙН

спину и гадают по его судорогам. Бесстрашны они потому, что верят, будто в загробном мире будут жить, как жили здесь. Они даже дают друг другу в долг при условии отдачи на том свете. Правда, некоторые говорят, что по ту сторону кельтов и иберов, на берегу Океана, лежит страна Тартесс с богатыми городами и мудрыми царями. А еще дальше, в Океане, лежат Счастливые острова, где даже царей нет, а у людей все общее. Может быть, это уже рай?

На дальнем севере живут гипербореи. Это тоже край блаженных: там вечный день, и туда в зимнюю пору приходит гостить сам бог Аполлон. Страна эта отгорожена высокими горами, в горах глыбами лежит золото, а сторожат его хищные птицы — грифы. А у подножия гор живут племена сказочные и дикие. Это аримаспы, у которых один глаз всегда прищурен; исседоны, у которых сыновья поедают трупы отцов; иирки, лазающие по деревьям; невры, про ко-

торых говорят, будто каждый невр раз в году оборачивается волком; будины, чья пища — сосновые шишки; агафирсы, у которых жены общие, чтобы все люди были родней друг другу. Даже скифам приходится с этими народами разговаривать через семерых переводчиков.

На востоке крайняя страна — Индия. Здесь золото не в горах, а в пустынях, и стерегут его не грифы, а исполинские муравьи. Ростом они с собаку, а норы у них под землей. Копая норы, они задними ногами выбрасывают на поверхность песок, и он кучами лежит у входа в нору. Этот песок — золото. Местные жители ходят за ним в пустыню в самое жаркое время дня, когда муравьи сидят в норах. Ходят с тремя верблюдами, и среди них непременно одна самка, у которой дома остались верблюжата. Набивают мешки золотым песком и бросаются в бегство. Муравьи выскакивают из нор и гонятся за ними. Верблюды-самцы от них не ушли бы, но верблюдица-самка, стремясь к покинутым верблюжатам, убегает, а за нею кое-как поспевают и самцы. Так добывают индийское золото.

На юге крайняя страна — Эфиопия. Золота там тоже столько, что из него делают даже цепи для преступников. Люди там пьют только молоко, живут до ста лет, царем выбирают того, кто всех красивее и сильнее, а богов чтут двух: одного бессмертного, другого смертного, но неведомого. Но путь к эфиопам лежит через пустыню, где живут дикие кочевники, никому не покорные. Это псиллы, заклинатели змей, которые ходят с копьями наперевес в поход против южного ветра, за то что он засыпает песком их колодцы; это атаранты, у которых люди не имеют ни имен, ни прозвищ; это атланты, которые не едят ничего живого и не умеют видеть снов; а другие племена уже трудно было даже отличить друг от друга.

Таков был мир, лежавший вокруг Греции. Он манил богатствами и отпугивал дальними и дикими путями к ним. Этот большой мир был не страшен маленькой Греции, пока он был разобщен. Но за сто лет, которые прошли от Солона до Клисфена, половина этого мира сплотилась в одну великую державу — Персидское царство. Грецией правил закон, Персией — царский произвол. Кто будет сильнее?

ОТ СЕМИРАМИДЫ ДО САРДАНАПАЛА

Персия была не первым царством, объединившим в опасную силу весь Восток. До Персии была Ассирия, и ее царство держалось тридцать поколений — от Семирамиды до

Сарданапала. И о той и о другом рассказывались легенды.

Ассирийская столица называлась Ниневия. Построил ее царь Нин. Стена Ниневии была в сто ступней высоты и такой ширины, что поверху могла проехать колесница на трех конях, а башен в этой стене было полторы тысячи. Нин не жил в Ниневии, он воевал в дальних краях. Вокруг Ниневии царские пастухи пасли стада, а царские воины собирали с них оброк и отвозили царю.

У одного пастуха была дочь Семирамида. Начальник царских воинов увидел ее, влюбился и взял за себя замуж. Он так ее любил, что, когда царь вызвал его к себе в поход, он велел Семирамиде ехать за ним. Чтобы никто не узнал в ней женщину, Семирамида придумала наряд, прикрывавший все тело: шаровары, куртка с рукавами и шапка с покрывалом. С тех самых пор этот наряд (казавшийся странным для греков с их открытыми руками, ногами и лицами) стал на Востоке общим для мужчин и для женщин. Но царя он не обманул. Нин узнал в Семирамиде женщину, увидел, что она прекрасна, и понял, что она умна. Он сказал ее мужу: «Отдай мне жену». Тот не мог послушаться и не смел ослушаться: он закололся мечом. Семирамида стала царицей.

Царь ее любил, но она его не любила. Однажды она сказала ему: «Обещай выполнить одну мою просьбу!» Царь обещал. Она сказала: «На один только день уступи мне царство, чтобы все меня слушались». Царь вручил ей скипетр и посадил на трон. Она хлопнула в ладоши и показала страже на царя: «Убейте его!» Так погиб царь Нин, а Семирамида стала владычицей Азии.

Чтобы не жить в Ниневии, она выстроила новую столицу, еще больше: Вавилон. Ниневия была на реке Тигре, а Вавилон на реке Евфрате. Стены его были втрое выше ниневийских, а проехать по ним могла колесница не в три, а в четыре коня. Через Евфрат был мост на каменных столбах; чтобы поставить эти столбы, воду из могучей реки пришлось отвести в огромный пруд. На берегу стоял не один, а два царских дворца, каждый за тройной стеной. Рядом был холм, а на склоне холма — висячие сады Семирамиды, раскинутые как бы на ступенях исполинской лестницы; каждая ступень была подперта колоннадою, и каждая колоннада была сама как дворец. Воду в гору подавали из Евфрата длинной цепью ведер. С вершины холма был виден весь Вавилон — город, похожий не на город, а на целую страну.

Так Ассирийское царство началось женщиной, сильной, как мужчина. А кончилось оно мужчиной, слабым, как женщина. Потомки Семирамиды решили, что людям свой-

ственно бояться таинственного и неизвестного, и сделали себя таинственными и неизвестными. Они не выходили из дворца, показывались только ближайшим слугам, а приказы отдавали через вестников. Народ и впрямь недоумевал и боялся. Зато цари за тридцать поколений изнежились и изленились вконец.

Последнего ассирийского царя звали Сарданапал. Однажды его случайно увидел наместник горной Мидии Арбак. Царь сидел среди жен, безбородый, набеленный, нарумяненный, и под звуки песен расчесывал крашенную пурпуром шерсть. Суровый Арбак был потрясен. Мидия восстала, и мидяне осадили Ниневию. Сарданапал не умел бороться и не хотел сдаться. Он собрал вокруг себя все свои богатства и всех своих жен и детей, запер выходы и зажег дворец. Пламя бушевало пятнадцать дней. Народ видел дым из-за стен и думал, что это царь приносит жертвы богам. Когда мидяне вошли в город, на месте дворца была гора пепла. Ее выпросил себе вавилонский наместник и выплавил из нее сто тысяч талантов золота и серебра.

Ниневия была стерта с лица земли, но надгробный памятник Сарданапалу остался. Он изображал царя с пальцами, сложенными щелчком, и с надписью:

Все, что я съел, и все, что я выпил, осталось со мною;
Все остальное, что есть, право, не стоит щелчка.

МИДИЯ И ЦАРЬ КИР

Мидяне, сокрушившие ассирийскую власть, жили в нагорьях, что высятся над долиной Тигра и Евфрата. Земли эти были просторные, но бедные, и на все царство был только один город — Экбатана, окруженный семью стенами семи цветов: белой, черной, красной, синей, желтой, серебряной и золотой.

В Экбатане жил царь Астиаг, наследник Арбака. У него была дочь Мандана. Однажды царю приснился странный сон: будто бы у дочери его из тела выросла виноградная лоза и покрыла своей сенью всю Азию. Жрецы сказали царю: «Это значит: у твоей дочери родится сын, который отнимет у тебя власть над Азией».

Астиаг встревожился. Прежде всего он выдал Мандану замуж не за знатного человека, а за простого перса из Персиды. Персы жили рядом с мидянами, но мидяне правили, а персы им подчинялись. «Никогда сын перса, — думал Астиаг, — не будет править мидянами».

И все-таки Астиагу показалось, что этого мало. Когда у

Манданы родился сын, он вызвал к себе своего родственника и советника по имени Гарпаг и приказал ему: «Убей новорожденного!» Гарпаг взял младенца, но убить его собственноручно не решился, а позвал царского пастуха, передал ему младенца и велел: «Брось его в горах, а когда он погибнет, принеси мне труп». Пастух взял младенца, но тоже не решился его убить. Жена пастуха только что родила мертвого ребенка, и пастух решил отдать его труп Гарпагу, а царского младенца оставить у себя вместо сына. Так и было сделано.

Младенца назвали Киром, и он вырос в пастушеском доме как пастушеский сын. Однажды он играл с деревенскими ребятами в цари. Ему выпало быть царем, и ребята с удивлением увидели, что он ведет себя, как настоящий царь: одних назначил своими телохранителями, других домоправителями, третьих осведомителями — никто не остался без дела. Один из ребят был не крестьянский сын, а сын придворного. Он отказался слушаться пастушонка. Кир приказал высечь его розгами за неповинование — ребята с удовольствием это исполнили. Высеченный мальчик в слезах пожаловался отцу, отец — царю. Царь Астиаг вызвал во дворец и Кира и его отца-пастуха. «Как ты смел?» — спросил царь. Кир ответил: «Ребята выбрали меня царем; этот мальчик не захотел меня слушаться; я велел его наказать. Разве не так должен поступать настоящий царь?»

Астиаг начал догадываться, что перед ним не простой крестьянский сын. Он стал допрашивать пастуха, и пастух признался. Он вызвал Гарпага, и Гарпаг признался. Он обратился к жрецам, и жрецы сказали: «Счастье твое, царь: мальчик стал царем над ребятами — значит, он уже не станет царем над Азией. Он тебе не опасен: отошли его к матери в Персиду». И тогда Астиаг отпустил мальчика к его настоящим отцу и матери, пастуха помиловал и отослал прочь, а Гарпага решил наказать страшной казнью, как ослушника. Он велел зарезать сына Гарпага и накормить отца его мясом на пиру в честь спасения Кира, а потом показал ему голову сына и сказал, чье мясо он ел. Гарпаг не дрогнул и не вскрикнул, но затаил в душе смертную ненависть к царю.

Кир жил у отца и матери в Персиде. Персы его любили и рассказывали сказки о его чудесном спасении. И вот однажды гонец от Гарпага принес Киру в подарок убитого зайца. В живот зайца была зашита глиняная табличка, а на ней было тайное письмо: «Астиаг хотел тебя убить; Астиаг убил моего сына; отомсти Астиагу, я помогу тебе, и ты станешь царем Мидии».

Кир созвал всех окрестных персов и сказал им: «Выкосите этот луг». Косили целый день, измучились, еле справились. На следующий день Кир созвал их на тот же луг, выставил мяса, выкатил кадки вина, устроил пир. После пира он спросил: «Какая жизнь больше вам нравится: вчерашняя или сегодняшняя?» — «Конечно, сегодняшняя!» — «Ну так вот, — сказал Кир, — подчиняясь мидянам, мы будем жить по-вчерашнему, а восстав на мидян, — по-сегодняшнему». И тогда персы провозгласили Кира своим царем и пошли войною на мидян. Гарпаг изменил Астиагу и примкнул со своим войском к Киру. И Кир стал царем Мидии: вещий сон сбылся.

Три большие войны вел Кир, став царем: с вавилонским царем Лабинетом, с лидийским царем Крезом и с массагетской царицей Томиридой.

Неприступный Вавилон Киру удалось взять вот каким образом. Когда-то Семирамида, чтобы поставить мост через Евфрат, отвела воды реки в огромный пруд. Теперь то же самое сделал Кир. Он прорыл канал от реки до пруда, вода хлынула в пруд, и Евфрат обмелел. Тогда воины Кира спустились в Евфрат и по бедра в воде, неслышно ступая по илистому дну, вошли в город. И так велик был город, что когда завязались бои на окраинах, то в середине Вавилона жители еще долго ни о чем не знали и хватились, лишь когда увидали себя окруженными со всех сторон.

А война с лидийским Крезом была еще более поучительна, и о ней нужен особый рассказ.

ЛИДИЯ И ЦАРЬ КРЕЗ

С лидийским царем Крезом, самым богатым человеком на свете, мы уже встречались в этой книге: это он варил черепаху, чтобы испытать дельфийский оракул. Он был добр, тщеславен и считал себя самым счастливым человеком на земле.

Однажды в гости к нему приехал знаменитый Солон Афинский. Крез устроил ему пышный пир, показал все свои богатства, а потом спросил его: «Друг Солон, ты мудр, ты объездил полсвета; скажи: кого ты считаешь самым счастливым человеком на земле?»

Солон ответил: «Афинянина Телла». Крез удивился: «А кто это такой?» Солон сказал: «Простой афинский гражданин. Но он видел, что родина его процветает, что дети и внуки его — хорошие люди, что добра у него достаточно, чтобы жить безбедно, а умер он смертью храбрых в таком

бою, где его сограждане одержали победу. Разве не в этом счастье?»

Тогда Крез спросил: «Ну а после него кого ты считаешь самым счастливым человеком на земле?»

Солон ответил: «Аргосцев Клеобиса и Битона. Это были два молодых силача, сыновья жрицы богини Геры. На торжественном празднике их мать должна была подъехать к храму в повозке, запряженной быками. Быков вовремя не нашли, а праздник уже начинался; тогда Клеобис и Битон сами впряглись в повозку и везли ее восемь верст до самого храма. Народ прославлял мать за таких детей, а мать молила для них у богов самого лучшего счастья. И боги послали им это счастье: ночью после праздника они мирно заснули в этом храме и во сне скончались. Совершить лучшее дело в своей жизни и умереть — разве это не счастье?»

Тогда раздосадованный Крез спросил прямо: «Скажи, Солон, а мое счастье ты ни во что не ставишь?»

Солон ответил: «Я вижу, царь, что вчера ты был счастлив и сегодня счастлив, но будешь ли ты счастлив завтра? Если ты хочешь услышать мудрый совет, вот он: никакого человека не называй счастливым, пока он жив. Ибо счастье переменчиво, а в году 365 дней, а в жизни человеческой, считая ее за семьдесят лет, 25 550 дней, кроме високосных, и ни один из этих дней не похож на другой».

Но этот мудрый совет не пришелся по душе Крезу, и он предпочел его забыть. Однако прошло немного лет, и он его вспомнил.

Мы уже рассказывали, как царь Крез заручился двусмысленным предсказанием дельфийского оракула: «Крез, перейдя через Галис, разрушит великое царство» — и пошел на Персию. Было два сражения, и в обоих Крез был разбит. У него была хорошая конница, на которую он очень надеялся. Но Кир выставил против этой конницы своих верблюдов; от необычного вида и запаха диковинных зверей кони шарахнулись, всадники растерялись, и войско Креза обратилось в бегство.

Кир осадил Креза в его Сардах. Город был взят. Пленного Креза в цепях привели пред лицо Кира. Кир приказал сжечь его заживо на костре. Сложили большой костер, Креза привязали к столбу, мидийские воины с факелами уже нагибались, чтобы поджечь костер с четырех сторон. Крез подумал о своем былом счастье, о своем нынешнем несчастье, глубоко вздохнул и воскликнул: «Ах, Солон, Солон, Солон!»

«Что говоришь ты?» — спросил его Кир. «Я говорю о человеке, которому следовало бы сказать всем царям то, что

он сказал мне», — ответил Крез. Кир стал его расспрашивать, и Крез рассказал ему о мудром совете: никакого человека не называть счастливым, пока он жив. Кир смутился. Он подумал, что вчера Крез был могуч, а сегодня — на краю гибели; он подумал, что сам он сегодня могуч, а что с ним будет завтра — неведомо; и он приказал свести Креза с костра, развязать, одеть в богатые одежды, а потом посадил рядом с собой и сказал ему: «Будь, прошу, моим другом и советником».

«Тогда позволь мне дать тебе два первых моих совета», — сказал Крез. Кир позволил. Крез сказал: «Посмотри, твои воины разоряют город. Ты думаешь, мой город? Нет, не мой, а твой — потому что у меня уже нет ни города, ни царства. Если хочешь сделать умное дело — останови их». Кир подумал и послушался. «А вот второй совет, — сказал Крез. — Если ты хочешь, чтобы лидийцы были тебе покорны и не бунтовали, сделай вот что: оставь им богатства и отбери у них оружие. Пройдет лишь одно поколение, и они настолько изнежатся в богатстве и роскоши, что никогда никому не будут опасны». Кир подумал и послушался. Вот как в самую трудную минуту царь Крез сумел спасти и свой город, и свой народ.

А спасти царя Кира он не смог: видно, каждый учится разуму не на чужом, а лишь на собственном опыте. Кир пошел войной на закаспийское племя массагетов, которые не сеют и не жнут, едят только мясо и рыбу, а молятся только солнцу. Массагетская царица Томирида послала сказать Киру: «Зачем ты хочешь войны, Кир? Царствуй над своим царством и не мешай нам царствовать над нашим. Если же ты упорствуешь, то, клянусь, я заставлю тебя вдоволь напиться крови, хоть ты и ненасытен». Но Кир решил, что если он был счастлив вчера, то будет счастлив и завтра, — и ошибся. Произошла битва, массагеты одолели, все персидское войско полегло, а мертвому Киру Томирида приказала отрубить голову, бросила ее в кожаный мешок, наполненный человеческой кровью, и сказала: «Пей досыта, кровожадный Кир!»

Так погиб царь Кир, основатель Персидского царства.

ЕГИПЕТ И ЦАРЬ КАМБИС

Когда Кир погиб, царствовать стал его сын Камбис. Он решил пойти войною на Египет — самую древнюю и самую удивительную страну на свете.

Земли Египта так плодородны, что их не нужно пахать.

Каждое лето Нил разливается на сто дней, города на холмах стоят, как островки среди пресного моря, и суда плавают над поверхностью полей. Когда вода спадает, на полях остается слой ила такой толщины, что за столетие египетская земля делается выше на целую пядь. В ил бросают семена и ждут, пока заколосится хлеб. А дожди этот ил не смывают, потому что дождей в Египте не бывает никогда.

Нравы и обычаи египтян не такие, как у других народов, а наоборот. Женщины у них торгуют на площадях, а мужчины хозяйничают дома. Хлеб в Египте пекут не из пшеницы и ячменя, а из полбы. Тесто месят ногами, а глину руками. Пишут и считают не слева направо, а справа налево. Покойников не сжигают на костре, как греки, а бальзамируют и стараются сохранить как можно дольше. Самые большие постройки в Египте не храмы и не дворцы, а царские могилы — пирамиды. Самых больших пирамид — три; построили их цари Хеопс, Хефрен и Микерин. Когда строили пирамиду Хеопса, то работали на стройке сто тысяч человек, сменяясь каждые три месяца, а все другие работы в стране были запрещены. Строили ее тридцать лет, и на пирамиде написано, что только на редьку, лук и чеснок для рабочих издержано было две тысячи пудов серебра, а сколько на все остальное, не считал никто.

Хеопс и Хефрен были царями жестокими, а Микерин — добрым и справедливым; однако Хеопс и Хефрен правили по пятьдесят лет, а Микерину оракул предсказал только шесть лет. Микерин очень обиделся, но оракул ему объяснил: «Ты сам виноват: боги судили Египту страдать под злыми царями сто пятьдесят лет; Хеопс и Хефрен делали то, что хотели боги, и правили долго, а ты делаешь обратное и будешь править недолго». Тогда Микерин решил назло богам удвоить срок своей жизни: он перестал спать и по ночам пировал, веселился, охотился и жил, как днем, чтобы за эти шесть леть прожить вдвое больше.

Всего в Египте сменилось триста тридцать царей. Последнего из них звали Амасис. Он был человеком низкого рода, в молодости промышлял воровством и обманом, но царь из него получился очень хороший. Это он дружил с Поликратом, и это у него Солон заимствовал закон: кто не может доложить властям, на какие средства он живет, тот подлежит наказанию. А для тех, кто попрекал его низким происхождением, он сделал вот что. У него была золотая лохань, в которой гости на его пирах мыли ноги; он велел ее переплавить и отлить статую бога. Народ стал благоговейно поклоняться этой статуе, а Амасис сказал: «Вот так и я: сперва меня попирали ногами, а теперь передо мною

все должны преклоняться». От своего темного прошлого он никогда не отрекался. Когда он был вором и его ловили, а он отпирался, то обкраденные тащили его к оракулам, и оракулы то признавали, то не признавали его вором. Когда он стал царем, то объявил все оракулы, обличавшие его, правдивыми, а оправдывавшие — лживыми и первые почитал, а вторые не ставил ни во что.

На этого Амасиса пошел войною царь Камбис. Но когда он вступил в страну, Амасиса уже не было в живых. Камбис разгромил в бою войско его сына, а тело Амасиса велел вытащить из гробницы, бить бичами, а потом сжечь на костре. И это было первым преступлением царя Камбиса, потому что персы почитали огонь божеством и никогда не оскверняли его мертвыми телами.

Камбису мало было Египта — он пошел вверх по Нилу на Эфиопию. Путь был труден, припасы кончились, изголодавшиеся воины начали по жребию поедать друг друга. Пришлось повернуть. Когда изможденное персидское войско дотащилось до египетской земли, там был праздник: рождение бога Аписа. Апис — это священный бык, шерсть у него черная, на лбу белый треугольник, на спине пятно в виде орла, под языком нарост в виде жука, рождается он раз во много лет, и тогда весь народ ликует. Камбис не поверил; ему показалось, что это все радуются его, Камбиса, неудаче. Он взглянул на маленького черного теленка, расхохотался и мечом ударил его в бедро, а жрецов и празднующих приказал бить плетьми и колоть копьями. И это было второе преступление царя Камбиса.

Расплата пришла скоро. У Камбиса был брат Смердис, наместник Мидии, большой и сильный. Все его любили, а Камбис ненавидел. Он приказал убить Смердиса. Но был в Мидии жрец, которого тоже звали Смердис. Он воспользовался смутой и поднял восстание против Камбиса, выдавая себя за спасшегося царского брата. Камбис был еще в Египте; он приказал тотчас седлать коней в поход на самозванца. И тут, когда он вскакивал на коня, у ножен его отвалился наконечник и обнаженный меч ранил его острием в бедро — в то самое место, куда он поразил священного быка Аписа. Рана загноилась, нога омертвела, и Камбис понял, что пришла его смерть. Он сказал: «Вновь мидяне хотят властвовать над персами; не допустите, персы, их до этого, верните власть хитростью или силой!» С этим он умер.

ПЕРСИЯ И ЦАРЬ ДАРИЙ

Семь месяцев царствовал над персами самозванец, и никто не оспаривал его власти. Правил он так, как когда-то ассирийские цари: не выходя из своих палат, чтобы его не узнали. Наконец персидские вельможи заподозрили недоброе, вспомнили слова умиравшего Камбиса и сошлись на том, что нужно самозванца убить. Главных заговорщиков было трое: Отан, Мегабиз и Дарий, дальний родственник царя Камбиса.

Когда решение было принято, Дарий сказал: «Мало принять решение — нужно исполнить его сегодня же и сейчас же. Мы верим друг другу, но кто знает, не станет ли он сам завтра предателем? Идемте во дворец; нас впустят; я скажу, что принес важные вести из Персиды. А там будь что суждено».

Так и было сделано. Трое персов застигли царя в спальне, в тесной комнате началась схватка. Один из них схватился с царем врукопашную; Дарий не решался ударить мечом, чтобы не задеть друга. «Все равно: бей!» — прохрипел тот. Дарий ударил и пронзил самозванца.

Нужно было решать, как править дальше. И тут, уверяет греческий историк Геродот, три вельможи обменялись вот какими мнениями.

Отан сказал: «Не нужно царя. Все мы видели жестокого Камбиса, все мы знаем, как ужасен произвол самодержца. Кто владеет неограниченной властью, тот неминуемо поддастся соблазну пользоваться ею не для общего блага, а только для своего. И несчастны тогда будут все его подданные! Нет, пусть народ сам управляет собой, сам решает свои дела на собраниях, сам назначает и сменяет должностных лиц, — только тогда среди людей воцарится справедливость».

Мегабиз сказал: «Ты неправ, Отан. Народ невежествен и легкомыслен; он так же глух к добрым советам и так же падок на лесть, как и царь; не для того мы избавлялись от произвола деспота, чтобы отдаться произволу толпы. Нет, пусть правят немногие, но лучшие — самые умные, самые богатые, самые знатные. У них есть опыт и привычка к государственным делам; править они будут сообща и для всякой задачи сумеют найти лучшее решение».

Дарий сказал: «Ты неправ, Мегабиз. Такие люди недолго будут править сообща: каждому скоро захочется стать выше других, начнутся раздоры, вражда и междоусобные войны. Нет, если сравнивать власть народа, власть знати и власть царя, то как самым худшим будет власть дурного царя, так

самым лучшим — власть хорошего царя. Как у тела одна голова, так у государства — один властелин; он не даст народу роптать на знать, а знати — угнетать народ; он будет блюсти справедливость среди подданных и сеять страх среди врагов».

Услышав эти речи, персидские вожди подумали и согласились с Дарием. Было решено: быть Персии царством, а Дарию — над нею царем.

Персы говорили, что Кир у них был царь-отец, Камбис — царь-господин, а Дарий — царь-торгаш. Это потому, что при Кире и Камбисе народы Персидского царства приносили царям такие подарки, какие хотели, а Дарий установил для них твердую и неизменную дань. Злые языки уверяли, будто он даже хотел обобрать гробницу царицы Семирамиды. На гробнице этой было написано: «Кому из будущих царей понадобятся деньги, пусть вскроет эту гробницу». Никто на это не решался, а Дарий будто бы решился, но вместо денег он нашел там лишь надпись: «Дурной ты, видно, человек, если корысти ради оскверняешь гробницы мертвых».

Впрочем, Дариева подать была не слишком велика. Говорили, что, назначив ее, он спросил своих наместников-сатрапов, в меру ли она. Сатрапы сказали: «В меру». Тогда Дарий убавил ее вдвое и в таком объеме приказал собирать. Но так велика была его держава, что с двадцати ее сатрапий и шестидесяти трех живущих в ней народов он получал 14 560 талантов золота и серебра в год. Его хранили в слитках в царской сокровищнице, а когда надо, топором отрубали часть металла и чеканили монеты. На монетах был изображен человек с луком; греки думали, что это изображение царя.

Свободны от подати были только персы, главный народ в державе. Народ этот храбр и честен. В мужчинах они больше всего ценят храбрость, в женщинах — многодетность. Детей они обучают только трем умениям: верховой езде, стрельбе из лука и правдивости. Самое позорное у них — лгать, а после этого — иметь долги, потому что должнику тоже всегда приходится лгать. Рынков и базаров у них нет. Когда царь Кир узнал, как торгуют греки, он сказал: «Никогда не испугаюсь я тех, кто отводит в городах особое место, чтобы сходиться и обманывать друг друга». На советах своих все важнейшие дела персы обсуждают дважды: или совещаются за вином, а решение принимают трезвыми, или совещаются трезвыми, а решение принимают во хмелю. И ни царь своих подданных, ни господин своих рабов никогда не наказывает за единожды совершенный проступок. Толь-

ко проверив и убедившись, что проступков было много и что человек сделал больше дурного, чем хорошего, они предают его наказанию. Грекам этот обычай очень нравился.

Такова была эта держава, в которой не было граждан, а был царь и подданные, покорные ему, как рабы.

СКИФИЯ И СКИФСКИЙ ПОХОД

Кир ходил войной на восток, на массагетов; Камбис — на юг, на египтян; Дарий решил пойти на север, на скифов.

Скифы жили в степи над Черным морем. Было их четыре племени: скифы-пахари, которые сеют хлеб и едят хлеб; скифы-земледельцы, которые сеют хлеб, но не едят, а продают; скифы-кочевники, которые не сеют хлеба, а разводят скот; и царские скифы, которые властвуют над всеми. Много ли их, не считал никто; только один скифский царь приказал, чтобы каждый скиф принес ему наконечник боевой стрелы, но сосчитать эти наконечники он не смог и приказал отлить из них бронзовую чашу. Чаша получилась вместимостью в шестьсот амфор, а толщиной в шесть пальцев; она долго стояла на холме в степи между Днепром и Бугом.

У скифов нет ни городов, ни деревень, шатры их стоят на повозках, они снимаются с места, когда хотят, и останавливаются, где хотят. На привалах они раскладывают костры из бычьих костей и варят в них бычье мясо в бычьих желудках, потому что котлы в кочевье тяжелы, а дров в степи нет. Главное занятие их — война: кто больше убил врагов, тому больше почета. С убитых врагов снимают скальпы, а самым ненавистным разрубают голову и из черепов делают чаши для вина. А когда заключают мир, то разрезают себе руки, цедят кровь в вино, окунают в вино меч, стрелы, секиру и копье, а потом это вино пьют.

Когда скифский царь заболевает, он спрашивает гадателей, кто наслал на него эту болезнь. Гадатели называют ему человека, тот отпирается, тогда царь созывает новых гадателей, числом вдвое больше, и они повторяют гадание. Если они подтвердят обвинение, человека казнят, если нет, казнят первых гадателей. А когда царь все-таки умирает, тело его провозят на телеге по всей степи, чтобы каждое племя могло его оплакать, и потом хоронят под курганом, а вместе с ним убивают и зарывают царского коня, жену, слугу, виночерпия, конюха и вестника, чтобы они служили царю на том свете. А потом выбирают пятьдесят коней из царского табуна и пятьдесят юношей из царской свиты,

убивают их, делают из них чучела и на деревянных столбах расставляют вокруг кургана страшной мертвой каруселью.

Начиналась Скифия от реки Дуная. Через Дунай навели для Дария мост мастера из греческих ионийских городов. Дарий оставил им ремень с шестьюдесятью узлами: «Развязывайте в день по узлу, и если я не появлюсь назад, то оставьте пост и расходитесь по домам: это значит, что я уже победил скифов и обратный путь они мне устроят сами».

Но ни через шестьдесят, ни через дважды шестьдесят дней Дарий не победил скифов. Они не принимали боя, а отступали в глубь степей, выжигая за собой траву и засыпая колодцы. Настичь их было невозможно. Персидское войско устало. Дарий послал к скифскому царю гонца: «Зачем ты убегаешь? Если ты силен — остановись, и мы померяемся силами; если ты слаб — остановись и признай мою власть». Скифский царь ответил: «Я не убегаю, а кочую так, как привык кочевать; а сильнее мы тебя или слабее — пойми из моего подарка». Подарок его был: птица, мышь, лягушка и пять стрел.

Дарий сказал: «Скифы признают себя побежденными. Мышь живет в земле, лягушка в воде, птица в воздухе, — все это они выдают нам, и вместе с этим — свое оружие». Но советники Дария сказали: «Скифы объявляют себя победителями. Они говорят нам: если вы не скроетесь в небо, как птицы, или в землю, как мыши, или в воду, как лягушки, то вы все погибнете от наших стрел». Дарий понял: это так. Он приказал отступать.

Увидев отступающих персов, скифы погнали коней не вдогон, а вперегон им — к Дунаю и греческому мосту. Мост стоял: греки понимали, что война не так быстра, как думал Дарий. Скифы крикнули грекам: «Ломайте мост, возвращайтесь по домам и благодарите богов и скифов за вашу свободу: если царь ваш и уцелеет, он долго еще ни на кого не пойдет войной!» Греки собрались на совет. Геллеспонтский тиран Мильтиад сказал: «Сделаем, как сказали скифы. Царь погибнет, персидская власть падет, города наши снова будут свободны». Но милетский тиран Гистией возразил: «Нет. Царская власть падет, но падет и наша власть: свободные города не захотят над собой тиранов. Будем ждать царя». Решили сделать вот что: часть моста со скифской стороны разрушить, а остальную оставить и ждать, что будет дальше.

Царское войско подошло к Дунаю ночью. Ощупью, по колено в воде, стали искать мост; моста не было. Началось смятение. Персов спас громкий голос одного человека. В свите Дария был египтянин, умевший кричать как никто.

Он крикнул: «Гистией! Гистией!» Голос его перелетел через Дунай, его услыхали, в греческом лагере заволновались, сверкнули факелы, лодка с Гистиеем поплыла навстречу царю, мастера стали достраивать мост, и на следующий день остатки Дариева войска потянулись прочь из скифской земли. Скифы смотрели на это с окрестных холмов. «Если греки — свободные люди, то нет людей их трусливее; если греки — рабы, то нет рабов их преданнее», — сказали скифы.

МАРАФОН

Греки глядели на поределое, усталое, оборванное персидское войско, возвращавшееся через Дунай, и думали: «Настало время вернуть себе свободу». Прошло немного лет, и в Ионии началось восстание против персов. Во главе восстания был город Милет, а во главе Милета — тиран Аристагор, брат уже знакомого нам Гистиея. Гистией жил при дворе Дария в его столице Сузах. Оттуда он прислал к брату раба, волосатого и бородатого. Писем при нем не было; их бы отобрали по дороге. Раб склонился перед Аристагором и сказал: «Обрей меня». И на голой коже его черепа Аристагор увидел рубцы от уколов и порезов, складывающиеся в слово: «Восставай».

Аристагор восстал. Чтобы народ его поддержал, он сложил с себя власть тирана и передал ее народному собранию. Город за городом присоединялся к Милету. Но все понимали, что без помощи остальной Греции восставшие не выстоят. Аристагор поехал в Спарту и Афины. Он говорил, что грек греку брат, что страна персов сказочно богата и что стоит грекам дойти до Суз, как вся Азия будет у их ног. Но в Спарте его спросили: «А далеко ли от Ионии до Суз?» Аристагор ответил: «Три месяца пути». — «Больше ни слова, — сказали ему. — Ты, видно, сошел с ума, если хочешь, чтобы спартанцы удалились от моря и от Греции на три месяца пути». И он вернулся, ведя за собой только двадцать кораблей из Афин и пять из маленькой Эретрии.

Царю Дарию донесли, что на него восстали ионяне, а помогали им афиняне. Дарий взял лук, пустил стрелу в небо и сказал: «Так да сбудется моя месть над афинянами». А рабу своему он велел на каждом пиру произносить у него за спиной: «Царь, помни об афинянах!»

Восстание было разгромлено, Аристагор погиб, Милет пал. Персы прошли по ионийским островам, растягивая поперек каждого острова рыбацкую сеть и сгоняя всех жите-

лей на крайний мыс: там их брали и увозили в рабство. Теперь узнать, что такое царская память, предстояло афинянам.

Первую весть о персидской опасности принес в Афины Мильтиад, тиран Херсонеса Геллеспонтского, — тот самый, который советовал грекам разрушить дунайский мост. Теперь за это ему пришлось спасаться из Херсонеса. Он явился в Афины, потому что род его был из Афин и покинул их из-за неладов с тираном Писистратом. Геллеспонт остался в руках персов: морская дорога из Афин к черноморскому хлебу была отрезана.

Вторая весть пришла год спустя. Вдоль северного берега Эгейского моря с войском и флотом двинулся на Грецию полководец Мардоний, зять царя Дария. Греков спасла морская буря. Когда корабли Мардония огибали горный мыс Афон, протянувшийся в море, как каменный палец, из Фракии подул северо-восточный ветер — Борей. Море вздыбилось, корабли размело, как щепки; их било о скалы, люди не могли вскарабкаться на кручу и тонули. Триста кораблей погибло; Мардонию пришлось вернуться.

Третья весть пришла еще два года спустя. Теперь персы выступили на Афины не с севера, а с востока, через море, от острова к острову. Во главе персидского флота были сатрапы Дат и Артаферн; с ними был старый Гиппий, сын тирана Писистрата, и он радовался, что час его возвращения в Афины настал. Это Гиппий указал персам для высадки полукруглую равнину близ городка Марафона: отсюда когда-то шел на Афины его отец Писистрат. Персидские воины стали соскакивать с кораблей на песок, заклубилась пыль, Гиппий закашлялся.Он был очень стар, зубы его шатались, один выпал и зарылся в песок. Гиппий стал шарить по земле морщинистыми руками, но зуба не было. «Плохо дело! — сказал он. — Мне было предсказание, что кости мои будут лежать в аттической земле; боюсь, что оно уже исполнилось и Афин мне не видать».

Афинское войско стояло против персидского, загораживая дорогу в Афины. Ни те ни другие не торопились: персы ждали, не восстанут ли в Афинах приверженцы Гиппия, афиняне ждали, не подойдет ли помощь от спартанцев. Но у спартанцев было праздничное новолуние, и они обещали выступить только через пять дней: спартанцы умели быть благочестивыми, когда это выгодно.

Во главе афинского войска было одиннадцать человек: десять полководцев, выбранных голосованием, и архонт-воевода, выбранный жребием. Одним из десятерых был Мильтиад. Мильтиад настаивал: «Надо принимать бой, по-

ка в Афинах не вспыхнул мятеж». Ему возражали: «Надо оттянуть бой, пока подойдут спартанцы». Голоса разделились: пять против пяти. Мильтиад обратился к архонту: «Тебе решать: быть ли нашему городу под Гиппием и персами, проклинать ли нас будут потомки или славить громче, чем Гармодия и Аристогитона?» Архонт не выдержал вопроса в упор, он сказал: «Битве — быть». Тогда остальные вожди сложили с себя командование и возложили его на Мильтиада.

Персов было больше, но афиняне умели биться в строю. Персы прорвали афинский центр, но афиняне сомкнули ряды на флангах, повернули и ударили на увлекшихся победителей. От неожиданности персы дрогнули и побежали. Их догоняли и рубили. Врассыпную, бросая оружие, взбирались уцелевшие на корабли и отплывали от берега. Здесь, у кораблей, пал тот, кого называли храбрейшим из греков: Кинегир, брат поэта Эсхила. Он удерживал корму вражеского корабля правой рукой, а когда отрубили правую — левой, а когда отрубили левую — зубами. А всего греков пало сто девяносто два человека, персов же — во много раз больше.

Сев на суда, персы сделали еще одну попытку: обогнули Аттику и двинулись прямо на Афины, чтобы застичь город врасплох. Но Мильтиад их опередил. За ночь он прошел с усталым войском все сорок две версты с лишним от Марафона до Афин, всю «марафонскую дистанцию», и теперь они стояли на берегу, поределые, но в том же боевом порядке. Персидские корабли остановились, повернули и исчезли вдали.

Посредине марафонского поля до сих пор высится курган — братская могила марафонских героев; немного в стороне — могила Мильтиада. «Здесь каждую ночь можно слышать топот, ржание коней, крик воинов и лязг оружия, — рассказывает греческий писатель, побывавший в этом месте лет через шестьсот, — и если кто услышит это случайно, с тем ничего не будет, но кто нарочно приходит сюда за этим, тот потом горько платится за свое любопытство».

ФЕРМОПИЛЫ

Марафон был только пробой сил. Настоящее испытание наступило десять лет спустя, когда на Грецию двинулся сын Дария — Ксеркс. Историю этого похода пересказывали как сказку. Казалось чудом, что маленькой растерянной Греции удалось выстоять против великого царя. И об



ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГРЕЦИЯ

этом рассказывали, как о всяком чуде, — с преувеличениями.

Войско у Ксеркса было такое, что подсчитать его поголовно было немыслимо. Сделали так: выстроили в поле десять тысяч воинов бок к боку, плечо к плечу и очертили по земле чертой. По черте построили кирпичную стену по пояс человеку. Этот загон стали наполнять воинами снова и снова, всякий раз доотказа. Так пришлось сделать сто семьдесят раз: у Ксеркса оказалось миллион семьсот тысяч человек одной пехоты. А вместе с конницей, с моряками, с носильщиками, с обозом — греки любили точные цифры — было будто бы пять миллионов двести восемьдесят три тысячи двести двадцать человек.

Путь войску преграждал пролив Геллеспонт, ширина его в самом узком месте — верста с третью. Здесь навели для войска два моста: от берега до берега протянули канаты, на них положили брусья, скрепили поперечинами, засыпали землей. Налетел ветер, поднялась буря и разнесла мосты. Ксеркс пришел в ярость. Он приказал высечь море. На середину пролива выплыли в лодке царские палачи и триста раз ударили по воде плетьми. Строителям отрубили головы, а мосты навели новые.

Путь флоту преграждала гора Афон, о которую разбились корабли Мардония. Здесь для флота прорыли канал через перешеек между горой и материком: царь не захотел объезжать непокорную гору. Окрестные фракийцы с ужасом смотрели, как царь превращает море в сушу, а сушу в море.

Отряд за отрядом, народ за народом шло царское войско. Шли персы и мидяне в войлочных шапках, в пестрых рубахах, в чешуйчатых панцирях, с плетеными щитами, короткими копьями и большими луками. Шли ассирийцы в шлемах из медных полос, с дубинами, утыканными железными гвоздями. Шли ликийцы в пернатых шапках и с длинными железными косами в руках. Шли халибы, у которых вместо копий — рогатины, на шлемах — бычьи уши и медные рога, а на голенях — красные лоскуты. Шли эфиопы, накинув барсовы и львиные шкуры; перед сражением они окрашивают половину тела гипсом, а половину суриком. Шли пафлагонцы в лыковых шлемах, шли каспии в тюленьих кожах, шли парфяне, согды, матиены, мариандины, мары, саспейры и алародии. Плыли трехпалубные триеры, приведенные финикийцами, киликийцами, египтянами, киприотами и греками из малоазиатских городов.

Войско шло вдоль моря тремя дорогами. Небольшие реки были выпиты воинами до капли. Одного озера едва хва-

тило, чтобы напоить вьючный скот, а окружность этого озера была пять верст. Когда становились лагерем, то от края до края лагеря был день пешего пути.

Ксеркс шел на Грецию с севера. Природа поставила перед ним три преграды: как бы вал, стену и ров. Вал — это Пиерийские горы, за ними лежала северная Греция. Стена — это Этейские горы, за ними лежала средняя Греция, в ней Дельфы, в ней Фивы, в ней Афины. В стене — единственная калитка: Фермопилы, проход меж горами и морем в шестьдесят шагов ширины. Ров с водой — это длинный, узкий Коринфский залив, за ним — Пелопоннес, и в нем — Спарта. Через ров — единственный мост: Коринфский перешеек шириною в пять верст от моря до моря.

Казалось, что спорить не о чем: надо оборонять сперва вал, потом стену, потом ров. Но греки спорили. Вал не хотел оборонять никто: северную Грецию отдавали врагу без боя. Стену и калитку в стене — Фермопилы — призывали защищать афиняне: стена эта защищала их собственную землю. А спартанцы не желали тратить силы и на это: они хотели сразу отойти за ров и принять бой на перешейке, на пороге своей родины.

Вовсе отказаться от битвы в Фермопилах спартанцы не могли. Но победить в ней они не хотели. Они выслали туда ничтожный отряд: триста человек во главе с царем Леонидом. Когда эти триста выступали из Спарты, дрогнуло сердце даже у спартанских старейшин. Они сказали Леониду: «Возьми хотя бы тысячу». Леонид ответил: «Чтобы победить — и тысячи мало, чтобы умереть — довольно и трехсот».

Ксеркс прислал к Фермопилам гонца с двумя словами: «Сложи оружие». Леонид ответил тоже двумя словами: «Приди, возьми». Гонец сказал: «Безумец, наши стрелы закроют солнце». Леонид ответил: «Тем лучше, мы будем сражаться в тени».

Кто воевал, тот знает, что самый страшный бой на войне — рукопашный. В древности все бои были рукопашные. Сойтись на длину копья, на длину меча, ударить мечом, отбить щитом, сделать выпад, уклониться, рассечь панцирь, ранить, убить, добить — таков был бой. Он был бешен и кровав. Греки принимали напор персов сомкнутым строем. Это была железная стена сдвинутых щитов и щетинящихся копий, и об нее разбивался и откатывался каждый натиск. Воины уставали, но Леонид быстро отводил усталых назад, отдохнувших вперед, и бой продолжался. Груды трупов громоздились в узком ущелье.

Бились два дня. В ночь перед третьим перебежчики до-

несли, что царское войско нашло обходную горную тропу и идет грекам в тыл. Человека, который показал персам этот путь, звали Эфиальт; кто он был и почему пошел на это черное дело, так и осталось неизвестным. Еще было время отступить. Со спартанцами было три с половиной тысячи союзников из других городов. Леонид их отпустил, чтобы ни с кем не делить славной гибели. Персы ударили с двух сторон. Спартанцы приняли бой и погибли все до предпоследнего. Последний уцелел: он лежал больной в ближней деревне и не участвовал в бою. Он вернулся в Спарту — его заклеймили позором, с ним не разговаривали, ему не давали ни воды, ни огня. Он сам искал смерти и погиб в следующем году в битве при Платее.

Имя царя Леонид значит «львенок». На том холме, где пали триста спартанцев, греки поставили каменного льва и высекли знаменитую надпись, сочиненную поэтом Симонидом:

Путник, весть отнеси всем гражданам воинской Спарты:
Их исполняя приказ, здесь мы в могилу легли.

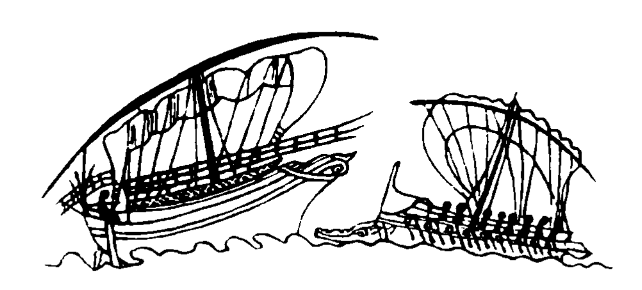
САЛАМИН

Персы заняли среднюю Грецию. Дельфийские жрецы их приветствовали, фиванские старейшины открыли им ворота. Спартанцы достраивали стену на Коринфском перешейке и не хотели выходить ни на шаг. Афины остались беззащитны. Взрослые мужчины перешли на остров Саламин в аттическом заливе; женщин и детей перевезли через залив в пелопоннесский город Трезен. Там их приняли по-братски: женщинам назначили пособие на прокорм, детям позволили рвать плоды где угодно, а чтобы время не пропадало зря, наняли для детей учителя.

Греческий флот стоял у северного берега Саламина, лицом к Аттике. Здесь было четыреста кораблей из двадцати городов, половина из них — афинские. Двадцать военачальников держали совет в палатке на Саламине. Где принимать бой? Один за другим вожди говорили: надо плыть к Коринфскому перешейку и сражаться там. Против был лишь начальник афинян — Фемистокл. Он понимал, что если теперь отступить, то каждый город уведет свои корабли к себе, и персы разобьют их поодиночке.

Фемистокла не слушали. «Ты человек без родины, поэтому молчи!» — сказал ему сосед и показал через пролив — туда, где из-за холмов клубами вставал дым над горящими Афинами. «У меня есть родина, и она — вот!» — отвечал Фемистокл и показал на пролив — туда, где борт к борту

стояли двести афинских триер. «Если вы покинете Саламин — мы покинем вас и всем народом отплывем в заморские земли!» Лишаться афинского флота было нельзя — мнение одного перевесило мнение многих. Нехотя приняли собравшиеся решение дожидаться боя у Саламина.



Военные корабли назывались «длинные», были низкие, прямые, как стрела, и с тараном впереди (здесь — в форме крокодильей головы). Торговые корабли назывались «круглые», были емкие и высокобортные. «Длинный», с двумя рядами весел, изображен справа, «круглый», с двумя рулями на корме — слева. Видимо, это военный корабль нападает на купеческий

Фемистокл понимал: решимости хватит ненадолго. Ночью он послал в лагерь персов своего доверенного раба. Часовые отвели его к царю. Раб сказал: «Царь, меня прислал афинянин Фемистокл, желающий тебе победы. Греки хотят бежать: отрежь им выход, окружи их и разбей. Они враждуют друг с другом и не устоят против вас». Царь выслушал и поверил. Той же ночью персидский флот занял оба выхода из залива, где стояли греки: и с запада от Саламина, и с востока. Теперь греки должны были принять бой — не охотой, так неволей.

Царь поставил свой трон на высоком берегу Аттики, над восточным Саламинским проливом. У подножия трона сидели писцы, готовые записывать для потомства все подробности будущей победы. Как на ладони они видели плотный строй персидских кораблей, вдвигающихся в узкий водный коридор, и длинный ряд греческих кораблей, ожидающих их на выходе — бортами друг к другу, окованными носами к врагу. Наступающим нужно было далеко проскользнуть вперед, развернуться и встать лицом к греческому строю. Это было трудно: места было мало и времени мало.

И вот, когда головные корабли персов уже развернулись, средние корабли еще плыли вперед, а задние теснились в

проливе, со стороны греков грянула труба, вспенилось море под веслами, и вся цепь их медноносых судов двинулась вперед, разбегаясь с каждым взмахом гребцов. Царский флот принял удар. Все смешалось в проливе: треск бортов, скрип весел, крик бойцов, лязг оружия, стоны раненых взлетели над битвой к золотому Ксерксову трону. Суда сцеплялись крючьями, проламывались под таранами, бились о берега, рассыпались обломками, тонули. Люди — убитые, раненые, живые — громоздились на бортах, скользили, падали в море и захлебывались в кровавой воде, а над их головами с треском сшибались новые и новые корабли.

Бились так: корабль проходил борт о борт с вражеским кораблем, в щепы ломая его торчащие весла, а потом разворачивался и тараном, носом в бок, прошибал и топил беспомощного, безвесельного врага. Нужно было суметь ударить во вражеский борт, не подставив врагу собственного борта. Корабли у персов были не хуже, чем у греков, и финикияне были моряки не хуже, чем афиняне. Но за греческими кораблями было больше простора для поворотов, а за персидскими было тесно от новых и новых судов, подходивших из пролива и рвавшихся отличиться перед лицом царя. Больше царских кораблей погибло друг от друга, чем от греческих.

Близился вечер. Остатки персидского флота собирались в афинской гавани. Их не преследовали: греки еще не верили собственной победе. Ночью Фемистокл опять послал раба к царю. Раб сказал: «Царь, Фемистокл желает тебе добра: знай, что греки хотят плыть к Геллеспонту и разрушить твои мосты. Опереди их!» Ксеркс поколебался и приказал своим главным силам отступать. И тогда в греческом стане началось ликование.

Это был еще не конец. В Греции осталось малое персидское войско во главе с уже известным нам Мардонием, и оно все еще было больше всех греческих войск вместе взятых. В следующем году вновь были выжжены Афины, вновь медлили со своей помощью спартанцы, но когда они подошли, то при беотийском городе Платее состоялся решающий бой. Это было испытание на выдержку. Греки стояли строем на холмистом взгорье Киферона, персы осыпали их стрелами снизу, из зеленой речной долины: кто кого переждет, кто кого вынудит выйти и принять бой на неудобном месте. Переждали греки. Персы не выдержали их отпора и обратились в бегство; Мардоний погиб; греческий вождь Павсаний, племянник павшего в Фермопилах Леонида, торжествовал победу и возмездие. И в тот же самый

день, когда при Платее было разбито персидское войско, на противоположной стороне Эгейского моря, при мысе Микале, был разбит остаток персидского флота. Только теперь Греция могла считать себя спасенной. Оборона кончилась, началось наступление: афинский флот и спартанское войско двинулись на север, к Геллеспонту и Боспору, освобождать морскую дорогу к причерноморскому хлебу.

Кстати, о греко-персидских войнах

Я надеюсь, что никто из читателей не поверил буквально в греческие подсчеты количества персидских войск. Один военный историк подсчитал, что если бы в войске Ксеркса действительно было пять миллионов, то оно растянулось бы через всю Азию от Геллеспонта до столичного города Суз, то есть на две с половиной тысячи километров. Греки преувеличивали его размеры раз в сорок. Это оттого, что у страха глаза велики, а страх в Греции в тот год царил небывалый.

Заодно историки долго думали, что Афонский канал, прорытый Ксерксом, — тоже выдумка, легенда. Но в этом их разубедила аэрофотосъемка. С самолета увидели: через перешеек тянется темная полоса; значит, там гуще растут кусты и травы; а это значит, что земля под ними разрыхлена больше, чем по соседству, и за две с половиной тысячи лет не успела полностью слежаться.

Что больше всего удивило самих греков, так это то, что самый сильный греческий флот оказался у афинян. Но тому были свои причины. Мы знаем, что поколением раньше Афины были сухопутным государством, и весь свой флот они выстроили по совету Фемистокла за десятилетие между Марафоном и Саламином. Как раз в это время в Греции стали строиться корабли нового образца (изобретенные в Финикии) — триеры, не в один, а в три ряда весел, гораздо более быстрые. Весь афинский флот уже состоял из таких кораблей, а у прежних морских государств старых кораблей было больше, чем новых. Так одним рывком Афины стали великой морской державой.

ФЕМИСТОКЛ И ПАВСАНИЙ

Героем Саламина был афинский вождь Фемистокл, героем Платеи — спартанский царь Павсаний. Это им больше всего были обязаны греки победой. Но прошло десять лет — и оба они стали изменниками и врагами народа. Старый Солон еще раз оказался прав: видно, от успехов могла кружиться голова не только у восточных царей.

Для Фемистокла этот взлет к успеху был особенно быстр и крут. Он был незнатен и неучен, но талантлив и честолюбив. Неучености своей он не стыдился. Его попрекали: «Ты не умеешь управляться с лирой», — он отвечал: «Зато умею

с государством». Его спрашивали: «Кем бы ты хотел быть, Гомером или Ахиллом?» — он отвечал: «А кем бы ты — олимпийским победителем или глашатаем, объявляющим о его победе?» Зато, когда Мильтиад победил при Марафоне, Фемистокл не находил себе места от зависти. Он говорил: «Лавры Мильтиада не дают мне спать».

Теперь он стал самым знаменитым человеком в Греции. После Саламина греческие военачальники устроили голосование, кто из них лучший; каждый назвал лучшим себя, а вторым — Фемистокла. Награда была присуждена Фемистоклу. Когда он зрителем пришел на Олимпийские игры, ему рукоплескали громче, чем бегунам и колесничникам. Один завистник с маленького острова Сериф сказал ему: «Ты обязан этой славой не себе, а своему городу!» — «Ты прав, — ответил Фемистокл, — ни я бы не прославился на Серифе, ни ты в Афинах».

До Фемистокла Афины — несмотря на Солона, Писистрата, Мильтиада — были в Греции государством второстепенным. Фемистокл первый захотел сделать этот город, выжженный дотла, самым сильным в стране. Для этого нужно было прежде всего окружить стенами город и порт. Стройка началась; спартанцы забеспокоились. Фемистокл сам поехал в Спарту, завещав строить как можно быстрее. Спартанцам он сказал: «Не верьте слухам, стен нет; пошлите послов убедиться, я буду заложником». Послы поехали и увидели стены уже во всю высь. Афиняне задержали послов и выменяли их на Фемистокла. Покидая Спарту, Фемистокл говорил: «Вам ли к лицу властвовать не вашей доблестью, а чужою слабостью?»

Фемистокл понимал, что главным врагом Афин будет то государство, которое до сих пор было самым сильным, — Спарта. Именно Спарта, а не Персия — персидский царь мог бы даже стать полезным союзником против Спарты. Фемистокл знал, что делал, посылая к царю тайных гонцов до и после Саламина: теперь царь помнил, что афинянин Фемистокл желает ему добра.

Знать всех городов привыкла дружить со Спартой — афинская тоже. Фемистокла стали травить. Говорили: «Как ему не надоест напоминать о своих заслугах!» Он отвечал: «А как вам не надоест получать от меня услуги?» Поэт Симонид, все свои стихи помнивший наизусть, предложил научить его искусству памяти. «Научи меня лучше искусству забывать», — горько сказал Фемистокл. Он говорил: «Для афинян я развесистое дерево: в непогоду под ним укрываются, в ясный день ему ломают сучья».

Чтобы расправиться с Фемистоклом, было прекрасное

средство: остракизм, суд черепков. Раз в год афинские власти обращались к собранию: не кажется ли народу, что кто-то стал слишком влиятелен и может сделаться тираном? Если народ говорил «да», то устраивали голосование: каждый писал на глиняном черепке (по-гречески «черепок» — «остракон») имя того, кто казался ему опасен для свободы. Получивший больше всего голосов уходил в изгнание на десять лет. Он не считался преступником, такое изгнание было даже почетным: изгнан — значит, влиятелен. Но жить он должен был на чужбине. Таким остракизмом враги изгнали из Афин Фемистокла. Археологи нашли на афинской площади целую груду черепков с его именем — они были заготовлены заранее, как бюллетени для голосования.

Фемистокл бежал в Аргос. И здесь его судьба скрестилась с судьбой спартанского царя Павсания.

Павсаний не был так умен и дальновиден, как Фемистокл. Но почет и славу он любил не меньше. Когда греческий флот после Микале плыл выбивать персов из Геллеспонта и Боспора, Павсаний был его начальником. Его встречали как освободителя. Власть сама давалась ему в руки — ему захотелось стать тираном. Целью похода был Византий, ключ Боспора; заняв Византий, он обосновался в нем как князь, надел персидское платье и написал Ксерксу письмо, в котором просил руки царской дочери и обещал предать царю всю Грецию. Но когда спартанские власти послали ему приказ вернуться, привычка к дисциплине оказалась сильней: Павсаний вернулся. Никто в Спарте не посмел привлечь к ответу платейского победителя, но он чувствовал вокруг себя недоброе. Павсаний заметался. Он опять пустился в Византий — его опять вернули. Тогда он стал подговаривать илотов к восстанию, чтобы сломить спартанскую знать и править самовластно. Вот тут-то и вступил он в сношения с Фемистоклом в Аргосе — оба были чужими в своих государствах, оба ненавидели старую Спарту. Но сделать вместе они ничего не успели.

Для спартанцев не было ничего страшней восстания илотов. Эфоры приказали схватить Павсания как изменника. Павсаний укрылся в храме Афины Меднодомной. Окружавшие не знали, что делать. Вдруг меж ними появилась старая мать Павсания. В руках у нее был кирпич; она молча положила его на пороге храма и молча ушла. Храм замуровали и стали ждать, пока Павсаний обессилеет от голода. Тогда его вытащили из храма и дали ему испустить дух под открытым небом, чтобы не прогневать богиню-хозяйку. Но богиня оказалась человечнее людей: она все равно разгневалась. Начались засухи и болезни; оракул сказал: «Отнятого

у богини — вернуть богине». И в храме Афины Меднодомной была поставлена статуя царя-изменника во весь рост.

Фемистокл, узнав о гибели Павсания, бежал. Он написал персидскому царю: «Когда ты был силен, а мы были слабы, я боролся против тебя. Когда ты был разбит, а мы стали сильны, я помог тебе. Прими меня». И Ксеркс ответил ему: «Приходи».

Фемистокла в закрытых носилках пронесли через всю Персию от границы до столицы. В пути он учил персидский язык, чтобы говорить с царем без переводчика. По персидскому обычаю он простерся перед царем ниц. Ксеркс воскликнул: «О если бы афиняне всегда изгоняли своих лучших граждан!» Он обласкал Фемистокла и дал ему в управление три города в Малой Азии: на хлеб, на вино и на приварок. Впрочем, два из них еще нужно было отбить у афинян. Там, в новых своих владениях, Фемистокл вскоре умер. Уверяли, будто он не решился воевать против своих бывших сограждан и покончил самоубийством, выпив бычьей крови.

АРИСТИД СПРАВЕДЛИВЫЙ

Фемистокл и Павсаний погибли, потому что нарушили закон и меру греческой жизни. О них вспоминали с уважением, но и с тревогой. А рядом с ними в числе основателей греческого могущества стоял третий — живое воплощение и закона, и меры. Это был афинянин Аристид Справедливый, и о нем вспоминали только с восхищением.

Он был чуть старше Фемистокла. Смолоду они спорили друг с другом в народном собрании: Фемистокл требовал, чтобы государство опиралось на флот и заботилось о городских бедняках, сидевших на веслах; Аристид — чтобы опиралось на войско и заботилось о зажиточных крестьянах, носящих панцири. Вражда двух вождей была такая, что Аристид говорил: «Лучше всего бы афинянам взять да бросить в пропасть и меня, и Фемистокла».

Дело дошло до остракизма. Это было за несколько лет до нашествия Ксеркса. Во время голосования к Аристиду подошел незнакомый мужик с черепком. «Я неграмотный — напиши здесь имя за меня». — «Какое?» — «Пиши: Аристид». — «А ты его знаешь?» — «Нет, но больно уж надоело все время о нем слышать: Справедливый да Справедливый». Аристид взял черепок и твердой рукой написал свое имя. Когда подсчитали голоса, Аристиду выпало уходить в изгнание. Уходя, он сказал: «Пусть не придет такой тяжелый час, чтобы афиняне вспомнили обо мне!»

Тяжелый час пришел: в год нашествия Аристид был вызван из изгнания, бился при Саламине и командовал афинянами при Платее. Вражда с Фемистоклом этому не мешала. Однажды, когда греческий флот после Микале зимовал в большой гавани, Фемистокл сказал афинянам: «У меня есть замечательная мысль, но ее нельзя сказать при всех». Ему ответили: «Скажи Аристиду: если он одобрит, одобрим и мы». Фемистокл сказал Аристиду: «Надо сжечь все греческие корабли, кроме наших, и мы станем сильнее всех в Греции». Аристид объявил афинянам: «План Фемистокла в высшей степени полезен, но в высшей степени несправедлив». После этого афиняне запретили Фемистоклу выступать с предложениями.

Главным делом Аристида и Фемистокла был Афинский морской союз. Фемистокл его задумал, а Аристид организовал. Освобожденные от персов острова и приморские города радостно присоединялись к освободителям и готовы были воевать вместе с ними, лишь бы не вернулась персидская власть. Чтобы эту готовность закрепить, нужно было договориться, сколько кораблей в помощь афинянам обязуются выставлять большие города и сколько денег платить — маленькие. Вот здесь и потребовалась вся Аристидова справедливость. Он объехал и осмотрел все острова и города и всем назначил такие взносы, что каждый остался доволен. Союзная казна была помещена на священном острове Делосе, а начальство над союзом приняли, разумеется, афиняне.

Современников дивило даже не столько то, как справедливо Аристид разложил взносы, сколько то, что он при этом ни с кого не брал взяток. В Греции это было редкостью. Аристид вернулся из объезда таким же бедным, как уехал. Двое юношей поспешили посвататься к его дочери; узнав, что на хорошее приданое рассчитывать нечего, они отступились. Народ наказал их штрафом.

Так Аристид, поборник старых крестьянских Афин, сам положил начало силе новых морских Афин. Он не рад был этому, но так хотел народ, а слушаться народа велел закон. Больше Аристид государственными делами не занимался. Скоро он умер. Дочери его, оставшейся без гроша, афиняне назначили почетную пенсию — такую, какую платили олимпийским победителям.

ВОЙНА КОНЧАЕТСЯ ВНИЧЬЮ

Почему, отбив персов, спартанцы через год отказались продолжать войну и дальше воевали только афиняне с их союзниками? Конечно, не оттого, что спартанцы меньше дорожили свободой и славой. Вспомним: Греция была непло-

дородна и жила привозным хлебом. Так вот, спартанский Пелопоннес кормился подвозом с запада — из Сицилии, где Сиракузы были колонией Коринфа. Афины же и каменистые эгейские острова были повернуты лицом к востоку — хлеб к ним шел через черноморские проливы из Скифии. Они не могли положить оружия, пока эта хлебная дорога не оказалась накрепко в их руках. А пределом их желаний была другая средиземноморская житница, еще ближе и еще богаче, — Египет. Но в Египте прочно властвовали персы.

У афинян для этой войны был хороший полководец — Кимон, сын Мильтиада, победителя при Марафоне. Мильтиад кончил плохо: после Марафона он поплыл походом на острова, потерпел неудачу, попал под суд и умер в тюрьме. Сын попросил отдать его тело родным для почетного погребения — власти отказали. Кимон предложил: «Отдайте нам тело, а в тюрьму возьмите меня!» Это тронуло афинян, и Мильтиад был похоронен с честью.

Теперь Кимон разбил персов в двойном бою, на суше и на море, у реки Евримедонта. Больше персы не решались показываться в Эгейском море. Оставленные ими отряды сдавались один за другим. Греки жадно делили добычу. Однажды в плен попал большой отряд пышно одетых персов. Кимон раздел их, положил с одной стороны их одежды и богатый скарб, а с другой поставил голых пленников и предложил союзникам выбирать. Конечно, те выбрали деньги и платья: изнеженные персы не годились даже в хорошие рабы. Зато за них скоро прислали большой выкуп, и этот выкуп достался Кимону. Только тогда союзники поняли, что выбрали не лучшую часть.

Добычу Кимон раздавал народу. Он не любил политики, ему хотелось жить по-простому, по-семейному: чтобы знатные заботились о народе, как отцы, а народ их любил, как дети. Свой сад он держал открытым, чтобы каждый мог рвать плоды; принося жертву, он приглашал на угощение всю округу. По улицам он всегда ходил в сопровождении друзей; если они встречали оборванного бедняка, то один из них менялся с ним плащом.

Кимон хотел воевать с Персией и жить в мире со Спартой. Это было трудно. Спарта и Афины все больше не доверяли друг другу. Вскрылось это так.

В Спарте случилось землетрясение. Треснула земля, загрохотали обвалы в горах, закричали женщины вокруг рушащихся домов, люди не знали, что делать. Цари приказали трубить боевой сбор. Это спасло Спарту. Забывая о своем доме, воины хватали оружие и сбегались в строй. А когда рассеялись пыль и дым, они увидели вокруг себя за разва-

линами толпу вооруженных чем попало илотов. Вековая ненависть взорвалась как по сигналу: застигнутые врасплох, спартанцы бы погибли. Сейчас они сумели выдержать бой и остались победителями. Илоты, как двести лет назад, были осаждены на горе Ифоме. И, как двести лет назад, осада затянулась не на один год.

Кимон сказал в народном собрании: «Мы должны помочь Спарте. На Афинах и Спарте Греция держится, как человек на двух ногах, — не делайте Грецию хромою!» Споры были долгие; наконец согласились отправить в помощь Спарте отряд во главе с самим Кимоном. Но оказалось, что спартанцы боятся союзников больше, чем врагов; афинян отправили обратно, объявив, что в их помощи не нуждаются. Это было оскорбление. Народное собрание бушевало. Кимон был отправлен в изгнание. Со Спартой началась война. Возле города Танагры произошло первое со времени царя Кодра сражение между афинянами и спартанцами. Перед боем Кимон явился из изгнания в афинское войско — ему сказали: «Ты друг спартанцам, уходи». Кимон удалился, но афинянам это не помогло. Спартанцы еще не умели терпеть поражений — победа осталась за ними.

Это был удар в спину греко-персидской войне. Как раз в это время там наметилась редкая удача: Египет восстал против персидской власти и попросил помощи у афинян. В Египет поплыл флот. Будь с ним Кимон, он мог бы одержать победу, но Кимона не было. Афиняне были разбиты, осаждены на нильском острове, сдались и почти все были проданы в рабство. Персидский царь отомстил за Саламин и Платею.

Афиняне еще раз поняли, что прав был Солон: не надо зазнаваться среди успехов и замахиваться на непосильное. Они сделали лучшее, что могли: вернули из изгнания Кимона. Кимон тотчас уладил мир со Спартой, собрал новый флот и двинулся на восток. Здесь, на острове Кипре, он занемог от раны. Он послал спросить оракул египетского Зевса-Аммона, идти ли ему дальше. Бог ответил послам: «Ступайте прочь, я сам скажу об этом Кимону». Вернувшись, послы нашли его мертвым. Умирая, он сказал: «Скройте мою смерть и плывите прочь». На Кипре был город Саламин, тезка знаменитого острова: когда-то он был основан выходцами из Греции. На обратном пути перед этим городом на греков ударили персы. Но они думали, что с греками Кимон, и сражались робко. Последняя битва греко-персидской войны окончилась победою греков. Теперь можно было заключать мир. Греки обещали не водить своих кораблей дальше Эгейского моря, персы — не вводить своих в

Эгейское море. Так великая война закончилась вничью: как величественно было ее начало, так неприметен конец.

ПЕРИКЛ, ПЕРВЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ

Во всех этих войнах, внутренних и внешних, зачинщиком, бойцом и, до поры до времени, победителем была афинская беднота — «корабельная беднота», как ее называли. Это были те, кто не имели средств даже на панцирь и щит, перебивались случайными заработками, часто жили не лучше раба, однако гордо помнили, что они не рабы и что ручной труд ниже их достоинства. Таких было очень много, а после Ксерксова нашествия их стало еще больше. Они честно хотели служить отечеству, но крестьянствовать им было негде, наемного труда они гнушались, и оставалось одно: садиться на весла боевых кораблей, получать скудный воинский паек, при победе — долю добычи, а в мирное время — долю дани союзников: «не даром же мы, афиняне, спасли их от злодеев-персов!». Это она, корабельная беднота, своим большинством голосов в народных собраниях решалась на все войны и шла в любые походы искать добычи: терять ей было нечего. А те, кому было что терять, — те знатные и богатые, которых народ выбирал над собой полководцами, — не противились этому, потому что боялись: а ну как беднота, оставшись без заморской добычи, захочет домашней добычи и потребует раздела имущества богачей?

Но так не могло продолжаться без конца. Побеждать во всех войнах уже не хватало сил; это стало ясно при Танагре и в египетской катастрофе. Нужно было остановиться и удержать равновесие на опасной грани, соблюсти меру и сохранить закон. Греция отстояла закон от произвола иноземного царя — теперь нужно было отстоять его от произвола собственного народа. За это взялся Перикл.

Перикл был из рода Алкмеонидов — того, который спорил за власть с Килоном и Писистратом. Старики, помнившие Писистрата, говорили, будто Перикл пугающе на него похож. Перикл и впрямь казался для посторонних афинским тираном. Пятнадцать лет, с тех пор как заключен был мир с Персией и Спартой, не было в Афинах человека, которого бы слушались так, как его. Но это не было тиранией: он был лишь одним из десяти выборных полководцев, каждый год он слагал власть и отчитывался перед народом, как требовал закон, и каждый год народ выбирал его заново. Он правил Афинами не силой, а словом.

Такого оратора, как Перикл, в Греции еще не было. Его звали «олимпиец», его речи поражали слушателей как молния. Между тем он не кричал, не взывал к богам, не делал трагических жестов — он убеждал. Выходя на трибуну, он молился про себя об одном: соблюсти меру, не сказать лишнего. Один его противник, тоже хороший оратор, оказавшись в изгнании, объяснял любознательным: «Если бы мы боролись и я его повалил, он и лежа убедил бы всех, что это он меня повалил». Больше всего пленяло народ то, что Перикл никогда ему не льстил, — а афиняне любили, когда им льстили. Если народ был упоен победами, Перикл напоминал об опасностях; если народ был в растерянности, Перикл напоминал ему о его силе. И корабль государства не сбивался с курса.

Конечно, власть его раздражала многих. Его бранили, над ним смеялись, особенно над его большой, не по росту, головой. «Двадцатиместная голова!» — дразнили его. Перикл был спокоен: пусть говорят что угодно, лишь бы делали то, что полезно. Один грубиян шел за ним, ругаясь всю дорогу от народного собрания до дому. Перикл молчал, а когда пришел домой, то выслал к нему раба с факелом, посветить ему на обратном пути, потому что было уже темно, а до первых уличных фонарей было еще лет восемьсот.

Чтобы самому не сбиться с верного пути, он дружил с самыми умными людьми Греции. Это были философ Анаксагор, сказавший, что нет богов; скульптор Фидий, создатель храмов афинского акрополя; архитектор Гипподам, учивший прокладывать в путаных греческих городах прямые улицы под прямыми углами; историк Геродот, описавший греко-персидские войны, начиная от Креза и Кира; музыкант Дамон, говоривший, что гармония в государстве и гармония на лире подчиняются одним и тем же законам; поэт Софокл, показывавший в своих трагедиях: не в том свобода человека, чтобы делать то, что он хочет, а в том, чтобы принимать на себя ответственность даже за то, чего он не хотел. Разговоры с ними пошли Периклу на пользу. Однажды перед походом случилось солнечное затмение, и народ испугался. Перикл вскинул плащ, заслонил им солнце и спросил: «Видите вы что-нибудь удивительное? Нет? Так вот, затмение — это то же самое, только предмет, заслоняющий солнце, — побольше».

Кимон кормил бедноту из собственных средств — Перикл стал ее кормить из средств государства. Флоту он устраивал учебные походы — войны не было, а жалованье шло. В мирное время бедняки могли заседать в многолюдных народных судах — за это тоже платили жалованье. В

праздничные дни приносились жертвы богам, а мясо раздавали народу. Кто был трудолюбив, а земли не имел, тот мог переселиться в колонию и хозяйствовать на земле, отобранной у врагов или непокорных союзников. А кто предпочитал оставаться в городе и все-таки хотел получать пособие на бедность, тем Перикл предлагал работать. Именно для них затеял он в Афинах небывалые стройки: восстановление храмов, разрушенных персами. Историк перечисляет, кого кормили эти стройки: скульпторов, живописцев, эмалировщиков, чеканщиков, золотых дел мастеров, работников по слоновой кости, медников, каменщиков, плотников, канатчиков, кожевников, ткачей, возчиков, тележников, гребцов, кормчих, купцов, рудокопов. Даже труд животных был почетен. На стройке акрополя работал мул, за хорошую работу его отпустили, а он опять пришел на стройку; было постановлено за это до смерти кормить его сеном за государственный счет.

Однажды народу показалось, что Перикл тратит слишком уж много государственных денег на эти постройки. Перикл сказал: «Хорошо, я буду тратить свои, но тогда и надпись сделаю не «Афинский народ — в честь богини Афины», а «Перикл — в честь Афины». Народ зашумел и дозволил Периклу любые траты.

Пятнадцать лет Перикл удерживал афинский народ от войны: чтобы в городе правил закон, а в Греции сохранялось равновесие. Потом силы его кончились — началась война, началась чума, он умирал. У его смертного ложа сидели друзья и вспоминали его походы и победы. Вдруг умирающий промолвил: «Главное не это: главное — пока я мог, я никого не заставил носить траур». Это были его последние слова.

ПАРФЕНОН

Союзники жаловались: «За наш счет Перикл украшает свои Афины!» Перикл отвечал: «Это не украшение — это памятник нашей и вашей победе и благодарность богам, которые ее даровали».

Победа греков над персами была победой закона и разума над произволом и грубой силой. Богиней — воплощением разума была Афина, рожденная из головы Зевса; богиней-покровительницей Афин, стоявших во главе победителей, была тоже Афина. Памятником, воздвигнутым Афине в честь победы, были постройки афинского акрополя, и прежде всего — храм Парфенон.



Три холма было в Афинах, а в низине возле них лежала городская площадь. Это были Пникс — холм народа, Ареопаг — холм знати и Акрополь — холм богов. На Пниксе собиралось народное собрание, на Ареопаге заседал совет бывших архонтов (раньше они участвовали в управлении, теперь только судили убийц), на Акрополе стояли храмы. Персы разорили их до основания. Афиняне не стали их восстанавливать, а решили выстроить на их месте новые.

Акрополь был посвящен не просто Афине, а Афине в двух лицах — Воительнице и Победительнице. Статуя Воительницы с копьем и щитом стояла посреди акрополя под открытым небом; статуя Победительницы стояла в Парфе-

ноне. «Дева Афина!» — обращались к ней; слово «парфенон» означает «храм Девы». Корабли, подплывавшие к Аттике, издали видели блеск солнца на высоко вознесенном острие копья Воительницы, а подплыв ближе, видели рядом на холме белый прямоугольник Парфенона.

Акрополь — продолговатый холм в двести с лишним метров длины, с плоской вершиной и неприступными отвесными склонами. Взойти на него можно было только с узкой западной стороны. Здесь архитекторы Перикла проложили мраморную лестницу, ведущую к широкому коридору, пронизывающему три колоннады, — Пропилеям, «преддверью» акрополя. Путник проходил по этому каменному лесу, и перед ним распахивалась священная площадь, посреди нее — статуя Афины-Воительницы с ее сверкающим в вышине копьем, а за ее спиною, правее, — задняя, западная колоннада Парфенона.

Издали Парфенон невелик, изблизи он кажется громадным. Его колонны — вшестеро выше человеческого роста и толще человеческого охвата. По фасаду их восемь в ряд, а обычно бывало только шесть. Над колоннами — треугольные фронтоны, а в них — многофигурные скульптурные сцены. С западной стороны изображен спор Афины с Посейдоном. Афина и Посейдон спорили за покровительство над Аттикой, Посейдон подарил афинянам соленый источник (и коня, добавляли некоторые), Афина — оливковое дерево; победительницей вышла Афина. Это и было изображено на фронтоне: в середине олива, по сторонам от нее — Афина и Посейдон, дальше к краям треугольника — другие боги, сидящие и лежащие. Это означало: афиняне чтут и Афину, хранительницу их города, и Посейдона, помощника их на морях, но больше все-таки Афину, потому что разум дороже, чем дикая стихия. А если обойти здание и взглянуть на фронтон противоположной его стороны, где вход, то это становилось еще яснее. Здесь было изображено рождение Афины из головы Зевса: величавый Зевс на троне, рядом с ним — юная Афина, воплощение его божественного разума, а по сторонам — дивящиеся боги.

Меж колоннадою и крышей высокою полосою все здание опоясывал фриз: вереница прямоугольных барельефов, словно каменные картины. В каждом были две фигуры, схватившиеся друг с другом в поединке. Здесь тоже шла борьба между разумом и стихией, с каждой из четырех сторон — по-своему. На западной стороне, под Афиной и Посейдоном, бились афиняне с амазонками — когда-то в мифические времена эти неистовые женщины приходили на Аттику войной. На северной стороне бились греки с троян-

цами — такими же азиатскими варварами, как недавние персы. На южной стороне бились лапифы с кентаврами, то есть люди с чудовищами — полулюдьми-полуконями. А на восточной стороне, над входом, под фронтоном с рождением Афины, шла самая страшная борьба — между богами и гигантами, между светлым мировым разумом и темными силами природы.

Это — над колоннами. А за колоннами, по верху сплошной стены храма, тянулся, виднеясь между мраморными столбами, другой фриз — не прерывистый, а сплошной. Это было праздничное шествие: стихия побеждена, закон и порядок восторжествовали, и люди идут приветствовать богов и поднести им подарки. На западной стороне, под Посейдоном, давшим людям коня, скачут молодые воины верхом; вдоль длинной северной тянутся колесницы, идут музыканты, гонят жертвенных животных, а впереди шагают старейшины; а на восточной стороне, над входом, сидят боги, и чинные девы подносят им дары. Такие процессии и вправду всходили на Акрополь каждые четыре года, на празднике Больших Панафиней, и, медленно следуя вдоль храма, шествующие видели справа над собой как бы собственное изображение на храмовой стене. А взглянув налево, они могли видеть собственное изображение как бы сошедшим со стены; там стоял маленький, с причудливыми выступами храм Эрехтейон, и крышу его поддерживали не колонны, а каменные девушки с корзинами на головах, прямые, спокойные и сильные. Они назывались «кариатиды».

Наконец, обогнувши храм, мы входим внутрь. Здесь полутемно, свет падает лишь сквозь дверь, и в этой полутьме в дальнем конце храма возвышается под потолок статуя Афины-Девы, знаменитое творение Фидия. Она в высоком шлеме, у ног ее стоит щит, а на протянутой руке — крылатая фигура богини Победы; Победа кажется маленькой, хоть она почти в человеческий рост. Лицо и руки Афины выложены белой слоновой костью, а одежда и панцирь — золотом; на этой статуе около полутора тонн золота, неприкосновенный запас афинской казны. Поверх панциря на богиню накинуто покрывало, вытканное лучшими афинскими девушками. И здесь в последний раз словно в один узел собран смысл всего Парфенона: на покрывале богини изображена гигантомахия, на щите — амазономахия, а на краях ее подошв — кентавромахия: победа закона и порядка над произволом неразумной стихии.

ХОР О ЧЕЛОВЕКЕ

Через несколько лет после заключения мира с персами, в самые первые годы власти Перикла в афинском театре была поставлена трагедия драматурга Софокла «Антигона». В греческих трагедиях разговоры чередовались с песнями хора — об этом мы еще расскажем. Первая песнь хора из «Антигоны» запомнилась человечеству на много веков — это самый громкий гимн силе человека во всей греческой поэзии. В нем еще свежо впечатление от победоносной войны. Но дочитайте его до конца, он кончается напоминанием — даже в этом величии выше всего мера, выше всего закон: кто его преступит, тот опасен и себе, и другим. В своем взгляде на мир и человека греки всегда оставались верны себе.

Строфа 1

Много в природе дивных сил,
Но сильней человека — нет.
Он под вьюги мятежный вой
Смело за море держит путь.
    Кругом вздымаются волны —
    Под ними струг плывет.
Почтенную в богинях, Землю,
    Вечно обильную мать, утомляет он:
    Из году в год в бороздах его пажити,
    По ним
        плуг
            мул усердный тянет.

Антистрофа 1

И беззаботных стаи птиц,
И породы зверей лесных,
И подводное племя рыб
Власти он подчинил своей:
    На всех искусные сети
    Плетет разумный муж.
Свирепый зверь пустыни дикой
    Силе его покорился, и пойманный
    Конь густогривый ярму повинуется,
    И царь
        гор,
            тур неукротимый.

Строфа 2

    И речь, и воздушную мысль,
    И жизни общественной дух
Себе он привил; он нашел охрану
    От лютых стуж — ярый огнь,
    От стрел дождя — прочный кров.
Благодолен!
    Бездолен не будет он в грозе
        Грядущих зол;
            Смерть одна

Неотвратна, как и встарь,
Недугов же томящих бич
Теперь уж не страшен.

Кто в мудрость искусство возвел — Антистрофа 2
Превыше бессильных надежд,
Тот путь проторил и к добру и к худу.
Кто Клятву чтит, Правды дочь,
Закон страны, власть богов, —
Благороден!
Безроден в кругу сограждан тот,
Кого лихой
Кривды путь
В сердце дерзостном пленил:
Ни в доме гость, ни в вече друг
Он мне да не будет!

Маленькое примечание. Может быть, некоторые удивятся этим стихам: ни рифмы, ни ритма, все равно как в прозе. Это не совсем так. Рифмы, правда, здесь нет: рифму изобрели только в средние века. А ритм есть, только он сложнее, чем в стихах, к которым мы привыкли. Сравните первую строчку строфы с первой строчкой антистрофы, вторую со второй и так далее: и число слогов, и расположение ударений всюду будет одно и то же. Строфу и антистрофу можно было петь на один мотив, и это был мотив торжественной пляски. Хор мерными движениями шагал в сторону и в лад шагам пел строфу, а потом теми же движениями возвращался назад и пел антистрофу; потом, уже по-новому, двигался в другую сторону и обратно и пел другую строфу с антистрофой. Стихи, музыка и пляска были едины.

«ВОЙНА — ОТЕЦ ВСЕГО»

В годы греко-персидских войн в ионийском городе Эфесе жил философ Гераклит. Он видел великое могущество Персии и видел его падение; он видел в своем родном городе и власть тиранов, и власть знати, и власть народа; и он понимал, что так будет и дальше. Он думал: что же это за жизнь, в которой нет ни мгновения покоя, устойчивости и ясности? Как может быть вечен мир, в котором ничто не вечно?

Он слышал уроки философов из соседнего Милета: «Все в мире — из воды», «все в мире — из воздуха». — «Нет, — заявил он, — все в мире — из огня». Почему? Потому что изо всех стихий огонь — самый изменчивый, самый вечнодвижущийся. Взгляните на огонь костра или очага — вы

увидите бьющиеся и вьющиеся языки пламени, они не замрут ни на мгновение. Вот так и все на свете, говорил Гераклит.

Все течет, все меняется: в одну реку нельзя войти дважды, потому что та вода, в которую мы входили, уже далеко утекла. Меняемся и мы сами: в детстве мы были не те, что теперь, и в старости будем не те, что теперь. Больше того: мгновение назад мы были не те, что мгновение спустя. Вот я говорю: «Мне сорок лет». Когда я начинаю говорить, это правда, когда кончаю — это уже ложь, потому что теперь мне уже не ровно сорок лет, а сорок лет и одна секунда. Я не могу сказать о человеке «он жив», потому что от первого до последнего мгновения жизни он постепенно умирает; я не могу сказать о человеке «он спит», потому что весь его сон — это постепенное приготовление к пробуждению; короче говоря, я не могу сказать о человеке «он есть», а только «он становится» тем-то и тем-то. Нет бытия — есть только вечное становление.

Откуда это вечное движение? Что гонит мир в этот головокружительный бег перемен? Борьба противоположностей. В мире нет покоя, потому что в нем борются Персия и Греция; в городе нет покоя, потому что в нем борются знать с народом; в душе нет покоя, потому что в ней борются одни желания с другими. Греция только потому и чувствует себя Грецией, что рядом с ней — непохожая на нее и борющаяся с ней Персия; огонь только потому и остается огнем, что ему приходится отстаивать себя против своих врагов — воды, земли и воздуха. «Война — отец всего и царь всего, она являет одних богами, других людьми, она делает одних рабами, других свободными». Вот лук, концы его растягивают тетиву в разные стороны, как желания — душу, и только поэтому он стреляет; вот лира, на ней точно так же растянуты струны, и только поэтому она звучит. Мало того: тетиву нужно то натягивать, то спускать, а струн то касаться, то не касаться, без такой переменчивости не будет ни выстрела, ни звука. И этого мало: лук несет смерть, а лира несет жизнь, но и лук и лиру держит один и тот же бог Аполлон, потому что смерть и жизнь, как мы видели, неразделимы и неразличимы.

Непонятно? Грекам тоже было непонятно. Гераклита прозвали Темным; говорили: «Он так глубок, что нужно быть водолазом, чтобы что-то понять». Но Гераклит этого и хотел. Он не вел бесед, не давал уроков, как другие философы: он был нелюдим, жил молча, а учение свое записал в книгу и книгу положил в храм Артемиды Эфесской. Мудрый найдет и поймет, а немудрому и понимать незачем.

Молчалив и мрачен был Гераклит, потому что знал: во всех этих переменах есть порядок, есть ритм, есть закон, но доискаться до него, угнаться за ним мыслью очень трудно. А все остальное не стоит и доискивания: «многознание не научает разуму». Жить среди переменчивых людей с их переменчивыми заботами он гнушался. Ему предлагали стать тираном — он отдал власть другому. Его просили написать для Эфеса законы — он сказал: «Никакими законами вас не исправишь». Его оставили в покое — он сел под стеной храма Артемиды и стал играть с мальчишками в кости. Над ним смеялись — он ответил: «Разве это не то же, что ваша политика?»

В памяти греков он остался как «плачущий философ» — плачущий о людском ничтожестве. Так его называли в отличие от «смеющегося философа» — Демокрита, с которым мы тоже скоро встретимся.

АХИЛЛ И ЧЕРЕПАХА, ИЛИ СТРАХ БЕСКОНЕЧНОСТИ

Движенья нет, — сказал мудрец брадатый.
Другой смолчал и стал пред ним ходить.
Сильнее бы не мог он возразить;
Хвалили все ответ замысловатый.
Но, господа, забавный случай сей
Другой пример на память мне приводит:
Ведь каждый день пред нами солнце ходит,
Однако ж прав упрямый Галилей.

А. С. Пушкин

Зрелище войны греков с персами внушило Гераклиту Эфесскому его лихорадочную философию. А зрелище победы греков над персами внушило его современнику с другого конца Греции философию совсем другого рода. Этого мыслителя звали Парменид, и жил он в южноиталийской Элее, недалеко от пифагорейских мест. Начал он (наверное) с раздумий о войне и победе, а кончил самым неожиданным выводом: «движенья нет».

Греки победили варваров потому, что у греков был порядок — порядок в сознании, то есть закон, и порядок на поле боя, то есть строй. А почему бы не могло такого порядка быть и у варваров? Потому что их слишком много. Страна их огромна, народов в ней шестьдесят три, подчинить их единому закону трудно, поэтому они подчиняются только единой воле царя, а воля часто бывает неразумна. Лучше малое, но упорядоченное, чем великое, но беспорядочное — таково было постоянное убеждение греков.

Самое великое — это, стало быть, всегда самое беспоря-

дочное. А что на свете самое великое? Бесконечность. Слово это вы знаете: математики давно освоили его в своей науке и производят над бесконечностью любые операции. Одного только не могут ни математики, ни мы с вами: **представить** себе эту бесконечность. Понять ее можно, а представить нельзя: так уж устроено человеческое сознание. А греки больше всего любили именно наглядность, именно вообразимость. Поэтому мысль о бесконечности вызывала у них раздражение и отвращение.

А ведь бесконечность подстерегает нас на каждом шагу. Сколько вещей вокруг нас, и все не похожи друг на друга, а с течением времени — и на самих себя. Недаром Гераклит плакал над бесконечной изменчивостью мира. И вот, чтобы ободриться и утешиться, Парменид и его ученик Зенон объявили: бесконечности не существует. Если допустить ее существование — получается нелепость. Смотрите сами.

Быстроногий Ахилл хочет догнать неповоротливую черепаху. Она находится на сто шагов впереди него. Ахилл бегает в сто раз быстрее черепахи. Бег начался; когда Ахилл догонит черепаху? Неожиданный ответ: никогда! Ахилл пробежит эти сто шагов, но за это время черепаха уползет вперед еще на один шаг. Ахилл пробежит этот шаг, но черепаха уйдет вперед на сотую часть шага. Ахилл одолеет эту сотую, но черепаха оторвется от него еще на одну сотую сотой, и так далее, до бесконечности: разрыв между Ахиллом и черепахой будет все микроскопичнее, но не исчезнет никогда. Нелепость? Нелепость. А почему? Потому что мы делили отрезки их пути до бесконечности.

Если, таким образом, самое беспорядочное на свете — это бесконечность, то что на свете самое упорядоченное, гармоничное, стройное? Единство. Если бы греки вышли против персов действительно «все как один», чтобы строй их был одним исполинским телом, — они победили бы врага немедленно. Единому вообще не нужна упорядоченность частей, потому что в нем нет частей — все однородно. Однородно не только в пространстве, но и во времени: единое не меняется, не крепнет и не слабеет, оно — вечно. Конечно, такого Единства никто никогда не видел, но всякий может его представить. Мы говорим «бог»; а что такое бог? Существо вечное и совершенное в каждой частице. Совершенное — значит «самое лучшее», а самое лучшее может быть только одно; вот это и есть Единство, однородное, вечное и божественное.

Парменид как бы заочно успокаивал плачущего Гераклита. Да, в окружающем нас мире все течет, рождается и умирает, но есть и другой мир, мир мысли, в котором все

неизменно и вечно. В здешнем мире Пифагор давно умер, мы его не увидим и не услышим; но мы можем подумать о нем, и он предстает нашей мысли как живой, — это значит, что мы заглянули умственным взором в тот мир, где он вечно жив. Какой же из этих двух миров настоящий и какой ненастоящий? Нам хочется ответить: окружающий нас — настоящий, а мысленный — выдуманный. Парменид отвечал наоборот: мир мысли — настоящий, а мир наших ощущений — ненастоящий. Потому что в человеческом сознании мысль — хозяин, а чувства — ее рабы, которые лишь питают ее: одно — образами зрения, другое — образами слуха и так далее. А кому можно больше доверять, хозяину или рабам? Грек отвечал сразу и твердо: хозяину.

Не спешите смеяться над чудаком Парменидом, который в добавление к окружающему нас миру придумал несуществующий второй. Мы еще увидим, как пересочинит этот его второй мир философ Платон. И тем более не смейтесь над тем, как доказывал Зенон, что движения нет и Ахилл никогда не догонит черепаху. Показать, что это не так, очень легко: шаг, два, и готово. А вот доказать, почему это не так, очень трудно. И философы даже в наши дни порой спорят с Зеноном, словно с современником.

НАГЛЯДНАЯ МАТЕМАТИКА

«3 в квадрате будет 9», «3 в кубе будет 27». А вы задумывались, почему мы называем число, умноженное само на себя, квадратом, а умноженное само на себя и еще раз на себя — кубом? Потому что так представляли их греки. У них было, если можно так выразиться, зрительное мышление. Недаром в греческом языке «видеть» и «знать» были родственные слова (как в нашем — «видеть» и «ведать»). Оттого и был у греков такой сильный страх перед бесконечностью, что ее никак нельзя вообразить зрительно.

Нарисуйте в вашей тетрадке число 3 в виде трех точек подряд, как на кости домино. И подумайте: а как теперь удобнее всего нарисовать число 9? Очевидно — пририсовать над ним еще одно такое троеточие, а потом еше одно. Получится квадрат из 9 точек со стороной 3. Теперь возьмем три таких квадрата и положим их друг на друга. Получится куб из 27 точек со стороной 3. Вот так видели свои числа древние греки: как выложенные из камешков. Так что, кроме «квадратных» чисел, у них были и «продолговатые», а кроме «кубических» — и другие «объемные». Например, число 6 было продолговатым — как бы прямоугольником, у

которого длина 3, а ширина 2. А число 30 — объемным: параллелепипедом, у которого длина 3, ширина 2, а высота 5.

(Почему «2 в квадрате — 4», — теперь понятно; но почему «2 — квадратный корень из 4»? Слово «корень» ввели в математику уже не греки, а арабы. Они предпочитали представлять мир не геометрическим, как греки, а органическим; и в этом мире из числа 2, как растение из корня, вырастает число 4, а потом 8, а потом 16 и все остальные степени.)

При греческом зрительном воображении приятно было перестраивать числа из фигуры в фигуру: например, представлять число 12 то как длинный узкий прямоугольник 6x2, то как короткий и широкий 3x4. Поэтому греки обращали большое внимание на набор делителей числа. Например, если число равнялось сумме собственных делителей, оно называлось «совершенным». Греки знали четыре таких числа — 6, 28, 496 и 8128. (Если хотите, убедитесь: 6 = 1+2+3 = 1x2x3). А если из двух чисел каждое равнялось сумме делителей другого, эти числа назывались «дружащими»: например 220 и 284. (Если хотите, проверьте: 1+2+ +4+71+142 и 1+2+4+5+10+20+11+22+44+55+110.) Когда Пифагора спросили, что такое друг, он ответил: «Второй я» — и добавил: «Это как 220 и 284».

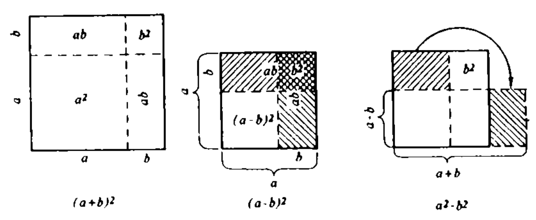
Неудобства начинались при обращении с дробями: ведь точку не раздробишь на части. Поэтому греки предпочитали иметь дело не с дробями, а с отношениями: говорили не «одна седьмая часть единицы», а «одна единица от семи». Отношения и пропорции они сортировали с большой любовью. Мы говорим: «Число 20 кратно числу 5», то есть делится на него. А грек мог вдобавок сказать: «Число 20 кратночастно числу 16», то есть делится на разность между ними. Вы знаете: число 4 — это среднее арифметическое чисел 2 и 6, то есть сумма их, деленная пополам. Некоторые, может быть, знают: число 4 — это среднее геометрическое чисел 2 и 8, то есть квадратный корень из их произведения. А грек вдобавок знал: число 4 — это «среднее гармоническое» чисел 3 и 6, то есть их удвоенное произведение, деленное на их сумму.

Когда вы начинали учить алгебру, то заучивали такие формулы, как:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2;$$
$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2;$$
$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b).$$

Вы помните, как они выводились? Это было довольно громоздко. А грек со своей привычкой к наглядности доказы-

вал их не вычислением, а чертежом: чертил отрезок A, отрезок B, строил на них квадраты и показывал: «Вот!» Посмотрите и убедитесь.



Такие геометрические доказательства выручали греков в их страхе перед бесконечностью. Вы смогли бы, например, извлечь точный корень из числа 2? Нет, не смогли бы: получили бы бесконечную дробь. А греческий математик поступал просто: чертил отрезок длиной в данное число, строил вокруг квадрат, в котором он был бы диагональю, показывал на сторону этого квадрата и говорил: «Вот!»

В современной математике такие величины, никогда не вычисляемые до конца, называются иррациональными. Греки называли их «невыразимые». «Невыразимым» было отношение диагонали и стороны в квадрате — 1,41421...; «невыразимым» было и отношение длины окружности к диаметру в круге, знаменитое число «пи» — 3,14159... («пи» — это первая буква греческого слова «периферия», окружность). Это число изобразить было труднее, и греческие математики в своей борьбе с бесконечностью век за веком ломали голову над «квадратурой круга»: как по данному диаметру круга с помощью только циркуля и линейки построить квадрат, равновеликий этому кругу?

Можно задать вопрос: а почему, собственно, с помощью только циркуля и линейки? Не попробовать ли изобрести новый прибор, посложнее, который позволил бы решить эту задачу? Но грек нам гордо ответил бы: «Возиться с приборами — это дело раба, привычного к ручному труду, а свободному человеку приличествует полагаться лишь на силу ума».

Вот как, оказывается, рабовладельческий образ мысли проявляется даже в такой отвлеченной науке, как математика.

ЧЕТЫРЕ СТИХИИ

Гераклита и Парменида решил помирить сицилиец Эмпедокл. Он сказал: «Ни война, ни мир на земле не вечны.

Так и во вселенной. Они сменяют друг друга, как времена года. Мир шарообразен, но этот шар неоднороден. В нем смешаны четыре стихии: земля, вода, воздух, огонь. А над ними властвуют две силы: Любовь и Вражда. Наступает пора мира — и в центре мирового шара царствует Любовь, она сливает вокруг себя четыре стихии в то самое Единство, о котором мечтал Парменид, а Вражда отступает и лишь снаружи облегает мировой шар. Наступает новая пора — и Вражда со всех сторон начинает проникать в мир, вытесняя из него Любовь, а на пути своем она разобщает четыре стихии, и они встают войной друг на друга. Наконец Вражда восседает в центре мира, вокруг нее кипит гераклитовская война четырех стихий, а Любовь оттеснена наружу и ждет своего часа. А потом все повторяется в обратном порядке. Если это на что-нибудь похоже, то больше всего — на гражданский мир и гражданскую войну в городе, где есть несколько политических партий. Сейчас мир на полпути: то ли от Вражды к Любви, то ли наоборот».

Как Фемистоклу не давали спать лавры Мильтиада, так Эмпедоклу — лавры Пифагора. Он тоже хотел быть пророком и чудотворцем. Когда ему предложили царскую власть, он отверг ее: «Лучшее из растений — лавр, из животных — лев, из людей — мудрец, а вовсе не царь». Держался он еще величавее, чем царь, носил пурпурный плащ, золотую повязку на голове и медные сандалии. Учение свое он изложил стихами и читал эти стихи в Олимпии. А когда в Олимпии его колесница одержала победу на играх, он принес в жертву быка из медового теста и пряностей, потому что пифагорейский закон запрещал убивать животных.

В одном городе люди часто болели оттого, что вода в реке была нездоровой. Эмпедокл провел к ней канал от другой реки, и болезни прекратились. В другом городе вода была здоровой, а люди все равно болели. Эмпедокл догадался, что это оттого, что ветры, дующие на город из-за гор, были нездоровыми; он приказал загородить бычьими кожами ущелья в горах, и болезни прекратились. С этих пор его прозвали «ветроловом». В этом был не только восторг перед его проницательностью, но и насмешка над его тщеславной погоней за почестями. Тщеславен он был до крайности и считал, что равных ему нет на свете. Однажды он сказал Пармениду: «Трудно найти истинного философа!» — «Да, — невозмутимо ответил Парменид, — для этого надо самому быть истинным философом».

Он не хотел умирать, как все люди, а хотел сжечь себя, как Геракл, чтобы сделаться богом. Почувствовав приближение смерти, он вскарабкался на огнедышащую Этну и

бросился в ее жерло. Лава выбросила на склон его медную сандалию.

Учение о четырех стихиях Эмпедокл перенял от пифагорейцев. (Вы помните, какими геометрическими фигурами обозначали пифагорейцы эти стихии?) Он рассуждал, как из них строится мироздание, а его современник Алкмеон, тоже пифагореец, рассуждал, как из них строится человеческое тело. В нем четыре жизненных сока: кровь, слизь, желтая желчь и черная желчь. Если между ними равновесие, «равнозаконие», как в хорошем государстве, — человек здоров; если оно нарушено — человек болен. Душевные свойства человека тоже зависят от смешения четырех соков (смешение — по-латыни «темперамент»; может быть, вы слышали это слово). Основных темпераментов — четыре: бодрый — сангвиник, вялый — флегматик, вспыльчивый — холерик, мрачный — меланхолик. Имена эти значат: «кровник», «слизевик», «желчевик» и «черножелчевик»; понятия эти до сих пор употребляются в психологии.

Сто лет спустя в Эмпедокловой четверке тасующихся стихий навел покой и порядок Аристотель. Как он это сделал, мы узнаем после. Самое же любопытное — то, что этими понятиями пользуется и современная наука, только по-другому их называет. Если бы Эмпедокл услышал, как мы говорим: «Есть четыре состояния вещества: твердое, жидкое, газообразное и плазма», — он узнал бы в них свои четыре стихии.

СМЕЮЩИЙСЯ ФИЛОСОФ

Как современная физика вспоминает таким образом порой о четырех стихиях Эмпедокла, так современная химия — об атомах Демокрита.

У Эмпедокла картина мира была похожа на картину города, раздираемого борьбой четырех партий. Демокрит спросил себя: а откуда берутся сами эти партии? В городе — это понятно: люди сходных мыслей случайно встречаются, знакомятся, начинают держаться вместе, к ним присоединяются новые и новые, и так возникает целое большое общество.

Может быть, так же устроен и мир? Он состоит из частиц, мелких до невидимости и густо носящихся в пустоте, как пылинки в солнечном луче. С течением времени они начинают как бы сортироваться: крупные к крупным, круглые к круглым, треугольные к треугольным. (Почему? Насыпьте на блюдо песок и потрясите: крупные песчинки

выйдут наверх, мелкие останутся внизу. Вот так же и мировые частицы.) Так образуются сперва четыре стихии: из крупных частиц — земля, из круглых — огонь и так далее, а потом — отдельные вещи.

Мы не можем видеть эти частицы, но мы их чувствуем: если в теле много гладких частиц, оно кажется глазу светлым, а вкусу сладким, и наоборот. Поэтому не надо, как Парменид, говорить, что мир, ощущаемый нами, — «ненастоящий», и не надо, как Гераклит, горевать, что наш ум не угонится за его изменчивостью. Нужно только быть внимательным и вдумчивым — и мир поддастся изучению.

Попутно такое рассуждение давало ответ и на задачу Зенона об Ахилле и черепахе. Зенон говорил: «Раз нет в мире бесконечного деления — значит, нет никакого деления, значит, есть только неделимое Единство». А мы лучше скажем: раз нет бесконечного деления — значит, есть деление конечное, вплоть до таких мелких частиц, разделить которые уже невозможно. Государство мы разделили на партии, партии — на людей, но людей-то мы уже делить не можем: полчеловека ни в какую партию не годятся. Так и в мироздании: все можно делить, пока не получатся наши частицы-пылинки, а их уже не разделишь. Демокрит так и называл эти частицы: «неделимые» — по-гречески «атомы».

Как же будет выглядеть погоня Ахилла за черепахой? Сперва Ахилл будет делать широкие шаги, потом — в угоду Зенону — все более мелкие, чтобы покрыть сперва половину расстояния до черепахи, потом половину половины и так далее и наконец сделает такой маленький шажок, что меньше уже никак нельзя сделать, а можно только повторить такой же. Вот тут-то все и кончится: этим следующим шагом Ахилл обгонит черепаху — и здравый смысл восторжествует.

Таким образом, Демокрит отчасти уступал страху перед бесконечностью: он не допускал бесконечности внутри вещей, не допускал бесконечной делимости. Зато он первый допустил бесконечность снаружи вещей: наш мир — не единственный на свете, вокруг него все та же бесконечная пустота, и в ней — все те же бесконечно толкущиеся атомы, и где-нибудь они слагаются в новые и новые миры. Этой бесконечности, этого беспорядка Демокрит не пугался. Бесконечность внутри вещей опасна, как опасна гражданская война внутри города: того и гляди, зайдешь мыслью в тупик, как зашел Зенон. А бесконечность вокруг нас не устоит против наступления нашей мысли, как не устояла огромная Персия перед сплотившейся в строй Грецией.

О любознательности Демокрита рассказывали чудеса. Он

говорил: «Найти объяснение хотя бы одного явления — отрадней, чем быть персидским царем!» Отец его был богатейшим человеком в городе Абдере — когда Ксеркс проходил через Абдеру, отец Демокрита выставил угощение всему его войску. В благодарность Ксеркс оставил у него в доме персидских мудрецов: они передали юному Демокриту свою восточную мудрость. Когда отец умер, Демокрит отказался от земли, домов и стад, а взял сто талантов денег и поехал путешествовать в Египет, Вавилон и еще дальше. Вернулся он без денег, поселился в уединенном месте, занимался непонятными науками и смеялся над людьми, которые ищут счастья в чем-то другом. Его привлекли к суду за растрату отцовского наследства — он прочитал перед судьями свою книгу «Большой мирострой». Судьи сочли его сумасшедшим и вызвали к нему лучшего врача всей Греции — Гиппократа Косского. Гиппократ побеседовал с ним и объявил абдерским жителям: «Демокрит — мудрец, а сумасшедшие — это вы». Абдериты не удивились: их давно все почему-то считали поголовными дураками, вроде наших пошехонцев. Они дали в награду Демокриту новые сто талантов и поставили ему статую.

Демокрит прожил сто лет. Перед смертью он ослеп. Говорили, будто он сам ослепил себя, глядя на отражение солнца в медном щите; это затем, чтобы ничто вокруг не отвлекало его от научных раздумий. Приближение смерти он почувствовал накануне женского праздника. Старушка-сестра Демокрита опечалилась: из-за траура она не могла бы участвовать в празднике. Демокрит был добрый человек. Есть он уже не мог; он попросил принести свежевыпеченного хлеба и, вдыхая его запах, прожил три праздничных дня, чтобы не огорчать сестру.

«Смеющийся философ» — таким запомнили его потомки.

Дела и годы (до н.э.)

627	—	смерть Ассурбанипала (Сарданапала) в Ассирии
612	—	мидяне захватывают Ассирию
550	—	Кир покоряет Мидию
546	—	Кир покоряет Лидию
525	—	Камбис покоряет Египет
522	—	Дарий воцаряется в Персии
ок. 512	—	Дарий идет войной на скифов
ок. 500	—	расцвет философов Гераклита Эфесского и Парменида Элейского
499—494	—	ионийское восстание против персов
492	—	поход Мардония и крушение при Афоне
490	—	битва при Марафоне
480	—	нашествие Ксеркса и битвы при Фермопилах и Саламине
479	—	поражение персов при Платее
478	—	основание Афинского морского союза
ок. 471	—	изгнание Фемистокла и расправа с Павсанием
ок. 467	—	битва при Евримедонте
464	—	землетрясение и восстание илотов в Спарте
454	—	поражение афинян в Египте
449	—	последняя победа Кимона и мир с персами
447	—	начало строительства Парфенона
445—429	—	Перикл во главе Афин
ок. 445	—	расцвет философа Эмпедокла в Сицилии
ок. 420	—	расцвет философа Демокрита в Абдерах

СЛОВАРЬ III

... И не только греческие

Посмотрев список греческих имен и тех корней, из которых они составляются, вы могли заметить: некоторые из них не редкость встретить и у русских людей. *Александр, Николай, Филипп* — все это имена, унаследованные нами от греков. Удивляться тут нечему: большинство имен, которые принято давать в Европе и у нас, — это имена древних христианских святых, а эти святые были по большей части греками и римлянами. Вот, например, список самых ходовых наших имен греческого происхождения с их значениями. Вы узнаете в них многие знакомые корни.

Александр — защитник людей
Алексей — просто «защитник»
Анастасия — воскрешение
Анатолий — восточный
Андрей — муж, мужественный
Аркадий — родом из Аркадии
Василий — царский
Галина — морская тишь
Георгий (Егор, Юрий) — земледелец
Григорий — бодрствующий
Д(и)митрий — Деметре принадлежащий
Евгений — благородный
Екатерина — чистая
Зинаида — из Зевсова рода
Зоя — жизнь
Ирина — мир, тишина
Кирилл — господинчик, барчонок
Ксения (Аксинья, Оксана) — гостья
Леонид — львенок
Лидия — родом из Лидии
Никита — победитель
Николай — победитель народов
Петр — камень
Софья — мудрость
Степан (Стефан) — венок, венец
Фе(о)дор — божий дар

А вот имена, которые сейчас даются нечасто, но знакомы каждому по книгам и живут по многих фамилиях: имя *Тихон* уже редкость, но фамилия *Тихонов* — не редкость.

Анисим (правильнее — *Онисим*) — полезный. *Агафон, Агафья* (Агата) — хороший, хорошая. *Аглая* — блестящая. *Агния* (Агнесса) — чистая. *Арсений* — мужской. *Артемий* — здоровый. *Архип* — начальник конницы. *Афанасий* — бессмертный. *Афиноген* — Афиной рожденный. *Варвара* — дикарка. *Вероника* (македонское *Береника*, греческое *Ференика*) — победоносица. *Галактион* — молочный, млечный. *Герасим* — почтенный. *Гермоген* — Гермесом рожденный. *Демид* (Диомид) — Зевсов промыслитель. *Демьян* (Дамиан) — укротитель. *Денис* (Дионисий) — принадлежащий Дионису. *Евдокия* (Авдотья) — доброславная. *Дорофей* — то же, что Фе(о)дор. *Ефим* (Евфимий) — благодушный. *Ермолай* — Гермесов народ. *Ермил* — Гермесова роща. *Ерофей* (Иерофей) — посвященный богу. *Е(в)фросинья* — радостная. *Зиновий* (Зенобий) — Зевсова

жизнь. *Илларион* — веселый. *Ипат(ий)* — высокопоставленный. *Ипполит* — конями растерзанный (вспомните миф о Федре и Ипполите!). *Карп* — плод. *Кузьма* (Косьма) — украшение. *Макар* — счастливый. *Меланья* — черная. *Мирон* — благоухающий. *Митрофан* — являющий мать (Фонвизин недаром дал это имя своему Недорослю!). *Никифор* — победоносец. *Никанор* (Никандр) — победный муж, *Никодим* — победный народ. *Никон* — просто «побеждающий». *Панфил* (Памфил) — всеми любимый. *Панкрат(ий)* — всевластный. *Пантелей(мон)* — всемилостивый. *Парамон* — устойчивый. *Парфен(ий)* — девственный (вспомните Парфенон, храм Афины-Девы). *Пахом(ий)* — толстоплечий. *Пелагея* — морская. *Пимен* — пастух. *Платон* — широкий. *Прасковья* (Параскева) — приготовление. *Поликарп* — многоплодный. *Прокл* — передовой в славе. *Прокопий* (Прокофий) — передовой в ударе, в бою. *Прохор* — передовой в хороводе. *Родион* — розоватый (Родос — Остров роз, рододендрон — розовое дерево). *Севастьян* — чтимый, державный (отсюда — город Севастополь). *Софрон* — здравомысленный. *Спиридон* — корзинщик. *Тарас* — беспокоящий. *Тимофей* — чтящий бога. *Тихон* — принадлежащий Тихе, богине счастья. *Трифон* — роскошный. *Трофим* — питомец (сравни: дис-трофия — недостаточность питания, гипер-трофия — буквально «перекорм»). *Фаина* — сияющая. *Фе(о)дот*, *Фе(о)досий* — опять-таки то же, что *Феодор* и *Дорофей*. *Фекла* — божья слава. *Ферапонт* — слуга. *Филипп* — это имя мы уже знаем. *Фока* — тюлень. *Фотий* — светлый (сравни: фото-графия — «свето-пись»). *Харитон* — принадлежащий Харитам, богиням радости.

И в заключение — несколько имен, так сильно искаженных в русском языке, что в них не сразу узнаешь греческий образец. От каких имен произошли такие фамилии, как *Аксенов*, *Абросимов*, *Алферов*, *Антропов*, *Апраксин*, *Евсеев*, *Кирсанов*, *Нефедов*, *Куприянов*, *Перфильев*, *Сидоров*, *Фетисов*, *Филатов*, *Фофанов*? Оказывается, что *Абросим* — это Амвросий, бессмертный; *Аксен* — Авксентий, растущий; *Алфер* — Елевферий, свободный; *Антроп* — Евтропий, хорошо воспитанный; *Апракса* — Евпраксия (посмотрите в словарь корней и переведите сами), *Евсей* — Евсевий, хорошо чтящий (бога); *Кирсан* — Хрисанф, золотой цветок; *Нефед* — Мефодий, путевой (тот же корень, что и в слове «метод», путь знания); *Куприян* — Киприан, родом с Кипра; *Перфил* — Порфирий, пурпурный, царский; *Сидор* — Иси-дор, дар богини Исиды Египетской; *Фетис* — Феоктист, божье создание; *Филат* — Феофилакт, богом хранимый; *Фофан* — Феофан, божье явление.

Если вы были внимательны, то вы удивились отсутствию одного имени, частого у нас и отлично знакомого грекам. Это имя *Елена*. Его носила та прекрасная царица, из-за которой началась Троянская война. Имя это — не греческое, а догреческое; греки толковали его на разные лады, но малоубедительно. Любопытно, что мифологических имен свободные греки обычно не носили, а вот своим рабам давали. У христиан имя Елена стало популярным оттого, что так звали мать императора Константина, сделавшего христианство государственной религией. Может быть, она попала в императрицы из вольноотпущенниц?

Часть четвертая

«КТО НЕ БЫЛ В АФИНАХ, ТОТ ЧУРБАН», или Закон раздваивается

Да ты — чурбан, коли Афин не видывал;
Осел — коли, увидев, не пришел в восторг;
Верблюд — коли покинул их, не жалуясь.

Комедия



ДЕМОКРАТИЯ, ИЛИ ЧЕЛОВЕК ВСЕ ДЕЛАЕТ САМ

Сколько жителей должно быть в благоустроенном государстве? Вы скажете: «Странный вопрос!» А вот философ Платон отвечал на него вполне серьезно: лучший размер для государства — 5040 семейств. Почему? «Потому что этого достаточно, чтобы обороняться от врагов и помогать друзьям».

Цифру свою Платон обосновывал довольно сложно — например тем, что это число делится на все числа от 1 до 10. Но если мы посмотрим на родной город Платона, Афины, то увидим почти то же самое. В народном собрании для принятия важных решений должны были находиться 6 тысяч граждан; судебных заседателей в мирное время было тоже 6 тысяч; тяжеловооруженных воинов в военное время — тоже около 6 тысяч. А Платон считал, что только такие люди — взрослые отцы семейств, в мирное время правящие государством, а в военное выходящие на бой, — и заслуживают названия граждан.

Все греческие государства были очень маленькие. Одно из самых больших греческих государств — Афины с Аттикой — было меньше, чем одно из самых маленьких государств современной Европы — Люксембург. Территория государства — такая, чтобы ее можно было всю окинуть взглядом с городского холма; население — такое, чтобы можно было знать в лицо если не всех поголовно, то всех хоть сколько-нибудь заметных людей, — вот что нужно было древнему греку. Просторы нынешних великих держав ничего не говорили бы его уму и сердцу.

Таким государством грек и управлять хотел только собственноручно. Никаких депутатов — он доверяет только собственным глазам, ушам и здравому смыслу. Высшей властью в демократическом государстве было народное собрание — общая сходка, где каждый мог сам сказать, что он думает о государственных делах, мог убеждать и разубеждать других, мог ставить свои предложения на голосование, а народ принимал или отвергал их поднятием рук. В Афинах народное собрание сходилось раз в полторы недели на

холме Пникс (название это приблизительно значит «толкучка, теснота»). На вершине этого холма до сих пор стоит трибуна, с которой говорили с народом афинские ораторы: белый каменный куб в рост человека и к нему с двух сторон — каменные лесенки со ступеньками по колено высотой. Здесь кричали подолгу: иногда, собравшись утром, расходились только вечером, когда в сумерках уже не разглядеть было поднятых рук.

В промежутках между народными собраниями дела вел совет: он готовил все вопросы для обсуждения на собраниях. Каждый закон начинался словами: «Совет и народ постановили...» В Афинах совет назывался «совет пятисот» и избирался на год. Он делился на десять «пританий» по 50 человек, каждая притания заведовала делами в течение 36 дней — проверяла списки граждан, выслушивала отчеты, принимала доносы, делала распоряжения по текущим делам. Каждый день притания выбирала себе председателя, и он был как бы президентом всей Афинской республики, но сроком только на один день. Притания заседала ежедневно с утра до вечера, окруженная любознательным народом. А председатель с несколькими помощниками должен был бодрствовать и ночью — чтобы в здании совета на городской площади всю ночь горел огонь. «Неусыпное попечение о порядке» — эти слова греки понимали буквально.

Кроме совета был суд, и он тоже занимался политикой. Вспомним закон Солона — «кто видит обиду, может жаловаться в суд». Когда гражданин, глядя на поступки другого гражданина, видел в них ущерб для государства, он, если даже не был лично затронут, подавал в суд. Нельзя было привлекать к ответу только должностных лиц при исполнении обязанностей — архонта, полководца, члена совета; но кончался год его службы, и на каждого налетали все недовольные: полководца обвиняли в вялом ведении войны, архонта — в попустительстве неблагонадежным, члена совета — во взяточничестве или кумовстве. Каждый помнил: если он не заступится за государство, то никто другой этого не сделает. Обвиненные защищались изо всех сил: на некоторые заседания суда стекалось не меньше народу, чем в народное собрание. Судебных коллегий было несколько, и были они огромные, человек по пятьсот (это чтобы труднее было подкупить суд). И обвинитель, и обвиняемый говорили сами за себя, наемных ораторов не было. Наказаниями могли быть штраф, лишение гражданских прав, изгнание, смерть. Но если суд оправдывал обвиняемого подавляющим большинством голосов, то неудачливый обвинитель сам платил штраф — чтобы неповадно было.

Быть судебным заседателем, членом совета, членом любой коллегии должностных лиц (казначеем, контролером, надзирателем над рынком, надзирателем над портом и т.д.), членом управы своего квартала или своего села мог всякий гражданин, начиная с тридцати лет. Он подавал заявление, его вносили в списки, а по спискам делались выборы. Выборы не голосованием, а по жребию; нам это кажется странным, но греки видели в жребии волю самих богов. Жребиями были черные и белые бобы или камешки; для их перемешивания были настоящие машины, обломки которых сохранились. Только выборы военачальников и казначеев люди не доверяли богам и голосовали за них сами. А чтобы бедняк мог пользоваться этими правами не меньше, чем богач, все дожности были платные: за каждый день, потраченный на службу, человек получал два-три обола, дневной заработок среднего ремесленника. (Воин в походе получал в день чуть больше этого, офицер — вдвое больше рядового, а полководец — вдвое больше офицера; разница, как видим, невелика.)

Из 25 тысяч граждан Афин и Аттики около двух тысяч занимали каждый год выборные должности. Большинство должностей нельзя было занимать дважды: нужны были новые люди. Каждый свободный афинянин хоть раз в жизни да занимал какой-нибудь пост, а большинство — и не раз. Государственные дела бывали сложные, но афинские мужики, гончары, торговцы, плотники, моряки, медники, кожевники с ними справлялись. Помогал опыт и серьезное отношение к делу.

А кто этому удивлялся, тому рассказывали старую шутку. Некогда, как известно, Афина и Посейдон спорили, кому из них быть покровителем Аттики, и Афина победила. Раздосадованный Посейдон проклял афинян: «Пусть они теперь на своих собраниях принимают только дурацкие решения!» Афина, однако, заступилась за своим подопечных: «Но пусть эти решения всякий раз оборачиваются им на пользу».

ГЛИНЯНЫЕ ДОМА

Быт был прост: роскоши неоткуда было еще взяться. Ни на жилище, ни на одежду, ни на еду много не тратились. Дворцов в демократическом городе не было — были только глиняные дома и каменные храмы. Мраморные храмы высились над домами, беспорядочно теснившимися на кривых

улицах. Улицы были такие узкие, что, выходя со двора, нужно было стукнуть в дверь, чтобы, распахнув ее, не зашибить прохожих. Строились дома из необожженного кирпича: их легко было сломать и легко восстановить. Такие стены даже не взламывались, а прокапывались: воры-взломщики назывались по-гречески «стенокопы».

Дома стояли спиной к улице и лицом во двор — как и сейчас на Востоке. На улицу выходили глухие стены или, в лучшем случае, открытые лавки или мастерские. По такой улице человек шел, как по коридору. Окон по сторонам не было: даже слова для обозначения окна не было в греческом языке. Лишь под крышами виднелись узкие форточки для освещения комнат.

Войдя с улицы в дверь, человек по узкому темному проходу попадал в солнечный открытый дворик, обнесенный колоннадой. Здесь стоял алтарь Зевсу Домашнему, здесь проходила вся дневная хозяйственная суетня. С двух сторон к дворику примыкали две главные комнаты дома — большая мужская и поменьше женская. Это разделение было твердым. В мужской комнате стоял домашний очаг, здесь обедали; в женской стояли прялки и ткацкие станки, здесь работали. Маленькие каморки по сторонам служили для кухни, бани, чуланов, кладовок; низенький второй этаж, похожий на чердак под черепичной крышей, занимали спальни.

Мебели, на наш взгляд, было удивительно мало. Столы были маленькие, переносные, для каждого отдельный. За работой сидели на маленьких стульях или табуретах, ели и спали на «ложах» — деревянных скамьях с изголовьями, покрытых толстыми шерстяными покрывалами; подушки были, но тюфяки подкладывать стали лишь позднее. Шкафов не было — вместо них для одежды и утвари стояли сундуки, а для съестных припасов в кладовой — глиняные кадки. Что нужно было иметь под рукой, развешивали на стенах. Стены были голые, штукатуреные; когда их начали расписывать узорами, это казалось отчаянной роскошью.

Одежда была так проста, что в Греции, по существу, не было портных: все делалось дома. И мужская, и женская одежда состояла только из двух частей, рубахи и плаща: «хитона» (у женщин — «пеплоса») и «гиматия». Хитон был без рукавов, на плечах он сшивался или даже только скреплялся, а на талии подпоясывался; гиматий накидывали сверху, свободно драпируясь по вкусу и моде. Пуговиц еще не изобрели — были только пряжки. В дорогу надевали широкополую шляпу и подвязывали подошвы — сандалии.

Днем обычно дома хозяйничали только женщины; мужчины работали в мастерских, торговали на рынке, бегали по делам или просто прохаживались по улицам и площадям, разузнавая, нет ли новостей. Когда хотели сказать: «Перед полуднем», говорили: «Когда площадь полна народа». В полуденный зной заходили домой перекусить, а под вечер собирались к обеду. Обеды были не семейные, а дружеские: собирались в гости, приносили складчину в корзинках или сообща нанимали повара. Хозяйка с дочерьми если и выходила, то лишь к началу угощения и ненадолго.

Греческий стол показался бы нам бедным и невкусным. Мясо подавали лишь по праздничным случаям, когда приносились жертвы. Обычно ели рыбу, овощи и плоды (особенно маслины и фиги) и, конечно, хлеб, все остальное считалось лишь «приварком» к хлебу. Масло было только растительное, а не сливочное; сыр был мягок и похож на творог. Тыквы и огурцы были новинкой; орехи, которые будут названы «грецкими», были еще привозным лакомством; ни рис с гречихой, ни дыня с арбузом, ни персик с абрикосом, ни лимон с апельсином еще не пришли из Азии, ни помидор с картофелем — из Америки. Вместо сахара был мед. Для питья не было ни чая, ни кофе, ни какао, ни даже пива. Пили только вино. Но это не было пьянство: вино смешивали с водой так, чтобы воды было больше (часто — вдвое), чем вина. По существу, это было лишь средство обеззаразить нездоровую воду греческих колодцев.

Для угощения сдвигали обычно три больших ложа, а с четвертой стороны рабы подносили столики с едой. Была поговорка: «Застольников должно быть не меньше числа Харит и не больше числа Муз» (от трех до девяти, иначе будет тесно). Ни ложек, ни вилок не было, ели руками, объедки бросали на пол. Перед тем как переходить к вину, умывали руки, надевали венки и делали возлияния богам; а затем у молодых людей начинался самый веселый разгул, а у пожилых — самые интересные беседы. Несколько сочинений лучших греческих прозаиков называются «Пир» и написаны в форме ученой застольной беседы; а греческим словом «симпозий» (которое и означает «пир» или даже «попойку») в наши дни называются небольшие научные конференции.

Спать ложились обычно рано, но в застолье засиживались и до полуночи. Свечей не было, но глиняные масляные лампы (часто с несколькими фитилями) давали достаточно света. Расходясь по темным немощеным улицам, освещали себе дорогу факелами: об уличном освещении никто еще не помышлял.

ЗАСТОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Мы сказали, что на пирах греки развлекались не только вином, но и ученым разговором. О чем? Это смотря кто пировал. Платон описал пир с участием Сократа и с разговором о том, что есть истинная любовь; и это — одно из самых знаменитых сочинений Платона. А какие темы обсуждали люди ученые и просвещенные, но все же не такие мудрые, когда они отдыхали за вином, пересказал нам поздний писатель Плутарх. В его книге «Застольные беседы» пересказано 95 таких разговоров. Вот темы некоторых из них — почти подряд по ее оглавлению:

Уместно ли на пиру рассуждать о философии?

Должен ли хозяин задавать тему для разговора или пусть ее выбирают гости?

Почему старикам вкуснее неразбавленное вино?

Почему старикам легче читать издали?

Почему пресная вода для старика лучше, чем морская?

Почему под осень люди обжорливей?

Что появилось раньше, курица или яйцо?

Почему у овцы, покусанной волком, мясо вкуснее, а шерсть хуже?

Что лучше за столом, давать ли каждому его часть или брать с общего блюда?

Почему женщины пьянеют мало, а старики сильно?

Почему полупьяные хуже держатся на ногах, чем вовсе пьяные?

Почему пьют три чаши или пять чаш, но никогда не четыре?

Почему мясо быстрее портится на лунному свету, чем на солнечном?

Какая пища легче для желудка, смешанная или одинаковая?

Почему считается, что спящих молния не поражает?

Почему иудеи не едят свинины: почитают они свинью или презирают?

Почему нам приятно смотреть на актеров, изображающих гнев и страдание, и неприятно на тех, кто действительно гневается или страдает?

Почему у фигового дерева сок горький, а плод вкусный?

Почему Гомер называет соль «божественной»?

Почему голод от питья слабеет, а жажда от еды усиливается?

Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки?

Почему жертвенное мясо, повисев на фиговом дереве, становится мягче?

Почему у Гомера для всех жидкостей есть эпитеты, а для масла нет?

Почему вино в сосуде лучше брать из середины, мед снизу, а масло сверху?

Если человека позовут с пира на пир, то принимать приглашение или нет?

О днях рождения знаменитых людей.

Почему Платон сказал, что бог всегда занимается геометрией?

Почему ночью звуки слышнее, чем днем?

Почему плавающие по Нилу черпают из него воду не днем, а ночью?

Могут ли появиться новые, еще неизвестные болезни и почему?

Почему в осеннее время сны снятся несбывчивые?

Почему буква А в азбуке первая?

Почему лунные затмения чаще солнечных?

Что общего у поэзии с пляской?

Четное число звезд на небе или нечетное?

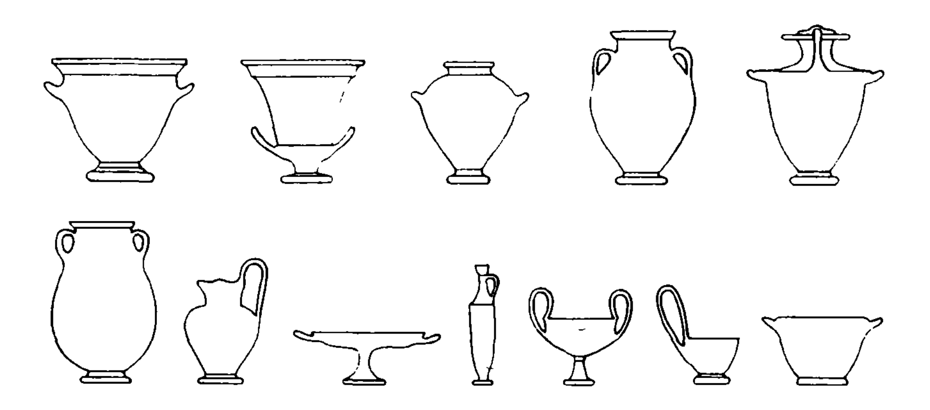
НЕ БОГИ ГОРШКИ ОБЖИГАЮТ

От грозных и огромных пифов
До тонких, выточенных скифов,
Амфоры, лекифы, фиалы,
Арибаллы и самый малый
Киликий, все — живое чудо:
В чертах разбитого сосуда,
Загадку смерти разреша,
Таится некая душа!

В. Брюсов, «Эгейские вазы»

Почти во всех книгах по античной культуре (в том числе и в этой) вы найдете иллюстрации, переснятые с греческих ваз. В каждом музее, где есть такие вазы, они бережно хранятся и выставляются на почетных местах. Под ними написаны красивые и непонятные слова: «кратер», «ойнохоя», «килик»... Нам кажется, что это вещи, которые делались только для красоты, как нынешние вазы. Но это не так.

Перед нами — бытовая утварь, античный ширпотреб. Лишь немногие из этих сосудов были только украшением — например приношениями богам. Остальные служили своему хозяйственному назначению: иные в застолье, иные в кладовой. И даже не в богатых домах, а в домах среднего достатка. В богатых предпочитали сосуды металлические — они не бились. Но металл был дорог, дерева в Греции мало, а хорошей глины — много, особенно в Аттике, где изготовлялись самые лучшие вазы. Так в глиняных домах люди жили с глиняной посудой.



Очертания греческих ваз. В верхнем ряду — три кратера, амфора и гидрия-ведро. В нижнем ряду — пузатая пелика, кувшин-ойнохоя, блюдце-килик, маленький лекиф, кубок-канфар, черпак-киаф и чашка-скиф

Красивые названия этих сосудов переводятся на русский язык очень легко. Пифос (пиф) — это глиняная бочка для хранения припасов; она была почти шарообразная (чтобы больше вместилось) и очень большая, именно в такой бочке жил нищий мудрец Диоген. Амфора — это бочонок поменьше и с ручками: не для хранения, а для перевозки и переноски вина и масла. Он строен, как человек; «устье», «шейка», «плечи», «тулово», «ножка» — называют археологи его части. Гидрия с тремя ручками — это ведро, в нем женщины на головах носили воду из колодца или родника в дом. Колоколообразный кратер — смеситель, в нем смешивали вино с водой по уже знакомому нам трезвому греческому обычаю. Жерло вулкана называется «кратер» за сходство с широким раструбом именно этого сосуда. Ойнохоя — кувшин с тремя устьицами, чтобы можно было наливать

вино одновременно в три чаши. Киаф — черпак на длинной ручке, но он обычно делался не глиняный, а бронзовый, чтобы не разбивался в пьяных руках. Пили налитое вино чаще всего из блюдец, реже — из чашек или из кубков. Блюдце на ножке называлось «килик» («киликий» у Брюсова значит «маленький килик»). Чашка без ручки называлась «фиал» (отсюда нынешнее слово «пиала»); чашка с ручкой — «скиф»; кубок со вскинутыми, как крылья, фигурными ручками — «канфар» (жук); кубок, имеющий форму звериной морды, — «ритон». Это все — сосуды для пищи и питья. А для душистого масла, которым натирали тело, были другие, как наши флаконы: стройные лекифы в виде маленьких амфор и пузатые арибаллы в виде маленьких пифосов.

Все сосуды расписывались черным лаком по красно-рыжей обожженной глине. Более старая манера росписи была чернофигурная, более новая — краснофигурная. При чернофигурной фон оставался красным, фигуры покрывались черным, а по черному процарапывались светлые линии складок одежды и черт лица. При краснофигурной росписи, наоборот, фон заливался черным, а фигуры оставлялись красными, и на них наносились черные линии складок и прочие подробности. Это было и красивее и практичнее. Красивее, потому что по светлому можно было выписать больше мелочей: например, чернофигурные головы можно было изобразить лишь силуэтом в профиль, а краснофигурные — также и в фас. Практичнее, потому что когда весь фон черный, то больше поверхности покрыто водонепроницаемым лаком и сосуд лучше держит жидкость.

У амфор, кратеров, ойнохой расписывались бока, у блюдец-киликов — круглые донца. Вписать живое изображение в круг так, чтобы оно его заполняло равномерно и симметрично, очень нелегко. Греки умели это делать замечательно. Темой росписей были главным образом мифологические сцены (особенно в чернофигурную эпоху: поединки героев очень выразительны в черном профиле). Потом появились и сцены из комедий, и бытовые изображения — шествие, состязание, хоровод, школа, рынок, мастерская литейщика, — и, конечно, зарисовки застолий: расписывая килик, мастер с удовольствием изображал на нем веселых остробородых мужчин, которые, угловато раскинувшись на ложах, подносят к губам точно такие же килики. При фигурах надписывались имена, а иногда и реплики. Знаменитая ваза в петербургском Эрмитаже изображает мужчину, юношу и мальчика, показывающих взглядами и жестами на ласточку в небе и переговаривающихся надписями: «Смотри,

ласточка!» — «Клянусь Гераклом, правда!» — «Скоро весна!»

А пословицы «Не боги горшки обжигают» у греков тем не менее почему-то не было.

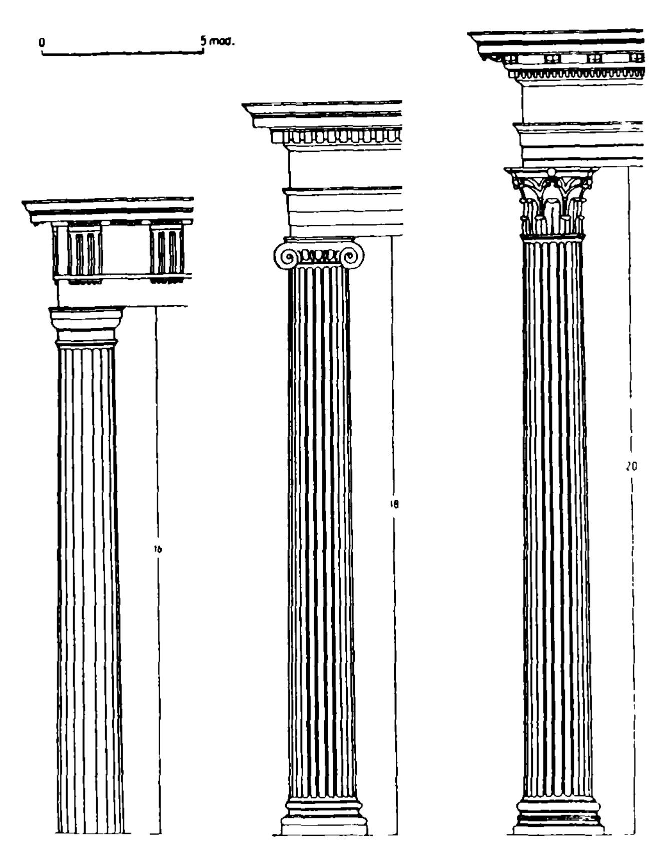
МРАМОРНЫЕ ХРАМЫ

Мы сказали: среди глиняных домов высились мраморные храмы. Но храмы не всегда были мраморные — сперва они были деревянные. Что такое храм? Дом бога. Как построить дом? Подвести фундамент, сложить четыре бревенчатые стены, перекрыть их крест-накрест несколькими деревянными балками и водрузить сверху двускатную крышу — вот и все. Впрочем, нет, не все: храмы строились на возвышенных местах, открытых непогоде, стены могли отсыреть, надо было их прикрыть. Для этого двускатную крышу делали пошире, чтобы она лежала на здании, как широкополая шляпа, а края ее подпирали деревянными столбами, и столбы эти вереницей окружали здание со всех сторон.

Так и образовались три яруса греческого храма: фундамент, колоннада и карниз с крышей. Ничего, что нельзя было бы сработать из прямых бревен, здесь не было: ни арок, ни куполов. Вы можете сложить модель храма из спичек, и она будет стоять. Лишь потом, когда греки стали жить богаче, они начали возводить эти части храма уже не из дерева, а из камня: сперва из известняка, потом из мрамора.

Фундамент храма был ступенчатым — обычно в три большие ступени. Это была как бы лестница, чтобы бог входил в свой дом. Ступени были впору только богу: человеку они иногда приходились выше колена. Тогда в них вырубали узкие лесенки со ступеньками пониже.

Колоннада была самой заметной частью храма. Колонны несли крышу; всем своим видом они должны были показывать: нам тяжело, но мы побеждаем эту тяжесть! Показывали они это по-разному: в одних храмах колонны были мужественные — дорические, в других женственные — ионические. Дорические колонны были широкие и крепкие, посредине чуть утолщенные, как напрягшийся мускул. Основанием они врастали прямо в фундамент, вершиной упирались почти прямо в карниз — прокладкой служила лишь небольшая каменная подушка. Ионические колонны были тоньше и стройней. Внизу у них был постамент из двух мраморных валиков, вверху каменная подушка загибалась



Три типа греческих колонн — три «ордера», как говорят архитекторы: дорический, ионический и коринфский, о котором будет речь дальше. Все масштабы — в «мерках», радиусах колонны. Над дорической колонной — триглифы и метопы, над ионической — сплошной фриз

двумя завитками; и то и другое как бы упруго сопротивлялось тяжести крыши.

Карниз над колоннадами был трехполосный. Сверху и снизу лежали крепкие мраморные балки, а между ними шел фриз — вереница выпуклых рельефных изображений вокруг всего храма. В изящных ионических храмах фриз был сплошным многофигурным поясом, в суровых дорических — цепью отдельных картин — «метоп», разделяемых прямоугольными плитами — «триглифами», с тремя желобками каждая. Когда-то на этих местах торчали концы поперечных балок деревянного перекрытия: триглифы были

каменным напоминанием о них. Метопы были хороши для изображений боевых единоборств, сплошные фризы — для мирных шествий, как в Парфеноне.

На карниз опиралась двускатная крыша. Над входом и над противоположной от входа стеной она образовывала пустой треугольник. Его замуровывали и украшали скульптурами. Это был фронтон. Скульптуры надо было располагать так, чтобы они вписались в треугольник. Это было интересной задачей для скульптора. Например, изображалась сцена сражения. Тогда посредине, в самом высоком месте фронтона, вставала фигура бога, решающего исход сражения; с двух сторон от него шли друг на друга, ростом поменьше, бойцы со щитами и копьями; дальше, пригнувшись под скатами, стреляли с колен двое лучников; а затем, упав на локоть и вытянув ноги в нижний угол фронтона, лежали раненые и умирающие. Так же симметричны были и фронтоны Парфенона.

Три ступени фундамента; три части колонны — база, ствол и вершина («капитель»); три яруса карниза — нижний брус («архитрав»), фриз и собственно карниз, — размеры этих частей были строго согласованы друг с другом. Как в городе, так и в постройке всем правил закон, всему диктовавший свою меру. Единицей этой меры был радиус колонны, половина ее толщины: зная ее, можно было до мелочей восстановить размеры всего храма. Высота дорической колонны — 16 радиусов, ионической — 18 радиусов. Промежуток между дорическими колоннами — 3 радиуса, между ионическими — 5 радиусов. Высота ионической базы — 1 радиус, капители — треть радиуса, высота архитрава, фриза и карниза — по полтора радиуса. И так далее, вплоть до желобков дорических триглифов и завитков ионических капителей. Таков был канон, правило — царство разума; а затем начиналась воля строителя, отступления от правил — царство вкуса.

Храмы были невелики, но величественны. Белые на фоне зеленых рощ и синего неба, они стояли не как жилища, а как скульптурные памятники. Народ собирался не в них, а перед ними и любовался ими не изнутри, а снаружи. Внутрь входили только жрецы и молящиеся. Как глиняные дома, так и мраморные храмы были лишь временным приютом для греков. А жизнь их, шумная и деятельная, текла на улицах и площадях, под открытым небом.

ЗНАМЕНИТЫЕ СКУЛЬПТОРЫ

Храмам нужны были скульптуры: большие статуи богов для внутренних помещений, статуи поменьше — для фронтонов, барельефы — для фризов. Людям тоже нужны были скульптуры: победителям на больших состязаниях ставили статуи прижизненно, а простым людям посмертно — украшали барельефами могилы. Но не думайте, что эти изображения людей были портретные. «Слишком много чести!» — сказал бы грек. Статуя в честь олимпийского победителя изображала идеального атлета — не такого, каким был победитель, а такого, каким он хотел бы быть. А могильный барельеф изображал просто человека: мужчину при оружии, женщину за хозяйством, ребенка с игрушкой, — чтобы люди, глядя на памятник смерти, лучше оценили простые радости жизни.

В скульптуре, как и в зодчестве, тоже царствовал закон: мера — превыше всего. Все пропорции человеческого тела были рассчитаны до мелочей; их и сейчас твердо помнят те, кто учатся рисовать. Кисть руки составляет одну десятую часть роста, голова — одну восьмую, ступня — одну шестую, голова с шеей — тоже одну шестую, рука по локоть — одну четвертую. Лоб, нос и рот с подбородком равны по высоте; от темени до глаз — столько же, сколько от глаз до конца подбородка. Расстояния от темени до пупка и от пупка до пят относятся так же, как расстояние от пупка до пят к полному росту (приблизительно как 38:62; это называлось «золотое сечение»). И опять-таки это было еще не все: за царством разума начиналось царство вкуса, и, разобрав человеческую фигуру, скульптор вновь собирал ее в неповторимое единство поворотов, движений и складок. Греческие статуи не спутать с римскими. У римских статуй вся сила в лице, а тело — лишь подставка под ним; когда римлянам нужно было менять статуи своих императоров, они порой снимали статуе голову и приставляли новую. С греческой статуей этого сделать невозможно: здесь на выражение лица откликается каждая подробность в теле, то смягчая, то усиливая его напряжение.

Статуи людей лучше всего делал аргосец Поликлет, статуи богов — афинянин Фидий. Фидию принадлежали две самые знаменитые греческие скульптуры — «Афина-Дева» в Парфеноне и «Зевс на престоле» в Олимпии. Фидий был другом Перикла, он руководил всем, что строилось на Акрополе. Когда враги Перикла захотели его свалить, они нанесли свой первый удар по Фидию. Фидия обвинили в том,

что на щите Афины, где была изображена борьба греков с амазонками, он придал двум фигурам портретные черты: свои и Перикла. Все негодовали: портрет — это уже было самомнение, но портрет на статуе Афины — это было вдобавок оскорблением божества. Был суд. Фидий сказал: «У того, кого вы называете Периклом, пол-лица заслонено древком занесенного копья — о каком же сходстве можно здесь судить? А тот, кого вы здесь называете Фидием, изображен лысым, неуклюжим стариком — разве стал бы я себя так изображать?» Это показалось убедительным — Фидия оправдали.

Поликлету не приходилось быть под таким опасным обвинением, но и ему, не стесняясь, мешали работать. Однажды государственная комиссия заказала ему статую и все время давала советы, что и как должно быть в ней изображено. Поликлет стал делать одновременно две статуи: одну он никому не показывал и делал по своему усмотрению, другую держал на виду и покорно вносил в нее все требуемые поправки. Когда настал срок, он представил комиссии обе статуи на выбор. Комиссия сказала: «Первая статуя прекрасна, а вторая ужасна!» — «Так знайте же, — ответил Поликлет, — первую сделал я, а вторую сделали вы».

Прошло пятьдесят, сто лет, и почета скульпторам стало больше. За ними ухаживали, их прославляли, их произведениями дорожили. У скульптора Праксителя была подруга Фрина, первая красавица Греции; ей хотелось иметь скульптуру Праксителя, но непременно самую лучшую; а Пракситель никак не хотел признаться, какая из них лучшая, и говорил: «Все хороши!» Однажды он ужинал у Фрины, как вдруг вбежал раб и крикнул: «В твоей мастерской пожар!» Пракситель вскочил: «Если погибнет мой «Эрот», то и я погиб!» — «Успокойся, — сказала Фрина, — никакого пожара нет, а ты подари мне, пожалуйста, вот этого самого «Эрота»!»

И когда над всем миром стал властвовать Александр Македонский, то в похвалу ему говорили: он позволяет писать себя только Апеллесу, а ваять себя только Лисиппу — лучшему художнику и лучшему скульптору этой поры. Времена изменились, и портреты уже не казались ни знаком тщеславия, ни оскорблением богов.

ЗНАМЕНИТЫЕ СКУЛЬПТУРЫ

Если попытаться перечислить самые знаменитые скульптуры тех скульпторов, о которых шла речь, то, пожалуй, это будут: «Тираноубийцы» Крития и Несиота, «Дискобол» Мирона, «Дорифор» Поликлета, «Афродита Книдская» Праксителя, «Апоксиомен» Лисиппа и «Лаокоон» Агесандра.

Ни одна из этих статуй не дошла до нас — и все же мы их знаем. Дело в том, что сохранились их копии, подчас довольно многочисленные: богатые люди любили украшать свои дома и дворы копиями знаменитых скульптур. Представьте себе, что Третьяковская галерея погибла, а репродукции и копии с ее картин сохранились, — вот так и здесь. По древним копиям мы судим о древних оригиналах, не забывая, конечно, что копия всегда хуже оригинала и часто бывает неточна. Иногда голова статуи лучше сохранилась в одной копии, а туловище — в другой; тогда ученые делают гипсовые слепки этой головы и этого туловища, совмещают их и изучают получившуюся реконструкцию.

Древнейшие статуи были простые и прямые. Они стояли навытяжку, руки по швам, глядя прямо перед собой, как солдат перед фотографом. Мужские статуи были нагие, женские — одетые: на первых скульпторы учились точно передавать анатомию тела, на вторых — складки драпировок. А шесть статуй, которые мы перечислили, — это как бы шесть ступеней, по которым восходили скульпторы к передаче гибкости и подвижности живого тела.

Двойная статуя в честь тираноубийц Гармодия и Аристогитона была поставлена после свержения тирании в Афинах. Ксеркс, захватив Афины, снял ее и увез в Персию. Когда персов прогнали, поставили новую, она и сохранилась в копиях: Аристогитон протягивает ножны, Гармодий выхватывает из них меч. Греки привыкли, что их однофигурные статуи симметричны: правая сторона фигуры точь-в-точь как левая. И первую свою двухфигурную статую они сделали так же симметрично: в центре оба героя вынесли вперед руки и выдвинули ноги, по краям — отвели их назад. Получилось очень цельно и величественно. Вспомните хорошо знакомую вам статую В. Мухиной «Рабочий и колхозница»: в ней две фигуры объединены точно такой же позой.

«Дискобол» был знаменит тем, что это была первая и удивительно смелая попытка неподвижной статуей передать движение. Для этого скульптор Мирон выбрал неуловимый

момент между двумя движениями: атлет только что до предела раскачал свое тело в замахе и вот-вот рванется в посылающий толчок. Главным для скульптора было преодолеть привычку к симметричным фигурам, и он ее преодолел: никакой симметрии в статуе нет. Но он не преодолел другой привычки: его «Дискобол» рассчитан только на взгляд спереди, как картина; обходить его кругом неинтересно. Искания продолжались.

«Дорифор» («Копьеносец») Поликлета — это статуя, которую скульптор сделал как иллюстрацию к своему сочинению «Канон» («Мера»). Здесь он рассчитывал те самые пропорции человеческого тела, которые должен соблюдать художник: какую долю тела составляет ступня, голова и так далее. Голова здесь укладывается в росте еще не восемь, а только семь раз: фигура сложена плотнее и крепче. Но главным у Поликлета было открытие перекрестной неравномерности движения тела: если из двух ног сильнее напряжена левая, то из двух рук — правая, и наоборот. (Вспомните: маршируя, вы делаете одновременно шаг левой ногой и взмах правой рукой, а потом наоборот.) Дорифор напряжен именно так: опирается он на правую ногу, а копье держит в левой руке. От этого все его тело приобретает естественную легкость и гибкость, «Дорифора» можно обойти и видеть: он не позирует, он живет.

«Афродита Книдская» стала каноном женской красоты, как «Дорифор» — мужской. Это была первая нагая женская статуя — до тех пор делались только одетые. Чтобы это не слишком поражало, Пракситель изобразил богиню как бы после купания: у ног ее — сосуд для воды, в руке — покрывало. Все равно это было непривычно; говорили, что статую Афродиты заказывали Праксителю жители острова Коса, он сделал две нагую и одетую; заказчики поколебались и все-таки взяли одетую, а соседи их и соперники, жители Книда, отважились взять нагую, и это прославило их город; со всей Греции любители прекрасного ездили в Книд только затем, чтобы посмотреть на Афродиту Праксителя.

Красивое слово «Апоксиомен» означает всего лишь «обскребающийся»: юноша, полукруглым скребком счищающий с себя масло и песок после упражнений в борьбе. Это такой же атлет, как у Поликлета, но пропорции его стройнее, а поза свободнее: голова его укладывается в росте восемь раз, и стоит он настолько непринужденно, не обращая внимания на зрителя, что если «Дорифора» можно было обойти вокруг, то «Апоксиомена» нужно обойти вокруг — иначе ни с какой отдельной точки зрения полного впечатле-

ния от него не получишь. Именно этого и добивался Лисипп. Когда его спрашивали, как у него это получается, он отвечал: «Когда я начинал учиться, я спросил учителя, какому из мастеров подражать; и он мне ответил: «Природе». Для Лисиппа «Апоксиомен» был лишь одной из полутора тысяч сделанных им статуй, но потомкам он полюбился больше всех. Из Греции его увезли в Рим, там он стоял на площади, а когда один император вздумал перенести его к себе во дворец, то народ поднял такой ропот, что пришлось вернуть статую обратно.

«Лаокоон» словно переносит нас в другой мир. До сих пор перед нами были цветущие мужчины, здесь — старик и дети; до сих пор был величавый покой, здесь — мучительная борьба. Это вкусы новой эпохи, после Александра Македонского, когда искусство уже смелее играло с земными страстями. Лаокоон был жрец, предостерегший троянцев, что город их может пасть от деревянного коня; за это Посейдон выслал из моря двух змей, и они задушили Лаокоона и двух его сыновей. Мы видим: один уже изнемог, другой еще только что схвачен, а между их опутанными телами — торс отца, который выгнулся в последнем напряжении, набравши воздуха и задержавши выдох: перед нами такое же мгновение неподвижности между двумя сильными движениями, как в «Дискоболе» Мирона. Статую эту раскопали в начале XVI в., и великий Микельанджело твердо сказал, что это лучшая статуя в мире.

В этот список шедевров могли бы войти еще две статуи. Одна — это статуя Зевса в Олимпии работы Фидия; вся античность единодушно считала ее чудом света, но до нас она не дошла даже в копиях: она была огромная, деревянная, с облицовкой из золота и слоновой кости, и копированию не поддавалась. Другая — это Гермес с младенцем Дионисом на руках работы Праксителя; это единственная статуя великого мастера, дошедшая до нас в подлиннике, и ученые сверяются с ней, чтобы по поздним копиям других статуй представить себе оригиналы, но в древности она никакой особенной известностью не пользовалась.

И еще две статуи неизвестных мастеров следует здесь хотя бы назвать: Аполлона Бельведерского и Венеру Милосскую (правильнее — Афродиту Мелосскую). Первая изображает бога, только что поразившего змея Пифона:

Лук звенит, стрела трепещет,
И, клубясь, издох Пифон,
И твой лик победой блещет,
Бельведерский Аполлон!

(А. С. Пушкин)

Вторая — статуя с отбитыми руками, которых не реставрируют, потому что любая реставрация помешает видеть изгиб тела богини:

Так, вся дыша пафосской страстью,
Вся млея пеною морской
И всепобедной вея властью,
Ты смотришь в вечность пред собой.
(А. А. Фет)

XVIII век преклонялся перед Аполлоном Бельведерским, XIX век — перед Венерой Милосской; сейчас восторг перед ними уменьшился, но из уважения к отцам и дедам не упомянуть о них нельзя.

ЗНАМЕНИТЫЕ ХУДОЖНИКИ

Праксителя спросили: «Какие твои статуи больше тебе нравятся?» Он ответил: «Те, которые расписывал художник Никий».

Мы привыкли к белым статуям в наших музеях и забываем, что у греков статуи были раскрашены: открытые части тела в телесный цвет, одежда — в красный и синий, оружие — в золотой. Глаза мраморных статуй кажутся нам слепыми именно потому, что зрачки у них не вырезывались, а писались по мрамору краскою. Храмы тоже не были целиком белые: фриз и фронтоны раскрашивались, обычно в синий цвет, и на этом фоне, как живые, выступали статуи и барельефы.

Греки любили яркость. Неудивительно, что они любили и живопись. Но греческую живопись мы знаем гораздо хуже, чем греческую скульптуру: картины сохраняются труднее, чем статуи. «Древнюю архитектуру мы знаем по развалинам, скульптуру по копиям, живопись по описаниям», — сказал один ученый. Поэтому нам больше приходится принимать на веру то, что рассказывали греки о своих знаменитых художниках.

С чего началась живопись? С любовного свидания. Одной девушке было жалко расставаться со своим возлюбленным, и она сделала вот что: поставила его так, чтобы луна отбрасывала на стену его тень, и обвела эту тень углем. Юноша ушел, а тень осталась. Эта первая в мире картина будто бы долго хранилась в одном из коринфских храмов.

Потом началось совершенствование. Греки точно сообщали, какой художник первым начал отличать мужские профили от женских; какой — рисовать головы повернутыми и

вскинутыми; какой — изображать говорящих с открытым ртом какой — класть тени, чтобы фигуры казались выпуклыми. Эти картины, наверное, нужно представлять себе по образцу рисунков на вазах; все в профиль, все застывшие в простых и сразу понятных позах, задние фигуры не меньше передних, а выше их, так что картина кажется не окном в глубокое пространство, а стеной, покрытой многофигурным ковром. Таковы были знаменитые картины художника Полигнота на афинской городской площади: «Взятие Трои» и «Битва при Марафоне», каждая в целую стену.

Греки рисовали, как рисуют дети: сперва чертили контур, потом его закрашивали. Красок поначалу было только четыре: белая, желтая, красная, черная. Лучшую белую делали из известняка с острова Мелоса (отсюда наше слово «мел»), лучшую желтую — из аттической глины, красную привозили с Черного моря, а для черной пережигали виноградные косточки или даже слоновую кость. Современные художники чаще всего пишут масляными красками на холсте; в Греции этого не было. Когда расписывали стены по сырой штукатурке, то разводили краски прямо водой, они всасывались и засыхали; потом такой способ стали называть «фреска». А когда писали на деревянных досках, то приготавливали краски не на масле, а на яичном желтке (этот способ потом назывался «темпера», так работали средневековые иконописцы) или на растопленном воске (этот способ потом вышел из употребления, и секреты его утрачены).

Труднее всего было изобразить две вещи: красоту и выражение лица. Когда Гомеру нужно было описать Елену, взошедшую на троянскую стену, он не стал говорить, как она была прекрасна, — он сказал: «Старцы троянские посмотрели на нее и молвили: «Да, за такую красоту не жаль вести такую войну!» У художников такого выхода не было. Один живописец в отчаянии попробовал написать Елену золотыми красками — ему сказали: «Ты не сумел сделать Елену красивой и сделал ее нарядной».

Другой живописец должен был изобразить пир двенадцати богов. Картина осталась недоконченной: художник начал писать лица младших богов, истратил на них все свои способности, и на Зевса у него не хватило сил.

Третий живописец, встретившись с такой же трудностью, справился с ней умнее. Он писал «Жертвоприношение Ифигении» — как перед походом на Трою царь Агамемнон по воле богов отдает на смерть свою родную дочь. Девушку несут к алтарю герои Одиссей и Диомед, на их лицах — скорбь; у алтаря стоит с ножом жрец Калхант, на его лице

— еще более тяжкая скорбь; Ифигения простирает к небу руки — скорбь на ее лице почти неописуема; а лицо отца, самого Агамемнона, художник даже не пытался изобразить и окутал ему голову плащом. Эта изобретательность его прославила.

Самыми знаменитыми в живописи были две пары соперников: в V веке Зевксис и Паррасий, в IV веке Апеллес и Протоген.

Зевксис с Паррасием поспорили, кто лучше напишет картину. Собрался народ, вышли двое соперников, у каждого в руках картина под покрывалом. Зевксис отдернул покрывало — на картине была виноградная гроздь, такая похожая, что птицы слетелись ее клевать. Народ рукоплескал. «Теперь ты отдерни покрывало!» — сказал Зевксис Паррасию. «Не могу, — ответил Паррасий, — оно-то у меня и нарисовано». Зевксис склонил голову. «Ты победил! — сказал он. — Я обманул глаз птиц, а ты обманул глаз живописца».

Зевксис недаром выбрал предметом для своей картины виноградную гроздь: это он умел изображать как никто. Однажды он написал мальчика с гроздью в руках, и опять птицы слетались и клевали ягоды, а народ рукоплескал. Недоволен был только сам Зевксис. Он говорил: «Значит, я плохо написал мальчика: если бы мальчик был так же хорош, птицы боялись бы подлетать к ягодам».

У Апеллеса с Протогеном состязание было необычное. Однажды Апеллес пришел к Протогену и не застал его дома. Он взял кисть, набрал желтой краски и провел по его стене тонкую-тонкую черту. Вернувшийся Протоген воскликнул: «Только Апеллес мог писать так тонко!» — схватил кисть и провел поверх Апеллесовой черты еще более тонкую свою, красную. На другой день опять пришел Апеллес, увидел эту черту в черте и вписал в них еще одну, черную, самую тонкую, и Протоген признал себя побежденным. Кусок стены, где состязались два художника, потом вырезали и бережно хранили. В галерее римского императора Августа среди многофигурных мифологических картин этот белый квадрат с тремя цветными линиями казался совсем пустым — и оттого вызывал особенный восторг.

Когда Апеллеса спрашивали, кто пишет лучше, он или Протоген, Апеллес отвечал: «Владеем кистью мы одинаково, но класть кисть вовремя лучше умею я». Это значило, что слишком долгая работа над картиной бывает и вредна: картина становится как бы вымученной. Но это не значило, что труд художника не нужен: он нужен, и повседневно. Правилом Апеллеса было: «ни дня без черты!» Потом писа-

тели перетолковали это и для себя: «ни дня без строчки!»

Как когда-то над Поликлетом, так и над Апеллесом иногда стояло не очень понимающее начальство. Однажды Александр Македонский посмотрел на свой конный портрет и стал критиковать его вкривь и вкось. А конь Александра посмотрел на нарисованного коня, потянулся к нему и заржал. «Видишь, царь, — сказал Апеллес, — конь твой разбирается в живописи лучше, чем ты».

А другой случай того же рода перескажем лучше словами Пушкина:

Картину раз высматривал сапожник
И в обуви ошибку указал.
Взяв тотчас кисть, исправился художник.
Вот, подбочась, сапожник продолжал:
«Мне кажется, лицо немного криво...
А эта грудь не слишком ли нага?..»
Тут Апеллес прервал нетерпеливо:
«Суди, дружок, не свыше сапога!»

АФИНСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Все эти мраморные храмы, украшенные скульптурами знаменитых ваятелей и картинами знаменитых живописцев, были построены не затем, чтобы стоять понапрасну. К ним сходились люди, чтобы чтить богов праздниками.

Помните: жители города Тарента хвастались, что у них праздников больше, чем дней в году? Афиняне были скромнее: у них в году было около 50 праздников, и занимали они в общей сложности около 100 дней. Вы скажете, что и это много? Но подумайте о трех вещах. Во-первых, у греков не было еженедельных выходных, как у нас по воскресеньям, — так что праздники были просто возможностью отдохнуть. Во-вторых, у греков бедняки почти не ели мясного, а на праздниках приносились жертвы, и жертвенное мясо шло на угощение, — так что это было возможностью подкормиться за государственный счет. А в-третьих, и в-главных, гражданам хотелось собраться вместе, и если город их процветал, то поблагодарить богов, а если бедствовал, то попросить у них помощи. На праздниках они были не зрителями, а участниками: все представления, даже театральные и хоровые, были, по-современному выражаясь, самодеятельными. Зрителями считались боги.

Три праздника были главными в афинском году: во-первых, Панафинеи в честь Афины; во-вторых, Анфестерии и

Дионисии в честь Диониса; в-третьих, Элевсинии в честь Деметры.

Панафинеи справлялись в июле, тотчас после жатвы. Это был праздник шествий и состязаний. Шествие шло поблагодарить Афину за удачный год и окутать ее статую новым покрывалом, которое целый год ткали избранные по жребию афинские девушки. Это то самое шествие, которое изображено на фризе Парфенона. А состязания были такие же, как в Олимпии и на других играх: бег, скачки, борьба, прыжки, метание копья и диска. Победители получали большие амфоры с маслом из олив, собранных в священной роще Афины; на амфорах была изображена Афина-Воительница с копьем и щитом. Начинались же состязания факельным бегом: от алтаря Любви в пригородной роще бегуны эстафетой несли горящий факел к алтарю Афины на Акрополе. Говорили, что этот бег учредил когда-то сам Прометей, добыватель огня.

Анфестерии справлялись в феврале, а Дионисии в марте: первый праздник был проводами мертвого царства зимы, второй — встречей новой весенней жизни. Это тоже были праздники шествий и состязаний, но особенных. Шествия изображали прибытие Диониса, бога плодородия, из заморских стран в верные Афины: на Анфестериях он ехал на корабле, поставленном на колеса, а изображал его архонт-жрец в маске, на Дионисиях он следовал посуху с дорожной свитой, а изображала его статуя из городского храма. Состязания на Анфестериях были в выпивке: вскрывали молодое вино, раздавали большие кружки, по трубному сигналу начинали взапуски пить, и кто первым допивал, тот получал в награду мех с вином. А состязания на Дионисиях были совсем другие — на круглой площадке вокруг Дионисова алтаря пять дней подряд соревновались хоры. В первый день исполняли песнопения, вроде тех, которые слагали Терпандр и Арион, во второй — комедии, в третий, четвертый и пятый — трагедии. Каким образом хоры исполняли комедии и трагедии, об этом будет речь на следующих страницах.

Наконец, Элевсинии справлялись в сентябре, на повороте года к зиме, и это был праздник таинственный. Был миф: у богини земли Деметры была дочь Кора, ее похитил в жены подземный бог Аид. Деметра удалилась в город Элевсин (в дне пути от Афин), замкнулась в храме, и земля во всем свете перестала родить плоды. Боги пожалели ее и разрешили Коре проводить треть года с матерью на земле, треть года с мужем под землей, а треть года — с кем сама захочет; она выбрала мать, и поэтому в Греции зима короткая,

а лето длинное. Это значит, говорили греки, что вот так и зерно, умирая в земле, возрождается новым колосом; и человек, умирая, хоть не может воскреснуть вновь, но может обрести за гробом новую блаженную жизнь, если будет посвящен в тайное учение элевсинских жрецов Деметры и Коры.

Это посвящение и совершалось на Элевсиниях. Объявлялось священное перемирие, в Элевсин стекались толпы народа, из Афин шла процессия и несла закрытый круглый короб, а в нем неведомые священные предметы. Были жертвоприношения, ночные песни и пляски, посвящаемые постились, а потом пили Деметрино питье «кикий» из вина с тертым сыром, крупой и кореньями и входили в храм. Там перед ними раскрывался заветный короб, показывались и объяснялись священные предметы, а потом каждый произносил слова: «Я постился, я пил кикий, я брал из короба, я сделал то, что сделал, я положил обратно в короб» — и считался посвященным. А на другую ночь для тех, кто был посвящен в прежние годы, показывалось еще более таинственное зрелище — сперва мрак и плач со всех сторон, а потом яркий факельный свет и ликование. Но что это были за священные предметы и что это было за зрелище, нам неизвестно. Об этом всем разрешалось знать и никому не разрешалось говорить — и, действительно, об этом никто не говорил и не писал. А знали все, потому что в элевсинские таинства посвящались даже рабы: перед смертью все равны.

ТЕАТР ДИОНИСА

Сейчас для нас театр — дело будничное. В любой день мы можем посмотреть афишу, выбрать театр и спектакль и вечером пойти туда, куда нам нравится, — лишь бы удалось купить билет. В Афинах это было не так. Представления давались только два раза в году — на больших и малых Дионисовых праздниках; только на одном месте — в театре Диониса под открытым небом на южном склоне Акрополя; не вечером, а четыре дня напролет, пятнадцать пьес подряд. Смотрели их, не зная заранее даже названий пьес, потому что все они ставились впервые и больше обычно уже не повторялись; и, наконец, без опасения за билет, так как театр вмещал 15 тысяч человек (всемеро больше, чем московский Большой театр), а государство выплачивало зрителям (не актерам, а зрителям!) их дневной заработок, чтобы они могли эти четыре дня спокойно сидеть в те-

атре. Потому что театр был не развлечением, а священным делом: это был местный афинский способ чтить бога Диониса.

Сперва театральные представления в Афинах были только хоровые: хор в 15 человек мерно двигался то в одну, то в другую сторону перед алтарем и пел сначала воззвание к богу, после этого какой-нибудь поучительный миф, а затем молитву о милости. Но потом, еще при Солоне, кому-то пришло в голову поставить рядом с хором еще одного человека, который, надев маску, сам бы говорил от лица какого-нибудь участника мифа — вот так же, как архонт-жрец в маске изображал на празднике Анфестерий самого бога Диониса. Можно даже, чтобы сперва он говорил от одного лица, а потом от другого — например, за спутника Одиссея, а потом за самого Одиссея.

Понятно, что при такой постановке актеру нужно было место, где сменить одежду и маску. Поэтому рядом с пляшущим хором стали ставить деревянную палатку, а заодно — расписывать ее переднюю стену в напоминание о месте действия: как лагерный шатер, или как фасад дворца, или как скалы и лес. Если актер выходил из передней двери палатки, это означало, что герой выходит из шатра, если из правой — то из лагеря, если из левой — то с поля боя. Палатка по-гречески называлась «скенэ́», отсюда наше «сцена»; в Афинах актеры играли еще не «на сцене», а «перед сценой». А «плясовое место» хора по-гречески называлось «орхестра», отсюда наше «оркестр».

Появление актера сразу сделало хоровые представления гораздо интереснее: об одном и том же событии актер говорил с одной точки зрения, как свидетель или участник, а хор — с другой, как сочувствующий. Тогда сделали следующий шаг — ввели второго актера. Теперь он мог вступать в разговор с первым, а хор на это время замолкал и пел песни лишь в промежутках между диалогами. Ввел это новшество поэт Эсхил. И вот как это примерно выглядело.

Трагедия называется «Прометей прикованный». На стене скены изображены дикие скалы. Двое актеров вносят деревянную куклу в рост человека. Из их разговора ясно: это Власть богов и бог Гефест пришли приковать Прометея к скале на краю света — за то, что он дал людям огонь. Один из актеров уходит, а другой меняет маску и начинает говорить за Прометея: «...Смотрите: я — бог, и что терплю я от богов!..» Только теперь появляется хор. Он изображает нимф Океанид: они поют сочувствующую песню. Вслед за ними возвращается второй актер: теперь это их отец, титан Океан, он примирился с богами и зовет к тому же Проме-

тея. Прометей отказывается. Нимфы поют горюющую песню; Прометей отвечает им рассказом о том, что он сделал для людей. Вновь появляется второй актер, в маске с рогами; это царевна Ио, за любовь к Зевсу превращенная в корову и бегущая за тридевять земель. Прометей ободряет ее и предсказывает, что из ее потомков выйдет тот герой, который в грядущем освободит его, — Геракл; хор поет об участи Ио. Предыдущий эпизод открывал зрителю прошлое Прометея, этот эпизод — будущее; теперь на очереди трагическое настоящее. Второй актер является в новой маске и с жезлом в руке: это Гермес, вестник богов, требует, чтобы Прометей выдал тайну, которая позволит Зевсу править вечно. Прометей гордо отказывается: «Я ненавижу всех богов!..» Гермес грозит, что за это он будет низвержен в преисподнюю, и действительно, Прометей восклицает: «Вот и впрямь, на деле, а не на словах задрожала земля, и молнии вьются, и громы гремят...» — вплоть до последних слов:

О мать святая Земля! О Эфир,
На землю с небес изливающий свет,
Посмотрите: страдаю безвинно!

«Прометей прикованный» — небольшая трагедия, часа на два игры. Но тотчас вслед за ней шла другая, «Прометей освобожденный», а потом третья, «Прометей-огненосец» (о том, как в честь примирения Прометея с богами учреждался праздник факельного бега), и наконец — четвертая, тоже на мифологическую тему, но с веселым хором козлоногих сатиров, спутников Диониса. Такой цикл из четырех трагедий одного поэта назывался «тетралогия» и заполнял целый день. А в конце праздника судьи решали, какая из трех представленных тетралогий лучше, и выдавали победившему поэту награду.

После второго актера в игру ввели третьего и дальше уже не пошли. Таким образом, на сцене могло находиться не больше трех действующих лиц сразу. Сюжеты трагедий оставались только мифологические — к этому обязывал праздник Диониса. Небольшой объем требовал, чтобы действие было простым и ясным — как в «Прометее». Занавеса и антрактов не было, поэтому действие должно было развертываться без перерывов — нельзя было показать, что «между первой и второй сценой проходят сутки», и нельзя было переменой декораций перенести действие из дворца на поле боя или наоборот. Так сложилась в драме привычка к трем классическим единствам — единству действия, времени и места.

В огромном театре под открытым небом актеров было из-

дали плохо видно. Поэтому они ходили в башмаках, высоких, как ходули (так что нужно было опираться на посох), надевали маски с лицом больше головы и облачались в яркие одежды, по которым сразу можно было отличить царя от воина. Женские роли играли, конечно, только мужчины. Двигаться в таком облачении было трудно, ни убийства, ни самоубийства показать было невозможно, о них рассказывали вестники. Зато жесты были величавы, голос звучен, монологи стройны, как ораторские речи, а диалоги остры, как философские споры. Такой запомнилась Европе греческая трагедия.

МОНОЛОГ ПРОМЕТЕЯ

Это Прометей перечисляет, что он сделал для рода людского.

... Людей я сделал, прежде неразумных,
Разумными и мыслить научил.
...Раньше люди
Смотрели и не видели, и, слыша,
Не слышали, в каких-то грезах сонных
Влачили жизнь; не знали древоделья,
Не строили домов из кирпича,
Ютились в глубине пещер подземных,
Бессолнечных, подобно муравьям.
Они еще тогда не различали
Примет зимы, весны — поры цветов —
И лета плодоносного: без мысли
Свершали все, —
а я им показал
Восходы и закаты звезд небесных;
Я научил их первой из наук —
Науке числ и грамоте; я дал им
И творческую память, матерь Муз,
И первый я поработил ярму
Животных диких — облегчая людям
Тяжелый труд телесный, я запряг
В повозки лошадей, узде послушных, —
Излюбленную роскошь богачей.
Кто, как не я, бегущие по морю,
Льнокрылые измыслил корабли?
... Скажу еще и больше: до меня
Не знали люди ни целящих мазей,
Ни снедей, ни питья и погибали
За недостатком помощи врачебной.
Я научил их смешивать лекарства,
Чтоб ими все болезни отражать.
Я научил их способам гаданий,
Истолковал пророческие сны —
Что правда в них, что ложь. Определил

Смысл вещих голосов, примет дорожных.
Я объяснил и хищных птиц полет
И смысл их знаков — счастье иль беду, —
Их образ жизни, ссоры и любовь,
Гадания по внутренностям жертвы,
Цвета и виды печени и желчи,
Приятные при жертве для богов...
Все это так! А кто дерзнет сказать,
Что до меня извлек на пользу людям
Таившиеся под землей железо,
И серебро, и золото, и медь?
Никто, конечно, коль не хочет хвастать.
А кратко говоря, узнай, что все
Искусства у людей — от Прометея!

КОМЕДИЯ СУДИТ ТРАГЕДИЮ

Знаменитых сочинителей трагедий в Афинах было трое: старший — Эсхил, средний — Софокл и младший — Еврипид. Эсхил был могуч и величав. Софокл ясен и гармоничен, Еврипид тонок, нервен и парадоксален. У Еврипида на сцене царь-страдалец Телеф появлялся одетый в рубище, Федра томилась от неразделенной любви, а Медея жаловалась на угнетение женщин. Старики смотрели и ругались, а молодые восхищались.

Эсхил умер еще при Перикле; злые языки говорили, будто орел с неба принял его лысину за камень и сбросил на него черепаху, чтобы расколоть ее панцирь. А Софокл и Еврипид умерли полвека спустя почти одновременно. Сразу пошли споры между любителями: кто из троих был лучше? И в ответ на такие споры драматург Аристофан поставил об этом комедию.

Комедии в Греции ставились тоже лишь по праздникам, с хором, с тремя актерами, только, конечно, одеты они были не царями, а шутами, суетливыми и драчливыми. А главное, в трагедиях все сюжеты были мифологические и заранее известные, в комедиях же, наоборот, сплошь выдуманные, и чем необычнее, тем лучше. У того же Аристофана в других комедиях то мужик летит на небо на навозном жуке, чтобы привезти на землю богиню мира и этим кончить войну, то двое крестьян, столковавшись с птицами, устраивают между небом и землей чудо-государство Тучекукуевск, то афинские женщины, сговорившись, захватывают власть в городе и устанавливают для справедливости, чтобы у всех было общее имущество, а заодно и общие мужья.

Вот так и эта комедия Аристофана начинается с того, что бог театра Дионис решает: «Спущусь-ка я в загробное царство и выведу обратно на свет Еврипида, чтобы не совсем опустела афинская сцена». Но как попасть на тот свет? Дионис расспрашивает об этом Геракла — ведь Геракл туда спускался за адским псом Кербером. «Легче легкого, — говорит Геракл, — удавись, отравись или бросься со стены». — «Слишком душно, слишком невкусно, слишком круто; покажи лучше, как сам ты шел». — «Вот загробный лодочник Харон перевезет тебя через орхестру, а там сам найдешь». Но Дионис не один, при нем раб с поклажей; нельзя ли переслать ее с попутчиком? Вот как раз идет похоронная процессия: «Эй, покойничек, захвати с собою наш тючок!» Покойничек с готовностью приподымается на носилках: «Две драхмы дашь?» — «Нипочем!» — «Эй, могильщики, несите меня дальше!» — «Ну скинь хоть полдрахмы!» Покойник негодует: «Чтоб мне вновь ожить!» Делать нечего. Дионис с Хароном гребут посуху через орхестру, а раб с поклажей бежит вокруг. Встречаются, обмениваются впечатлениями: «А видел ты здешних грешников, и воров, и лжесвидетелей, и взяточников?» — «Конечно, видел и сейчас вижу», — и актер показывает на ряды зрителей. Зрители хохочут.

Вот и дворец Аида, у ворот сидит Эак: в мифах это величавый судья грехов человеческих, а здесь — крикливый раб-привратник. Дионис накидывает львиную шкуру, стучит. «Кто там?» — «Геракл опять пришел!» — «Ах, злодей, ах, негодяй, это ты у меня давеча увел Кербера, милую мою собачку! Постой же, вот я напущу на тебя всех адских чудовищ!» Эак уходит, Дионис в ужасе; отдает рабу Гераклову шкуру, сам надевает его платье. Подходят вновь к воротам, а в них служанка подземной царицы: «Геракл, дорогой наш, хозяйка так уж о тебе помнит, такое уж тебе угощение приготовила, иди к нам!» Раб радехонек, но Дионис его хватает за плащ, и они, переругиваясь, переодеваются опять. Возвращается Эак с адской стражей и совсем понять не может, кто тут хозяин, кто тут раб. Решают: он будет их стегать по очереди розгами, кто первый закричит, тот, стало быть, не бог, а раб. Бьет. «Ой-ой!» — «Ага!» — «Нет, это я подумал: когда же война кончится!» — «Ой-ой!» — «Ага!» — «Нет, это у меня заноза в пятке». — «Ой-ой!.. Нет, это мне стихи плохие вспомнились». — «Ой-ой!.. Нет, это я Еврипида процитировал». — «Не разобраться мне, пусть уж бог Аид сам разбирается». И Дионис с рабом входят во дворец.

Оказывается, на том свете тоже есть свои соревнования

поэтов, и до сих пор лучшим слыл Эсхил, а теперь у него эту славу оспаривает новоумерший Еврипид. Сейчас будет суд, а Дионис будет судьей; сейчас будут поэзию «локтями мерить и гирями взвешивать». Правда, Эсхил недоволен: «Моя поэзия не умерла со мной, а Еврипидова умерла и под рукой у него». Но его унимают: начинается суд.

Еврипид обвиняет Эсхила: «Пьесы у тебя скучные; герой стоит, а хор поет, герой скажет два-три слова, тут пьесе и конец. Слова у тебя старинные, громоздкие, непонятные. А у меня все ясно, все как в жизни, и люди, и мысли, и слова». Эсхил возражает: «Поэт должен учить добру и правде. Гомер тем и славен, что показывает всем примеры доблести, а какой пример могут подать твои влюбленные героини? Высоким мыслям подобает и высокий язык, а твои тонкие речи могут научить граждан лишь не слушаться начальников». Эсхил читает свои стихи — Еврипид придирается к каждому слову: «Вот у тебя Орест над могилою отца молит его «услышать, внять...», а ведь «услышать» и «внять» — это повторение!» («Чудак, — успокаивает его Дионис, — Орест ведь к мертвому обращается, а тут, сколько ни повторяй, не докличешься!») Еврипид читает свои стихи — Эсхил придирается к каждой строчке: «Все драмы у тебя начинаются родословными: «Пелоп, который дал имя Пелопоннесу, был мне прадедом...», «Геракл, который...», «Тот Кадм, который...», «Тот Зевс, который...». Дионис их разнимает: пусть говорят по одной строчке, а он, Дионис, с весами в руках будет судить, в какой больше весу. Еврипид произносит стих неуклюжий и громоздкий: «О, если б бег Арго остановила свой...»; Эсхил — плавный и благозвучный: «Речной поток, через луга лиющийся...»; Дионис неожиданно кричит: «У Эсхила тяжелей!»— «Да почему?» — «Он своим потоком подмочил стихи, вот они и тянут больше».

Наконец стихи отложены в сторону, Дионис спрашивает у поэтов их мнение о политических делах в Афинах и опять разводит руками: «Один ответил мудро, а другой — мудрей». Кто же из двух лучше, кого вывести из Аида? «Эсхила!» — объявляет Дионис. «А обещал меня!» — возмущается Еврипид. «Не я — язык мой обещал», — отвечает Дионис еврипидовским же стихом. «Виноват и не стыдишься?» — «Там нет вины, где никто не видит», — отвечает Дионис другой цитатой. «Надо мною, над мертвым смеешься?» — «Кто знает, жизнь и смерть — не одно ль и то же?» — отвечает Дионис третьей цитатой, и Еврипид смолкает. Дионис с Эсхилом собираются в путь, а бог Аид их напутствует: «Такому-то политику, и такому-то мироеду, и такому-то

поэту скажи, что давно уж им пора ко мне...». На этом кончается комедия.

До сих пор мы не сказали одного: названия комедии. Называется она неожиданно: «Лягушки». Почему? Потому что хор в ней одет лягушками, и когда Дионис плывет на челноке в царство мертвых, то хор поет ему квакающую песню. В греческой комедии такие фантастические хоры были не редкостью: в другой вещи Аристофана хор изображает птиц, в третьей — облака, а у одного его современника — буквы азбуки, и вступительная песня начинается словами: «бета-альфа — ба, бета-альфа — ба...» А у Аристофана квакающая песня лягушек начинается словами странными, но хорошо вам известными: «Брекекекекс, коакс, коакс! Брекекекекс, коакс, коакс!» Узнаете? Так разговаривал один лягушонок в сказке Андерсена «Дюймовочка». Сочиняя ему такую реплику, датский сказочник учился не только у природы, но и у Аристофана.

ЧУЖИЕ СРЕДИ СВОИХ

В Аттике было около 300 тысяч жителей (примерно столько, сколько в нынешнем городе Смоленске). Но полноправных граждан — таких, которые голосовали в собрании, заседали в совете и суде, бесплатно сидели в театре, — из них была только одна десятая часть. Остальные были метэки, женщины и рабы.

Слово «метэк» значит «сосед по жилью». Так назывался гражданин одного города, постоянно живущий в другом. Обычно это были ремесленники и торговцы, люди деловитые и хозяйственные. У себя на родине заниматься таким трудом было стыдно: свободному гражданину приличным считалось или воевать, или управлять государством. А на чужбине их труду были только рады: купить землю или дом они не имели права, но снять мастерскую, завести орудия, приобрести рабов — сколько угодно. Государство собирало с них налог и богатело, а в военное время они сражались в одном строю с гражданами. Если раб выкупался на волю и становился вольноотпущенником, то и он жил в городе на положении метэка — как подданный, но не как гражданин.

Когда Фемистокл спешил заселить Афины после персидского разорения, он щедро давал метэкам полные гражданские права. Когда к власти пришел Перикл, все изменилось. Народ привык жить на государственное пособие и не

хотел, чтобы оно тратилось на всяких посторонних. До сих пор, если гражданин женился на дочери метэка, дети их считались гражданами; теперь гражданами стали считаться только дети гражданина и гражданки. Первым пострадал от этого сам Перикл. Он был женат на Аспазии, самой красивой и умной женщине в Греции: философы ею восхищались, а враги Перикла ее ненавидели. Но Аспазия была не афинянка, а милетянка, и дети Перикла оказались метэками. Ему пришлось слезно упрашивать народное собрание сделать для них исключение и дать им гражданство.

В городе Афинах метэков было очень много, но все-таки меньше, чем граждан. Однако если посмотреть шире, то вокруг Афин можно было увидеть таких же неполноправных подданных, которых было во много раз больше, чем граждан. Это были жители союзных городов. «Внеафинскими метэками» их, кажется, никто не называл, а можно бы. Налог они платили, и не маленький, в войско и флот являлись по первому зову, а государственные дела их все чаще решались там, где они не были гражданами, — в Афинах. Даже крупные судебные дела, возникавшие в Милете или Византии, разбирал афинский суд, и нужно было издалека ехать в Афины, подолгу ждать очереди, обхаживать судей, мириться с приговором. В союзниках копилась обида и ненависть. Когда началась большая война Афин и Спарты, то афиняне больше всего надеялись, что против Спарты восстанут илоты, а спартанцы — что от Афин отложатся союзники. Афиняне своего не дождались, а спартанцы дождались.

Но и до большой войны то один, то другой союзный город пытался восстать против Афин. В последний раз это был Самос. Самос и Милет были соседями и, значит, всегда враждовали. Злые языки уверяли, что однажды в угоду милетянке Аспазии Перикл решил их спор в пользу Милета, и оттого-то самосцы обиделись и подняли мятеж. В первой битве самосским флотом командовал философ Мелисс, а афинским — драматург Софокл; он только что поставил знаменитую трагедию «Антигона», и восхищенные афиняне не придумали ничего лучше, чем избрать его за это полководцем. Философ побил поэта: бой выиграли самосцы. Но подоспел с главными силами Перикл, началась долгая осада. Враги были обозлены до жестокости: афиняне выжигали на пленных клеймо со знаком афинской совы, самосцы — со знаком тупоносой самосской галеры. Наконец Самос пал, и развал афинской морской державы был отсрочен на десяток лет.

ЖЕНЩИНЫ СРЕДИ МУЖЧИН

Всякая женщина — зло; но дважды бывает хорошей:
Или на ложе любви, или на смертном одре.

Паллад

Мудрец Фалес Милетский каждое утро трижды благодарил богов: за то, что они его создали человеком, а не животным; эллином, а не варваром; мужчиной, а не женщиной.

Сам Фалес не был женат. Однажды мать об этом ему напомнила — он ответил: «Еще не время!» Она подождала и заговорила опять — он ответил: «Уже не время!»

Двести лет спустя философа Платона спросили: можно ли, женившись, заниматься философией? Платон ответил: «А как, по-вашему, легче выплыть из кораблекрушения: одному или с женой на плечах?»

Нерешительный человек спросил философа: «Жениться мне или не жениться?» — «Делай, как хочешь, — ответил тот, — все равно будешь жалеть». — «Почему?» — «Красивая жена будет радостью для других, некрасивая — наказанием для тебя».

Таких анекдотов было много, и все они говорят одно: на женщин смотрели свысока и считали их досадным бременем для серьезного мужчины. Так половина греческого населения вычеркивалась из общественной жизни.

Люди женились не потому, что любили жен, а для того, чтобы иметь детей, чтобы продолжить род. Если у тебя нет детей, некому будет в поминальный день совершить возлияния медом, вином и молоком в память о тебе и твоих предках, а от этого и тебе и им будет грустно и неуютно в царстве мертвых. Нам это кажется смешным, мы и предков-то своих редко знаем дальше третьего колена; но грек твердо помнил, что главное и вечное — это род, а он — лишь недолгий представитель этого рода на земле.

Поэтому о браках граждан заботилось само государство. В Спарте, говорят, был закон о трех наказаниях: за безбрачие, за поздний брак и за дурной брак. А в Афинах однажды Солона спросили: «Какое ты назначаешь наказание за безбрачие?» — и Солон ответил: «Брак».

Женихов и невест выбирали с толком. Философ Демокрит говорил: «С хорошим зятем приобретешь сына, с дурным потеряешь дочь». Когда за дочь Перикла посватались двое, богатый дурак и умный бедняк, он выбрал второго, сказав: «Лучше тот, который может приобрести богатство, чем тот, который может его потерять». А Фемистокл ска-

зал еще короче: «Пусть лучше человек нуждается в деньгах, чем деньги в человеке».

Одного только не сделали ни Перикл, ни Фемистокл: не спросили самих дочерей, кто им больше нравится. «Стерпится — слюбится»: сначала брак, потом любовь, а не наоборот. Что такое любовь? Буйная страсть, которая заставляет человека делать разные глупости. Это можно еще дозволить молодому неженатому юноше, но к браку это никакого отношения не имеет, брак — дело серьезное. Что бывает и другая любовь, добрая, спокойная и ясная, — это люди открыли лишь через много веков.

Мы давно привыкли видеть женщин продавцами, учительницами, врачами, а в Греции торговали, учили и лечили только мужчины. Обязанности были распределены строго: вне дома, в поле, в мастерской — все на муже; в доме — все на жене. Вести хозяйство было непросто: нужно было и варить, и печь хлеб, и прясть, и ткать, и распоряжаться приставленными к этому рабами и рабынями. Способные женщины управлялись с этим так умело, что даже их высокомерным мужьям приходило в голову: допусти их до государственной власти, они, пожалуй, и с этим управятся! У Аристофана есть комедия о том, как женщины в Афинах устроили заговор, чтобы кончить войну; мужья в ужасе от такого вторжения в их дела, а жены объясняют: «Если в пряже у нас запуталась нить, мы ведь умеем ее распутать; вот так мы распутаем и ваши государственные дела. Если шерсть нам попалась нечистая, мы ведь сумеем ее вычесать, а вычески выбросить, а отпавшие комки подобрать и свить вместе; вот так же мы вычешем из города негодяев и примем в город лучших людей из других городов,

И из них-то спрядем мы единую нить,
и великий клубок намотаем,
И, основу скрепивши, соткем из него
для народа афинян рубашку».

Фемистокл, шутя, говорил: «Главный человек в Греции — мой крошка сын». Как это? «Грецией во всем командуют Афины, Афинами — я, мною — жена, а ею — сынишка». Случалось, стало быть, и мужьям признаваться, что жены ими командуют.

Но главным правилом оставалось то, которое будто бы высказал Перикл: «А для женщины афинской самое лучшее — когда о ней совсем ничего не говорят: ни худого, ни хорошего».

РАБЫ СРЕДИ СВОБОДНЫХ

Тягостный жребий печального рабства избрав человеку,
Лучшую доблестей в нем половину Зевес истребляет.

Гомер, «Одиссея»

Не бывает добра без худа. Победа в персидской войне принесла Греции очень много хорошего. Но она же окончательно сделала ее рабовладельческой страной.

Конечно, рабы были в Греции и раньше. Рабами становились неоплатные должники, и рабами становились военнопленные. Но грек чувствовал неловкость, порабощая земляка или соседа, — это заставляло его думать: «Сегодня он, а завтра я!» Долговое рабство в Афинах было запрещено Солоном, а рабство военнопленных обычно было недолгосрочным: пленника выкупали его сограждане или сам хозяин отпускал его на волю.

Теперь война дала в руки греков множество новых пленных — уже не греков, а варваров. Слово «варвар» — звукоподражательное, вроде нашего «балаболка»; оно значит «говорящий непонятно, не по-нашему, не по-человечески». Таких держать в рабстве было вроде бы уже и не так стыдно, и греки к этому быстро привыкли. Война кончилась, а спрос на рабов не кончился. На Делосе, Хиосе, Самосе были настоящие рынки рабов. За здорового мужчину платили столько, сколько за двух быков, а если он знал какое-нибудь ремесло, то и вдвое дороже. И догадливые фракийские и малоазиатские князья, творя суд над своими подданными, с охотой и выгодой назначали им наказание: продать в рабство в Грецию.

Конечно, самые сознательные среди греков чувствовали, что такое обращение с людьми, пусть даже «говорящими не по-нашему», требует оправдания. Оправдание находилось такое. В Греции все люди — граждане, все сами управляют своим государством; на Востоке все люди — подданные персидского царя, покорно ожидающие его приказаний. Видно, это заложено в самой их природе: грекам свойственно повелевать, варварам — подчиняться. Как же устроена эта их разная природа? Видимо, вот как. В каждом человеке тоже ведь есть то, что повелевает, и то, что подчиняется: разум говорит: «Хочу поднять руку!» — и мышцы поднимают нашу руку. Если варвары привыкли подчиняться — это значит, что в них так слаб и неразвит собственный разум, что они нуждаются в чужом. Греческий разум распоряжается варварскими телами — так велела природа.

Здесь мы прервали бы рассуждающего грека и спросили

бы его: «Разум варваров неразвит — но разве это непоправимо? Чем пользоваться его неразвитостью — не лучше ли развить его, воспитать его, сделать из варвара такого же полноценного человека, как ты?» Но грек посмотрел бы на нас с удивлением и возразил бы: «А разве можно улучшить природу?»

В самом деле, мы привыкли к мысли, что мир движется вперед, развиваясь от худшего к лучшему, — греки привыкли к мысли, что мир меняется, но не развивается, все равно как земля в чередовании времен года. Вспомните, что об этом было сказано в главе «Летосчисление». Конечно, греки понимали, что лучше было бы обходиться без рабов. Философ Аристотель писал: «Если бы наши орудия умели работать сами и ткацкий челнок сам бы ходил по станку, а смычок по струнам, то не нужны бы стали ни рабы, ни рабовладельцы». Человек нового времени сделал бы отсюда вывод: «Если ткацких машин нет — значит, нужно их изобрести!» Грек делал отсюда вывод: «Если ткацких машин нет — значит, нужно обходиться без них». И шел отдавать приказания рабыням-ткачихам.

Но и худа не бывает без добра. Оттого, что греки не верили в прогресс, их рабам жилось легче, чем могло бы. Американские плантаторы XIX века верили в прогресс, и поэтому старались без конца умножать свое богатство, и для этого выжимали все соки из своих негров. А греческий хозяин не старался жить завтра богаче, чем сегодня: ему было достаточно жить завтра не хуже, чем сегодня. Он охотно заводил раба, чтобы тот таскал за него тяжести, помогал на пахоте и в мастерской, прибирал в доме, а во время войны сопровождал его как оруженосец. Но с десятком рабов он уже не знал, что делать, и отпускал их на оброк или сдавал внаем. Когда новокупленного раба вводили в дом, его сажали у очага и осыпали сушеными ягодами: это значило, что перед лицом богов он — член хозяйской семьи. Если хозяин жестоко обращался с рабом, то раб — по крайней мере в Афинах — мог искать убежища в храме и просить, чтоб его продали другому хозяину.

Конечно, «легче, чем могло бы» — совсем не значит «хорошо». Раб не принадлежал себе, хозяин мог делать с ним все, что угодно. У раба не было имущества — все, что он имел, считалось принадлежащим хозяину. У раба не было семьи — хозяину выгоднее было держать одного раба-мужчину, чем покупать ему жену и тратиться на их бесполезного в хозяйстве ребенка. У раба не было заступника — жалобы в суд от рабов на господ не принимались. Если раба вызывали в суд свидетелем, его сперва пытали, хотя бы для

виду. Считалось, что только под страхом пытки раб может сказать правду, а без этого хороший раб непременно будет лгать в пользу хозяина, а дурной — во вред хозяину.

Только одно было в Аттике место, где рабов морили работой насмерть: Лаврионские рудники — черные подземные дыры, где кирками стучали, скорчившись, а воздух был такой, что гасли светильники. Там добывалось серебро, а из серебра чеканились деньги, а денег нужно было все больше во что бы то ни стало. Во время войны, когда в Аттику вторглись спартанцы, к ним перебежали почти все лаврионские рабы — около четверти всех, что были в Аттике. Но и только. Восстаний рабов в описываемую пору не было даже здесь. Слишком трудно было сговориться разноязычным рабам, сосланным сюда от различных хозяев.

Настоящие восстания рабов стали происходить лишь два-три века спустя, уже после Александра Македонского. На острове Хиосе восставшие рабы устроили однажды целое разбойничье государство. Их атаман Дримак завел себе меры, весы и печать, обложил рабовладельцев упорядоченной данью, и кто не обижал своих рабов, тех щадил, а кто был жесток, тех наказывал. Государство назначило огромную награду за его голову. Тогда Дримак сказал товарищу: «Я уже стар: убей меня и стань свободен, богат и счастлив». На могиле Дримака поставили памятник и совершали жертвоприношения: беглые рабы — когда им удавалось совершить грабеж, а хозяева — когда им удавалось уберечься от грабежа.

Два объявления

* * *

Аристоген, сын Хрисиппа из Алабанды, объявляет: бежал раб, именем Гермон, откликается также на имя Нил, родом сириец, лет ему 18, роста среднего, без бороды, на подбородке впадинка, около левой ноздри родимое пятно, под левым углом губ рубец, на кисти правой руки татуировка варварскими буквами. Унес с собою денег столько-то и жемчужин десять штук, а также лекиф с банным благовонием и скребницы. Одет был в плащ для конной езды. Кто укажет, где он скрывается, получит столько-то; кто приведет его, получит вдвое; кто укажет, кто сманил его, получит втрое. Вместе с ним бежал Бион, раб Калликрата, роста малого, широкоплечий, ноги крепкие, одет был в невольнический плащ; унес с собою женскую шкатулку в такую-то цену. Кто укажет или приведет его, получит столько же. Заявления делать помощникам градоначальников.

* * *

Праксий, сын Феона, фокеец, отпускает на волю Евпраксию и сына ее Дориона. Отпущенным, жить им у Праксия и жены его Афродисии до самой смерти последних, а тогда похоронить их и поминать ежедневными жертвами. Если же они того делать не будут, то отпущение теряет силу, и они подлежат штрафу во столько-то. Если кто их обратит снова в рабство, то таковое порабощение должно считаться недействительным, а виновный подлежит штрафу во столько-то, половину — покровителю отпущенных и половину — богу Асклепию. Покровителя же себе пусть выберут из фокейцев сами, какого пожелают.

СОФИСТЫ И СОФИЗМЫ

Подчинение раба господину, подчинение жены мужу, подчинение младших старшим, подчинение гражданина государству, подчинение человека богам — это были неписаные законы греческой жизни. И чем больше греки в народных собраниях сочиняли писаных законов, в каждом городе своих, тем крепче они помнили про эти неписаные, для всей Эллады общие.

Писаные законы можно было обсуждать, дополнять, совершенствовать, они менялись по многу раз на глазах каждого. Неписаные оставались такими же, как при предках. И вот мыслящие люди Греции один за другим стали задумываться: хорошо ли это? Точно ли они вечны и едины для всех? Может быть, и они держатся не «по природе», а «по уговору»? Может быть, и их стоило бы пересмотреть?

Гражданин должен подчиняться государству? Но государство меняется: что вчера было незаконным, то завтра будет законным; где же здесь «вечное»? Раб должен подчиняться господину? Но человек сегодня свободен, а завтра попал в плен и стал рабом; разве это «по природе»? Младшие должны подчиняться старшим? Но вот у греков принято стариков почитать, а у индийских дикарей — убивать и поедать; что же здесь «единое для всех»? Человек должен подчиняться богам? А собственно, знаем ли мы, что такое эти боги?

Здесь любой слушатель приходил в ужас и начинал, ничего не слушая, бранить своего мыслящего собеседника за такое кощунство. А тот невозмутимо отвечал: «Я ведь не утверждаю, что все именно так и есть, я лишь говорю, что мне так кажется. Если тебе кажется иначе — попробуй доказать, что все обстоит иначе; если получится убедительно

— я с радостью с тобой соглашусь. И пожалуйста, не сердись: я ведь только предлагаю обсудить, что такое боги и хорошо ли поедать стариков, так же трезво, со всеми «за» и «против», как ты обсуждаешь в народном собрании, не взимать ли с приезжих рыбаков лишний грош налога».

«Но я не умею доказывать такие вещи!» — говорил собеседник. «Не умеешь? Как же будешь ты спорить и в народном собрании и в суде? Что ж, тогда возьми урок у меня: мы давно уже приметили все приемы, какими Перикл-олимпиец и другие ораторы убеждают народ, и я охотно им тебя научу. Захочешь — докажешь, что стариков надо почитать, а захочешь — докажешь, что надо поедать. Но имей в виду: стоить это будет недешево». — «Кто же ты такой, что не учишь нас, что нам говорить, а учишь, как нам говорить?» — «Как бы сказать? Я не мудрец — обладатель мудрости; не философ — искатель мудрости; я софист — специалист по мудрости!»

Такие софисты стали появляться в Афинах еще при Перикле. Народ сбегался их слушать: говорили они и вправду завораживающе, а спорить умели на любую тему «за» и «против». Богачи платили им за уроки такие деньги, что софист Горгий пожертвовал в Дельфы золотую статую на доходы с ученья.

Правда, всех смущало: а вдруг дурные люди научатся этому искусству убеждать и употребят его во вред? Но софисты отвечали: «Это нас уже не касается. Мы — как кузнец, который продает покупателю нож; а зарежет ли тот этим ножом курицу или родного отца, кузнец не в ответе».

И еще смущало: софисты берут плату, и большую, как какие-нибудь ремесленники, а ведь свободному человеку это стыдно! Но софисты отвечали: «Это такая же условность, как и все у людей: по уговору — это стыдно, а по природе — вовсе и нет». И софист Гиппий гордился тем, что знает не только все науки, но и все ремесла: сам себе выткал плащ, окрасил его пурпуром, расшил золотом, стачал сандалии, вытесал посох и выковал перстень.

Самый старший из софистов, Протагор, в молодости был дровосеком. Философ Демокрит увидел его за работой и заметил, что он связывает дрова в вязанки самым математически выгодным образом. Демокрит угадал в нем талант и сделал его своим учеником. Этому Протагору принадлежит самая знаменитая фраза всей греческой философии: «Человек есть мера всем вещам — существованию существующих и несуществованию несуществующих». Это, между прочим, значило: если люди верят в богов — боги есть, если не верят — богов нет!

О Протагоре рассказывали забавную историю. Был у него ученик, учившийся судебному красноречию. По уговору ученик должен был заплатить учителю после первого выигранного дела. Ученье кончилось, но ученик не спешил выступать в суде. Тогда Протагор сам подал на него в суд. Протагор рассуждал: «Если я выиграю дело, он заплатит по приговору, если он — он заплатит по уговору». А ученик рассуждал: «Если я выиграю дело, то не буду платить по приговору, если проиграю — то по уговору». Как быть?

Может быть, Протагор сам сочинил эту историю как «софизм» — задачу на то, чтобы найти неправильный ход мысли. Таких софизмов было немало. Например, «Рогатый»: «То, чего ты не потерял, ты имеешь; ты не терял рогов; стало быть, ты имеешь рога». Или — «Покрытый»: «Знаешь ли ты, кто стоит перед тобой под покрывалом? Нет? А ведь это твой отец; значит, ты не знаешь собственного отца». Или — «Лысый»: «У меня густые волосы; если вырвать один волос, я не стану от этого лысым; если вырвать все — стану; а если вырывать волосок за волоском, то на котором волоске я стану лысым?»

Самым знаменитым был софизм «Лжец»: «Критянин сказал: «Все критяне — лжецы»; сказал он правду или ложь?» Если правду — значит, он тоже лжец — значит, он солгал — значит, на самом деле критяне правдивы — значит, он все-таки сказал правду — и так далее, опять сначала.

Если хотите, вот вам тот же софизм в немного иных декорациях — «Крокодил». Крокодил схватил ребенка и сказал матери: «Я отпущу его, если ты угадаешь, отпущу ли я его». Мать безнадежно сказала: «Не отпустишь». Что должен сделать крокодил?

ОТКРЫТИЕ ЯЗЫКА

Когда софисты доказывали, что все людские обычаи — условность, что даже самые привычные из них возникли не «по природе», а «по уговору», то в руках у них был один почти неопровержимый пример: язык. В самом деле, вот мы говорим «стол», но что общего между этими четырьмя звуками и тем домашним предметом, который они обозначают? Ничего. Персы называют этот предмет совсем другим словом и отлично обходятся. Не ясно ли, что язык существует не по природе, а по уговору, как любой закон?

И его можно даже усовершенствовать, как любой закон.

Вот, например, одни говорят «мирт», как будто это растение — мужчина, а другие «мирта», как будто оно женщина. Почему бы не собраться и не условиться, что считать правильным и что неправильным? Или вот еще. Названия самцов и самок животных обычно похожи друг на друга: лев — львица, заяц — зайчиха. А вот самка петуха почему-то курица. Не лучше ли договориться, чтобы и ее тоже звать «петушиха»? Или вот еще. Первая строка «Илиады» — это обращение к Музе: «Гнев, богиня, воспой Ахилла, Пелеева сына...» Хорошо ли это? Ведь «воспой» есть приказание, а можно ли приказывать Музе? Вернее было бы, пожалуй, так: «Хорошо бы тебе, Муза, воспеть гнев Ахилла...»

Мы привыкли говорить о роде существительных, о наклонении глаголов, как о чем-то само собой разумеющемся. А они тоже когда-то были открыты впервые — именно тогда, когда софист Протагор сказал: «Названия бывают трех родов: как у мужчин, как у женщин и как у вещей» и «высказывания бывают четырех родов: вопрос, ответ, приказание и просьба». Все наши грамматические понятия восходят к греческим: «название» — это наше «имя» (существительное, прилагательное, числительное); «высказывание» — это наш «глагол» («глаголати» — по-старославянски значит «сказывать»), а при нем «при-глаголь-е» — «наречи-е». «Склонение» — это значит: нормальная форма «имени» — «именительная», а все остальные как бы отклоняются от нее то в одну, то в другую сторону, образуя отпадения, «падежи». А вы задумывались, почему первым склонением в вашей грамматике называется склонение слов женского рода? Потому что первым словом, которое склоняли греческие ученики в школах, было «Муза», а Муза — женского рода.

Но это было много позже, а пока сама мысль о том, что родной язык нужно как-то изучать, вызывала у публики лишь веселый смех. Зачем, если мы и так его знаем с детства? Сочинители комедий не жалели насмешек над новомодными чудаками. Говорят, слова бывают мужские, женские и средние? Ах, догадываюсь: женские слова — это у изнеженных богачей, средние — это у нас, простых граждан, а мужские — у деревенских мужиков. Как, нет? Ах, понял: это значит, что у козла жена коза, а у осла, стало быть, оса, а у кувшинки муж — кувшин, а у корзинки, должно быть, корзин...

Впрочем, бывало и не до смеха. Издавна люди верили в молитвы, в заклинания: если сказать такие-то слова, то по ним и сбудется, потому что между словами и вещами есть

тайная связь. А теперь оказывается — нет никакой связи, одна условность. Как же быть? Нет, не может быть, чтобы названия вещам были даны по уговору, — наверное, все-таки по природе. Нужно только додуматься до их первоначального смысла. Почему бог называется «бог»? Потому что люди поклонялись солнцу и луне, видели в небе их бег и называли этот бег «бог». Почему человек называется «человек»? Потому что он смотрит вокруг себя, «очами ловит» и умом понимает все на свете: он «оче-ловец», так что и это слово не случайно. (По-гречески, конечно, эти созвучия другие, но, поверьте мне на слово, такие же странные.) Больше того: почему слова «мой», «меня», «мною» все содержат звук *м*? Потому что при этом звуке я удерживаю воздух закрытыми губами — как бы оставляю его при м-мне! Почему дательный падеж кончается на *у*: бог-у, дом-у, окн-у? Потому что при звуке *у* из губ трубочкой вылетает узкая, как стрела, струйка воздуха и как бы у-казывает, кому-у мы что-то даем или к кому-у идем. Не смейтесь, пожалуйста: над доводами такого рода ученые серьезно думали еще сто лет назад.

Уверяли, будто египетский царь однажды даже сделал опыт, чтобы проверить, откуда пошел человеческий язык. Он взял двух новорожденных младенцев и отдал на воспитание пастуху-козопасу, взяв с него клятву, что он при них не произнесет ни одного слова, а только будет слушать, какое первое слово произнесут они сами. Прошло два года, и пастух доложил: дети тянут к нему ручонки и лепечут: «Бек, бек!» Тогда царь послал по всему миру гонцов: у какого народа в языке есть слово «бек»? Оказалось, что по-фригийски «бек» значит «хлеб». После этого египтяне стали считать самым древним народом на земле фригийцев, а себя только вторым.

Так люди впервые заговорили о том, как они говорят, а значит, и задумались о том, как они думают.

СОКРАТ, ИЛИ ЕЩЕ РАЗ СТРАХ БЕСКОНЕЧНОСТИ

Афиняне удивлялись, восхищались, негодовали, слушая софистов. И только один человек, оборванный и босой, был спокоен и добродушен. Он улыбался и говорил: «Не пугайтесь, граждане. Пусть Горгий сколько угодно доказывает, что нет никакой разницы, почитать стариков или поедать стариков, но предложите-ка ему самому убить и съесть ста-

рика, и он так же откажется, как и вы. А вот интересно — почему?»

Это был Сократ, знаменитый афинский мудрец и чудак.

Вид у него был смешной: лысый череп, крутой лоб, курносый нос, толстые губы. Когда-то в Афины приехал ученый знахарь, умевший по чертам лица безошибочно угадывать характер. Его привели к Сократу — он сразу сказал: «жаден, развратен, гневлив, необуздан до бешенства». Афиняне расхохотались и уже хотели поколотить знахаря, потому что не было в Афинах человека добродушнее и неприхотливее, чем Сократ. Но Сократ их удержал: «Он сказал вам, граждане, истинную правду: я действительно смолоду чувствовал в себе и жадность, и гнев, но сумел взять себя в руки, воспитать себя — и вот стал таким, каким вы меня знаете».

Жил он бедно, ходил в грубом плаще, ел что попало. Объяснял: «Я ем, чтобы жить, а остальные живут, чтобы есть». И еще: «Говорят, боги ни в чем не нуждаются; так вот, чем меньше человеку надо, тем больше он похож на бога». Гуляя по рынку, он приговаривал: «Как приятно, что есть столько вещей, без которых можно обойтись!»

Ему присылали подарки — он отказывался. Жена его Ксантиппа злилась и бранилась — он объяснял: «Если бы мы брали все, что дают, нам бы ничего не давали, даже если бы мы просили». Ксантиппа попрекала его бедностью: «Что скажут люди?» Он отвечал: «Если люди разумные, то им все равно; если неразумные, то нам все равно». Ксантиппа жаловалась, что ей не в чем выйти посмотреть на праздничное шествие. Он отвечал: «Видно, ты не так хочешь на людей посмотреть, как себя показать?» Она ругалась — он улыбался; она окатывала его водой — он отряхивался и говорил: «У моей Ксантиппы всегда так: сперва гром, потом дождь».

Мудрецом его объявил сам дельфийский оракул. Был задан вопрос: «Кто из эллинов самый мудрый?» Оракул ответил: «Мудр Софокл, мудрей Еврипид, а мудрее всех Сократ». Но Сократ отказался признать себя мудрецом: «Я-то знаю, что я ничего не знаю». Даже богам он молился так, словно не знал о чем: «Пошлите мне все хорошее для меня, хотя бы я и не просил о том, и не посылайте дурного, хотя бы я и просил о том!»

Любимым его изречением была надпись на дельфийском храме: «Познай себя самого». Иногда он замолкал среди разговора, переставал двигаться, ничего не видел и не слышал — погружался в себя. Однажды он простоял так в одном хитоне целую холодную ночь с вечера до утра. Когда

потом его спрашивали, что с ним, он отвечал: «Слушал внутренний голос». Он не мог объяснить, что это такое; он называл его «демоний» — «божество» и рассказывал, что этот голос то и дело говорит ему: «не делай того-то» — и никогда: «делай то-то». Иногда речь идет о большом и важном, а иногда о пустяках. Например, шел он с учениками к рынку, и демоний ему сказал: «Не иди по этой улице»; он пошел по другой, а ученики не захотели и потом пожалели: в узком месте на них выскочило стадо свиней, кого сбило с ног, а кого забрызгало грязью.

Вот такой внутренний голос, полагал Сократ, есть у каждого, хоть и не каждый умеет его слышать. Этим голосом и говорит тот неписаный закон, который сильнее писаных. Оттого и Горгий, как бы он там ни рассуждал, никогда старика не убьет и не съест. А это главное — не то, что мы думаем, а то, что мы делаем. Ведь о столяре мы судим не по тому, как он рассуждает о столах и стульях, а по тому, хорошо ли он их сколачивает. Философ может очень красиво описывать, как из атомов слагаются и земля, и небо, и звезды, но пусть попробует он в доказательство сделать хотя бы самую маленькую звезду! Нет? Так не будем говорить о мироздании, а будем говорить о человеческих поступках: здесь мы можем не только рассуждать, что такое хорошо и что такое плохо, а и делать хорошо и не делать плохо.

Этому тоже надо учиться — как всему на свете. Есть ремесло плотника, есть ремесло скульптора; быть хорошим человеком — такое же ремесло, только гораздо более нужное. Ради него-то и бросил Сократ все другие ремесла и зажил бедняком и чудаком. Ремесло это — в том, чтобы знать, что такое справедливость, благочестие, храбрость, дружба, любовь к родителям, любовь к родине и тому подобное. Именно знать: если человек знает, что такое справедливость, он и поступать будет только справедливо. Вы скажете: «Но ведь есть сколько угодно людей, которые знают, как надо бы поступить справедливо, а все-таки поступают несправедливо: кто по злобе, кто из страха, кто из корысти». Что ж, значит, они недостаточно знают, что такое справедливость, только и всего. Если бы знали по-настоящему, то не предпочли бы ей ни утоление злобы, ни безопасность, ни выгоду.

Если бы внутренний голос сопровождал нас на каждом шагу, доискаться до справедливости и до всего прочего было бы очень просто. К сожалению, это не так: часто он молчит, тут-то мы и делаем самые нехорошие ошибки. Чтобы этого избежать, надо постараться перебрать все возможные

жизненные случаи и о каждом спросить себя: справедливо или несправедливо? У старых афинян опыт был небольшой, и они говорили: «Справедливо только то, что есть в наших законах и обычаях». Софисты посмотрели шире и сказали: «А еще важнее их — право сильного да право хитрого». Мы посмотрели глубже и сказали: «А еще важней — веление внутреннего голоса». Но, наверное, можно посмотреть и еще шире и глубже...

До сих пор афиняне слушали Сократа с сочувствием: хорошо он отделал этих софистов! Но тут вдруг у них начинала кружиться голова, и в сердце просыпался знакомый страх бесконечности. На этот раз — не бесконечности мира, а бесконечности мысли. Если каждый раз смотреть все шире и глубже, то ведь мы никогда и не остановимся! Старую справедливость потеряли, а новую так и не найдем. А тогда — жить-то как же?

РАЗГОВОР СОКРАТА

У Сократа был молодой друг по имени Евфидем, а по прозвищу Красавец. Ему не терпелось стать взрослым и говорить громкие речи в народном собрании. Сократу захотелось его образумить. Он спросил его:

«Скажи, Евфидем, знаешь ли ты, что такое справедливость?» — «Конечно, знаю, не хуже всякого другого». — «А я вот человек к политике непривычный, и мне почему-то трудно в этом разобраться. Скажи: лгать, обманывать, воровать, хватать людей и продавать в рабство — это справедливо?» — «Конечно, несправедливо!» — «Ну а если полководец, отразив нападение неприятелей, захватит пленных и продаст их в рабство, это тоже будет несправедливо?» — «Нет, пожалуй что, справедливо». — «А если он будет грабить и разорять их землю?» — «Тоже справедливо». — «А если будет обманывать их военными хитростями?» — «Тоже справедливо. Да, пожалуй, я сказал тебе неточно: и ложь, и обман, и воровство — это по отношению к врагам справедливо, а по отношению к друзьям несправедливо».

«Прекрасно! Теперь и я, кажется, начинаю понимать. Но скажи мне вот что, Евфидем: если полководец увидит, что воины его приуныли, и солжет им, будто к ним подходят союзники, и этим ободрит их, — такая ложь будет несправедливой?» — «Нет, пожалуй что, справедливой». — «А если сыну нужно лекарство, но он не хочет принимать его, а отец обманом подложит его в пищу, и сын выздоровеет, —

такой обман будет несправедливым?» — «Нет, тоже справедливым». — «А если кто, видя друга в отчаянии и боясь, как бы он не наложил на себя руки, украдет или отнимет у него меч и кинжал, — что сказать о таком воровстве?» — «И это справедливо. Да, Сократ, получается, что я опять сказал тебе неточно; надо было сказать: и ложь, и обман, и воровство — это по отношению к врагам справедливо, а по отношению к друзьям справедливо, когда делается им на благо, и несправедливо, когда делается им во зло».

«Очень хорошо, Евфидем; теперь я вижу, что, прежде чем распознавать справедливость, мне надобно научиться распознавать благо и зло. Но уж это ты, конечно, знаешь?» — «Думаю, что знаю, Сократ; хотя почему-то уже не так в этом уверен». — «Так что же это такое?» — «Ну вот, например, здоровье — это благо, а болезнь — это зло; пища или питье, которые ведут к здоровью, — это благо, а которые ведут к болезни, — зло». — «Очень хорошо, про пищу и питье я понял; но тогда, может быть, вернее и о здоровье сказать таким же образом: когда оно ведет ко благу, то оно — благо, а когда ко злу, то оно — зло?» — «Что ты, Сократ, да когда же здоровье может быть ко злу?» — «А вот, например, началась нечестивая война и, конечно, кончилась поражением; здоровые пошли на войну и погибли, а больные остались дома и уцелели; чем же было здесь здоровье — благом или злом?»

«Да, вижу я, Сократ, что пример мой неудачный. Но, наверное, уж можно сказать, что ум — это благо!» — «А всегда ли? Вот персидский царь часто требует из греческих городов к своему двору умных и умелых ремесленников, держит их при себе и не пускает на родину; на благо ли им их ум?» — «Тогда — красота, сила, богатство, слава!» — «Но ведь на красивых чаще нападают работорговцы, потому что красивые рабы дороже ценятся; сильные нередко берутся за дело, превышающее их силу, и попадают в беду; богатые изнеживаются, становятся жертвами интриг и погибают; слава всегда вызывает зависть, и от этого тоже бывает много зла».

«Ну, коли так, — уныло сказал Евфидем, — то я даже не знаю, о чем мне молиться богам». — «Не печалься! Просто это значит, что ты еще не знаешь, о чем ты хочешь говорить народу. Но уж сам-то народ ты знаешь?» — «Думаю, что знаю, Сократ». — «Из кого же состоит народ?» — «Из бедных и богатых». — «А кого ты называешь бедными и богатыми?» — «Бедные — это те, которым не хватает на жизнь, а богатые — те, у которых всего в достатке и сверх достатка». — «А не бывает ли так, что бедняк своими ма-

лыми средствами умеет отлично обходиться, а богачу любых богатств мало?» — «Право, бывает! Даже тираны такие бывают, которым мало всей их казны и нужны незаконные поборы». — «Так что же? Не причислить ли нам этих тиранов к беднякам, а хозяйственных бедняков — к богачам?» — «Нет уж, лучше не надо, Сократ; вижу, что и здесь я, оказывается, ничего не знаю».

«Не отчаивайся! О народе ты еще подумаешь, но уж о себе и своих будущих товарищах-ораторах ты, конечно, думал, и не раз. Так скажи мне вот что: бывают ведь и такие нехорошие ораторы, которые обманывают народ ему во вред. Некоторые делают это ненамеренно, а некоторые даже намеренно. Какие же все-таки лучше и какие хуже?» — «Думаю, Сократ, что намеренные обманщики гораздо хуже и несправедливее ненамеренных». — «А скажи: если один человек нарочно читает и пишет с ошибками, а другой ненарочно, то какой из них грамотней?» — «Наверное, тот, который нарочно: ведь если он захочет, он сможет писать и без ошибок». — «А не получается ли из этого, что и намеренный обманщик лучше и справедливее ненамеренного: ведь если он захочет, он сможет говорить с народом и без обмана!» — «Не надо, Сократ, не говори мне такого, я и без тебя теперь вижу, что ничего-то я не знаю и лучше бы мне сидеть и молчать!» И Евфидем ушел домой, не помня себя от горя.

«И многие, доведенные до такого отчаяния Сократом, больше не желали иметь с ним дела», — добавляет историк, записавший для нас этот разговор.

«ОБЛАКА» СГУЩАЮТСЯ

Когда софисты съезжались в Афины, они думали: народу-законодателю приятно будет слушать их речи о том, что незыблемых законов нет, все — дело уговора, любой закон можно и ввести и отменить. Оказалось — нет. По этим рассуждениям выходило, что народ имеет такое же право править, как знатные, и беднота — как богачи. Это, действительно, было приятно слушать. Но по этим же рассуждениям выходило, что на такое же право могут притязать и рабы, и союзники, и варвары. А это уже было очень неприятно. Пока афинская беднота шла к власти, ей хотелось, чтобы все мешавшие этому законы можно было отменить. Когда она достигла власти, ей уже хотелось, чтобы все оставшиеся полезными для нее законы были вечными и незыбле-

мыми. Философы рассуждали слишком последовательно и этим были опасны. Может быть, чем меньше рассуждать, тем лучше? Не объявить ли мысль государственным преступлением?

И объявили. Правда, для благовидности правящий народ притворился, что защищает от дерзких философов не собственную власть, а власть богов. Был принят закон: кто будет говорить о богах и небесных силах иное, чем говорили отцы и деды, тот виновен в государственной измене. Мыслящие люди сразу почувствовали себя неуютно. Под ударом оказались и старые философы, и новые софисты, и будто бы ничего не знающий Сократ.

Из старших философов первым попал под суд Анаксагор, друг Перикла. Оказалось, что он утверждал, будто Солнце — не бог, а раскаленная глыба величиной с Пелопоннес и Луна — не бог, а такая же Земля, как наша, с городами и людьми. Анаксагора спас Перикл. Он вышел к народу и спросил: «Кто может сказать обо мне что-нибудь худое?» Никто не посмел. «Так вот, Анаксагор — мой учитель, а учитель не может быть хуже ученика». Анаксагора не казнили, но отправили в изгнание. Он отнесся к этому по-философски. «Дорога на тот свет отовсюду одна». Ему сочувствовали: «Ты лишился общества афинян». Он отвечал: «Не я — их, а они — моего». Возмущались: «Они тебя хотели осудить на смерть!» Он отвечал: «Но ведь природа давно осудила на смерть и меня и их».

Из софистов под обвинением оказался главный — Протагор. За обедом у своего друга поэта Еврипида он читал свое новое сочинение «О богах». Оно начиналось словами: «О богах трудно сказать, существуют они или нет, потому что предмет этот сложен, а жизнь наша коротка». Собственно, ничего подрывного тут не было: почти то же когда-то говорил Гиерону Сиракузскому поэт Симонид. Но среди застольников оказался кто-то не в меру бдительный, он поспешил с обвинением в суд. Протагору пришлось бежать из Афин за море, и по пути он утонул при кораблекрушении.

За Сократа взялись не сразу: во-первых, он был не приезжий, а свой, афинянин; во-вторых, он был очень уж забавен и чудачлив. Прежде чем привлечь к суду, ему сделали два предупреждения.

Первым предупреждением была комедия Аристофана «Облака». Как умел Аристофан выводить на сцену собственных современников, мы уже видели. Здесь на сцене Сократ. Он живет под вывеской «Мыслильня», качается там в корзине под потолком, чтобы быть поближе к небу, размышляет о тайнах мироздания (например, передом или за-

дом жужжит комар?) и молится Облакам. Облака — это новые боги: вид они умеют принимать какой угодно (чем не «вода» или «воздух» философов?), а греметь умеют не хуже старого Зевса. Как они гремят? А вот как у тебя в животе бурчит, так и в Облаках бурчит, и это называется «гром». К Сократу приходит мужик с сыном: «Помоги нам, сын у меня за знатью тянется, скачками увлекается, все добро промотал, как нам спастись от кредиторов?» — «Проще простого: они вас к суду, а вы клянитесь Зевсом, что ничего у них и не брали. Зевса-то давно уже нет, вот вам и не будет ничего за ложную клятву». Старик радехонек, но не тут-то было! Повздорил он с сыном из-за мелочи (не сошлись во взглядах на стихи Еврипида), сын недолго думая взял палку и стал отца колотить. Отец в ужасе кричит: «Нет такого закона — отцов колотить!» — а сын приговаривает: «А вот возьмем и заведем». Тут только понимает отец, чему учат новые мудрецы, и бежит расправляться с Сократом.

Афиняне хохотали всем театром и оглядывались на настоящего Сократа. Сократ встал, чтоб его было виднее, и невозмутимо простоял все представление. Отсмеявшись, однако, афиняне Аристофана не одобрили и награду ему не присудили. А Сократ с Аристофаном остались приятелями и угощались на общих пирах.

Второе предупреждение Сократу было суровее. Афины потерпели поражение в войне, демократия пала, и у власти оказались «тридцать тиранов» во главе с жестоким Критием. Критий сам был учеником Сократа и понимал, что для новой власти его речи еще опаснее, чем для старой. Он вызвал Сократа к себе и объявил: «Мы запрещаем тебе вести разговоры с молодыми людьми». — «Очень хорошо, — сказал Сократ, — только что значит «молодыми», до какого возраста?» — «До тридцати лет», — сказал Критий. «А что значит «вести разговоры»? Если на рынке человек моложе тридцати лет продает горшок, мне нельзя спросить его, почем горшок?» — «О том, чего ты не знаешь, спрашивать можно; но ты обычно говоришь о том, что ты знаешь, вот это ты и прекрати». — «Очень хорошо; а если какой-нибудь молодой человек меня спросит, где живет Критий, мне тоже нельзя будет ему ответить?» Тут Критий, хорошо зная своего бывшего учителя, кончил разговор и отослал Сократа прочь. Все боялись, что жить Сократу уже недолго. Но тирания «тридцати» скоро пала, и Критий погиб.

Третий удар по Сократу был нанесен, когда народ вновь установил свою власть в Афинах, и этот удар был последним. Но об этом речь впереди.

ВОЙНА И ЧУМА

Будет дорийская брань, и будет чума вместе с нею.
Оракул

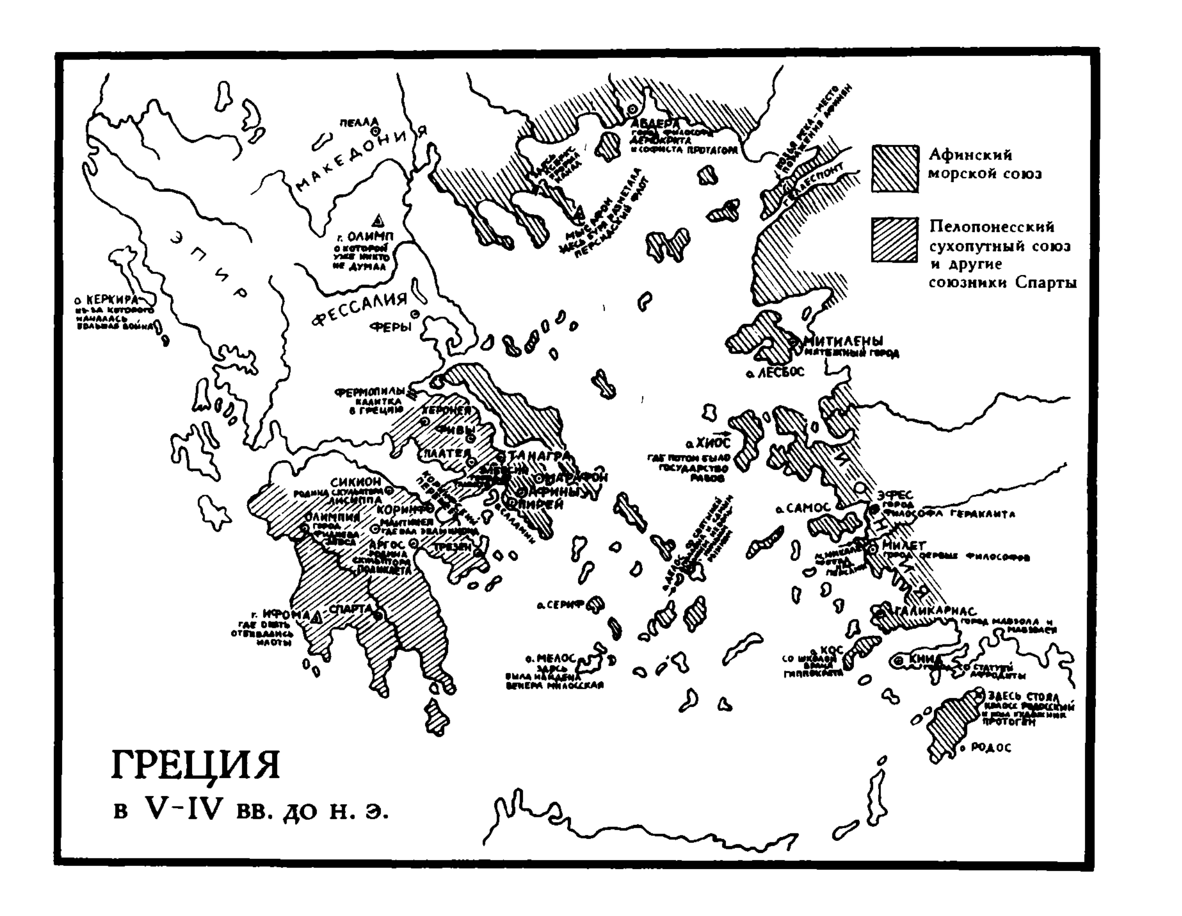
Народ в Афинах хотел жить лучше — это была уже привычка. Но народ не хотел работать и вырабатывать больше — это было рабовладельческое презрение к труду. Стало быть, нужна была добыча; стало быть, нужна была война. Война с Персией была безнадежна — Спарта ударила бы в тыл, как когда-то при Танагре. Стало быть, нужна была война со Спартой.

Перикл оттягивал эту войну пятнадцать лет, но думал о ней все время. У него был план — надежный, но требовавший крепких нервов. Спарта была сильней на суше, Афины — на море. Нужно было не принимать боя на суше, а сойтись всем народом в городские стены и выдержать осаду, кормясь морским подвозом. Отрезать Афины от моря было нельзя: они были соединены с портом неприступными Длинными стенами. Тем временем афинский флот окружит Пелопоннес, отрежет пути хлебного подвоза и медленно, но верно выморит Спарту голодом.

Война началась, когда афиняне приняли в свой союз Керкиру — остров на морской дороге к Сицилии, кормившей хлебом Пелопоннес. Спарта ответила требованием, чтобы Афины изгнали виновников древней Килоновой скверны, то есть Алкмеонидов, а Перикл был им родня. Афины потребовали, чтобы спартанцы за это изгнали виновников недавней Павсаниевой скверны. После этого обмена неприятными напоминаниями двинулись войска и корабли.

Все население Аттики собралось в городских стенах, округа была отдана на разорение спартанцам. С болью в сердце смотрели крестьяне со стен, как топчут их хлеба и рубят их оливы. Но Перикл говорил: «Легче вырастить новые деревья вместо срубленных, чем новых бойцов вместо убитых». Разоряя, спартанцы щадили имения Перикла, чтобы казалось, будто они с ним в сговоре. Тогда Перикл объявил в собрании, что отдает свои имения государству.

От тесноты в городе началась эпидемия. Греки ее называли чумой, но, может быть, это был сыпной тиф или корь. Болезнь спускалась по телу сверху вниз: головная боль, воспаление горла, жестокий кашель, тошнота, понос и смерть. Па коже высыпала сыпь, и кожа болела от прикосновения самой легкой одежды, мучил жар и неутолимая жажда. Люди умирали у колодцев, трупы валялись на



Афинский морской союз
Пелопонесский сухопутный союз и другие союзники Спарты
ГРЕЦИЯ
в V–IV вв. до н. э.
ПЕЛЛА
МАКЕДОНИЯ
г. ОЛИМП
о которой уже никто не думал
ЭПИР
ФЕССАЛИЯ
ФЕРЫ
о. КЕРКИРА
из-за которого началась большая война
ФЕРМОПИЛЫ
калитка в Грецию
ХЕРОНЕЯ
ФИВЫ
ПЛАТЕЯ
ТАНАГРА
МАРАФОН
АФИНЫ
ПИРЕЙ
САЛАМИН
СИКИОН
родина скульптора Лисиппа
КОРИНФ
МАНТИНЕЯ
где пал Эпаминонд
ОЛИМПИЯ
АРГОС
ТРЕЗЕН
г. ИФОМА
СПАРТА
АБДЕРА
город философа Демокрита и софиста Протагора
ГЕЛЛЕСПОНТ
МИТИЛЕНЫ
мятежный город
о. ЛЕСБОС
о. ХИОС
где потом было государство рабов
о. САМОС
ЭФЕС
город философа Гераклита
МИЛЕТ
город первых философов
о. СЕРИФ
о. МЕЛОС
здесь была найдена Венера Милосская
ГАЛИКАРНАС
о. КОС
со школой врача Гиппократа
КНИД
здесь стоял колосс Родосский
о. РОДОС

улицах: лечить не умели, хоронить было некому. Даже стервятники перевелись, отравившись зараженным мясом. Страх смерти глушил страх перед богами и перед законом. «Люди видели, что все гибнут одинаково, и потому им было все равно, что чтить богов, что не чтить, а до людского суда и наказания никто не рассчитывал дожить», — пишет историк. Болезнь свирепствовала два года и унесла четверть афинского населения. Умер и старый Перикл.

Война затягивалась. Добычи не было, а денег нужно было много: кормить войска и гребцов, кормить оставшихся без крова. Народ удвоил подать с союзников. Подать шла, конечно, не с бедноты, а с богачей: ненависть богачей в союзных городах и к Афинам, и к собственному народу дошла до озверения. Начались отпадения и расправы.

Отложились Митилены на Лесбосе, древний город поэтессы Сафо. Афиняне осадили Митилены с суши и с моря. Город сдался. Афинское народное собрание постановило: всех мужчин казнить, всех женщин и детей продать в рабство. На следующий день, одумавшись, афиняне сами устрашились собственной жестокости: вдогон кораблю со смертным приказом был отправлен корабль с его отменою. Лесбосу повезло: корабль поспел вовремя.

Вспыхнула усобица в той Керкире, из-за которой началась вся война. Там народ обложил богачей небывалым налогом: было объявлено, что богачи вырубили себе огородные колья в священной роще и должны заплатить по серебряной монете с кола. Богачи взбунтовались и перебили народных вождей. Два дня шли уличные бои, женщины с крыш швыряли черепицу во врагов, рабам была обещана свобода за подмогу. Народ одолел. Восставшие искали убежища в храме, в священную ограду набилось четыреста человек. Поняв, что им не спастись, они перебили друг друга мечами; храм был красен от крови. Уцелевших запороли кнутами насмерть.

Фиванцы напали на Платею, союзницу Афин. После четырехлетней осады город сдался. Платея со времен Персидских войн считалась городом-героем под общей охраной всех греков. Платейцы обратились к Спарте за третейским судом. Спартанцы провели перед собой поодиночке всех платейцев, задавая каждому только два вопроса: сделал ли он Спарте что-нибудь хорошее? сделала ли ему Спарта что-нибудь плохое? Все гордо отвечали «нет»: все были перебиты.

«Междоусобие царило, — пишет историк-современник. — Нападения были коварны, месть — безумна; безрассудство считалось мужеством, осторожность — трусостью, вдум-

чивость — негодностью к делу. Кто был слабей умом, тот и брал верх, потому что быстрее действовал. Человек недовольный казался героем, а кто возражал ему — подозрительным. Удачливый хитрец слыл умником, а разгадавший его хитрость — еще умней. Родство связывало меньше, чем товарищество: отцы убивали сыновей. Для умиротворения не было ни силы речей, ни страха клятв. Человеческая природа, привычная преступать законы, одолела их и с наслаждением вырвалась на волю, не сдерживая страсти, попирая право. Ведь людям нужны законы лишь для собственной защиты, а для нападения и мести не нужны».

Десять лет взаимного разорения прошли бесплодно. Обессиленные, Афины и Спарта заключили мир и стали готовиться к новой войне.

ПОСЛЕДНЯЯ РЕЧЬ ПЕРИКЛА

Со времен Солона в Афинах был обычай: павших на войне хоронить не где попало, а всех вместе, торжественно и чинно. Трупы сжигали на кострах на поле боя, кости хранили в глиняных сосудах до зимы, а зимой складывали в десять кипарисовых гробов и на десяти колесницах везли по улицам под звуки флейт. Родственники шагали в черных одеждах, женщины голосили и били себя в грудь. Так выходили за Дипилонские ворота на Священную дорогу в Элевсин, там совершали погребение, а выбранный от города человек произносил речь.

В первый год войны над первыми убитыми эту речь произнес Перикл. Жить ему оставалось полтора года. Он не стал говорить о тех, кто пали, — он стал говорить о том, во имя чего они пали. Его речь — это лучший автопортрет афинской демократии: может быть, она была и не такой, но такой хотела быть.

«Обычаи у нас в государстве не заемные: мы не подражаем другим, а сами подаем пример. Называется наш строй народовластием, потому что держится не на меньшинстве, а на большинстве народа. Закон дает нам всем равные возможности, а уважение воздается каждому по его заслугам. В общих делах мы друг другу помогаем, а в частных не мешаем; выше всего для нас законы, и неписаные законы выше писаных. Город наш велик, стекается в него все и отовсюду, и радоваться нашему достатку мы умеем лучше, чем кто-либо. Город наш всегда для всех открыт, ибо мы не боимся, что враги могут что-то подсмотреть и во зло нам ис-

пользовать: на войне сильны мы не тайною подготовкою, а открытою отвагою. На опасности мы легко идем по природной нашей храбрости, не томя себя заранее тяжкими лишениями, как наши противники, а в бою бываем ничуть их не малодушнее.

Мы любим красоту без прихотливости и мудрость без расслабленности; богатством мы не хвастаем на словах, а пользуемся для дела; и в бедности у нас не постыдно признаться, а постыдно не выбиваться из нее трудом. Мы стараемся сами обдумать и обсудить наши действия, чтоб не браться за нужное дело, не уяснив его заранее в речах; и сознательность делает нас сильными, тогда как других, наоборот, бездумье делает отважными, а раздумье нерешительными. А друзей мы приобретаем услугами, и не столько из расчета, сколько по свободному доверию. Государство наше по праву может зваться школой Эллады, ибо только в нем каждый может найти себе дело по душе и по плечу и тем достичь независимости и благополучия.

Вот за какое отечество положили жизнь эти воины. А мы, оставшиеся, любуясь силою нашего государства, не забудем же о том, что творцами ее были люди отважные, знавшие долг и чтившие честь. Знаменитым людям могила — вся земля, и о них гласят не только могильные надписи на родине, но и неписаная память в каждом человеке: память не столько о деле их, сколько о духе их».

АЛКИВИАД, СОФИСТ НА ПРАКТИКЕ

Когда Алкивиад был мальчиком, он боролся на песке с одним товарищем. Товарищ побеждал. Алкивиад укусил его за руку. «Ты кусаешься, как баба», — сказал товарищ. Алкивиад ответил: «Нет, как лев».

Он рос в доме Перикла. Однажды он зачем-то пришел к Периклу, тот сказал: «Не мешай, я думаю, как мне отчитываться перед народом». Алкивиад ответил: «Не лучше ли подумать, как совсем ни перед кем не отчитываться?»

Он учился у Сократа, и Сократ говорил ему: «Если бы ты владел Европой и боги запретили бы тебе идти в Азию — ты бросил бы все и пошел бы в Азию». Алкивиад преданно любил Сократа, однажды в бою он спас ему жизнь; однако глубже в душу ему запали слова тех софистов, которые говорили: дом, родина, боги — все это условно, все «по уговору»; «по природе» есть только право сильного и право хитрого.

Таким он и вырос — красивым, умным, беззаботным, привыкшим во всем давать себе волю и готовым на что угодно, лишь бы быть первым, в хорошем или в дурном — все равно. Со своими приятелями он устраивал такие кутежи, что о них говорила вся Греция. У него был красавец пес, он отрубил этому псу хвост; все возмущались, а он говорил: «Пусть лучше возмущаются этим, а не чем-нибудь другим». Однажды он на пари ни за что дал пощечину самому богатому человеку в Афинах, старому безобидному толстяку, а на следующее утро пришел к нему, скинул плащ и подал плеть. Тот расчувствовался, простил его и даже выдал за него свою дочь.

Этот Алкивиад и возобновил ту войну, которая погубила Афины.

Ему хотелось отличиться на войне. Со Спартой был мир. Тогда он предложил народному собранию объявить войну Сиракузам — тем сицилийским Сиракузам, откуда Спарта и ее союзники получали хлеб. План был великолепен. В Афинах снарядили флот в полтораста кораблей, отборное войско готово было к посадке, начальником был назначен Алкивиад и с ним два старших полководца — осторожный Никий и пылкий Ламах. Всюду только и говорили что о сицилийском походе; имя Алкивиада было на устах у каждого.

Чем громче слава, тем сильнее зависть. Враги Алкивиада решили его погубить. В Афинах на перекрестках стояли каменные столбы с головой Гермеса, покровителя дорог. В ночь за месяц до похода эти столбы вдруг оказались перебиты и изуродованы неведомо кем. Сразу поползли слухи, что это сделал Алкивиад, известный безбожник. Алкивиад явился в народное собрание и потребовал открытого разбирательства. Ему сказали: «Время дорого; отложим до конца похода». И флот двинулся в путь под гнетом недоброго предзнаменования.

Афиняне уже вступили в Сицилию, уже заняли первые города, как вдруг из Афин пришел приказ Алкивиаду вернуться и предстать перед судом. Он понял, что там уже все готово для его гибели. Он решил бежать. Его спросили: «Ты не веришь родине, Алкивиад?» Он ответил: «Где речь о жизни и смерти — там я не поверю и родной матери». Ему сообщили, что его заочно приговорили к смерти. Он вскричал: «Я покажу им, что я жив!»

Он явился прямо к вчерашнему врагу — в Спарту — и сказал: «До сих пор я делал вам зла больше всех, теперь я принесу вам пользы больше всех». Он посоветовал сделать три вещи: послать подмогу сицилийцам; послать войско в

Аттику не набегом, а так, чтобы занять там крепость и все время грозить Афинам; послать флот в Ионию и отбить у афинян их союзников. С флотом поплыл он сам.

Сицилийский поход афинян без Алкивиада кончился катастрофой. Целый год тщетно осаждали они Сиракузы, а потом были отбиты, окружены и сложили оружие. Полководцев казнили, семь тысяч пленных послали на сиракузскую каторгу — в каменоломни, а потом тех, кто выжил, продали в рабство. Даже бывалым сицилийским рабовладельцам совестно было владеть рабами из тех Афин, которые слыли «школой всей Греции». Некоторых отпускали на волю за то, что они учили сицилийцев новым песням из последних трагедий Еврипида.

Алкивиад помнил: изменнику нигде нет веры. Он был настороже — и был прав. В спартанский флот пришел приказ его убить. Он узнал об этом и бежал к третьему хозяину — в Персию. Знавшие его дивились, как умел он менять и вид, и образ жизни: в Афинах беседовал с Сократом, в Спарте спал на дерюге и ел черную похлебку, в Сардах был изнежен и роскошен так, что удивлялись даже персы. В Сардах правил персидский сатрап, зорким взглядом следя, как истребляют друг друга его враги — афиняне и спартанцы. И те и другие были истощены войной, и те и другие без стыда просили помочь им деньгами из бездонных персидских сокровищниц, а он отвечал подачками и посулами, и советником при нем был Алкивиад.

Наконец час настал: в Афинах разгорелась междоусобная борьба. Одна из партий призвала на помощь Алкивиада, он возглавил флот и поплыл вдоль малоазиатского берега, отвоевывая для афинян те города, которые недавно отвоевывал для спартанцев. Одержав шесть побед, он явился в Афины под красными парусами, с кораблями, нагруженными добычей. Народ ликовал, старики со слезами на глазах показывали на него детям. Ему было дано небывалое звание «полководец-самодержец»; он стал как бы тираном волею народа. Мечты его исполнились, но он не обольщался: он знал, что народная любовь переменчива.

Так и случилось. Когда-то в юности Алкивиад говорил речь к народу, а за пазухой у него был только что купленный дрозд; дрозд улетел, один моряк из толпы его поймал и вернул Алкивиаду. Алкивиад был широкой души человек: став полководцем-самодержецем, он отыскал того моряка и взял его с собою на флот своим помощником. Отлучившись однажды за сбором дани, он приказал ему только одно: ни в каком случае не принимать боя. Тот немедленно принял бой и, конечно, потерпел поражение. Алкивиад,

вернувшись, тотчас вызвал врагов на новый бой, но те уклонились. Что последует дальше, Алкивиад знал заранее. Не дожидаясь, пока его объявят врагом народа, он бросил войско и флот, укрылся в укрепленной усадьбе близ Геллеспонта и жил там среди фракийцев, пьянствуя, развлекаясь верховой ездой и издали следя за последними битвами войны.

Предпоследняя битва была у Лесбоса. В коротком промежутке меж двух бурь сошлись два флота. Афиняне бросили в бой все: на веслах сидели рядом знатные всадники, привыкшие гнушаться морским трудом, и рабы, которым за этот бой была обещана свобода. Афиняне победили, но буря разметала корабли победителей, много народу погибло. Это было сочтено за гнев богов. Победоносных военачальников вместо награды привлекли к суду. Все были казнены; против казни голосовал один только Сократ.

Последняя битва была на Геллеспонте, у Эгоспотам — Козьей реки, невдалеке от усадьбы Алкивиада. Он увидел, что афиняне выбрали для стоянки неудобное место: ни воды, ни жилья, воины должны далеко расходиться по берегу. Алкивиад на коне подъехал к лагерю и предупредил начальников об опасности. Ему ответили: «Ты враг народа — поберегись сам». Поворотив коня, он сказал: «Если бы не эта обида — через десять дней вы у меня были бы победителями». Прошло десять дней, и афиняне были разгромлены: спартанцы ударили врасплох и захватили все корабли почти без боя. Это был конец. Афины сдались, срыли городские укрепления, распустили народное собрание, городом стали править «тридцать тиранов» во главе с жестоким Критием, начались расправы. Говорили, что за год правления «тридцати» погибло больше народу, чем за десять лет войны.

Алкивиад помнил, что от спартанцев ему еще труднее ждать добра, чем от афинян. Он бросил свой фракийский дом и вновь укрылся в Персии. Он знал, что народ в Афинах опять горько жалеет о его изгнании и видит в нем свою последнюю надежду. Но знали это и спартанцы. Персидскому сатрапу была отправлена убедительная просьба: избавить победителей от опасного человека. Дом, где жил Алкивиад, окружили и подожгли. Алкивиад швырнул в огонь ковры и платья и по ним с мечом в руках вырвался из дома. Убийцы не посмели подойти к нему — его расстреляли издали из луков. Тело его похоронила его последняя любовница, по имени Тимандра. Так погиб тот, о ком говорили: «Греция не вынесла бы второго Алкивиада».

СУД НАД СОКРАТОМ

В Афинах заседает суд. В Афинах любят судиться, за это над афинянами давно все подшучивают. Но этот суд — особенный, и народ вокруг толпится гуще обычного. Судят философа Сократа — за то же, за что судили тридцать лет назад Анаксагора и двенадцать лет назад Протагора. Его обвиняют в том, что он портит нравы юношества и вместо общепризнанных богов поклоняется каким-то новым.

Сократу семьдесят лет. Седой и босой, он сидит перед судьями и с улыбкой слушает, что говорят один за другим три обвинителя: Мелет, Анит и Ликон. А говорят они сурово, и народ вокруг шумит недоброжелательно. Ведь всего пять лет, как кончилась тяжелая война со Спартой, всего четыре года, как удалось сбросить власть «тридцати тиранов», государство с трудом приводит себя в порядок. Как это случилось, что при отцах и дедах Афины были сильнее всех в Элладе, а теперь оказались на краю гибели? Может быть, в этом виноваты такие, как Сократ?

— Сократ — враг народа, — говорят одни. — Наша демократия стоит на том, чтобы всякий гражданин имел доступ к власти: всюду, где можно, мы выбираем начальников по жребию, чтобы все были равны. А Сократ говорит, будто это смешно — так же смешно, как выбирать кормчего на корабле по жребию, а не по знаниям и опыту. А у кого из граждан есть досуг, чтобы приобрести в политике знания и опыт? Только у богатых и знатных. Вот они и трутся около Сократа, слушают его уроки, а потом губят государство. Когда была война, нас чуть не погубил честолюбец Алкивиад; когда кончилась война, нас чуть не погубил жестокий Критий; а оба они были учениками Сократа.

— Сократ — друг народа, — говорят другие. — И Алкивиад, и Критий были хорошими гражданами, пока слушали Сократа, и стали опасными, лишь когда отбились от него. Разве «тридцать тиранов» любили Сократа? Нет, они тоже боялись его и тоже уверяли, будто он портит нравы юношества. Тайных уроков он не давал, жил у всех на виду, разговаривал со всеми запросто. Да, он всегда говорил: «Государством должны управлять только люди хорошие», — но он никогда не добавлял, как это любят знатные: «Нельзя научиться быть хорошим, можно только быть хорошим от рождения». Он как раз и учил людей быть хорошими, будь ты богач или бедняк, лишь бы сам хотел учиться. А что это трудно — его ли вина?

— Сократ — чудак и насмешник, — соглашаются и те и

другие. — Он задает вопросы и не дает ответов; сколько ни отвечай, а все чувствуешь себя в тупике. Другие философы говорят: «думай то-то!», а он: «думай так-то!» Додумаешься до чего-нибудь, скажешь ему, а он переспросит раз, и видишь: нужно дальше думать. А нельзя же без конца думать, надо когда-то и дело делать. Начнешь, недодумав, а он улыбается: «не взыщи, коли плохо получится». Понятно, что так ни дома, ни государства не наладишь. Интересно с ним, но неспокойно. Обвинители говорят: «Казнить его смертью»; это, конечно, слишком, а проучить его надо, чтобы жить не мешал.

Но вот обвинители кончили, и Сократ встает говорить защитительную речь. Все прислушиваются.

«Граждане афиняне, — говорит Сократ, — против меня выдвинуты два обвинения, но оба они такие надуманные, что о них трудно говорить серьезно. Наверное, дело не в них, а в чем-то другом.

Говорят, будто я не признаю государственных богов. Но ведь во всех обрядах и жертвоприношениях я всегда участвовал вместе со всеми, и каждый это видел. Говорят, будто я поклоняюсь новым богам, — это про то, что у меня есть внутренний голос, которого я слушаюсь. Но ведь верите же вы, что дельфийская пифия слышит голос бога и что гадателям боги дают знамения и полетом птиц, и жертвенным огнем; почему же вы не верите, что и мне боги могут что-то говорить?

Говорят, будто я порчу нравы юношества. Но как? Учу изнеженности, жадности, тщеславию? Но я сам ведь не изнежен, не жаден, не тщеславен. Учу неповиновению властям? Нет, я говорю: «Если законы вам не нравятся, введите новые, а пока не ввели, повинуйтесь этим». Учу неповиновению родителям? Нет, я говорю родителям: «Вы ведь доверяете учить ваших детей тому, кто лучше знает грамоту; почему же вы не доверяете их тому, кто лучше знает добродетель?»

Нет, афиняне, меня здесь привлекают к суду по другой причине, и я даже догадываюсь, по какой. Помните, когда-то дельфийский оракул сказал странную вещь: «Сократ — мудрее всех меж эллинов». Я очень удивился: я-то знал, что этого быть не может, — ведь я ничего не знаю. Но раз так сказал оракул, надо слушаться, и я пошел по людям учиться уму-разуму: и к политикам, и к поэтам, и к гончарам, и к плотникам. И что же оказалось? Каждый в своем ремесле знал, конечно, больше, чем я, но о таких вещах, как добродетель, справедливость, красота, благоразумие, дружба, знал ничуть не больше, чем я. Однако же каждый

считал себя знающим решительно во всем и очень обижался, когда мои расспросы ставили его в тупик. Тут-то я и понял, что хотел сказать оракул: я знаю хотя бы то, что я ничего не знаю, — а они и этого не знают; вот потому я и мудрее, чем они.

С тех самых пор я и хожу по людям с разговорами и расспросами: ведь оракула надо слушаться. И многие меня за это ненавидят: неприятно ведь убеждаться, что ты чего-то не знаешь, да еще столь важного. Эти люди и выдумали обвинение, будто я учу юношей чему-то нехорошему. А я вовсе ничему не учу, потому что сам ничего не знаю; и ничего не утверждаю, а только задаю вопросы и себе и другим; и, задумываясь над такими вопросами, никак нельзя стать дурным человеком, а хорошим можно. Потому я и думаю, что совсем я не виноват».

Судьи голосуют. Как видно, они тоже не принимают всерьез обвинений Мелета и Анита — правда, они признают Сократа виновным, но лишь малым перевесом голосов. Теперь надо проголосовать за меру наказания. Закона на такие случаи нет: обвинитель должен предложить свою меру наказания, обвиняемый — свою, а суд — выбрать. Обвинители свою уже предложили: смертную казнь. Пусть Сократ со своей стороны предложит достаточный штраф, и наверняка он этим и отделается. Но Сократ говорит:

— Граждане афиняне, как же я могу предлагать себе наказание, если я считаю, что я ни в чем не виноват? Я даже думаю, что я полезен государству тем, что разговорами своими не даю вашим умам впасть в спячку и тревожу их, как овод тревожит зажиревшего коня. Поэтому я бы назначил себе не наказание, а награду — ну, например, обед за казенный счет, потому что я ведь человек бедный. А то какой же штраф могу я заплатить, если всего добра у меня и на пять мин не наберется? Пожалуй, одну мину как-нибудь заплачу, да еще, может быть, друзья добавят.

Это уже похоже на издевательство. Народ шумит, судьи голосуют и назначают Сократу смертную казнь. Приговоренному предоставляется последнее слово. Он говорит:

— Я ведь, граждане, старый человек, и смерти мне бояться не пристало. Что приносит людям смерть, я не знаю. Если загробного мира нет, то она избавит меня от тяжкой дряхлости, и это хорошо; если есть, то я смогу за гробом встретиться с великими мужами древности и обратиться со своими расспросами к ним, и это будет еще лучше. Поэтому давайте разойдемся: я — чтобы умереть, вы — чтобы жить, а что из этого лучше, нам неизвестно.

Его казнили не сразу: был праздничный месяц, и все

казни откладывались. Друзья предлагали ему бежать из тюрьмы; он сказал: «Зачем? Чтобы нарушить закон и вправду заслужить наказание? И куда? Разве есть такое место, где не умирают?» Ему сказали: «Но ведь больно смотреть, как ты страдаешь незаслуженно!» Он ответил: «А вы бы хотели, чтобы заслуженно?» Его спросили: «Как тебя похоронить?» Он ответил: «Плохо же вы меня слушали, если так говорите: хоронить вы будете не меня, а мое мертвое тело».

Казнили в Афинах ядом. Сократу подали чашу — он выпил ее до дна. Друзья заплакали — он сказал: «Тише, тише: умирать надо по-хорошему!» Тело его стало холодеть, он лег. Когда холод подступил к сердцу, он сказал: «Принесите жертву богу выздоровления». Это были его последние слова.

Дела и годы (до н.э.)

ок. 475	—	статуя тираноубийц работы Крития и Несиота
ок. 470	—	расцвет скульптора Мирона. Родился философ Сократ
456	—	смерть драматурга Эсхила
441	—	первое выступление драматурга Еврипида
440	—	восстание Самоса против Афин; драматург Софокл командует афинянами
438	—	Фидий заканчивает статую Афины-Девы для Парфенона
431—421	—	начало Пелопоннесской войны
430	—	чума в Афинах
ок. 425	—	расцвет софистов Протагора, Горгия и других
423	—	комедия «Облака» Аристофана
ок. 420	—	расцвет скульптора Поликлета в Аргосе и живописцев Зевксиса и Паррасия
415—414	—	сицилийский поход афинян и измена Алкивиада
413—404	—	возобновленная Пелопоннесская война
411	—	изгнание софиста Протагора
407	—	возвращение и второе бегство Алкивиада
406	—	смерть Софокла и Еврипида
405	—	комедия «Лягушки» Аристофана. Поражение афинян при Эгоспотамах
404—403	—	тирания «тридцати». Смерть Алкивиада
399	—	суд над Сократом
ок. 350	—	расцвет скульптора Праксителя в Афинах
ок. 325	—	расцвет скульптора Лисиппа в Сикионе и живописцев Апеллеса и Протогена.

СЛОВАРЬ IV

«Логии», «графии» и 15 приставок

Большинство греческих слов в русском языке — научные. Ученые разных стран, чтобы лучше понимать друг друга, стараются называть свои предметы от латинских и греческих корней — это языки мертвые, всем одинаково чужие, никому не обидно. Поэтому и большинство наук называются ***-логиями***, ***-графиями***, ***-метриями***. Первый корень значит «мыслить», второй — «писать», третий — «мерить». Но эти точные значения давно расплылись. *География* не меньше требует умения мыслить, чем *геология* — описывать, а *геометрия* вовсе оторвалась от той *гео-*, то есть «земли», которую она когда-то мерила, и занимается гораздо более отвлеченными вопросами. *Астрология* вообще справедливо считается не наукой, а лженаукой, наука же носит имя *астро-номия*, «звездо-законие» (по сходству разве что с *эко-номией*, «житье-законием»; кстати, а что значит слово *эко-логия*?)

Любопытно, что разные предметы по-разному тянутся к ***-логиям***, ***-графиям*** и ***-метриям***. Только слово *биос* (жизнь) образует и *био-логию* и *био-графию*, но как разнозначны эти слова!

Науки ***-логии*** занимаются такими предметами, как человек, бог, время, природа, форма, душа. О человеке — *антропо-логия* (сравним: *питек-антроп*, обезьяно-человек; *миз-антроп*, человеконенавистник). О боге — *тео-логия*, бого-словие (вспомним все ***Фео-*** из греческих имен). О времени — *хроно-логия* (*хроника* — это летопись; *хроно-метр* — точные часы). О деятельности живой природы — *физио-логия* (а о природе вообще — *физика*). О форме — *морфо-логия* (вы ее знаете как часть грамматики, но есть еще, например, слово *мета-морф-оза*, превращение, перемена формы). О душе — *психо-логия* (а *псих-иатрия* — это лечение душевных болезней, как *пед-иатрия* — лечение детских болезней, а *пед-агогика* значит вести за собою детей, а *дем-агогия* — вести за собою народ, а *демо-кратия* — власть народа, а *аристо-кратия* — власть «лучших», то есть знатных, а также и сама знать; наверное, эту цепочку сложных слов можно тянуть и дальше).

Науки ***-графии*** более практичны. Это *калли-графия*, чисто-писание (корень ***-калли-*** мы помним по греческим именам). Это *орфо-графия*, право-писание (в словах, прошедших через латынь, это ***ф***

заменяется *т*: *орто-доксия* — это мышление по заданным правилам, а *орто-педия* — придание правильной формы ногам). *Библиография* — умение разбираться в книгах (сравни: *библио-тека* — книго-хранилище). *Стено-графия* — умение быстро, плотно писать (сравни: *стено-кардия* — стеснение сердца; а русское слово *стена* тут ни при чем, это случайное созвучие). *Типо-графия* — печатание с выпуклых образцов, *типов* (*стерео-тип* — плотный, затвердевший образец). *Лито-графия* — печатание с каменных досок (сравни: *палео-лит* — древнекаменный век, *нео-лит* — новокаменный век). *Фото-графия* — печатание с помощью света (*фот*, *фос* — свет, отсюда «свето-носный» элемент *фос-фор*). При этих науках — соответственные устройства: *теле-граф* — «дально-писатель» (сравни: *телефон* — «дально-звучатель»; *теле-пат* — «дально-чувствователь»), *фоно-граф* — «звуко-писатель» (сравни: *фонетика* — наука о звуках слов).

Наук *-метрий* совсем мало: кроме *три-гоно-метрии*, науки о соотношении сторон треугольника, только *стерео-метрия*, геометрия объемных, плотных тел (вспомним *стерео-тип*). Зато устройств при них гораздо больше — и уже знакомый нам *хроно-метр*, и *термо-метр* (и отсюда все, что связано с теплотой, вплоть до *термо-ядерной* реакции), и *баро-метр* (и отсюда все, что связано с весом, вплоть до *бари-тона*, тяжелого, низкого голоса), и *арифмо-метр* (число-мер), и *динамо-метр* (сило-мер; *динамика* — наука о силе, *динамо* — машина для получения электричества из неэлектрической силы, *динамит* — взрывчатое вещество большой силы и т.д.)

Но, пожалуй, еще интереснее сопоставлять слова не по корням, а по приставкам. Вот приблизительные значения 15 греческих приставок: ***ана-*** — вверх, к раскрытию, ***ката-*** — вниз, к скрытию; ***гипер-*** — над, ***гипо-*** — под; ***син-*** (***сим-***) — с, вместе, ***диа-*** — врозь, через; ***эн-*** — в, ***эк-*** — из; ***пара-*** — мимо, рядом, ***пери-*** — вокруг; ***апо-*** — от, ***анти-*** — против; ***про-*** — впереди, ***эпи-*** — на, за; ***мета-*** — после, вместе.

Есть простой греческий корень *-од-*, означающий «путь», «идти». Сведем его с несколькими приставками. Когда воду разлагают электричеством (это называется «электро-лиз»), то в нее помещают два *электр-ода* («электро-пути»), и один называется *кат-од*, а другой *ан-од*. Когда что-то движется вокруг чего-то, то время этого обращения называется *пери-од*. Когда сходятся на совет церковные чины, то это — *син-од*. Когда мысли следуют по порядку друг за другом, это значит, что в мышлении есть *мет-од*. Попутно мы упомянули *электролиз*, корень *-лиз-* в нем значит «разложение», мы сразу найдем его и в слове *ана-лиз* (разбор на составные элементы), и в слове *пара-лиз* (почти полное расслабление — по-русски это слово исказилось в *паралич*, но осталось в глаголе *парализовать*).

Сим-метрия — это то, что со-размерно; *диа-метр* — поперечник фигуры, *пара-метры* — расстояния между крайними ее точками, *пери-метр* — длина окружающей ее линии. *Диа-лог* — разговор между разномыслящими лицами; *диа-лектика* — ход мысли, каким они приходят к общей истине. *Ана-лог*, *ана-логия* помогает раскрыть понятие, *ката-лог* как бы закрывает понятие, вписывая в законченный список. *Про-лог* предшествует главному содержанию произведения (логосу), *эпи-лог* следует за ним. *Про-гноз* означает предвидение будущего, *диа-гноз* — познание настоящего, исследованного «вдоль и поперек». *Эк-стаз* — это когда человек от полноты вдохновения «выходит из себя»; *эн-ту-зиазм* — это нечто большее, когда он от полноты вдохновения «входит в бога» (помните корень *-тео-*? он прячется здесь в слоге *-ту-*). За этим может следовать только *апо-феоз*, когда человек от земли возносится к богам (здесь корень *-тео-* опять пишется по новому произношению, *-фео-*).

Мы говорим *сим-вол* — это предмет, обозначающий другой предмет или понятие, единые с ним. Например, как если два человека разламывают палочку, а потом один из них, посылая к другому вестника, дает ему свою половину; половинки *со-единяют*, и вестнику верят. А какую взять противоположную приставку, чтобы получить значение «разъ-единение»? Приставку *диа-* — получится сам *диа-вол*, который губит людей, заводя рознь между ними. Так представляли его греки. Вот до каких глубин можно дойти, занимаясь корнями и приставками.

Часть пятая

ПОСЛЕДНИЙ ВЕК СВОБОДЫ, или Закон бьется в противоречиях

Добродетель,
Многотруднейшая для смертного рода,
Краснейшая добыча жизни людской,
За девственную твою красоту
И умереть,
И труды принять мощные и неутомимые —
Завиднейший жребий в Элладе:
Такою силой
Наполняешь ты наши души,
Силой бессмертной,
Властнее злата,
Властнее предков,
Властнее сна, умягчающего взор...

Аристотель



ПРАВО НА ПРАЗДНОСТЬ?

Есть такое общечеловеческое свойство: лень. Что нам интересно, то мы делаем с увлечением, а что неинтересно — от того отлыниваем. И каждому из нас когда-нибудь да приходило в голову: вот придумать бы что-нибудь, чтобы булки сами на деревьях росли! Грекам тоже это чувство было хорошо знакомо: недаром и у них был миф о золотом веке, когда земля все давала людям даром. А в нынешнем железном веке именно потому они так цепко держались за рабство. Они не замучивали рабов работой до смерти, нет, но весь собственный труд, который можно было перевалить на другого, они переваливали на раба. Только тогда они испытывали блаженное чувство свободы — свободы не только от царя или тирана, но и от докучных житейских забот.

Конечно, это не значит, что все свободные люди в Греции не работали, а только понукали рабов. Древнегреческие ремесленники были такие же усердные работяги, как и в другие времена и у других народов. Но работали они, как бы стыдясь своего труда. И это чувство — ручной труд постыден — накладывало отпечаток на всю греческую культуру. Философия развивалась, а техника не развивалась. Почему? Именно поэтому. «Мы восхищаемся статуями Фидия и Поликлета, но, если бы нам самим предложили стать Фидием и Поликлетом, мы бы с отвращением отказались», — признается один греческий писатель. Почему? Потому что работа скульптора — ручная работа, все равно как у раба.

Даже когда свободный человек оставался без гроша и должен был волей-неволей зарабатывать на жизнь своими руками, он предпочитал наниматься не на долгосрочную работу, а на поденную — сегодня к одному, завтра к другому. Это позволяло ему помнить, что он сам себе хозяин. А на долгосрочном найме он чувствовал себя почти рабом. Жить, перебиваясь со дня на день, — это не пугало, дальше завтрашнего дня не загадывали. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день», — говорится в первой христианской молитве тех времен, когда христианство было еще верой обездоленных.

Человек в своем городе никогда не чувствовал себя одиноким. Он помогал согражданам на войне — они должны были помогать ему в мирное время. Из военной добычи, из дани союзников, из собственных заработков — все равно из каких средств. Еще Перикл ввел плату шести тысячам судей и всенародные раздачи на театральные праздники. Теперь плату ввели и за участие в народном собрании, а праздничные раздачи стали делать вдвое чаще. Раздачи были ничтожные — еле-еле день прожить. Но народ за них хватался с отчаянной цепкостью. «Клей, на котором держится город», — называл их оратор Демад. Был даже закон: все излишки от государственных расходов должны идти только на праздничные раздачи, а кто предложит иначе, того казнить смертью.

Если не удавалось прожить за счет государства, несамолюбивый бедняк мог прожить за счет какого-нибудь богатого или просто зажиточного человека, пристроившись к нему прихлебателем: быть у него на побегушках, забавлять его шутками, а за это кормиться за его столом. В греческих комедиях этого времени такой хитрый нахлебник, выпутывающий из всех бед простоватого хозяина, — самое непременное лицо. По-гречески «на-хлебник» будет «пара-сит» (какое из этого получилось впоследствии слово, ясно каждому).

Так закон поворачивался своей изнанкой: мысль о долге перед государством вытеснялась мыслью о праве на праздность за счет государства. Государство от этого слабело. Лень — свойство общечеловеческое, но в обществе, где есть рабский труд, она расцветает особенно губительно.

Когда чувствуешь право на праздность, то уже не задумываешься о том, откуда берутся средства, на которые ты живешь. Кажется, что средства для этого всегда на свете есть, только распределены нехорошо: у соседа много, у тебя мало. Так паразиту казалось, что раз у его хозяина есть деньги, то такого хозяина можно и нужно обирать; так всем грекам вместе казалось, что раз у персидского царя много богатств, то надо их выклянчить или надо их отбить. И мы видим: новое столетие начинается наемническими войнами на персидский счет, а кончается завоеваниями Александра Македонского. А промежуток заполнен спорами философов, как лучше обращаться с тем добром, которое все-таки есть.

ВОЙНА СТАНОВИТСЯ ПРОФЕССИЕЙ

Было только два занятия, которые свободный грек считал достойными себя, потому что они были самые древние: крестьянский труд и военный труд.

Крестьянским трудом жить было все тяжелее: не успевала земля оправиться от одного междоусобного разорения, как на нее обрушивалось новое. И разорившиеся люди переходили на военный труд: чтоб не быть добычей, становились добытчиками. Если свое государство отдыхало от войны, они нанимались на службу к другому. «Им война — это мир, а мир — война», — говорил о наемниках царь Филипп Македонский.

История нового времени — это мир с прослойками войны, история Греции — война с прослойками мира. Чередование войны и мира казалось грекам естественным, как смена времен года. Собственно, мира даже не бывало: заключались только перемирия, да и те нарушались. Воевали не для завоевания: держать в покорности завоеванную область было трудно даже Спарте. Воевали, чтобы помериться силами и вознаградить себя за победу грабежом; а так воевать можно было до бесконечности. Выходили в поход в мае, когда шла жатва озимых; если побеждали, то жгли поля и грабили дома, а если нет, то это делали противники. Осенью, к сбору оливок и винограда, расходились по домам. Сперва в такие походы ходили всем народом, способным носить оружие. Потом, после кровопролитий большой войны Афин и Спарты, призадумались и стали беречь людей. Тут-то и появился спрос на наемников — на тех, кто готов воевать не за свое, а за чужое дело.

Многие из наемников погибали, немногие возвращались с добычей и поселялись на покое, зычно хвастаясь чудесами, которые они видели, и подвигами, которые они совершали в дальних походах. «Хвастливый воин» стал таким же постоянным героем комедии, как и прихлебатель-паразит. Иные им завидовали. Кто-то сказал: «Вот как война выручает бедняков!» Ему напомнили: «И создает много новых».

Наемники ничего не умели, кроме как воевать, зато воины они были несравненные. Многие были слишком бедны, чтобы завести тяжелое оружие и сражаться в строю. Они бились в холщовой куртке вместо панциря, в кожаных сапогах вместо поножей, с легким щитом в виде полумесяца. Они осыпали вражеский строй дротиками, а потом отбегали, и железные латники не могли их догнать. А когда

афинский вождь Ификрат дал им вместо коротких копий длинные, оказалось, что они могут принять бой даже в строю.

Раньше битвы были простые: два войска латников выстраивались друг против друга и шли стенкой на стенку, а немногочисленная конница прикрывала фланги. Теперь вести бой стало искусством: нужно было согласовать действия и легковооруженных, и тяжеловооруженных, и конницы. «Руки войска — легковооруженные, туловище — латники, ноги — конница, а голова — полководец», — говорил Ификрат. Полководец должен быть не только храбр, но и умен. Говорили: «Лучше стадо баранов во главе со львом, чем стадо львов во главе с бараном». Фиванскому полководцу Пелопиду доложили, что на него собирают новое войско; он сказал: «Хороший флейтист не станет тревожиться оттого, что у плохого флейтиста — новая флейта». Соперник афинского полководца Тимофея хвастался ранами, полученными в первых рядах схватки. Тимофей сказал: «Разве там место полководцу? Мне в бою бывает стыдно, даже если до меня долетит стрела».

Ификрат и Тимофей — эти два полководца вернули афинскому оружию его былую славу. Им удалось даже восстановить Афинский морской союз. (Правда, ненадолго: союзники помнили афинские вымогательские привычки и при первом нажиме покинули афинян.) Особенно удачлив был Тимофей: живописцы рисовали, как он спит, а над его головою богиня Удача рыбацкой сетью ловит ему в плен города. Этот Тимофей был не только вояка — он учился у философа Платона и на его бедных обедах слушал его умные беседы. Он говорил Платону: «Твоя еда хороша не когда ее ешь, а когда о ней вспоминаешь».

Тимофею один из товарищей сказал перед боем: «А отблагодарит ли нас родина?..» Тимофей ответил: «Нет, это мы ее отблагодарим». Это был хороший ответ, но и у товарища были основания для его вопроса. После горького опыта с Алкивиадом афинское народное собрание не доверяло своим полководцам: если они побеждали, то их подозревали в стремлении к тирании, если были побеждены — то в измене.

Некоторым удавалось отделаться от суда шуткою. Одного военачальника обвинили: «Ты бежал с поля боя!» Он ответил: «В вашей компании, друзья!»

Другим приходилось труднее. Ификрата обвинили в подкупе и измене. Он спросил обвинителя: «А ты бы мог предать?» — «Никогда!» — «Так почему же ты думаешь, что я бы мог?» Обвинитель был потомок тираноубийцы Гармо-

дия, Ификрат — сын кожевника; обвинитель попрекал его безродностью. Ификрат ответил: «Мой род мною начинается, твой — тобой кончается».

Все больше греков уходило из дому туда, где лучше платили. А лучше всего платили в Персии. Когда Александр Македонский воевал с последним персидским царем, то он встретил в его войсках не только азиатов, но и наемных греков, и это были лучшие царские бойцы.

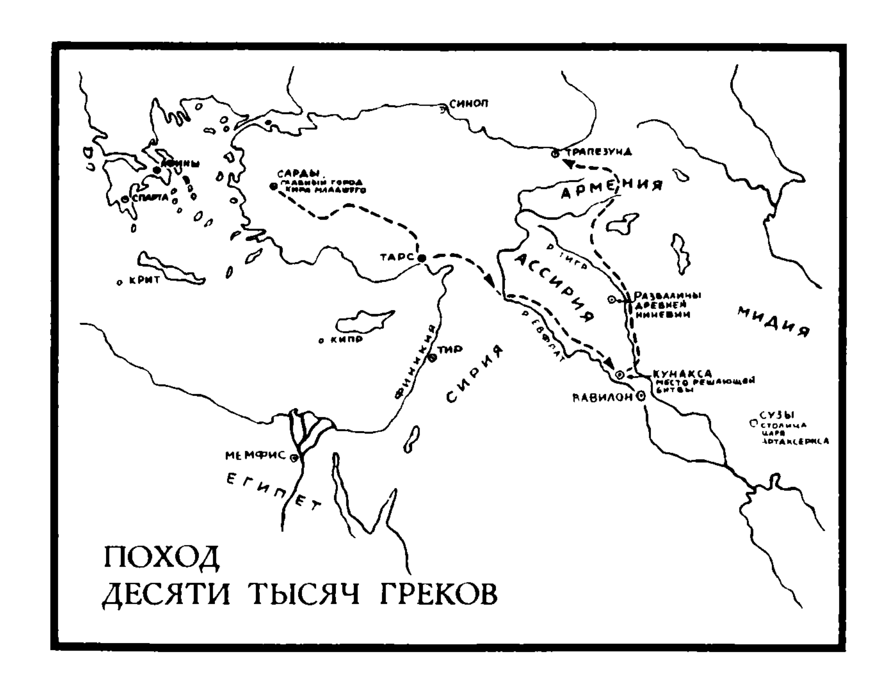
ПОХОД ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ

Самой знаменитой наемнической войной был поход десяти тысяч греков на Вавилон и от Вавилона к Черному морю. Когда-то в Спарте сказали Аристагору: «Ты сошел с ума, если хочешь, чтобы мы удалились на три месяца пути от Греции и моря». Сто лет спустя именно в такой сумасшедший поход двинулись десять тысяч греческих наемников на персидской службе.

В Вавилоне и Сузах правил персидский царь Артаксеркс. В Сардах, рядом с Грецией, был наместником его брат Кир Младший, тезка первого персидского царя. Он был молод, отважен, великодушен и щедр. Это на его деньги удалось спартанцам одержать окончательную победу над афинянами. Кир мечтал свалить брата и стать царем. На персидские свои войска он не надеялся, он стал набирать греков. Их собралось десять тысяч. На родине они воевали друг против друга, здесь чувствовали себя заодно среди чужой страны, где хлеб — просяной, вино — финиковое, путь мерят не короткими стадиями, а длинными парасангами, а по степям бегают дрофы и дикие ослы. Афиняне дразнили спартанцев: «Вас в школах красть учат». Спартанцы отвечали афинянам: «А вы и без ученья красть умеете». Но в строю они бились рядом.

Им сказали, что их ведут против мятежных горцев, и только в дороге открыли настоящую цель. Они взволновались: «Нас не на то нанимали!» Кир обещал им полуторную плату, а когда придут в Вавилон — по пять мин серебра каждому. Две трети пути уже были пройдены; греки пошли дальше.

В трех переходах от Вавилона навстречу показалось царское войско. Сперва на краю неба встало белое облако пыли, потом степной горизонт с трех сторон покрылся чернотой, потом в ней засверкали панцири и копья и видны стали отдельные отряды. Кир выстроил своих: по



ПОХОД ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ ГРЕКОВ

правую руку греков, по левую персов. Грекам он показал туда, где над вражеским войском колыхался царский знак — золотой орел, раскинувший крылья: «Бейте туда, там — царь». Греки не поняли. Для них было главным разбить царское войско, для Кира — убить царя. Против них виднелись ряды царских бойцов с плетеными и деревянными щитами — говорили, что это были египтяне; греки ударили на них, опрокинули, погнали, все больше уходя вдаль от царского орла. Тогда Кир с телохранителями в отчаянии сам поскакал на царский отряд, прорубился до самого Артаксеркса, ударил брата копьем — но тут в глаз ему вонзился дротик, он взмахнул руками, упал с коня и погиб. Персидские его воины разбежались или перешли к Артаксерксу.

Когда вернулись греки, все было кончено. Они готовы были биться дальше, но царь не принял боя. Они были одни в чужой земле, в трех месяцах пути от дома, но чувствовали себя победителями. Царь прислал гонцов: «Сложите оружие и переходите ко мне». Первый из греческих военачальников сказал: «Лучше смерть». Второй: «Если он сильнее, пусть отберет силой, если слабее, пусть назначит на-

граду». Третий: «Мы все потеряли, кроме оружия и доблести, а они друг без друга не живут». Четвертый: «Когда побежденный приказывает победителям, это или безумие, или коварство». Пятый: «Если царь нам друг, то с оружием мы полезнее ему, если враг, то полезнее себе».

Ни один из пятерых не прожил после этого и полутора месяцев. Персы вызвали их на переговоры, поклялись не тронуть и умертвили всех. Они надеялись, что греки растеряются и погибнут. Этого не случилось. Войско сошлось на сходку, как на народное собрание, выбрало новых начальников, деловито обсудило действия и путь. Одним из новых начальников был афинянин Ксенофонт, ученик Сократа; он и оставил описание этого похода.

Направление взяли на север, чтобы выйти к Черному морю. Долго ли до него, не знали.

Сперва путь был по равнине. Слева текла река Тигр, справа тянулись холмы, с холмов за греками следило царское войско: боя не принимало, но при каждой возможности било из луков и пращей. Греки шли четырьмя отрядами, с обозом в середине. В обозе было награбленное: продовольствие, вещи, рабы. Рабы были из местных, по-гречески не понимали, разговаривали с ними знаками, как с немыми. Много забрать нельзя было; что захватывали лишнее, жгли. Народ из деревень на пути разбегался, но прокормиться было можно.

Потом начались горы. В горах жил народ кардухи, не признававший ни царской власти, ни чьей другой. Царское войско отстало. Греки послали объявить, что они враги царю, но не враги кардухам, — те не поняли. Греки шли по ущельям, а со склонов гор на них катились каменные глыбы и летели стрелы. Луки у кардухов длиной в три локтя, а стрелы в два локтя, пробивают и щит и панцирь. Чтобы освободить дорогу, приходилось посылать отряд по тропе на кручу, чтобы зайти еще выше нападающих и бить их сверху, как они греков. Через страну кардухов шли семь дней: каждый день — бой, каждую ночь — со всех сторон на кручах вражеские огни. Горные реки были такие быстрые, что со щитом нельзя было войти в воду — сбивало с ног.

Потом пошло Армянское нагорье. Здесь не было врагов, но здесь был снег. Он был выше колен коню и пешему, днем он сверкал так, что нужно было завязывать глаза, чтобы не ослепнуть, ночью он ямами оседал под кострами. Северный ветер дул в лицо; ветру приносили жертвы, но он не унимался. Было так холодно, что спящим не хотелось вставать из-под снега: сугроб защищал от холода. Замыкающий отряд еле двигался, потому что все время подбира-

ли обмороженных. Передышки делали в армянских деревнях. Жилища там были подземные — и для людей и для скота, из еды был только хлеб и ячменное пиво, которое из глиняных бочек сосали через соломину.

Последние горы были в земле халибов, кователей железа, плясавших на склонах при виде врага. Эти не знали луков и стрел, сражались только врукопашную, убитым отсекали головы кривыми серпами и вздевали на копья в четыре человеческих роста. Пленники и проводники говорили, что море уже недалеко.

Наконец однажды утром передовые взошли на очередную гору и вдруг подняли громкий крик. Идущие следом подумали, что напал враг, и бросились к ним. Крик становился все громче, потому что подбегавшие тоже начинали кричать, и наконец стало слышно, что они кричат: «Море! море!» За несколькими грядами понижающихся гор на горизонте виднелось темное зимнее море. Воины столпились на вершине, все со слезами обнимали друг друга, не разбирая, кто боец, кто начальник. Без приказа бросились собирать камни, складывать курган и на него — добычу, как в дар богам после победы. Проводнику дали в награду коня, серебряную чашу, персидский наряд и десять золотых царских монет, и каждый воин добавил что-нибудь от себя. А потом двинулись вниз — к морю. И через десять дней, придя в первый греческий город — Трапезунд, принесли жертвы Зевсу-Спасителю и Гераклу-Путеводителю и устроили в честь богов состязание: бег, борьбу и конские скачки.

Три месяца шли десять тысяч с Киром на Вавилон, восемь месяцев были они в обратном пути, пока не пришли в знакомые места к эгейским берегам, где их принял воевавший там с персами хромой спартанский царь Агесилай.

АГЕСИЛАЙ И УДАР В СПИНУ

Когда Афины стояли во главе Греции, им понадобилось двадцать-тридцать лет, чтобы все союзники их возненавидели. Когда Спарта сломила Афины и встала во главе Греции, то уже лет через пять она была ненавистна всем.

Спарта была уже не та, что во времена Ликурговых законов и железных денег. От персидской помощи в войне против Афин в Спарте появилось золото. Было объявлено, что это золото — только для государства, а не для частных лиц; все равно частные лица набрасывались на него, крали и припрятывали. Всеобщее равенство спартанцев кончи-

лось: слабые ненавидели сильных, сильные ненавидели равных. Начались заговоры. Когда умер первый человек в Спарте — Лисандр, победитель Афин, в его доме нашли записи с планом государственного переворота: в Спарту придет человек, объявит себя сыном бога Аполлона, ему выдадут в Дельфах тайные пророчества, хранящиеся только для сына Аполлона, и он прочтет в них, что власть двух царей в Спарте надо отменить, а выбрать одного, но лучшего — такого, как Лисандр. Неприятную находку замолчали. В это же время молодой удалец Кинадон, разжалованный из граждан за бедность, налаживал другой заговор гораздо проще. Он приводил товарища на площадь и говорил: «Посчитай, сколько здесь полноправных и сколько неполноправных». Оказывалось: один на сто. «Ну так вот, эти сто по первому знаку набросятся на того одного, нужно только кликнуть клич, что мы за древнее равенство». Среди собеседников нашелся предатель, Кинадона схватили, протащили в колодках по городу и насмерть забили кольями.

Среди этих новых спартанцев, жадных до золота и власти, одиноким обломком древней доблести казался царь Агесилай. Он был мал, хром и быстр, ходил в старом грубом плаще, со своими был приветлив, с иноземцами насмешлив. Когда он был в походах, то спал в храмах: «Когда меня не видят люди, пусть видят боги». В Египте больше всех чудес ему понравился жесткий папирус: из него можно было плести венки для наград еще более простые, чем в Греции. Воины обожали его так, что спартанские власти сделали ему выговор, за то что бойцы любят его больше, чем отечество.

Агесилай уговорил спартанцев начать войну с Персией: чем ждать персидского золота в подарок, лучше захватить его как добычу. Власти колебались. Агесилай представил благоприятный оракул додонского Зевса. Ему велели спросить дельфийского Аполлона. Он спросил в Дельфах: «Подтверждает ли Аполлон слова отца?» На такой вопрос можно было ответить только «да».

Отплытие было торжественным — из Авлиды, оттуда, откуда когда-то плыл на Трою царь Агамемнон. Поход был удачным: изнеженные царские воины не выдерживали спартанского удара. Агесилай раздевал пленников и показывал бойцам на их белые тела и на кучи богатых одежд: «Вот с кем и вот за что вы сражаетесь!» Ионийские города воздавали ему божеские почести; он говорил: «Если вы умеете делать людей богами — сделайте себя, тогда поверю». Персидский царь посылал ему подарки; он отвечал: «Я привык обогащать воинов, а не себя, и добычей, а не подарка-

ми». Он уже собирался идти на Вавилон по следам десяти тысяч, как вдруг из Спарты пришел приказ вернуться. Против Спарты восстали Фивы, Афины, Аргос, Коринф, и государству была нужна его помощь.

Повторялась знакомая история. Когда-то войну с Персией вели афиняне, и спартанцы при Танагре нанесли им удар в спину. Теперь войну с Персией вели спартанцы, и афиняне с союзниками в свою очередь наносили удар в спину. На этот раз им помогало персидское золото: перестав платить Спарте, царь стал платить ее врагам. Покидая Азию, Агесилай показал друзьям царскую монету с изображением стрелка и сказал: «Вот какие стрелки выгнали нас отсюда!» А услышав о первых битвах междоусобной войны, воскликнул: «Бедная Греция! Ты столько погубила своих, сколько хватило бы победить всех варваров!»

Спартанцев было легче разбить на море, чем на суше. Царь двинул на Грецию свой флот; у входа в Эгейское море, при Книде, городе Афродиты, спартанцы были разбиты. Во главе персидского флота — неслыханное дело! — стоял афинянин. Его звали Конон; это он десять лет назад, не послушавшись Алкивиада, погубил афинский флот при Эгоспотамах, Козьей реке. Теперь он плыл восстанавливать афинское могущество — на го́ре Спарте и на радость персидскому царю. Знаком афинского могущества были городские стены, связывавшие Афины с их портом Пиреем: в них Афины были неприступны. Их начали строить при Фемистокле, разрушили при «тридцати тиранах» и теперь выстроили вновь; строителям платили персидским золотом.

Агесилай спешил в Грецию посуху, в обход Эгейского моря, через земли диких фракийцев. Он спрашивал: «Как идти мне по вашей земле: подняв копья или опустив копья?» — и они его пропускали. Вступив в Грецию, он разбил восставших союзников в тот самый день, в какой к нему долетела весть о гибели флота при Книде. Но решить исход войны это не могло. Взаимоистребление продолжалось.

Наконец спартанцы изнемогли и послали униженное посольство к персидскому царю: просить прощения за войну против него и просить союза против врагов. Тотчас же и с тем же туда послали и афиняне, и фиванцы, и все остальные. Артаксеркс сидел на высоком троне, послы кланялись ему земными поклонами. Одному фиванцу стыдно было кланяться — он уронил наземь перстень и наклонился, как бы подбирая его. Артаксеркс одаривал послов подарками — никто не отказывался; афинский посол увез их столько, что потом в афинском народном собрании в шутку предложили каждый год отправлять к царю по девять бедняков за по-

живою. Один спартанец не стерпел и начал ругать персидские порядки; царь велел объявить, что тот может говорить что хочет, а он, царь, — делать что хочет.

Договор «Царского мира» начинался словами: «Царь Артаксеркс полагает справедливым, чтобы ионийские города остались за ним, прочие же города греков были друг от друга независимы... А кто не примет этого мира, тот будет иметь дело со мной». Чего не мог добиться Ксеркс, добился Артаксеркс: персидский царь распоряжался Грецией, как своей, и притом — не введя в нее ни одного солдата.

«Как счастлив персидский царь!» — сказал кто-то Агесилаю. «И троянский Приам в его возрасте был счастлив», — мрачно ответил Агесилай.

ПЕЛОПИД И ЭПАМИНОНД

Если посмотреть на карту Греции и вспомнить историю Греции, то откроется любопытная закономерность: сила Греции постепенно сдвигалась с востока на запад. Когда-то, при Фалесе Милетском, самыми цветущими были города малоазиатской Ионии. После персидских войн самым сильным государством стали Афины. Разбитые Спартой, они ослабели, зато вдруг возвысился (ненадолго, но ярко) западный их сосед — беотийские Фивы. Потом западнее Фив еще быстрее набрала и потеряла силу Фокида, потом Этолия; дальше было море, а за морем новый хозяин мира — Рим.

Сейчас очередь была за Фивами. До сих пор они были городом большим, но тихим, жили по дедовским законам, повинуясь знати, числились союзниками спартанцев и мирно терпели в своей крепости Кадмее спартанский гарнизон. Теперь они восстали, сбросили спартанскую власть, завели такую же демократию, как в Афинах, и десять лет ходили освободительными походами по всей Греции. Вождями Фив в это славное десятилетие были два друга — Пелопид и Эпаминонд.

Пелопид был знатен, богат, горяч и щедр, Эпаминонд — беден, нелюдим и серьезен. Пелопид командовал фиванской конницей, Эпаминонд — пехотой. И благодаря Эпаминонду фиванская пехота сделала чудо: нанесла непобедимым спартанцам такое поражение, после которого власти Спарты над Грецией навсегда пришел конец.

Борьба началась с падения Кадмеи. Спартанского начальника в Кадмее звали Архий. К нему на пир принесли донос о том, что в Фивах против спартанцев готовится заго-

вор. «Это важное дело? — спросил Архий. — Тогда не на пиру, тогда — завтра». До завтра он не дожил: на этом пиру его и убили. Его отряд сдал крепость за право выхода с оружием в руках. Когда сдавшиеся вернулись в Спарту, их всех казнили за унижение спартанской чести.

Спартанское войско двинулось на Фивы. Выходить против него было страшно. Гадатели бросили жребий: часть жребиев выпала благоприятных, часть неблагоприятных. Эпаминонд разделил их на две кучки и обратился к фиванцам: «Если вы храбры, то ваши жребии — вот, если трусливы — то вот».

Перед боем жена просила Пелопида поберечь себя. Он ответил: «Это надо советовать простому воину, а дело полководца — беречь других».

Войска сошлись близ города Левктры. Пелопиду сказали: «Мы попались неприятелю». Пелопид возразил: «А почему не он — нам?»

Фиванцы выиграли битву, потому что Пелопид и Эпаминонд выстроили войска по-новому: одно крыло усилили, другое ослабили и пошли на спартанскую фалангу не ровным строем, а сильным крылом вперед. Маневрировать фаланга умела плохо, перестроиться не успела и была смята сперва на одном крыле, а потом и повсюду. Поле боя осталось за фиванцами; спартанцы прислали просить о выдаче им мертвых для погребения. Чтобы они не могли преуменьшить свои потери, Эпаминонд позволил подбирать мертвых не всем сразу, а сперва спартанским союзникам, потом спартанцам. Тогда и стало видно, что одних спартанцев пало больше тысячи.

Весть о страшной битве пришла в Спарту в день праздника. Шли состязания в пении. Эфоры разослали по домам извещения о павших, воспретили всякий траур и продолжали надзирать за состязаниями. Родственники павших приносили богам жертвы и радостно поздравляли друг друга с тем, что их близкие пали героями; родственники спасшихся казались убиты горем. Лишь спустя три года, когда спартанцам удалось одержать победу над союзниками Фив, не потеряв ни одного человека, — она вошла в историю как «бесслезная битва» — прорвались настоящие чувства. Правители поздравляли воинов, женщины ликовали, старики благодарили богов. А ведь когда-то победа над неприятелем была в Спарте таким обычным делом, что даже в жертву богам не приносили ничего, кроме петуха.

Фиванцы вторглись в Пелопоннес, подошли к самой Спарте. Все пелопоннесские союзники отложились от Спарты. В городе не было войск. Навстречу врагу вышла горст-

ка стариков с оружием в руках. Пелопид и Эпаминонд не унизились до такой битвы и отступили.

Был праздник, фиванцы пели и пили, Эпаминонд один бродил в задумчивости. «Почему ты не веселишься?» — спросили его. «Чтобы вы могли веселиться», — ответил он.

От побед приходит самомнение: народу стало казаться, что Эпаминонд мог бы сделать для Фив еще больше, чем сделал. Его привлекли к суду за то, что он командовал войском на четыре месяца дольше положенного. Он сказал: «Если вы меня казните, то над могилой напишите приговор, чтобы все знали: это против воли фиванцев Эпаминонд заставил их выжечь Лаконию, пятьсот лет никем не жженную, и для всех пелопоннесцев добиться независимости». И суд отказался судить Эпаминонда.

Эпаминонд не богател в походах. У него был только один плащ, и, когда этот плащ был в починке, Эпаминонд не выходил из дому. Пелопида упрекали за то, что он не поможет другу, — Эпаминонд отвечал: «Зачем деньги воину?» Персидский царь прислал ему тридцать тысяч золотых — Эпаминонд ответил: «Если царь хочет добра Фивам, я и бесплатно буду ему другом, а если нет — то врагом».

Пелопид попал в плен к фессалийскому тирану Александру Ферскому. Он держался так гордо, что Александр спросил: «Почему ты так стараешься скорее умереть?» — «Чтобы ты стал ненавистнее и скорее погиб», — ответил Пелопид. Он оказался прав: Александр вскоре был убит.

Пелопид остался жив. Он погиб через несколько лет, в бою. Перед битвой ему сказали: «Берегись, врагов много». Он ответил: «Тем больше мы их перебьем». Из этой битвы он не вернулся.

Эпаминонд тоже погиб в бою — в бою под Мантинеей, на котором кончилось десятилетнее фиванское счастье. Раненого, его вынесли из схватки и положили под деревом. Битва уже кончалась. Он попросил позвать к нему Даифанта. «Он убит». — «Тогда Иолаида». — «И он убит». — «Тогда заключайте скорее мир, — сказал Эпаминонд, — потому что больше в Фивах нет достойных полководцев». Он впал в забытье, потом спросил, не потерял ли он щит. Ему показали его щит. «Кто победил в бою?» — «Фиванцы». — «Тогда можно умирать». Он приказал вынуть из раны торчавший в ней дрот, хлынула кровь. Кто-то из друзей пожалел, что он умирает бездетным. Эпаминонд сказал: «Мои две дочери — победы при Левктре и Мантинее».

ДАМОКЛОВ МЕЧ

Говоря о Пелопиде, пришлось упомянуть фессалийского тирана Александра Ферского. Он был лишь одним из многих полководцев, которые в этот бурный век пользовались народными смутами, чтобы захватить власть и править, не считаясь ни с кем и опираясь только на войско, как за двести лет до этого правили Поликрат, Писистрат и другие тираны. Возможностей для этого теперь было больше: собрать наемное войско, как мы видели, было проще простого. Оправданий для этого теперь тоже было больше: уроки софистов позволяли сказать, что от природы существует лишь право сильного, а все остальное — условности. Но по сравнению с прежними тиранами у новых было больше жадности и страха. Жадности — потому что наемников стало больше и платить им нужно было больше. Страха — потому, вероятно, что софистические оправдания так и не могли заглушить голос совести. Самым сильным, жадным и боящимся, а стало быть, и самым жестоким тираном этого времени был Дионисий Старший в сицилийских Сиракузах.

Он был похож на Алкивиада, дорвавшегося до желанной власти. У него и титул был такой же: полководец-самодержец. Но он не тратил, как Алкивиад, душевных сил на пустой разгул. Он пришел к власти, обещав народу две вещи: отбить карфагенян, уже сто лет теснивших сицилийских греков, и унять знатных и богатых, забравших слишком много силы. И то и другое он сделал. Богатых врагов своих он арестовал, земли их поделил между разорившимися бедняками, на деньги их набрал наемников, оттеснил карфагенян, объединил две трети Сицилии под своей единой властью. А дальше пошло само собой: деньги были все так же нужны, враги все так же страшны — начались поборы и подозрительность.

Разведчики и доносчики у Дионисия были самые лучшие в Греции. Рассказывали, будто в страхе перед ними карфагенские власти под угрозой смерти запретили карфагенянам знать греческий язык. Но доносили Дионисиевы люди, конечно, не только на карфагенян. Знаменитые сиракузские каменоломни — та каторга, где держали когда-то пленных афинян, — никогда не пустовали при Дионисии. Люди мучились здесь годами и десятилетиями, рожали здесь детей, те вырастали, и если их выпускали на волю, то они шарахались, как дикие, от солнечного света, от людей и от коней.

Это у Дионисия был друг Дамокл, который однажды

сказал: «Пожить бы мне, как живут тираны!» Дионисий ответил: «Изволь!» Дамокла роскошно одели, умастили душистым маслом, посадили за пышный пир, все вокруг суетились, исполняя каждое его слово. Среди пира он вдруг заметил, что над его головой с потолка свисает меч на конском волосе. Кусок застрял у него в горле. Он спросил: «Что это значит?» Дионисий ответил: «Это значит, что мы, тираны, всегда живем вот так, на волосок от гибели».

Дионисий боялся друзей. Одному из них приснился сон, будто он убивает Дионисия; тиран отправил его на казнь: «Чего человек тайно хочет наяву, то он и видит во сне» (современные психологи это бы подтвердили). Дионисий боялся подпускать к себе цирюльника с бритвою и заставил дочерей научиться цирюльному делу, чтобы брить его. Потом он стал бояться и дочерей и стал сам выжигать себе волосы раскаленной ореховой скорлупой.

Его бранили за то, что он чтит и одаряет одного негодяя. Он сказал: «Я хочу, чтобы хоть одного человека в Сиракузах ненавидели больше, чем меня».

Он грабил храмы. Со статуи Зевса он обобрал золото и накинул вместо этого на нее шерстяной плащ: «В золоте Зевсу летом слишком жарко, а зимою слишком холодно». У статуи Асклепия, бога врачевания, сына Аполлона, он велел отнять золотую бороду: «Нехорошо сыну быть бородатым, когда отец — безбородый».

Он наложил побор на сиракузян; те плакались, говоря, что у них ничего нет. Он наложил второй, третий — до тех пор, пока ему не доложили, что сиракузяне уже не плачут, а насмехаются. Тогда он остановился: «Значит, у них и вправду больше ничего нет».

Ему донесли однажды, что одна старушка в храме молит богов о здоровье тирана Дионисия. Он так изумился, что призвал ее к себе и стал допрашивать. Старушка сказала: «Я пережила трех тиранов, один был хуже другого; каков же будет четвертый?»

А между тем, если нужно, он умел пленять народ. Когда шла война с Карфагеном и надо было обнести Сиракузы стеной как можно скорее, он работал на стройке простым каменщиком, подавая всем пример.

Он умел ценить благородство. В Сиракузах было два друга — Дамон и Финтий. Дамон хотел убить Дионисия, был схвачен и осужден на казнь. «Позволь мне отлучиться до вечера и устроить свои домашние дела, — сказал Дамон, — заложником за меня останется Финтий». Дионисий рассмеялся над такой наивной уловкой и согласился. Подошел вечер, Финтия уже вели на казнь. И тут, продравшись сквозь

толпу, подоспел Дамон: «Я здесь; прости, что замешкался». Дионисий воскликнул: «Ты прощен! а меня, прошу, примите третьим в вашу дружбу». У Фридриха Шиллера есть об этом баллада, она называется «Порука».

Дионисий даже был поэтом-любителем, и слава поэта была ему дороже славы полководца. Его советником был лирик Филоксен, веселый и талантливый. Дионисий читал ему свои стихи, Филоксен сказал: «Плохо!» Дионисий велел заковать его и бросить в каменоломню. Через неделю друзья его вызволили. Дионисий призвал его и прочел ему новые стихи. Филоксен вздохнул, повернулся к начальнику стражи и сказал: «Веди меня обратно в каменоломню!» Дионисий рассмеялся и простил его. Один из забоев в сиракузских каменоломнях так и назывался Филоксеновым.

Умер Дионисий после попойки на радостях, что афиняне присудили награду сочиненной им трагедии. Сделали они это, конечно, не по чести, а из лести. Дионисию было пророчество, что он умрет, когда победит сильнейших. Он думал, что это относится к его войне с карфагенянами, а оказалось, что к его соперникам-драматургам. «Потому что сильнейших одолевают где угодно, только не на войне», — рассудительно замечает сообщающий это историк Диодор.

АРИСТИПП, УЧИТЕЛЬ НАСЛАЖДЕНИЯ

При Дионисии Старшем (и при сыне его Дионисии Младшем) были не только придворные поэты, но и придворные философы. Придворные — это значит такие, чтобы их было приятно слушать, легко понимать, в веселую минуту потешаться, а в важную — не обращать на них внимания. Самым подходящим для этого философом оказался Аристипп из города Кирены.

Как ни странно, он был учеником Сократа. Как Сократ, он заглядывал в собственную душу, только очень неглубоко. Он заметил в ней лишь то, что было на самой поверхности: человек, как и всякое животное, ищет приятного и избегает неприятного. Он повторял за Сократом: «Я знаю, что я ничего не знаю», но добавлял к этому: «...кроме собственных ощущений». Он говорил: «Сократ жил как нищий, но почему? Потому, что это доставляло ему ощущение удовольствия. Значит ли это, что житье в богатстве и роскоши не может доставлять никакого удовольствия? Нет, отлично может. Будем же им пользоваться, лишь бы оно не стесняло свободы нашего духа. Если мы обладаем наслаждением

— это очень хорошо; вот если наслаждение подчиняет себе нас — это плохо. Постараемся же одинаково свободно и приятно чувствовать себя и в пурпуре, и в лохмотьях!»

Так он и старался жить. Однажды он шел по дороге, а за ним раб, обливаясь потом, тащил мешок с его деньгами. Аристипп обернулся и сказал: «Что ты надрываешься? Выбрось лишнее — и идем себе дальше». Аристиппа попрекали тем, что он любовник Лаисы, самой модной красавицы во всей Греции. Он отвечал: «Что ж тут худого? Ведь это я обладаю Лаисой, а не она мною». Дионисий Сиракузский однажды предложил ему выбрать одну из трех красивых рабынь. Аристипп забрал всех трех, сказавши: «Троянскому Парису плохо пришлось за то, что он выбрал одну богиню из троих!» — а доведя их до своего порога, отпустил на все четыре стороны. Потому что ему нужны были не рабыни, а чувство удовольствия.

Один философ, застав его за богатым обедом с женщинами и музыкантами, стал его бранить. Аристипп подождал немного и спросил: «А если бы тебе предложили все это даром, ты бы взял?» — «Взял бы», — ответил тот. «Так что же ты ругаешься? Видно, тебе просто дороже деньги, чем мне — наслаждение».

Когда он впервые явился к Дионисию, тот спросил, зачем он пожаловал. Аристипп ответил: «Чтобы поделиться тем, что у меня есть, и поживиться тем, чего у меня нет». Дионисий сказал: «Почему это вы, философы, ходите к дверям богачей, а не богачи к дверям философов?» Аристипп ответил: «Потому что мы знаем, что нам нужно, а вы не знаете» — и добавил: «Ведь и врачи ходят к дверям больных, и тем не менее всякий предпочел бы быть не больным, а врачом».

Однажды он заступался перед Дионисием за друга, Дионисий не слушал, Аристипп бросился к его ногам. Ему сказали: «Стыдно!» Он ответил: «Не я виноват, а Дионисий, у которого уши на ногах растут». — «Скажи что-нибудь философское!» — потребовал от него Дионисий. «Смешно! — ответил Аристипп. — Ты у меня учишься, что и как надо говорить, и ты же меня учишь, когда надо говорить!» Дионисий рассердился и велел Аристиппу перейти с почетного места за столом на самое дальнее. «Где я сижу, там и будет почетное место!» — отозвался Аристипп. Дионисий рассвирепел и плюнул Аристиппу в лицо. Аристипп вытерся и сказал: «Рыбаки подставляют себя брызгам моря, чтобы поймать мелкую рыбешку; я ли испугаюсь вот этих брызг, если хочу поймать такую большую рыбу, как Дионисий?» А когда его спросили, почему Дионисий недоволен им, он

ответил: «Потому же, почему все остальные недовольны Дионисием».

Кто-то привел к нему в обучение сына; Аристипп запросил пятьсот драхм. Отец сказал: «За эти деньги я мог бы купить раба!» — «Купи, — сказал Аристипп, — и у тебя будет целых два раба». — «А что ему даст твое учение?» — спросил отец. «Хотя бы то, что он не будет сидеть в театре, как камень на камне». (Сиденья в греческих театрах под открытым небом были каменные.)

Он был очень непохож на Сократа. Но, как все, кто знал афинского лукавого мудреца, он любил его и помнил всю жизнь. На вопрос: как умер Сократ? — он отвечал: «Так, как и я желал бы умереть». Один оратор, защищавший Аристиппа в суде, спросил его: «Что тебе дал Сократ?» — «Благодаря ему, — ответил Аристипп, — все, что ты говорил хорошего обо мне, было правдой».

У Аристиппа был острый язык и легкий характер, греки его любили и долго помнили рассказы о нем. Но если всмотреться, мы узнаем в нем хорошо знакомый и не очень уважаемый тип этого времени — парасита, профессионального прихлебателя. Заурядные прихлебатели нахлебничали по голодной необходимости — Аристипп придумал для себя красивое философское оправдание. Но в основе его было все то же опасное чувство: право на праздность.

ДИОГЕН В БОЧКЕ

Аристипп учился наслаждаться. А другой ученик Сократа, по имени Антисфен, восклицал: «Лучше безумие, чем наслаждение!» А потом, успокоившись: «Презрение к наслаждению — тоже наслаждение».

Из всего, что говорил Сократ, он лучше всего запомнил: «Как приятно, что есть столько вещей, без которых можно обойтись!» Наше тело — в рабстве у потребностей в еде, питье, тепле и отдыхе, а наша мысль свободна, как бог. Так будем же держать тело, как раба, в голоде и холоде — и тем упоительнее будет наслаждение свободой духа, единственное истинное удовольствие — не чета аристипповским! Настоящему мудрецу ничего не нужно и никто не нужен, даже сограждане; одинокий, он бродит по свету, кормясь чем попало, и показывает всем, что телом он нищий, а по сути — царь. Если у Аристиппа была философия прихлебателя, то у Антисфена — философия поденщика, который

живет на случайные гроши, но горд своей законной свободой.

Вот к этому Антисфену пришел однажды учиться коренастый бродяга из черноморского Синопа по имени Диоген, сын фальшивомонетчика. Антисфен никого не хотел учить; он замахнулся на Диогена палкой. Тот подставил спину и сказал: «Бей, но выучи!» Удивленный Антисфен опустил палку, и Диоген стал его единственным учеником.

О чем Антисфен говорил, то Диоген сделал. Он бродил по Греции босой, в грубом плаще на голое тело, с нищенской сумой и толстой палкой. Всего добра была у него только глиняная чашка, да и ту он хватил о камень, увидев однажды, как какой-то мальчик пил у реки просто из ладоней. В Коринфе, где он бывал чаще всего, он устроил себе жилье в круглой глиняной бочке — пифосе. Ел на площади, на виду у всех, переругиваясь с мальчишками: «Если можно голодать на площади, то почему нельзя и есть на площади?» Кормился подаянием, требуя его, как должного: «Если ты даешь другим — дай и мне, если не даешь — начни с меня». Кто-то хвалил подавшего Диогену милостыню; «А меня ты не хвалишь за то, что я ее заслужил?» — рассердился Диоген. Кто-то дразнился, что хромым и слепым милостыню подают, а философам нет; Диоген объяснил: «Это потому, что люди знают: хромыми и слепыми они могут стать, а философами никогда». Ему говорили: «Ты живешь как собака». Он отвечал: «Да: давшему виляю, на недавшего лаю, недоброго кусаю». «Собачьими философами» прозвали Диогена и его учеников, по-гречески — «киниками», и до сих пор слово «циник» значит «бесстыдный злой насмешник». А знаменитый Платон, когда его спросили о Диогене, ответил коротко: «Это взбесившийся Сократ».

Диоген мыл у ручья коренья себе для еды; Аристипп сказал ему: «Умел бы ты водиться с тиранами — не пришлось бы тебе мыть коренья». Диоген ответил: «Умел бы ты мыть коренья — не пришлось бы тебе водиться с тиранами».

Он ходил по улицам среди дня с фонарем и кричал: «Ищу человека!» Его спрашивали: «И не нашел?» — «Хороших детей нашел в Спарте, хороших мужей — нигде». Однажды его захватили пираты и вывели продавать в рабство. На вопрос, что он умеет делать, Диоген ответил: «Хороших людей» — и велел глашатаю: «Объяви: не хочет ли кто купить себе хозяина?» Его купил коринфянин Ксениад; Диоген сказал ему: «Теперь изволь меня слушаться!» Тот опешил, а Диоген пояснил: «Если бы ты был болен и купил себе врача, ты бы ведь его слушался?» Ксениад приставил

его дядькой к своим детям, Диоген воспитывал их по-спартански, и они в нем души не чаяли.

Ему говорили: «Ты изгнанник». Он отвечал: «Я — гражданин мира». — «Твои сограждане осудили тебя скитаться». — «А я их — оставаться дома». Кто гордился своим чистокровным знатным родом, тому он говорил: «А любой кузнечик еще тебя чистокровнее». Кто дивился, как много висит в храме Посейдона приношений от пловцов, спасенных богом от кораблекрушений, тому он напоминал: «А от неспасенных было бы в сто раз больше». Кто-то совершал очистительную жертву — Диоген сказал: «Ты не думай, очищение заглаживает дурные поступки не больше, чем грамматические ошибки». А когда на Коринф напали враги и граждане, толкаясь и гремя оружием, побежали на городские стены, то Диоген, чтоб его не попрекнули праздностью, выкатил на вид свою бочку и стал катать ее и стучать в нее.

Над ним смеялись, но его любили. И когда коринфские дети из озорства разломали его бочку, то коринфские граждане постановили: детей высечь, а Диогену выдать новую бочку.

Он дожил до дней Александра Македонского. Когда Александр был в Коринфе, он пришел посмотреть на Диогена. Тот лежал и грелся на солнце. «Я Александр, царь Македонии, а скоро и всего мира, — сказал Александр. — Что для тебя сделать?» — «Отойди в сторону и не заслоняй мне солнце», — ответил Диоген. Александр отошел и сказал друзьям: «Если бы я не был Александром, я хотел бы быть Диогеном».

Умер Диоген будто бы в тот же самый день, что и Александр в далеком Вавилоне. Почувствовав приближение конца, он притащился на городской пустырь, лег на краю канавы и сказал сторожу: «Когда увидишь, что не дышу, столкни в канаву, пусть братцы-псы полакомятся». Но коринфяне отняли у сторожа тело Диогена, похоронили с честью, над могилой поставили столб, а на столбе — мраморного пса.

ПЕЩЕРА ПЛАТОНА

Аристипп сочинил для нового века философию прихлебателя, Антисфен — философию поденщика, а философию хозяев жизни — тех, кто знатен, богат и хочет власти, — сочинил Платон.

Имя Платон значит «широкий»: так прозвали его в юности за ширину плеч и продолжали звать в старости за широту ума. Он был из знатнейшего афинского рода, предком его был Солон. Смолоду он писал стихи, но однажды, когда он нес в театр только что сочиненную трагедию, он услышал разговор Сократа, швырнул свою трагедию в огонь и стал самым преданным учеником Сократа. А когда афинская народная власть казнила Сократа, он возненавидел эту народную власть на всю жизнь.

Сократ никогда ничего не писал: он только думал и разговаривал. Когда думаешь, то твоя мысль в движении, а чтобы записать, ее надо остановить. Сократ не хотел останавливать свою мысль — за это он и погиб. А Платон положил всю свою жизнь именно на то, чтобы остановить мысль: пусть она изобразит нам самое прекрасное, самое настоящее, самое лучшее, мы это запишем, мы это устроим, и дальше пусть ничего не меняется: пусть начнется вечность. Страх перед безостановочностью мысли был в Платоне так же силен, как и в ненавистных ему афинских судьях.

Как и все, он видел вокруг, что люди живут плохо, и думал, какие нужно ввести порядки, чтобы жизнь стала хороша раз и навсегда. Но начинал он свою мысль очень издали.

Сократ говорил: человек должен заботиться не о мироздании, а о своих человеческих делах: обдумать хороший поступок — и совершить его. Но ведь так же работает любой столяр: обдумает, какой он хочет стол, — и сделает его. При этом сделанный стол никогда не бывает так хорош, как задуманный: то рука дрогнет, то доска плохая попадется. Откуда же в уме у столяра его замысел прекрасного стола, если на свете он таких столов никогда не видел? Должно быть, он заглянул умственными очами в какой-то мир, где существует всем-столам-Стол и всем-горам-Гора и всем-правдам-Правда, — заглянул, увидел и постарался воспроизвести этот Стол в дереве, как Сократ старался воспроизвести эту Правду в хороших поступках. Самому Платону этот умопостигаемый мир виделся настолько ясно, что он так и назвал этот Стол и эту Гору «образами» стола и горы

— по-гречески «идеями». В них нет ничего лишнего, ничего случайного, что всегда бывает в земных предметах, все прекрасно, выпукло и ярко: не стол, а сама Стольность, не гора, а сама Горность, а выше всех — Правда, Красота и Добро. «А я вот, Платон, стол и гору почему-то вижу, а Стольности и Горности, хоть убей, не вижу!» — перебивал его ругатель Диоген. «Это потому, что у тебя нет для этого глаз, — отвечал Платон. — Все твои столы и горы — лишь тени, падающие от идеи-Стола и идеи-Горы». Как это — тени? А вот как.

Представьте себе: идет дорога, а вдоль дороги — длинная щель в земле, а под этой щелью — длинная подземная пещера, вроде тюрьмы для рабов. В пещере сидят люди в колодках — ни пошевелиться, ни оглянуться; за спиной у них светлая щель, перед глазами у них голая стена, и на эту стену падают их тени и тени тех, кто проходит по дороге. Узники видят мелькание теней, слышат эхо голосов, сопоставляют, догадываются, спорят. Но если кого-нибудь из них расковать, вывести на ослепляющий солнечный свет, показать ему настоящий мир, а потом спустить его обратно к его друзьям, — они ему не поверят. Вот таковы и философы, заглянувшие в мир идей, среди толпы, живущей в мире вещей.

Что же позволяет им, философам, заглядывать в мир идей? Воспоминание. Наши души до нашего рождения жили там, в мире идей, и оттуда сходили мучиться в наши тела, как с солнечного света в подземную пещеру. И, видя здесь деревянный стол и каменную гору, душа вспоминает идею-Стол и идею-Гору и понимает, что такое перед ней. А видя здесь красивого человека, душа не остается спокойной, она вспыхивает любовью и рвется ввысь, потому что это для нее напоминание о несравненной красоте мира идей. И когда поэт творит стихи, то он вдохновляется не тем, что он видит вокруг себя, а тем, что помнит его душа из виденного до рождения. Если же стихи или картины списаны не с идей, а с вещей, то грош им цена: ведь если вещи — лишь тени идей, то такие стихи — тень теней.

Такими обрывками воспоминаний живут все, постоянно же созерцать мир идей могут лишь немногие. Для этого нужны долгие годы умственных упражнений, начиная с самых простых — над геометрическими фигурами. Когда мы говорим «квадрат», то все представляем себе одно и то же; когда говорим «правда», то совсем не одно и то же; так вот, вглядываясь и вдумываясь, нужно добиться того, что и правда будет одна для всех, как геометрия — одна для всех. Кто до этого досмотрелся, тем и должна принадле-

жать власть, и они создадут такое государство, которое будет вечно и неизменно, как мир идей. Когда-то в Греции власть принадлежала самым знатным; потом — самым многочисленным; теперь пришла очередь самых мудрых.

Государство должно быть едино, как живое существо: каждый член его знает свое дело, и только свое. В человеческом теле есть три жизненные силы: в мозгу — разум, в сердце — страсть, в печени — потребность. Так и в государстве должны быть три сословия: философы — правят, стражи — охраняют, работники — кормят. Достоинство правителей — мудрость, стражей — мужество, работников — умеренность. К каждому человеку начинают присматриваться еще за детскими играми, определяют способности и причисляют к сословию — чаще всего, конечно, к тому, из которого он и вышел. Если он правитель или страж, то он освобожден от труда на других, зато и не имеет ничего своего: здесь все равны друг другу, все едят за одним столом, как в древней Спарте, все имущество — общее, даже жены и дети — общие; кратковременными браками распоряжаются правители, заботясь лишь о том, чтобы у детей была хорошая наследственность. Если же он работник, то ему назначают труд по склонностям и способностям, и менять его он уже не имеет права. Думать дозволено лишь правителям; остальным — только слушаться и верить. Сами правители верят в мир идей, а для работников сочиняют такие мифы, какие сочтут нужными. Ибо как иначе можно что-то объяснить тем, кто сидит в пещере теней и никогда не видел солнца?

Такова была живая государственная машина, с помощью которой Платон хотел удержать от развала привычный ему мир — город-государство, крепкое законом и единством. Здесь каждый приносит себя в жертву государству, чтобы оно стояло вечно, обновляясь, но не меняясь, как небесный свод. И, глядя на эту цель всей жизни Платона, невольно думаешь: а ведь попади в такое государство Сократ, не умеющий останавливать свою мысль ни на каком совершенстве, на всякое «знаю» отвечающий «а вот я не знаю», — и его ждала бы такая же смерть, как в Афинах. Понимал ли это Платон?

17 Зак. 4463.

УРОК АТЛАНТИДЫ

Государство было придумано — государство нужно было построить. «Не быть в людях добру, пока философы не станут царями или цари — философами», — сказал Платон. Он окинул Грецию взглядом: где тот царь, которого можно сделать философом, чтобы он после этого сделал философов царями? Взгляд его остановился на Сиракузах — на Дионисии Старшем, а потом на сыне его Дионисии Младшем. И Платон, ненавистник тирании, потомок аристократов-тираноборцев, поехал к сиракузским тиранам.

С Дионисием Старшим разговор его был недолог. Платон встал перед Дионисием и начал говорить, как жалок тиран в сравнении с мудрецом. Дионисий слушал мрачно. «Стало быть, тиран не мудр?» — «Мудр лишь тот, кто делает сограждан лучше». — «И не храбр?» — «Храброму ли бояться собственного цирюльника?» — «И не справедлив в суде?» — «Всякий суд лишь штопает дыры в лохмотьях Справедливости». — «Зачем же ты, в таком случае, приехал?» — «Искать совершенного человека». — «Тогда считай, что ты его не нашел!» И Дионисий удалился, отдав приказ: когда Платон поедет обратно в Афины, схватить его и продать в рабство.

Платона вывели на продажу в незнакомом городе — он не сказал ни слова. Среди народа случайно оказался Анникерид, ученик Аристиппа; он узнал Платона, купил его и тотчас отпустил на волю. Афинские друзья Платона хотели возместить ему эти деньги — Анникерид гордо ответил: «Знайте: не только в Афинах умеют ценить философию».

В сказочные времена жил близ Афин герой Академ. Когда царь Тесей похитил в Спарте юную Елену и ее братья Диоскуры погнались за похитителем, Академ показал им, где спрятана их сестра. Поэтому, когда спартанцы разоряли афинскую землю, они не тронули той пригородной рощи, где когда-то жил Академ. Эта «Академия» осталась мирным уголком среди раздоров и бедствий. Здесь на те деньги, которых не принял Анникерид, друзья купили Платону усадьбу. На воротах ее написали: «Не знающим геометрии вход воспрещен». Здесь он думал, писал, беседовал с учениками и ждал царя-философа.

Прошло двадцать с лишним лет. Дионисия Старшего в Сиракузах сменил Дионисий Младший — неумный, своенравный и распущенный. Отец боялся в сыне соперника, держал его взаперти и ничему не учил, и тот коротал скуку, сколачивая деревянные тележки и столики. Придя к

власти, он загулял: попойки его длились по девяносто дней, а все дела в государстве стояли. Ему было совестно своего невежества и нрава, но перебороть себя он не мог. У него был дядя, по имени Дион, страстный поклонник Платона. Дион предложил пригласить в Сиракузы Платона и дать ему земли и денег для основания философского государства. Дионисий ухватился за эту мысль всей своей неспокойной совестью.

Платон вторично отправился в Сиракузы и был принят по-царски. Дионисий от него не отходил, геометрия стала придворной модой, комнаты дворца были засыпаны песком, на котором чертились чертежи. Больше того — Платон единственный мог входить к тирану без обыска. Аристипп обиженно говорил: «С таким гостем Дионисий не разорится: нам, кому нужно много, он дает мало, а Платону, которому ничего не нужно, — много». Не давал Дионисий только помощи для философского города: он боялся, что там укрепится Дион и свергнет его. Дион был отправлен в изгнание, и Платон понял, что надеждам его конец. С трудом он отпросился у Дионисия на родину. Прощаясь, Дионисий угрюмо сказал: «Не говори обо мне дурного в Академии». Платон невесело ответил: «Плохой бы я был философ, если бы мне больше не о чем было говорить».

Прошло еще пять лет, и Платон приехал в Сиракузы в третий раз — мирить Дионисия с Дионом. Ничего из этого не вышло. У Дионисия не было ненависти к Платону, хуже: он его любил — любил тяжкой любовью человека, который знает, что недостоин взаимности. Он выслушивал уроки, упреки, обличения, но Платона от себя не отпускал. О возвращении Диона не могло быть и речи: к Диону тиран ревновал Платона смертной ревностью. Платон вернулся ни с чем. Тогда Дион собрал отряд наемников, пошел на Сиракузы, изгнал Дионисия силой, но сиракузянам новый тиран показался не лучше старого, и Дион был убит раньше, чем успел подумать о философских законах. Говорили, что его убил Каллипп — такой же ученик Платона, как и он.

Платон дряхлел в Академии, вновь и вновь перекраивая свой чертеж идеального государства. И чем дальше, тем больше ему становилось ясно: вечному благу нет места на земле, род человеческий слишком испорчен, даже наилучшее государство — обречено. Перед смертью он стал писать книгу о войне двух идеальных государств и о гибели того из них, которое в своем величии забыло о божественной добродетели и погналось за земными благами. Эти два государства — Афины и Атлантида.

Действие происходит девять тысяч лет назад, за несколь-

ко потопов до нашего времени — то есть это откровенная сказка. Афины этой сказки — настоящее платоновское государство: добродетельные стражи, у которых все общее, и добродетельные работники, которым легко трудиться, потому что земля богата, как в золотом веке. Здесь холмистые горы, раскидистые дубравы, тучные поля и изогнутые берега. Атлантида же — это остров в океане, на нем поле — как прямоугольник по линейке, а город — как круг по циркулю. В городе три канала, кольцо в кольце, над каналами три стены — из меди, олова и таинственного металла орихалка, на прямых улицах — дома из камня, черного, белого и красного, в середине же — храм Посейдона, стены серебряные, кровля золотая, потолок — слоновой кости, а простенки — орихалковые. Правили в этом геометрическом великолепии десять царей, потомки Посейдона. И вот когда стало им их богатство дороже добродетели, то Зевс, блюститель законов, решил наложить на них кару... Здесь, у самой завязки, смерть оборвала рассказ Платона.

Наверное, вам еще придется читать об Атлантиде много разных разностей: и о том, что в дочеловеческие времена в Атлантическом океане действительно было большое опускание суши, и о том, что за тысячу лет до Платона в Эгейском море было такое извержение вулкана, что волна от него разорила могучее царство на острове Крит. Читайте, но помните: миф о Городе Золотых Ворот, наказанном за свои грехи, сделал из всего этого только Платон.

АРИСТОТЕЛЬ, ИЛИ ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

У Платона, имя которого значит «широкий», был ученик Аристотель, имя которого значит «благое завершение». Эти имена так хорошо им подходили, что казалось, были придуманы нарочно.

Аристотель был хорошим учеником. Говорили, что однажды Платон читал лекцию о бессмертии души. Лекция была такая трудная, что ученики, не дослушав, один за другим вставали и выходили. Когда Платон кончил, перед ним сидел только один Аристотель.

Аристотель учился у Платона двадцать лет и, чем дольше слушал, тем меньше соглашался с тем, что слышал. А когда Платон умер, Аристотель сказал: «Платон мне друг, но истина дороже», покинул Академию и завел собственную школу — Ликей, при священном участке Аполлона Ликейского. Занятия он вел не стоя перед сидящими, как

Платон, а прохаживаясь с ними под навесом. Их прозвали «гуляющими философами» — перипатетиками.

Аристотель говорил так. Платон прав, а Диоген неправ: есть не только стол, но и Стольность, не только гора, но и Горность. Но Платону кажется, что Стольность — это что-то гораздо более яркое, прекрасное и совершенное, чем стол. А это неверно. Закройте глаза и представьте себе вот этот стол. Вы представите его во всех подробностях, с каждой царапинкой и резной завитушкой. Теперь представьте себе «стол вообще» — платоновскую идею Стольности. Сразу все подробности исчезнут, останется только доска и под ней то ли три, то ли четыре ножки. А теперь представьте себе «мебель вообще»! Вряд ли даже Платон сумеет это сделать ярко и наглядно. Нет, чем выше идея, тем она не ярче, а беднее и бледнее. Мы не созерцаем готовые «образы», как думал Платон, — мы творим их сами. Повидав сто столов, тысячу стульев и кроватей, сто тысяч домов, кораблей и телег, мы замечаем, какие приметы у них общие, и говорим: вот вид предметов «стол», род предметов «мебель», класс предметов «изделие». Разложим все, что мы знаем, по этим полочкам родов и видов — и мир для нас сразу станет яснее.

У Платона мир похож на платоновское же государство: вверху сидит, как правитель, идея Стольности, а внизу ей покорно повинуются настоящие столы. У Аристотеля же мир похож на обычную греческую демократию: столы встречаются, выясняют, что в них есть общего и что разного, и совместно вырабатывают идею Стольности. Не нужно смеяться: Аристотель действительно считал, что каждый стол именно стремится быть столом, а каждый камень — камнем, точно так же, как желудь стремится быть дубом, а яйцо — птицей, а мальчик — взрослым, а взрослый человек — хорошим человеком. Нужно только соблюдать меру: когда стремишься быть самим собой, то и недолет и перелет одинаково нехороши. Что такое людские добродетели? Золотая середина между людскими пороками. Смелость — это среднее между драчливостью и трусостью; щедрость — между мотовством и скупостью; справедливая гордость — между чванством и уничижением; остроумие — между шутовством и грубостью; скромность — между застенчивостью и бесстыдством. Что такое хорошее государство? Власть царя, но не тирана; власть знатных, но не своекорыстных; власть народа, но не бездельничающей черни. Мера во всем — вот закон. А чтобы определить эту меру, нужно исследовать то, что ею мерится.

Поэтому не надо понапрасну вперяться умственными очами в мир идей — лучше обратить настоящие свои глаза на мир окружающих нас предметов. Платон очень красиво говорил, каким должно быть идеальное государство, а Аристотель составляет 158 описаний для 158 настоящих греческих государств и потом уже садится за книгу «Политика». Платон больше всех наук любил математику и астрономию, потому что в мире чисел и звезд порядок сразу бросается в глаза, а Аристотель первый начинает заниматься зоологией, потому что в пестром хаосе живых существ, окружающих человека, навести порядок труднее и нужнее. Здесь Аристотель сделал чудо: он описал около 500 животных и выстроил их на «лестнице природы» от простейших к сложнейшим так стройно, что его система продержалась две тысячи лет. Некоторые его наблюдения были загадкою: он упоминал такие жилки в насекомых, которые мы видим только в микроскоп. Но специалисты подтверждают: да, так, обмана здесь нет, просто у Аристотеля была такая острота зрения, какая бывает у одного человека на миллион. Острота ума — тоже.

Видеть вещи, как они есть, — гораздо грустнее, чем безмятежно знать, какими они должны быть. Чтобы так смотреть на них, чтобы так вымерять в них золотую середину, нужно чувствовать себя в мире человеком посторонним, равно благожелательным ко всему, но сердцем не привязанным ни к чему. Таков и был Аристотель, сын врача из города Стагиры, всю жизнь проживший на чужой стороне. Он не чувствует себя ни нахлебником, ни поденщиком, ни хозяином жизни — он чувствует себя при ней врачом. Для врача нет мелочей: он ко всему прислушивается, все сопоставляет, все старается предусмотреть. Но он помнит: к врачу люди обращаются, только когда они больны, он в их жизни не распорядитель, а советник. Смешно воображать, как Платон, что кто-то когда-то доверит философу устройство государства: самое большее — у философа могут спросить какого-нибудь случайного совета, и тогда советы царю следует подавать так-то, а народу — так-то. Аристотель жил и при царе — он был воспитателем Александра Македонского, и при народе — он был главою школы в афинском Ликее. Но умер он в изгнании, на берегу пролива, что между Аттикой и Эвбеей, и думал он, умирая, не о государственных делах, а о том, почему в этом проливе вода шесть раз в сутки меняет течение — то на запад, то на восток.

Это Аристотель сказал: «Корни учения горьки, но плоды его сладки».

Не только науку о животных и не только науку о государственном устройстве начинал Аристотель со сбора и классификации материала. Науку о человеческих чувствах и поведении — тоже. Называлась эта наука — «этика», сочинение о ней написал сам Аристотель, а сборник описаний человеческих характеров составил его ученик Феофраст. Здесь тридцать небольших портретов: Притворщик, Льстец, Пустослов, Невежа, Угодливый, Отчаянный, Сплетник... Вот некоторые из них, чуть-чуть сокращенные.

Льстец. Лесть можно определить как обхождение некрасивое, но выгодное льстящему. Льстец — это такой человек, который во время прогулки скажет спутнику: «Замечаешь, как все на тебя смотрят? Никого другого в городе так не уважают!» — и снимет с его плаща ниточку. Спутник заговорил — льстец велит всем умолкнуть; сострил — хохочет; запел — хвалит; умолк — восклицает: «Превосходно!» Детям его он покупает яблоки и груши, дарит так, чтобы отец видел, и приговаривает: «У хорошего отца и дети хороши». Когда спутник покупает себе сандалии, льстец восклицает: «Хороша обувь, а нога лучше!» Когда тот идет в гости к приятелю, льстец бежит вперед и объявляет: «К тебе идет!» — а потом, вернувшись назад: «Оповестил!» Спрашивает улещаемого, не холодно ли ему, и, не дав ему ответить, уже кутает его в плащ. Болтая с другими, смотрит на него, а когда тот садится, он выхватывает у раба подушку и подкладывает ему сам. И дом-то у него, говорит льстец, красив и прочен, и поле хорошо возделано, и портрет похож.

Невежа. Невежество — это, вернее всего, незнание приличий, как у мужиков. Невежа носит обувь, которая ему велика; говорит зычно; друзьям и домашним не доверяет, а с рабами обо всем советуется и батракам в поле рассказывает, что было при нем в народном собрании. В городе он не глядит ни на храмы, ни на статуи, но если увидит быка или осла, непременно остановится и полюбуется. Завтракает он на ходу, задавая корм скотине. Монету берет не всякую, а сперва прикинет, не легка ли. Если одолжит кому корзину, серп или мешок, то после этого заснуть не может и средь ночи идет просить назад. Являясь в город, спрашивает первого встречного, почем здесь овчины и сушеная рыба. Моясь в бане, поет; башмаки подбивает гвоздями.

Болтун. Болтливость — это склонность говорить много и не думая. Болтун подсаживается поближе к незнакомому и

рассказывает, какая у него, болтуна, хорошая жена; потом сообщает сон, который видел ночью; потом перечисляет, что ел за обедом. Дальше, слово за слово, он говорит, что нынешние люди куда хуже прежних, и как мало дают за пшеницу на рынке, и как много понаехало чужеземцев, и что море вот уж месяц как судоходно, и что если Зевс пошлет хороший дождь, то год будет урожайный, и как трудно стало жить, и сколько колонн в Парфеноне, и что через полгода будет праздник Элевсиний, а потом Дионисий, и какой, собственно, день сегодня? И если его будут терпеть, он не отвяжется.

Брюзга. Брюзжанье — это несправедливая брань на все что ни на есть. Брюзга в дождь сердится не на то, что дождь идет, а на то, почему он раньше не шел. Найдя на улице кошелек, говорит: «А вот клада я ни разу не находил!» Когда подружка его целует, он ворчит: «И чего ты меня любишь?» Поторговавшись и купив раба, восклицает: «Воображаю, какое я купил добро, и за какую цену!» А выиграв дело единогласным решением суда, он еще попрекает защитника, что можно было говорить и получше.

Суевер. Суеверие — это малодушный страх перед неведомо какими божественными силами. Суевер в праздник непременно окропит себя святой водою, положит в рот веточку лавра, взятую из храма, и ходит с нею целый день. Если ласка перебежит ему дорогу, он не двинется, пока кто-нибудь не пройдет первым, а если нет никого, то бросит вперед три камешка. Если мышь проест мешок с мукой, он идет к гадателю и спрашивает, что делать, а если тот скажет: «Взять и залатать», то приходит домой и приносит умилостивительные жертвы. Услышав дорогою крики сов, остановится и помолится Афине. По тяжелым дням сидит дома и только украшает венками домашних богов. Встретив похороны, он бежит, омывается с головы до ног и, призвав жриц, просит совершить над ним очищение. А увидев припадочного, он от сглазу в ужасе плюет себе за пазуху.

Дурак. Глупость — это неповоротливость ума в речах и в деле. Дурак — это тот, кто, сделав подсчет и подведя итог, спрашивает соседа: «Сколько ж это будет?» Когда его зовут в суд, он, позабыв, отправляется в поле. Засыпает на представлении и, просыпаясь, видит, что он один в пустом театре. Взяв что-нибудь, сам спрячет, а потом будет искать и не сможет найти. Когда ему сообщают, что умер знакомый, он, помрачнев, говорит: «В час добрый!» Зимой препирается с рабом, что тот не купил огурцов. Детей своих если уж заставит упражняться в борьбе и беге, то не отпустит, пока не выбьются из сил. А если кто спросит, сколько покойни-

ков похоронено за кладбищенскими воротами, он ответит: «Нам бы с тобою столько!»

КОМЕДИЯ УЧИТСЯ У ТРАГЕДИИ

Эти «характеры» Феофраста так и кажутся готовыми персонажами для какой-нибудь комедии. Не такой, конечно, как у Аристофана, где на сцену выводились и обшучивались карикатуры живых лиц и идей, а такой, какая знакома нам по Фонвизину или Мольеру и обычно называется «комедией нравов».

Так оно и есть: именно в описываемое время на афинском театре появляется комедия нового типа. Старая комедия хотела, чтобы зритель посмеялся и задумался — о войне и мире, о проповеди Сократа, о поэзии Эсхила и Еврипида, мало ли еще о чем. Новая хотела, чтобы зритель посмеялся и расчувствовался — над любовью двух хороших молодых людей или судьбами детей, разлученных с родителями. До сих пор о чувствах зрителей больше заботилась трагедия; теперь комедия учится этому у трагедии и становится как бы трагедией со счастливым концом. Афинский зритель устал думать, устал держать в руках руль государственного корабля, который, несмотря на все усилия, все шел куда-то не туда. И он отправлялся в театр, только чтоб развлечься и развеяться.

Здесь он в каждой комедии встречал почти один и тот же набор ролей-масок: старик отец, легкомысленный сын, хитрый раб или прихлебатель, злой рабовладелец, хвастливый воин, самодовольный повар. Между ними с разными подробностями происходило почти всякий раз одно и то же. Юноша влюблен в девушку, но эта девушка — рабыня злого рабовладельца. У юноши есть соперник — хвастливый воин, и он вот-вот купит девушку у хозяина. Юноше срочно нужны большие деньги, но отец их не дает: он не хочет потакать разгулу сына, а хочет, чтобы тот поскорей женился и остепенился. Приходится добывать деньги хитростью — за это берется лукавый раб или прихлебатель. Разыгрывается хитрость, в каждой комедии своя, и требуемые деньги выманиваются у отца, у воина или даже у хозяина девушки. Обман раскрывается, начинается скандал, но тут оказывается, что эта девушка вовсе не природная рабыня, а дочь свободных родителей, которые в младенчестве ее подкинули, а теперь случайно оказались рядом и с радостью ее признают по вещицам, бывшим при ней. Стало быть, юноша

может взять ее в законные жены, отец его благословляет, раб получает волю, прихлебатель — угощение, повар готовит пир, а соперники посрамлены.

Перед нами настоящее царство случая: не воспользуйся раб удобным случаем — не удалась бы хитрость, не случись рядом девушкины родители — не удался бы счастливый конец. Афинский зритель смотрит на это с удовольствием: он и в жизни, в домашних своих и государственных делах, перестал надеяться на собственные силы и надеется больше на счастливый случай.

Чтобы комедии не были слишком однообразны, постоянные роли раскрашивались красками разных характеров. Старик отец мог быть и Брюзга, и Подозрительный, и Скряга, и Чванный, и даже Молодящийся. Хитрый раб мог быть и Плут, и Наглец, и Хлопотун. Хвастливый воин мог оказаться Суевером и даже Трусом. Это позволяло вывести из комедии еще одну мораль, совсем по Аристотелю: крайности нехороши, а хороша золотая середина, иначе характер будет сам себе наказанием. Лучшие же комедии этого времени — те, в которых характеры и роли совмещаются неожиданно. Глядя на них, казалось: все как в жизни. Признанным мастером этого искусства был друг и ученик самого Феофраста, автора «Характеров», — Менандр. «Менандр и жизнь, кто кому из вас подражал?!» — восклицали греки.

Вот идет комедия Менандра «Остриженная». Ни злодея-рабовладельца, ни раба-интригана, ни прихлебателя, ни повара, ни вымогательства денег в ней нет. Воин есть, но хвастливым его никак не назовешь: это пылкий и страстный влюбленный, мечущийся меж гневом и отчаянием. На сцене три дома: в одном живет воин со своею подругой, свободной девушкой Гликерой, в другом — богатая вдова со своим приемным сыном Мосхионом, в третьем — старый сосед-купец. Случилось ужасное: воин увидел, как соседский Мосхион обнимает и целует его Гликеру. Он пришел в неистовство, побил подругу и остриг ее, как рабыню. Тут уж оскорбилась Гликера. Она тайно уходит к соседке-вдове, просит приюта и открывает ей тайну: она родная сестра ее приемному сыну Мосхиону, их когда-то вместе нашла подкинутыми одна старуха, но мальчика тут же усыновили в богатом доме, а она осталась расти в бедности и из гордости до сих пор не пользовалась этим родством. Конечно, вдова принимает ее с радостью. Мосхион сперва ликует — вот девушка, которая ему нравится, сама достается ему в руки! — а потом приходит в уныние: оказывается, эта девушка — всего лишь его сестра. Воин сперва неистовствует — он даже го-

тов штурмовать дом вдовы по всем правилам военного искусства, — а потом приходит в отчаяние: ведь этим он только еще больше обидит Гликеру и еще вернее ее потеряет. Он просит соседа-купца заступиться за него перед Гликерою. Но та еще не успокоилась: «Я свободная девушка, я до сих пор храню вещицы, с которыми меня подкинули родители!» — «Какие?» — «Вот!» Купец смотрит и, конечно, узнает те цепочки и покрывальца, с которыми он когда-то в трудную минуту подкинул на волю бога своих собственных детей-малюток. Так не только брат находит сестру, но и оба они — отца, а все из-за необдуманной вспышки ревности влюбленного воина — ну как его теперь за это не простить? Воин клянется, что он больше не будет; Гликера сменяет гнев на милость; новообретенный отец растроганно говорит:

Прощать, когда вновь счастье улыбнулося, —
Вот это, дочка, подлинно по-гречески!

И так общей радостью кончается эта драма переживаний, где нет ни жадности, ни хитрости, а есть гордость, любовь и доброта.

ПЕРЕРОЖДЕНИЕ ИСКУССТВА

Свободный грек все больше становился из производителя потребителем. Это сказывалось даже там, где говорить о производстве и потреблении вроде бы странно, — в искусстве. Век тому назад оно было простым — таким, чтобы при надобности любой гражданин средних способностей, поучившись в школе пению, мог сложить и спеть песню, а поучившись у мастера правилам пропорций, мог бы вытесать колонну или статую. Теперь оно становится сложным — таким, чтобы каждый любовался на произведение, но не каждый мог бы (а еще лучше — никто не мог бы) его повторить. Из самодеятельного искусство становится профессиональным — разделяется между немногими производителями и массой праздных зрителей или слушателей. При этом мастер смотрит на зрителя свысока, как на невежду, а зритель хоть и восхищается мастером, но тоже смотрит на него свысока, как на узкого специалиста, нанятого его, зрителя, обслуживать.

Легче всего это было увидеть на пороге искусства — в спорте. Каждый может быть физкультурником, но не каждый — рекордсменом. Олимпийские, Пифийские и прочие игры как раз и превращаются теперь из спорта физкуль-

турников в спорт рекордсменов. С состязаний на состязания переезжают одни и те же атлеты, зрители во время игр восхищаются ими до потери сознания, а после игр пересказывают шуточки о том, какие эти атлеты в жизни неуклюжие простофили.

Музыка — не спорт, но и в музыке было то же. Каждый из вас может спеть песню, но не каждый — сыграть на гитаре. В Греции пение от струнной музыки отделилось именно теперь: рядом с «кифаредами» — лирными певцами появились «кифаристы» — просто лирники и тотчас стали на кифаредов смотреть свысока. Инструмент, освободившись от голоса, сразу стал усложняться: вместо семи струн на кифаре появилось и девять, и одиннадцать. Когда такие кифаристы приезжали в упрямую Спарту, эфоры без долгих разговоров перерубали им лишние струны топором.

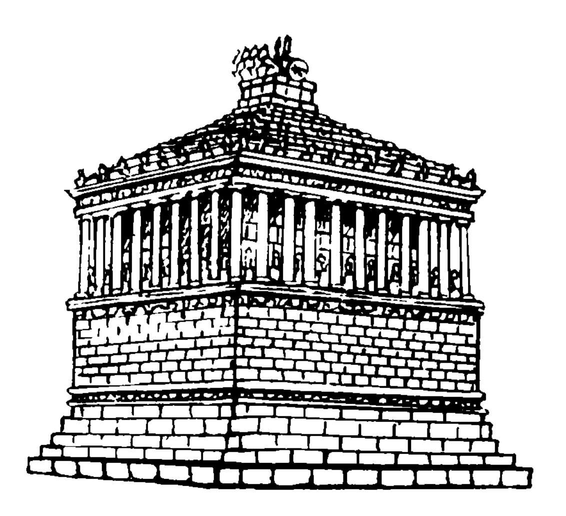
Театр, конечно, не столь доступное искусство: писать стихами драмы и раньше мог не каждый. Но он был доступен если не по форме, то по содержанию: вперемежку с актерами пел хор, выражая как бы общее мнение о поступках действующих лиц. Теперь хор исчезает из действия и только в антрактах выступает с песнями и плясками, уже не имеющими никакого отношения к событиям: зачем хор в «Остриженной» Менандра? Актеры воспользовались этим: они оставили хор плясать внизу на орхестре, а для себя выстроили перед палаткой-скеной высокий узкий помост — «проскений». Раньше театр с виду был похож на наш цирк — теперь он стал похож на нынешнюю эстраду. Появился даже занавес — правда не опускающийся (опускаться ему было неоткуда), а поднимающийся, как раздвинутая ширма, из щели перед помостом.

Живопись шла следом за театром. Для новой сцены стали делать новые декорации: с перспективою, чтобы все казалось уходящим вдаль. Потом так стали писать не только декорации, а и фрески, и картины. На старых картинах любой предмет можно было рассматривать по отдельности, как знак, глядя откуда угодно; на новых нужно было рассматривать только все в целом, издали, с той точки, на которую рассчитывал художник, а изблизи каждый кусок картины казался искаженным и грубым. Живописец как бы сам указывал зрителю его зрительское место, как в театре: стой сложа руки и восхищайся.

Скульптура шла следом за живописью. Знаменитого Лисиппа спрашивали, как ему удается делать статуи словно живые. Он отвечал: «Раньше скульпторы изображали людей, каковы они есть, а я — какими они кажутся глазу». Это была как бы скульптурная софистика: ведь софистика

тоже учила не тому, что на самом деле есть, а тому, как представить то, что нужно, убедительно для публики. У Лисиппа был брат Лисистрат. Он первый стал ваять лица с портретным сходством, для этого он даже снимал с живых лиц гипсовые слепки. Если у Лисиппа были фигуры как живые, то у Лисистрата — лица как настоящие.

Архитектура тоже все больше превращалась в зрелище напоказ. Прошлый век знал два стиля постройки: строгий дорический и изящный ионический. Новый век изобрел третий — нарядный коринфский. О том, как он появился, есть такой рассказ. Умерла девочка, ее похоронили, и на могилу родные поставили корзиночку с ее детскими игрушками, придавив черепицей. А там рос греческий кустарник аканф: гибкие стебли, резные листья и завитые усики. Он оплел и обвил корзинку. Мимо проходил скульптор, посмотрел, восхитился и сделал по ее образцу капитель колонны: восемь коротких листиков, над ними восемь длинных; восемь длинных усиков, меж ними восемь коротких.



Мавзолей Галикарнасский был высотой с десятиэтажный дом — 140 футов, а в обход — километр с четвертью: 410 футов. На основание приходилось 60 футов высоты, на колоннаду 40 футов, на пирамидальную крышу 25 футов и на колесницу над крышей еще 15 футов. Таких больших построек Греция еще не знала. Фриз, изображавший битвы греков с амазонками, опоясывал здание, по-видимому, над основанием, под колоннадою

Она очень красива — но только пока не думаешь, что это колонна, подпирающая крышу: для опоры листики и усики

не годятся. Глядя на дорическую колонну, мы видим, что она несет тяжесть; глядя на ионическую — помним об этом; глядя на коринфскую — забываем. Вместо опоры перед нами украшение.

Поражать глаз можно не только узором, но и размером. В греческом городе Галикарнасе правил малоазиатский царь Мавзол. Вдова его заказала греческим зодчим исполинскую гробницу для мужа — чтобы она была похожа и на греческий храм, и на восточную пирамиду. Греки сделали, как она хотела. Они мысленно взяли ступенчатую пирамиду, рассекли ее по поясу и между низом и верхом вставили колоннаду греческого храма. Сооружение было высотой с десятиэтажный дом; наверху, над усыпальницей стояла гигантская статуя Мавзола с его негреческим, безбородым и усатым лицом. Сто лет назад греки ужаснулись бы такой постройке для варварского князя, в которой Греция смешана с Востоком. Теперь ею восторгались; галикарнасская гробница была причислена к семи чудесам света, а слово «мавзолей» разошлось по всем языкам.

Так менялось искусство, а с ним менялось и отношение к художнику. Оно раздваивалось: он был ремесленником, то есть меньше чем человеком, и он был чудотворцем, то есть больше чем человеком. О художнике Паррасии с восхищенным ужасом рассказывали, будто ему настолько дороже искусство, чем действительность, что, рисуя муки Прометея, он велел распять перед собой живого человека; народ хотел его казнить, но, увидев, какая дивная получилась картина, простил и восславил. Это, конечно, была клевета. Девятнадцать веков спустя такую же клевету повторяли о другом великом мастере — о Микельанджело Буонарроти; это на нее намекает Пушкин в последней строчке своей драмы «Моцарт и Сальери».

МИР ТОЖЕ СТАНОВИТСЯ ПРОФЕССИЕЙ

На войне всего сильнее меч, в мире — речь.
(Приписывается Сократу)

Сто лет назад об Афинах говорили: «Кто был в Афинах и добровольно покинул их, тот верблюд». Теперь стали говорить: «Афины — это заезжий двор: каждому охота там побывать, но никому неохота там жить».

Тогда Афины были богаты и прекрасны, потому что собирали дань с союзников. Теперь дань кончилась, нужно

было решать, как жить дальше. Или переходить на положение мирного второразрядного города, получающего медленный, но верный доход с морской торговли, или пускаться в отчаянные войны в надежде на случайную, но большую добычу. Первый путь предпочитали богачи: торговый доход оседал в их сундуках. Второй путь предпочитали бедняки: военная добыча шла в казну и праздничными раздачами делилась между всеми гражданами.

Не надо забывать, что войска теперь были обычно наемнические, и война, стало быть, велась деньгами. Это значит, что деньги на снаряжение войск и флота беднота собирала с богачей, а сама часто даже не выходила ни в поле, ни в море. Понятно, что за такие войны часто голосовали не думая, а потом приходила расплата. Оратор Демад говорил: «Чтобы проголосовать за мир, афинянам сперва надо одеться в траур».

Решались споры и сводились счеты в народном собрании и в суде. Суда не удавалось миновать ни одному политику, даже удачливому: полководца всегда можно было привлечь за то, что он-де неполностью использовал победу, а мирного оратора — за то, что он подал народу не лучший возможный совет. Появились настоящие шантажисты, которые являлись ко всякому заметному человеку и грозили привлечь его к суду. От них откупались, лишь бы они оставили в покое. Называли их «сикофанты», а сами о себе они говорили: «Мы — сторожевые псы закона». Оратора Ликурга упрекали, что он слишком уж много тратит денег, откупаясь от сикофантов. Ликург отвечал: «Лучше уж давать, чем брать!»

Свода законов в Афинах не было, судебные заседатели выносили приговоры больше по гражданской совести: если хороший человек, то и вину простить можно. Главным становилось не доказать, была ли вина, а убедить, что обвиняемый — хороший (или, наоборот, плохой) человек. А для этого нужно было ораторское дарование. И ораторы становятся главными людьми в Афинах.

При Перикле ораторы полагались только на талант и вдохновение — теперь ораторы изучают свое дело, пользуются правилами, заранее сочиняют и сами записывают свои речи. Правила ораторского искусства начали вырабатывать еще софисты. При подготовке речи нужно было заботиться о пяти вещах: что сказать, в каком порядке сказать, как сказать, как запомнить, как произнести; о четырех разделах — вступлении, изложении, доказательствах, заключении; о трех достоинствах стиля: ясности, красоте и уместности. Впрочем, теория теорией, а когда великого Демосфе-

на спросили, какая из пяти частей красноречия главная, он ответил: «Произнесение». А во-вторых? — «Произнесение». А в-третьих? — «Тоже произнесение».

Старейшиной афинских ораторов был Исократ. Сам он не выступал с речами — был слаб голосом и застенчив характером. Но все молодые мастера красноречия были его учениками. Он говорил: «Я — как точильный брусок, сам не режу, а других вострю» — и добавлял: «С учеников я беру по десять мин, но кто меня самого научил бы говорить с народом, тому бы я и тысячи не пожалел». Молодой Демосфен, придя к нему, сказал: «У меня нет десяти мин; вот две — за пятую часть твоей науки». Исократ ответил: «Хорошая наука, как хорошая рыба, не разрезается на куски: бери всю!» Афинян он учил бесплатно.

Ораторское мастерство мерится успехом. Оратор Лисий сочинил защитную речь для одного ответчика, тот прочел ее несколько раз и сказал: «С первого раза она прекрасна, но чем больше ее перечитываешь, тем больше видишь натяжек». — «Отлично, — сказал Лисий, — судьи-то и услышат ее только один раз». Сам Демосфен сочинил однажды речи и для истца и для ответчика сразу: они боролись перед судом словно двумя мечами от одного оружейника. Чтобы разжалобить суд заслугами подзащитного, иной защитник обнажал ему грудь, показывал на шрамы: «Вот что он претерпел за вас!» Оратору Гипериду пришлось защищать красавицу Фрину — он разорвал на ней одежду: «Посмотрите: может ли такая прекрасная женщина быть виновной?» Фрину оправдали, но издали закон, чтобы судьи выносили приговор, не глядя на обвиняемых.

Видя такие ораторские приемы, народ и здесь привыкал чувствовать себя зрителем, а не участником — пользоваться правом на праздность. Однажды Демад говорил в народном собрании. Дело было важное, но скучное, и его не слушали. Тогда он остановился и начал рассказывать басню: «Деметра, лягушка и ласточка шли по дороге. Очутились они на берегу реки. Ласточка через нее перелетела, а лягушка в нее нырнула...» И замолк. «А Деметра?» — закричал народ. «А Деметра стоит и сердится на вас, — отвечал Демад, — за то, что пустяки вы слушаете, а государственных дел не слушаете».

ФИЛИПП, ОТЕЦ АЛЕКСАНДРА

Будь благодетелем для греков, царем для македонян, повелителем для варваров.

Исократ

В сказочные времена из греческого Аргоса бежали три брата-подростка и нанялись в пастухи к царю северной земли. Старший пас лошадей, средний — быков, а младший — овец. Времена были простые, и царская жена сама пекла им хлеб. Вдруг она стала замечать, что кусок, который она отрезает младшему, сам собой увеличивается вдвое. Царь встревожился и решил пастухов прогнать. Юноши потребовали заработанной платы. Царь рассердился, показал на солнце и крикнул: «Вот вам плата!» Времена были бедные, царское жилье было простой избой без окон, лишь через дымовую трубу солнечные лучи светлым пятном падали на земляной пол. Вдруг младший брат наклонился, очертил ножом солнечный свет на земле, трижды зачерпнул ладонью солнца себе за пазуху, сказал: «Спасибо, царь» — и вышел. За ним то же сделали и братья. Когда царь опомнился, он послал за ними погоню, но не догнал. Братья нашли приют у соседних племен, выросли, вернулись и отбили у царя царство. Их потомками называли себя все македонские цари.

Македония мало переменилась с тех пор. Конечно, цари жили уже не в избах, а во дворцах, и добра у них было побольше. Но городов в стране по-прежнему не было, а была старозаветная сельщина, где знатные землевладельцы составляли конницу, гарцевавшую вокруг царя, а крестьяне — кое-как собранную пехоту. Конница была хорошая, а пехота — плохая, и македонского войска никто не боялся.

Все пошло иначе, когда царем стал Филипп Македонский. В детстве он был заложником в Фивах, в доме Эпаминонда, и насмотрелся на лучшее греческое войско. Став царем, он сделал из неопытных македонских ополченцев несокрушимую фалангу самым простым способом. Он удлинил воинам копья: у первого ряда бойцов копья были в два метра, у второго в три и так далее, до шести. Задние бойцы просовывали копья между передними, и фаланга щетинилась остриями впятеро гуще обычного. Пока враг пробовал к ней подступиться, на него ударяла с флангов македонская конница и дорубалась до победы.

Рядом с Македонией была Фракия, во Фракии были единственные близ Греции золотые рудники. Филипп первый сумел отбить их у свирепых фракийцев и удержать за

18 Зак. 4463.

собой. До сих пор в Греции монета была серебряная, золотую чеканил только персидский царь; теперь ее стал чеканить и македонский царь. Вдоль Эгейского берега стояли греческие города — Филипп подчинял их один за другим. Некоторые считались неприступными — он говорил: «Нет такого неприступного города, куда не вошел бы осел с мешком золота».

Греция сама впустила к себе опасного соседа. Фиванцы стали теснить своих западных соседей — фокидян. Фокида была бедная страна, но среди Фокиды стояли Дельфы. Греческое благочестие охраняло их до поры до времени — теперь время это кончилось. Фокидяне захватили Дельфы, захватили богатства, копившиеся там, наняли такое наемное войско, какого здесь еще не видывали, и десять лет держали в страхе всю среднюю Грецию. Дельфы считались под защитой окрестных государств, но те не могли справиться с отважными святотатцами сами и пригласили на подмогу Филиппа. Македонская фаланга вошла в Грецию. Перед решающим боем Филипп велел бойцам надеть на шлемы венки из Аполлонова священного лавра; увидев строй этих мстителей за дельфийского бога, фокидяне дрогнули и были разбиты. Филиппа прославляли как спасителя Греции; Македония была признана греческим государством, и притом (хотя об этом не говорили) самым сильным государством.

Филипп старался побеждать не только силой, но и ласкою. Он говорил: «Что взято силою, то я делю с союзниками; что взято ласкою — то только мое». Ему предлагали занять войсками греческие города — он отвечал: «Мне выгодней долго слыть добрым, чем недолго — злым». Ему говорили: «Накажи афинян: они бранят тебя». Он удивлялся: «А после этого разве будут хвалить?» — и добавлял: «От афинской брани я делаюсь только лучше, потому что стараюсь показать всему свету, что это ложь».

Таков он был и среди своих ближних. Ему говорили: «Такой-то ругает тебя — прогони его». Он отвечал: «Зачем? Чтобы он ругался не перед теми, кто меня знает, а перед теми, кто не знает?» Ему говорили: «Такой-то ругает тебя — казни его». Он отвечал: «Зачем? Лучше позовите его ко мне на угощение». Угощал, награждал, потом осведомлялся: «Ругает?» — «Хвалит!» — «Вот видите, я лучше знаю людей, чем вы».

Однажды после победы он сидел на возвышении и смотрел, как пленников угоняют в рабство. Один из них крикнул: «Эй, царь, отпусти меня, я твой друг!» — «С какой это стати?» — «Дай подойти поближе — скажу». И, наклонясь

к уху царя, пленник сказал: «Одерни, царь, хитон, а то неприглядно ты сидишь». — «Отпустите его, — сказал Филипп, — он и вправду мне друг».

Главным врагом Филиппа в Греции были Афины. Там в народном собрании боролись сторонники и противники Филиппа; одних кормило македонское золото, других — персидское. Противники пересилили: началась война. Македонская фаланга сошлась с афинской и фиванской при Херонее. На одном крыле Филипп дрогнул перед афинянами, на другом — сын его, юный Александр, опрокинул фиванцев; увидев это, Филипп рванулся вперед, и победа была одержана. «Священный отряд» фиванцев полег на месте до единого человека, все раны были в грудь. Греция была в руках Филиппа. Он объявил всеобщий мир, запретил междоусобные войны и стал готовить войну против Персии. Ему советовали: «Разори Афины». Он отвечал: «Кто же тогда будет смотреть на мои дела?»

Упражняясь в гимнасии, он упал, посмотрел на отпечаток своего тела на песке и вздохнул: «Как мало земли нам нужно и как много мы хотим!» Он сумел научиться у греков чувству меры, его тревожило собственное счастье: «Пусть бы боги нам послали за все доброе немного и недоброго!» Тревога его была не напрасной: через два года после Херонеи его убили.

ДЕМОСФЕН ПРОТИВ МАКЕДОНИИ

Вождем всех врагов Филиппа Македонского в Афинах был оратор Демосфен. Он понимал, что македонская власть над Грецией будет началом мирной и спокойной жизни, но зато концом свободы и независимости. И он звал афинян броситься в последнюю борьбу: лучше погибнуть, но с честью.

Смолоду Демосфен был слаб голосом и косноязычен. Нечеловеческими усилиями он заставил себя говорить громко и внятно. Он набивал рот камешками и так учился шевелить языком сильно и точно. Чтобы не пасть духом в своей решимости, он выбрил себе полголовы и спрятался жить в пещеру на берегу моря, пока у него вновь не отрастут волосы. Здесь, на берегу моря, он упражнялся в речах, стараясь пересилить голосом шум морского прибоя.

Речи его были суровы. Народ в собрании привык, что ораторы говорят с ним льстиво, и роптал. Демосфен сказал: «Афиняне, вы будете иметь во мне советника, даже ес-

ли не захотите, но не будете иметь льстеца, даже если захотите». Филипп Македонский, сравнивая его с его учителем Исократом, говорил: «Речи Исократа — атлеты, речи Демосфена — бойцы». Подкупить Демосфена, чтобы он выступал за неправое дело, было невозможно. Ему платили только за то, чтобы он молчал. Один актер похвастался: «За один день выступления мне заплатили талант серебра!» Демосфен сказал ему: «А мне за один час молчания заплатили пять талантов серебра». Чтобы уклониться от речи, он говорил, что у него лихорадка. Афиняне смеялись: «Серебряная лихорадка!»

Главной схваткой Демосфена перед народом было состязание в речах с Эсхином: Эсхин говорил за македонян, Демосфен — против. Эсхин был прекрасный оратор, но Демосфен его одолел. Эсхину пришлось уехать в изгнание на остров Родос. Родосцы любили красноречие и попросили Эсхина повторить перед ними свою речь. Эсхин повторил. Изумленные родосцы спросили: «Как же после такой великолепной речи ты оказался в изгнании?» Эсхин ответил: «Если бы вы слышали Демосфена, вы бы об этом не спрашивали».

Демосфен сделал чудо: убедил афинский народ отдать государственную казну не на праздничные раздачи, а на военные расходы. Демосфен сделал второе чудо: объехал греческие города и собрал их в отчаянный союз против Филиппа Македонского. На этом чудеса кончились: была война, битва при Херонее и жестокое поражение. Филипп хорошо помнил, кто был его главным врагом и над кем он одержал победу. В ночь после Херонеи он не выдержал, напился пьян на победном пиру и пустился в пляс между трупами в поле, приговаривая: «Демосфен, сын Демосфена, предложил афинянам...» А утром, протрезвев, он содрогнулся при мысли, что есть человек, который одной речью может сделать то, что он, Филипп, может сделать лишь многими годами войн. Он кликнул раба, приказал каждое утро будить его словами: «Ты только человек!» — и без этого не выходил к людям.

Прошло два года, Филипп был убит; Демосфен вышел к народу в праздничном венке, хотя у него всего лишь семь дней как умерла дочь. Но радость была недолгой. Прошел еще год, и над Грецией уже стоял сын Филиппа Александр и требовал от афинян выдать ему десятерых врагов его отца с Демосфеном во главе. Народ колебался. Демосфен напомнил ему басню: «Волки сказали овцам: «Зачем нам враждовать? Это все собаки нас ссорят: выдайте нам собак, и все будет хорошо...» Оратор Демад, умевший ладить с македо-

нянами, выговорил десятерым вождям прощение.

Время было недоброе. Александр воевал в далекой Азии, но власть македонян над Грецией была по-прежнему крепка. Демосфену пришлось уйти из Афин в изгнание: за него никто не заступился. Выходя из городских ворот, он поднял голову к статуе Афины, видной с Акрополя, и воскликнул: «Владычица Афина, почему ты так любишь трех самых злых на свете животных: сову, змею и народ?»

По дороге он увидел нескольких афинян из злейших своих врагов. Он решил, что его задумали убить, и хотел скрыться. Его остановили. Демосфен был такой человек, что его уважали даже враги. Они дали ему денег на дорогу и посоветовали, куда направиться в изгнании. Демосфен сказал: «Каково мне покидать этот город, где враги таковы, каковы не всюду бывают и друзья!»

Наконец из Азии долетела весть, что Александр умер. Афины закипели; Демад кричал: «Не может быть: будь это так, весь мир почуял бы запах тления!» Вновь затеялось восстание против Македонии, вновь Демосфен поехал по греческим городам, склоняя их к союзу с Афинами. Ему говорили: «Если в дом несут ослиное молоко, значит, там есть больной; если в город едет афинское посольство, значит, в городе неладно!» Он отвечал: «Ослиное молоко приносит больным здоровье; так и прибытие афинян приносит городу надежду на спасение».

Как первая борьба Афин с Филиппом кончилась Херонеей, как вторая борьба Афин с Александром кончилась разорением Фив, так и эта третья борьба Афин с македонским наместником Александра кончилась разгромом и расправой. Ораторов, говоривших против Македонии, хватали и казнили; Гипериду перед казнью вырезали язык. Солдаты пришли к храму, в котором скрывался Демосфен. Демосфен попросил лишь дать ему написать завещание и обещал потом выйти. Ему позволили. Он взял писчие дощечки и грифель, с задумчивым видом поднес грифель к губам, замер ненадолго, а потом его голова упала на грудь, и он свалился мертвым. Яд для самоубийства он носил в головке своего грифеля.

Потом, когда афиняне поставили у себя на площади статую Демосфена, то на подножии этой статуи они написали:

Если бы мощь, Демосфен, ты имел такую, как разум,—
Власть бы в Элладе не смог взять македонский Арес.

ФОКИОН ЗА МАКЕДОНИЮ

Главным врагом македонян в Афинах был Демосфен, а главным сторонником македонян был старый Фокион. Демосфен боролся словом, Фокион — делом. Он был хорошим полководцем, ходил в походы с Ификратом и Тимофеем, а теперь он твердо говорил: воевать Афины больше не могут, им нужен мир.

За твердость характера его называли новым Аристидом. Его никто не видел ни смеющимся, ни плачущим. Гиперид с товарищами подсмеивался при всех над его всегда сумрачным лицом. Фокион отвечал: «Смейтесь, смейтесь! но от моей хмурости никому худа не было, а от вашего смеха уже немало было слез».

Когда Фокион вставал в народном собрании, чтобы выступить, то Демосфен, презиравший всех остальных ораторов в Афинах, шепотом говорил друзьям: «Вот топор, который поднимается рубить мои речи». А между тем Фокион не считал себя оратором и говорил, как деловой человек, ясно и сжато. «О чем ты думаешь?» — спрашивали его, когда он обдумывал речь. Он отвечал: «Думаю, чего бы убавить».

Фокиона избирали полководцем сорок пять раз, сорок пять лет подряд, и всегда без его просьбы, а по собственной воле народа. А между тем он, как и Демосфен, не льстил народу. Он говорил в собрании: «Афиняне, вы можете заставить меня делать то, чего я не хочу, но не можете заставить говорить то, чего я не хочу». Когда однажды на какие-то его слова весь народ начал рукоплескать, он оборотился к товарищам и спросил: «Не сказал ли я чего-нибудь дурного?»

Демосфен говорил Фокиону: «Когда-нибудь афиняне казнят тебя!» Фокион отвечал: «Да, если сойдут с ума; а тебя — если возьмутся за ум».

Его упрекали, что он не хочет добра отечеству. Он отвечал: «Или умейте побеждать, или умейте дружить с победителем; а что умеете вы?»

Народ и сам чувствовал, что его силы на исходе. Толстый Демохар, племянник Демосфена, поднимаясь на Акрополь, говорил, переводя дух: «Я — как Афинское государство: пыху много, силы мало». Но признаться в этом было обидно, и народ волновался. Решался вопрос, воевать или не воевать с Филиппом Македонским. Собрание бушевало. Гипериду кричали: «Ты хочешь нарушить закон!» Гиперид кричал в ответ: «За лязгом македонского оружия нам уже

не слышно законов!» Демаду кричали: «Вчера ты говорил нам одно, сегодня — другое!» Демад кричал в ответ: «Я могу перечить себе, но не могу перечить благу государства!» Изысканный Гиперид бранился с трибуны последними словами, народ возмущался: «Мы хотим слушать твою речь, а не брань!» Гиперид отвечал: «Лучше не думайте, речь это или брань, а думайте, во вред вам или на пользу эта брань!» На Демада кричали: «Наши отцы не говорили и не делали так, как ты!» Демад отвечал: «Наши отцы управляли государственным кораблем, а мы — его обломками!»

Фокион стоял на своем: войны Афины не выдержат. Ему кричали: «Боишься?» Он отвечал: «Не вам меня учить отваге, и не мне вас трусости». Один сикофант спросил: «Ты — полководец, и ты отговариваешь от войны?» Фокион сказал: «Да, хоть я и знаю, что на войне я тебе начальник, а в мире ты мне начальник».

Демосфен пересилил: война была объявлена. Стали обсуждать план войны. Демосфен предлагал вести войну подальше от Аттики. Фокион сказал: «Надо думать не о том, где воевать, а о том, как победить: при победе военные опасности всегда далеко, при поражении — всегда близко». Он говорил народу все, что он хотел, но делал то, чего хотел народ: он принял начальствование и повел ополчение. Ополченцы обступили его и давали советы; он сказал: «Как много я вижу полководцев и как мало бойцов!»

Херонейский разгром был горем не только для врагов, но и для друзей Филиппа в Афинах. Дряхлый Исократ, много лет призывавший греков объединиться под македонским царем, при вести о Херонее уморил себя голодом, чтобы его похоронили в тот же день, что и павших бойцов. Филипп хотел наградить тех афинян, которые стояли за него в прошлые годы. Он предложил Фокиону богатый подарок. Фокион спросил гонца: «Почему мне?» Гонец ответил: «Потому что царь только тебя считает в Афинах честным человеком». Фокион сказал: «Пусть же он мне позволит и впредь оставаться честным человеком».

Филипп Македонский умер. Афиняне ликовали и хотели принести богам благодарственную жертву. Фокион не позволил им этого, сказав: «Со смертью Филиппа в македонской армии стало меньше только одним человеком!»

Филиппа сменил Александр Македонский. Он тоже предлагал Фокиону богатый подарок; Фокион опять отказался. Александр сказал: «Прими эти деньги если не для себя, то для сына». У Фокиона был сын, который пошел не в отца: это был самый известный в Афинах забулдыга и мот. Фокион ответил: «Если он будет жить, как я, — этого ему

слишком много; если будет жить, как живет, — этого ему слишком мало».

Умер Александр Македонский, и в Афинах опять началось ликование, и опять Фокион его удерживал: «Подождем подтверждений: ведь если он мертв сегодня, то будет мертв и завтра, не так ли?» Подтверждения пришли, и опять Фокиону в его восемьдесят лет пришлось воевать там, где он хотел бы дружить. Поначалу афиняне одерживали победы, но Фокион им говорил: «Берегитесь: вы хорошие бегуны на короткие дистанции и плохие — на длинные». Он тревожился: «Когда же мы кончим побеждать?» — «Ты не рад нашим победам?» — «Рад победам, но не рад войне». Побеждать афиняне кончили скоро; это Фокиону пришлось выпрашивать для них у македонян тяжкий мир, по которому погибли Гиперид и Демосфен.

Фокион погиб в смутах, когда началась борьба наследников Александра за власть и краем задела Афины. Его и других поборников македонской власти бросили в тюрьму и приговорили к казни. Ему дали, как Сократу, выпить чашу яду, но он был крепкого здоровья, яду не хватило, а больше у палачей отравы не было. Фокион сказал: «Неужели в Афинах даже умереть нельзя по-человечески?» Сосед Фокиона плакался, что тоже должен умереть; Фокион сказал ему: «Разве мало чести умереть вместе с Фокионом?» Его спросили: «Что завещаешь сыну?» Он сказал: «Завещаю не мстить за меня афинянам».

Херсонесская присяга

Развалины греческого города Херсонеса находятся возле нынешнего Севастополя. Там была демократия афинского образца с советом и архонтами, называвшимися «демиургами». После какого-то покушения на эту демократию (как раз в конце IV в. до н.э.) все херсонесцы принесли вот такую присягу. Она сохранилась в надписи на камне.

«Клянусь Зевсом, Землей, Солнцем, Девою и богами и героями нашими! Я буду един со всеми в заботе о свободе и благоденствии города и граждан и не предам ни Херсонеса, ни укреплений, ни окрестностей его ни эллину, ни варвару, а кто замыслит такое предательство, тому буду врагом. Я не нарушу народовластия, а кто захочет нарушить, тому не позволю и раскрою его умысел пред народом. Я буду служить народу в качестве демиурга и члена совета как можно лучше и справедливее и в суде буду подавать голос по закону. Я не буду разглашать ничего во вред городу и гражданам, я не дам и не приму дара во

вред городу и гражданам. Я не буду замышлять ничего несправедливого против граждан, верных закону, и другим того не дозволю; если же окажусь связан клятвою с кем-либо неверным закону, то да будет нарушение этой клятвы мне и моим близким во благо, а соблюдение во зло. Хлеб, свозимый с равнины, я не буду ни продавать, ни вывозить в какое-либо иное место, но только в Херсонес. Зевс, и Земля, и Солнце, и Дева, и боги олимпийские! Если я соблюду это, да будет благо мне и дому и роду моему, если же не соблюду, да будет зло мне и дому и роду моему, и пусть ни земля, ни море не приносят мне плода, и пусть жены...»

На этом каменная надпись обрывается.

ТИМОЛЕОНТ, ДВАЖДЫ ТИРАНОБОРЕЦ

В эти годы крушения свободы в Афинах неожиданной вспышкой мелькнуло недолгое восстановление свободы на другом конце Греции — в Сиракузах. Героем этого подвига был коринфянин по имени Тимолеонт.

Когда Тимолеонт появился в Сиракузах, он был уже тираноборцем со стажем. Дело было так. У Тимолеонта был брат Тимофан. Тимолеонт его любил и во всем ему помогал. Но тот употребил эту помощь во зло: он встал во главе наемников и сделался в Коринфе тираном. Тимолеонт умолял брата отречься — но тот только насмехался над ним. Тимолеонт пришел к нему с двумя друзьями — тиран стал гневаться. Тогда Тимолеонт заплакал и закрыл лицо плащом, а друзья его выхватили мечи и уложили Тимофана на месте. Коринфяне радовались свободе, но на Тимолеонта смотрели с восторгом и ужасом: вот человек, который во имя закона государства попрал закон родства. Мать Тимолеонта и Тимофана затворилась в доме и отказалась видеть сына. Это сломило душу Тимолеонта: он мучился тоской, чуждался людей и пытался уморить себя голодом. Так, на краю безумия, он провел двадцать лет.

В это время в Коринф явились послы из Сиракуз. Они просили помощи: ведь Сиракузы были колонией Коринфа. После Дионовых смут здесь снова взял власть недоброй памяти Дионисий Младший, а против него восстал новый соперник, еще хуже, чем он, и привел с собою на Сицилию карфагенян. Карфагеняне распоряжаются в Сицилии, как у себя дома: требуют чего хотят, говорят: «Иначе с вашим городом будет — вот», — вытягивают перед собой руку ладонью вверх и переворачивают ладонью вниз. Коринфяне

взволновались. В помощь Сиракузам собрали отряд добровольцев, а вести его предложили Тимолеонту. Ему сказали: «Если победишь — останешься для нас тираноубийцею; если нет — останешься братоубийцею». И Тимолеонт радостно пустился в путь — желанным подвигом загладить память о нежеланном подвиге.

Поход был победоносен, Сиракузы освобождены. Дионисий давно уж сам был не рад своей власти и бросился к Тимолеонту, как к спасителю. Сопернику Дионисия велено было жить простым обывателем близ Сиракуз, а когда он вновь поднял мятеж, его казнили. Крепость сиракузских тиранов срыли до основания; на месте наемнических казарм поставили здание суда, а над карфагенянами Тимолеонт одержал такую победу, что воины после боя гнушались медной добычей, а брали только золотую и серебряную. Вслед за Сиракузами стали свергать тиранов и другие города. Свергнутых распинали на крестах в городских театрах, чтобы граждане любовались редким зрелищем — заслуженным наказанием тирана.

Дионисий Младший отрекся от власти, и Тимолеонт послал его жить в Коринф: пусть все греки видят ничтожество павшего тирана. Ожиревший, подслеповатый Дионисий стал здесь на старости лет школьным учителем, бранился с мальчишками, таскался по рынкам, пьянствовал и судился с уличными мерзавцами. Он нарочно старался жить так, чтобы все его презирали: боялся, что иначе заподозрят, будто он снова хочет стать тираном, и расправятся с ним. Страх его был не напрасен: его действительно трижды привлекали к суду как опасного человека и трижды оправдывали из презрения. Его спрашивали: «Как это твой отец был никем, а стал тираном, ты же был тираном и стал никем?» Он отвечал: «Отец пришел к власти, когда люди измучились от демократии, а я — когда измучились от тирании». И вспоминал: «Отец, попрекая меня за разгул, говорил: «Я был не такой»; я ему: «Так у тебя же не было отца-тирана»; а он мне: «А у тебя, коли так, не будет сына-тирана». Его дразнили: «Что, Дионисий, помогла тебе философия Платона?» Он отвечал: «Конечно. Это благодаря ей я спокойно переношу перемену счастья».

Сиракузы были разорены гражданскими войнами. Городская площадь заросла травой, и на ней паслись кони. Чтобы наполнить городскую казну, были проданы статуи тиранов, стоявшие на главной площади. Не просто распроданы, а проданы в рабство: их приносили в суд, произносили над ними обвинение, выставляли на аукционе и продавали, как рабов: кто даст больше.

Наконец случилось событие, после которого никто уже не сомневался: да, в Сиракузах водворилась демократия. Двое сикофантов привлекли Тимолеонта к суду за то, что он-де недостаточно усердно одерживает победы на благо сиракузского народа. Сиракузяне сперва опешили, потом расхохотались, а потом собрались расправиться с неблагодарными обвинителями. Тимолеонт сказал им: «Оставьте: я для того и трудился, чтобы каждый сиракузянин мог говорить все, что считает нужным».

Тимолеонт не вернулся в Коринф, а остался в Сиракузах: здесь он не был братоубийцей, здесь он был только тираноборцем. Он старел, окруженный народной любовью и почестями. Когда народное собрание обсуждало особенно важные дела, оно посылало за ним; его привозили, слабого и слепого, на великолепной колеснице, его встречали рукоплесканиями и славословиями, потом рассказывали ему дело, а он, не сходя с колесницы, говорил, что он об этом думает, его шумно благодарили, а затем колесница трогалась обратно. Хоронили его целым городом, а у могилы его выстроили гимнасий для занятий свободной молодежи.

АГАФОКЛ, ТИРАН-ГОРШЕЧНИК

Свободы, завоеванной Тимолеонтом, хватило Сиракузам ровно на двадцать лет. А затем они снова оказались под властью тирана — такого тирана, о котором знать вспоминала с ненавистью, а беднота подчас и добрым словом.

Его звали Агафокл, он был сын гончара и сам гончар. О тиранах полагалось коллекционировать все дурные знамения; так и при рождении Агафокла, говорят, откуда-то стало известно предсказание, что он принесет много бед Сицилии и Карфагену. Отец его торжественно отрекся от новорожденного, унес и положил его умирать в глухом месте, а рабу велел наблюдать. Но младенец чудесным образом не умирал ни день, ни два; раб заснул, и тогда мать тайком унесла младенца и передала своим родственникам. Через семь лет отец случайно увидел мальчика и вздохнул: «Вот и сын бы наш сейчас был такой же!» Тут мать ему открылась, и Агафокл вернулся в родной дом, на страх Сицилии и Карфагену.

Он вырос, стал воином-наемником, дерзким и сильным: никто не мог носить такого тяжелого панциря, как он. Он сделался начальником отряда; правители пытались его убить, но он подставил им вместо себя своего двойника, а

сам остался цел. В Сиракузах шла гражданская война, народ боролся со знатью. Его пригласили навести порядок; он окружил войсками здание совета, перерезал и отправил в изгнание несколько тысяч богатых и знатных, а народу обещал передел земли и отмену долгов. Так начинали многие тираны, но первое, что они делали после этого, — окружали себя стражей и чувствовали себя как среди врагов, а Агафокл этого не сделал. Он ходил один среди толпы, был со всеми прост и сам первый подшучивал над своим гончарным ремеслом. «Горшечник, горшечник, когда заплатишь за глину?» — кричали ему со стен города, который ему случилось осаждать. «Вот разживусь на вас и заплачу!» — отозвался Агафокл, взял город и продал жителей в рабство.

На него шли войной карфагеняне. Войска долго стояли друг против друга на равнине близ той крепости, где когда-то Фаларид жег людей в медном быке. Было предсказание: «Много храбрых мужей погибнет на этой равнине», но чьих мужей — было неизвестно, и поэтому обе стороны медлили. А когда сошлись, то победу одержали карфагеняне. У них были пращники, метавшие камни весом в мину; у греков таких не было. Карфагеняне подступили к самым Сиракузам и начали осаду.

И вот здесь произошло нарушение всех правил военного искусства. Вместо того чтобы отбиваться, Агафокл оставил в Сиракузах брата, а сам собрал какое попало войско — он записывал в него даже рабов, желавших освободиться, — чудом прорвался сквозь карфагенский осадный флот и поплыл к берегу Африки. Они высадились в трех переходах от Карфагена и под звуки труб сожгли на берегу свои корабли — чтобы не было соблазна к отступлению. «Это наша жертва Деметре Сицилийской», — говорил Агафокл, показывая на летящий к небу огонь и дым. Греки пошли по лугам, полям и садам, разоряя сытые имения и поднимая на войну африканские племена, ненавидевшие карфагенян. По ночам со стен Карфагена жители видели, как по всем концам долины полыхают их усадьбы. Из Сицилии в Карфаген приходили плачевные вести: осада Сиракуз не удалась, осаждающий вождь получил предсказание: «Сегодня ты будешь обедать в Сиракузах», обрадовался, пошел на приступ, потерпел поражение и обедал в Сиракузах не как победитель, а как пленник.

Четыре года войско Агафокла наводило страх на Африку. И все-таки победа ему не далась. Брать города было все труднее. Под Утику, второй после Карфагена город в Африке, он двинул осадные башни, на которых живой защитой привязаны были карфагенские пленники; это не помогало,

карфагеняне били по своим без жалости. Утику он взял, но Карфаген выстоял. Африканцы не поддержали Агафокла: их конные орды стояли зрителями при каждой битве греков с карфагенянами и ждали исхода, чтобы броситься грабить слабейшего. В Сицилии начиналась новая междоусобная война. Войска Агафокла стали роптать, собственный сын его, Архагат, попытался было взять отца под стражу. Тогда Агафокл бросил все — и армию и сына — и бежал в Сицилию, наводить порядок у себя дома.

Неслыханный африканский поход как внезапно начался, так внезапно и кончился. Брошенные войска в ярости прежде всего перерезали брошенных родственников и помощников тирана, а потом рассеялись и перешли на карфагенскую службу. Когда один воин занес меч над Архагатом, сыном Агафокла, тот крикнул: «А что, по-твоему, Агафокл сделает за мою смерть с твоими детьми?» — «Все равно, — ответил убивавший, — мне довольно знать, что мои дети хоть ненадолго переживут детей Агафокла».

В Сицилии Агафокл застал такое отчаянное положение, что готов был отказаться от тиранической власти. Бывалые друзья его уняли: «От тиранической власти живыми не уходят». Он заключил мир с карфагенянами, соглашение с соперниками, восстановил мир, стал восстанавливать власть. Здесь застала его смерть. Говорили, будто родной внук, сын погибшего Архагата, отравил Агафокла, подложив ему отравленную зубочистку. Яд ее разъедал десны и вызывал такие мучения, что Агафокл будто бы приказал сжечь себя заживо на погребальном костре.

СВИРЕЛЬ ФЕОКРИТА

Пока Сицилию разрывали на части тираны и тираноборцы, об этой же самой Сицилии сочинялись безмятежные и нежные стихи. В этих стихах Сицилия оказывалась сказочным краем вечного золотого покоя, где живут кроткие пастухи, пасут блеющие стада, любят своих пастушек и состязаются в игре на свирели и в простодушных песнях о своей жизни и своей любви. Эти быстро входившие в моду стихи назывались «идиллии» — «картинки»; они очень нравились горожанам, давно расставшимся с настоящим сельским трудом, но не переставшим говорить, как они любят мирную сельскую жизнь на лоне природы. Потом поэты стали поселять своих пастушков не в Сицилии, а в Аркадии, но первый поэт-идиллик писал о Сицилии, потому что

сам был из Сицилии. Его звали Феокрит; он родился в Сиракузах как раз при Агафокле, а жил потом далеко, в египетской Александрии.

У Пушкина Евгений Онегин, когда хотел пооригинальничать, «бранил Гомера, Феокрита», которых все знали со школьной скамьи, и разговаривал о науке политической экономии, которую не знал никто. Гомера знаем и мы, с него начиналась классическая греческая поэзия; познакомимся же и с Феокритом, на котором она, можно сказать, кончается.

Встретились Дафнис с Меналком, коровий пастух и овечий:
Оба они белокуры, по возрасту оба — подростки,
Оба играть мастера на свирели и в пенье искусны.
Первым, на Дафниса глянув, Меналк к нему так обратился:
«Сторож мычащих коров, не сразиться ли, Дафнис, нам в пенье?
Стоит мне захотеть — и я мигом тебя одолею».
Дафнис на это в ответ обратил к нему слово такое:
«Пастырь мохнатых овец, ты мастер, Меналк, на свирели,
Но хоть из кожи ты лезь, не видать тебе в пенье победы».

Меналк. Хочешь помериться силой? Согласен ли выставить ставку?
Дафнис. Смериться силой готов и выставить ставку согласен.
Меналк. Ставлю мою свирель: хороша, с девятью голосами,
Вся белоснежным воском покрыта от верха до низа.
Дафнис. И у меня есть свирель, и моя с девятью голосами,
Сам я ее вырезал, — погляди, еще палец не зажил.
Меналк. Кто же нам будет судьей? И послушает кто наши песни?
Дафнис. А позовем вон того пастуха от козьего стада!

Мальчики кликнули громко. Пастух подошел, услыхавши.
Мальчики начали песни — пастух был над ними судьею.

Меналк. Нимфы рек и долин, у которых я пел на свирели!
Если вам нравились песни мои, то послушайте просьбу:
Дайте овечкам моим вы сытную травку; но если
Дафнис пригонит коров, то пускай и они попасутся.
Дафнис. Всюду весна, и повсюду стада, и повсюду теснятся
Наши телята к коровам, сосут материнское вымя.
Милая девушка мимо прошла; а как скрылась из виду,
Даже быки загрустили, а я, их пастух, — и подавно.
Меналк. Я не хочу ни угодий Пелопа, ни золота Креза,
Я не хочу побеждать бегунов, быстроногих как ветер.
Песни хотел бы я петь над морем, с красавицей рядом,
Глядя за стадом моим на приморском лугу сицилийском.
Дафнис. Гибнут деревья от стужи, от засухи гибнут потоки,
Птице погибель — силки, а зверю — капканы и сети.
Гибель мужчине — от нежной красавицы. Зевс, наш родитель!
Ведь не один я влюблен: ты и сам был к красавицам нежен.
Меналк. Добрый волк, пощади моих коз, не трогай козляток
И не кусай меня. Я мал, но о многих забочусь.
Ты же, рыжий мой пес, разоспался больно уж крепко:
Это не дело — так спать, коли мне помогать ты назначен.
Дафнис. Раз чернобровая девушка, видя, как гнал я теляток,

Мне закричала вдогонку, смеясь: «Красавец, красавец!»
Я ж ни словечка в ответ, ни насмешки в ответ на насмешку:
В землю потупив глаза, пошел я своею дорогой.

Меналк. Овцы, щиплите смелей зеленую свежую травку:
Прежде чем кончите вы, подрасти успеет другая.
Живо! Паситесь, паситесь, наполните вымя полнее:
Пусть будут сыты ягнята; остаток заквасим в кувшинах.

Дафнис. Сладко мне слышать мычанье коров и дыхание телок,
Сладко мне летом дремать близ потока под небом открытым.
Желуди — дуба краса, для яблони плод — украшенье,
Матка гордится теленком, пастух же — своими стадами.

Кончили мальчики песни, и так козопас им промолвил:
«Сладко ты, Дафнис, поешь, на диво твой голос приятен,
Радостней пенье твое, чем мед из пчелиного сота.
Вот — получи же свирель. Добился ты в пенье победы.
Если б меня, козопаса, ты мог научить этим песням —
Я бы за это тебе подарил и козу и подойник».
Дафнис так рад был победе, что громко в ладоши захлопал,
В воздух подпрыгнул, как юный олень, завидевший матку.
И отвернулся Меналк, печально и грустно поникнув:
Плакал он так, как будто невеста пред скорою свадьбой.
Первым меж всех пастухов с той поры стал славиться Дафнис;
Скоро, совсем молодым, он женился на нимфе Наиде.

СТОЙКИЕ СТОИКИ

В эти самые годы, вскоре после смерти Александра Македонского, в Афины приехал незаметный человек, смуглый, худой и неуклюжий: купеческий сын с Кипра по имени Зенон. В юности он спросил оракул: как жить? — оракул ответил: «Учись у покойников». Он понял и начал читать книги. Но на Кипре книг было мало. В Афинах он прежде всего отыскал лавку, где продавались книги, и здесь среди свитков «Илиады» на потребу школьников ему попалась книга воспоминаний о Сократе. Зенон не мог от нее оторваться. «Где можно найти такого человека, как Сократ?» — спросил он у лавочника. Тот показал на улицу: «Вот!» Там, стуча палкой, шумно шагал полуголый Кратет, ученик Диогена. Зенон бросил все и пошел за нищим Кратетом. Потом ему принесли весть: корабль с грузом пурпура, который он ждал с Кипра, потерпел крушение, все его имущество погибло. Зенон воскликнул: «Спасибо, судьба! Ты сама толкаешь меня к философии!» — и уже не покидал Афин.

На афинской площади был портик — стена с расписным изображением Марафонской битвы, перед ней — колоннада и навес от солнца. Портик — по-гречески «стоя». Здесь, в «Расписной стое» стал вести свои беседы Зенон, и учеников

его стали называть «стоики». Это были люди бедные, суровые и сильные. Старший из них, Клеанф, бывший кулачный боец, зарабатывал деньги тем, что по ночам таскал воду для огородников, а днем слушал Зенона и записывал его уроки на бараньих лопатках, потому что купить писчие дощечки ему было не на что.

До сих пор философы представляли себе мир большим городом-государством с правителями-идеями, или с гражданами-атомами, или с партиями-стихиями. Зенон представил себе мир большим живым телом. Оно одушевленно, и душа пронизывает каждую его частицу: в сердце ее больше, чем в ноге, в человеке — чем в камне, в философе — чем в обывателе, но она — всюду. Оно целесообразно до мелочей: каждая жилка в человеке и каждая букашка вокруг человека для чего-нибудь да нужна, каждый наш вздох и каждый помысел вызван потребностью мирового организма и служит его жизни и здоровью. Каждый из нас — часть этого вселенского тела, все равно как палец или глаз.

Как же должны мы жить? Как палец или глаз: делать свое дело и радоваться, что оно необходимо мировому телу. Может быть, наш палец и недоволен тем, что ему приходится делать грубую работу, может быть, он и предпочел бы быть глазом — что из того? Добровольно или недобровольно он останется пальцем и будет делать все, что должен. Так и люди перед лицом мирового закона — судьбы. «Кто хочет, того судьба ведет, кто не хочет, того тащит», — гласит стоическая поговорка. «Что тебе дала философия?» — спросили стоика; он ответил: «С нею я делаю охотой то, что без нее я бы делал неволей». Если бы палец мог думать не о своей грубой работе, а о том, как он нужен человеку, палец был бы счастлив; пусть же будет счастлив человек, сливая свой разум и свою волю с разумом и законом мирового целого.

А если что-то этому мешает? Если нездоровье не дает ему служить семье, а семья — служить государству, а тиран — служить мировому закону? Если он раб? Это — ничто, это — лишь упражнения, чтобы закалить свою волю: разве стал бы Геракл Гераклом, если бы в мире не было чудовищ? Главное для человека — не беда, а отношение к беде. «У него умер сын». Но ведь это от него не зависело! «У него утонул корабль». И это не зависело. «Его осудили на казнь». И это не зависело. «Он перенес все это мужественно». А вот это от него зависело, это — хорошо.

Для такого самообладания стоический мудрец должен отрешиться от всех страстей: от удовольствия и скорби о прошлом, от желания и страха перед будущим. Если мой

палец начнет томиться собственными страстями, вряд ли он будет хорошо действовать; так и человек. «Учись не поддаваться гневу, — говорили стоики. — Считай про себя: я не гневался день, два, три. Если досчитаешь до тридцати, то принеси благодарственную жертву богам». Когда Зенона однажды разозлил непослушный раб, Зенон только и сказал: «Я побил бы тебя, не будь я в гневе». А когда стоика Эпиктета, который сам был раб, нещадно колотил хозяин, Эпиктет спокойным голосом сказал ему: «Осторожно, ты переломишь мне ногу». Хозяин набросился на него еще злее, хрустнула кость. «Вот и переломил», — не меняя голоса, сказал Эпиктет.

Если человек достигнет бесстрастия и сольется своим разумом с мировым разумом, он будет подобен богу, ему будет принадлежать все, что подчиняется мировому разуму, то есть весь мир. Он будет и настоящий царь, и богач, и полководец, и поэт, и корабельщик, а все остальные, хотя бы и сидели на троне, хотя бы и копили богатства, будут лишь рабами страстей и нищими душою. Ибо в совершенстве не бывает «более» или «менее»: или ты все, или ты ничто. Путь добродетели узок, как канат канатоходца, — оступишься ты на палец или на шаг, все равно ты упал и погиб. Над стоиками очень смеялись за такое высокомерие, но они стояли на своем.

Над ними смеялись, но их уважали. Это была не Диогенова философия поденщика — это наконец-то была, несмотря на все чудачества, настоящая философия труженика. А на тружениках и тогда и всегда держался и дом, и город, и мир. Рабы утешались мыслью, что душой они вольней хозяев, и цари приглашали стоиков к себе в советники. Македонский царь Антигон Младший, бывая в Афинах, не отходил от Зенона и брал его на все свои пиры. Напившись, он кричал ему: «Что мне для тебя сделать?» — а тот отвечал: «Протрезветь».

Сократа афиняне казнили, Аристотеля изгнали, Платона терпели, а Зенона они почтили золотым венком и похоронили на государственный счет. «За то, что он делал то, что говорил», — было сказано в народном постановлении.

САД ЭПИКУРА

А кому не по плечу была упрямая добродетель стоиков, те могли искать счастья в философии эпикурейцев. «Эпикур», «эпикурейцы», «эпикурейский» — эти слова, может

быть, не раз попадались вам у Пушкина и у других писателей. Обычно они там означают привольную жизнь, полную наслаждений: эпикуреец — это тот, кто живет припеваючи, знает толк в удовольствиях, изнежен, благодушен и добр.

Настоящий Эпикур, действительно, был благодушен и добр. Но в остальном он был мало похож на этот образ. Это был больной человек с худым, изможденным лицом, всю жизнь страдавший от камней в печени. Он почти не выходил из дому, а с друзьями и учениками беседовал, лежа в своем афинском саду. Питался он только хлебом и водой, а по праздникам — еще и сыром. Он говорил: «Кому мало малого — тому мало всего» — и добавлял: «Кто умеет жить на хлебе и воде, тот в наслаждении поспорит с самим Зевсом».

Эпикур, действительно, считал наслаждение высшим благом. Но наслаждение наслаждению рознь: каждое из них требует усилия, и если усилие требуется слишком большое, то лучше уж такого наслаждения не надо. Может быть, вино и сладости вкуснее языку, чем хлеб и вода, но от вина потом кружится голова, а от сладостей болят зубы. Так зачем? Настоящее наслаждение — это не что иное, как отсутствие боли: когда после долгого мучения боль тебя отпускает, то бывает мгновение несказанного блаженства; вот его-то мудрецу и хочется продлить на всю жизнь. Старый Аристипп считал себя учителем наслаждения, но он был здоровый человек и этого счастья даже не представлял.

Поэтому главное, чем должен дорожить человек, — это покой. Мировая жизнь — игра случайностей, и каждая случайность может больно задеть человека. Особенно будет мудрец уберегаться от государственных забот: уж они-то усилий требуют много, а наслаждения приносят мало. «Живи незаметно!» — вот главное правило Эпикура. (Современников оно возмущало: «Как? Ведь это значит сказать: «Ликург, не пиши законов! Тимолеонт, не свергай тиранов! Фемистокл, не побеждай азиатов! И ты сам, Эпикур, не учи друзей философии!») Живи в одиночку, люби друзей, жалей рабов и сторонись чужих — и ты убережешь свое наслаждение малым. Так эпикурейцы и жили: о них даже не рассказывали анекдотов, как о стоиках и всех других философах.

Необразованным людям не дает покоя страх богов, страх смерти, страх боли. Для философа и этого не существует. Боги блаженны, а раз они блаженны, то они не знают никаких забот и уж подавно не вмешиваются в нашу человеческую жизнь. Они тоже, как мудрецы, «живут незаметно» где-то в мировых пространствах, наслаждаются нерушимым

покоем и только говорят сами себе: «Мы счастливы!» Смерть для человека не может быть страшна: пока я жив — смерти еще нет, а когда наступила смерть — меня уже нет. Боль тоже не заслуживает страха: непереносимая боль бывает недолгой, а долгая боль — переносимой, потому что смягчается привычкой. Следить за своей болью Эпикур умел: когда он почувствовал, что боль дошла до предела, он написал письмо другу: «Пишу тебе в блаженный и последний мой день. Боли мои уже таковы, что сильнее стать не могут, но их пересиливает душевная моя радость при воспоминании о наших с тобой разговорах...» — лег в горячую ванну, выпил неразбавленного вина, попросил друзей не забывать его уроков и умер.

О том, как устроен мир, Эпикур много не задумывался: ведь от этого его покою и наслаждению не было ни лучше, ни хуже. Вслед за Демокритом он представлял себе, что мир состоит из атомов, — это потому, что толчея атомов казалась ему похожа на толчею людей — таких же отдельных, замкнутых и больно задевающих друг друга. Но Демокрит был самым любознательным из греков и интересовался причинами всего, что есть в природе, а Эпикур равнодушно принимал любые объяснения, лишь бы они не требовали вмешательства богов в нашу жизнь. Может быть, небесные светила меж закатом и восходом гаснут и загораются вновь (как светильники у заботливой хозяйки), а может быть, горя, обходят Землю с другой стороны. Может быть, гром бывает оттого, что это ветер рвется меж туч, а может быть, это тучи рвутся по швам, а может быть, это тучи твердеют и трутся жесткими боками друг о друга. Может быть, землетрясения бывают от подземного огня, от подземных ветров, от подземных обвалов земли — лишь бы только не от Посейдона-Землеколебателя.

Если уж продолжать наклеивать ярлыки на философские системы, то об эпикурействе можно сказать: это философия обывателя. Не прихлебателя, который клянчит, не труженика, который вырабатывает, а именно обывателя, который немножко имеет, большего не хочет, никого не обижает и думает только о том, что его хата с краю. Эпикурейцев не уважали, но их любили: они были добрые люди, а их соседям-стоикам, например, доброты явно не хватало. Кто уставал от жизни, тот приходил к эпикурейцам. Они гордились, что к ним из других философских школ перебежчиков было много, а от них — никого.

Пока у людей была вместо философии мифология, она представляла им мир большой семьей, где царствует обычай. Философия, от Фалеса до самого Аристотеля, пред-

ставляла мир большим городом, где царствует закон. Теперь у Эпикура и у стоиков этот мир рассыпался на частицы, меж которыми властвует случай, и перестроился в мировое тело, закон которого — судьба. Это значило, что маленьким греческим государствам настал конец: они теряются и растворяются в больших мировых державах — македонской и римской.

СЧАСТЬЕ ПО ПУНКТАМ

В чем счастье? На этот трудный вопрос грек мог ответить совершенно точно: он об этом пел на каждой пирушке. Была такая старинная песня:

Лучший дар человеку — дар здоровья;
Дар второй — красота; достаток честный —
Ему третий дар;
а за вином
Радость в кругу друзей —
это четвертый дар.

Греческая философия ничего не отменила в этом списке, а только дополнила его. Она сказала: «Благо для человека бывает трех родов: внутреннее, внешнее и стороннее. Внутреннее — это четыре добродетели; внешнее — это здоровье и красота; стороннее — это богатство и слава, это хорошие друзья и процветающее отечество». Какое же благо важнее всего для счастья? Конечно, внутреннее: его не отнять. Недаром мудрец Биант говорил: «Все мое — во мне».

Четыре добродетели — это разумение, мужество, справедливость и самая необходимая — чувство меры. (Недаром Клеобул говорил: «Мера важнее всего!», а Питтак говорил: «Ничего сверх меры».) Разумение — это знание, что хорошо и что плохо. Мужество — это знание, что хорошего нужно делать и что не нужно. Справедливость — это знание, для кого нужно делать это хорошее и для кого не нужно. Чувство меры — это знание, до каких пор нужно это делать и где остановиться. Мужество — это добродетель для войны, справедливость — для мира; разумение — это добродетель ума, чувство меры — добродетель сердца. Разумением порождаются понимание и доброжелательство, мужеством — постоянство и собранность, справедливостью — ровность и доброта, чувством меры — устроенность и упорядоченность.

Царя Агесилая спросили: «Какая из четырех добродетелей важнее? Наверное, мужество?» — «Нет! — ответил зна-

менитый полководец. — Будь у людей справедливость — зачем им было бы мужество?» Платон считал важнее других добродетелей разумение; Аристотель — чувство меры; стоики, пожалуй, все-таки мужество, но все согласились бы, что выше этого стоит справедливость. Когда Платон расчерчивал свое идеальное государство, то разумение у него было добродетелью правителей, мужество — добродетелью стражей, чувство меры — добродетелью работников, а справедливость — общей добродетелью, на которой держалось все государство.

Справедливость оказывалась такой важной потому, что справедливость — это закон, а закон для грека — все. Понимать ее, мы помним, можно было по-разному: для одних она означала «равнозаконие» — всем одно; для других, вроде Платона, «благозаконие» — каждому свое. Даже такая почтенная вещь, как благочестие, была для греков не отдельной добродетелью, а лишь разновидностью справедливости: благочестие — это справедливое отношение к богам. Совершать несправедливость — хуже, чем терпеть несправедливость. Мстить обидой за обиду в старину считалось справедливостью, а у философов — несправедливостью. «Как мне отомстить врагу?» — спрашивал человек у Диогена. «Стань лучше, чем ты был», — отвечал Диоген.

Кому же кажется, что среди земных забот все равно невозможно сохранить бесстрастие истинного мудреца, для тех есть куда более простое житейское правило из одной эзоповской басни:

Не слишком радуйтесь и в меру жалуйтесь:
И радости и горя в жизни поровну.

Если же спросить у грека, что должен чувствовать человек, достигший счастья, то он, скорее всего, коротко сказал бы: радость. Этого чувства, кажется, не отвергал никто из философов, что бы из остального они ни ставили под сомнение. (Недаром Перикл говорил: «Радоваться нашему достатку мы умеем лучше, чем кто-либо иной».) Уверяют, будто народную психологию можно определить по тому слову, которым люди здороваются и прощаются. Русские, расставаясь, говорят «прости», англичане говорят «фарвелл» — «счастливого пути», римляне, приветствуя, говорили «валэ!» — «будь здоров!», а греки говорили «хайре!» — «радуйся!».

Здесь остановимся: нашему отступлению конец. А конец бывает (это тоже было рассчитано по пунктам) четырех родов: во-первых, по постановлению, как когда принимается закон; во-вторых, по природе, как когда закатывается день;

в-третьих, по умению, как когда достраивается дом; в-четвертых, по случайности, как когда получается совсем не то, чего ты хотел. Будем думать, что это — конец по умению.

ПРОПОВЕДНИКИ, СПОРЩИКИ, ШУТНИКИ

Последователи Платона в Академии; последователи Аристотеля в Ликее; стоики под «Расписной стоей»; эпикурейцы в Саду — четыре философских клуба были в Афинах. Начинающие философы приезжали в Афины поучиться, опытные — себя показать. Афины после Александра Македонского навсегда перестали быть политической силой. Но они оставались тем, чем назвал их еще Перикл, — «школой Эллады». Философы расхаживали по Афинам десятками — важные, бородатые, в серых плащах, поучая и препираясь. Великих мыслителей среди них было мало. Но все они жили и думали по-особенному, не так, как все, поэтому посмотреть и послушать их было интересно. А для непривычных — странно. Один спартанец с удивлением смотрел, как твердокаменный старик Ксенократ спорил с молодыми учениками Академии. «Что он делает?» — «Ищет добродетель». — «А когда найдет, то на что она ему?»

Они разное называли счастьем, но сходились в одном: мыслить — это счастье, а все остальное в жизни неважно. Нужна лишь твердость духа. «Единственное несчастье — это неумение переносить несчастье», — говорил философ Бион, бывший раб, родившийся в далекой Скифии.

О философе Анаксархе рассказывали, будто кипрский тиран приказал забить его насмерть пестами в ступе, а он, умирая, кричал: «Не Анаксарха ты бьешь, а тело его!»

Ксенофонту сказали: «Мужайся: твой сын погиб при Мантинее». Ксенофонт ответил: «Я знал, что мой сын смертен». Ксенофонт не был философом, но философы этим ответом восхищались: «Вот так и надо, в ком-то обманувшись, напоминать себе: я знал, что друг мой слаб; что жена моя — только женщина; что я купил себе раба, а не мудреца».

У одного человека умер сын, и тот его горько оплакивал. Утешить его пришел бродячий философ Демонакт. Он сказал: «Я умею творить чудеса: назови мне трех людей, которым никогда никого не приходилось оплакивать, я напишу их имена на гробнице твоего сына, и он воскреснет». Отец задумался и никого не мог назвать. «Что же ты плачешь, как будто ты один несчастен?» — сказал Демонакт.

Старый Карнеад ослеп во сне. Он проснулся среди ночи и велел рабу зажечь светильник и подать ему книгу. Но ничего не было видно. «Что же ты?» — «Я зажег», — ответил раб. «Ну что ж, — невозмутимо сказал Карнеад, — почитай тогда мне ты».

Бион со спутниками попал в плен к морским разбойникам. Спутники плакались: «Мы погибли, если нас узнают!» — «А я погиб, если меня не узнают», — сказал Бион.

Философ Пиррон разговаривал вслух с самим собой. «Что ты делаешь?» — спросили его. «Учусь быть добрым».

Этот Пиррон был главою еще одной философской школы — скептиков. Если Сократ говорил: «Я знаю, что я ничего не знаю», то Пиррон пошел дальше — он говорил: «Я не знаю даже того, что я ничего не знаю». Он утверждал, что человек не различает даже жизни и смерти. Его спросили: «Почему же ты не умираешь?» Он отвечал: «Именно поэтому».

Ксенократу Александр Македонский прислал много денег. Ксенократ отослал их обратно: «Ему нужнее».

Другого философа звал ко двору пергамский царь. Тот отказался: «На царей, как на статуи, лучше смотреть издали».

Ксенократа привлекли к суду, оратор Ликург вызволил его защитительной речью. «Чем ты его отблагодарил?» — спросили Ксенократа. «Тем, что все его хвалят за его поступок», — ответил Ксенократ.

Ученики Платона играли в кости, Платон их разбранил. Они сказали: «Это же мелочь!» — «Привычка — не мелочь», — возразил Платон. И может быть, напомнил, что на Крите когда проклинают врага, то желают ему дурных привычек.

Зенон упрекал юношу в мотовстве, тот оправдывался: «У меня много денег, вот я много и трачу». Зенон ответил: «Так и повар может сказать: я пересолил, потому что в солонке было много соли».

Заимодавец требовал денег с должника, тот ответил ему по Гераклиту: «Все течет, все меняется: я уже не тот человек, который брал у тебя!» Заимодавец прибил его палкою, тот поволок его в суд, а заимодавец ответил по Гераклиту: «Все течет, все меняется: я уже не тот человек, который бил тебя!»

Зенона обокрал его раб, Зенон взялся за палку. Раб не даром служил у стоика — он закричал: «Это мне судьба была украсть!» — «И судьба была быть битым», — отвечал Зенон.

Когда философы спорили, народ собирался вокруг, как

на состязание. О философе Менедеме говорили, будто после философских споров он уходит не иначе как с подбитым глазом. Аристотелю на кого-то пожаловались: «Он так тебя ругает за глаза!» Аристотель ответил: «За глаза пусть хоть побьет».

Серьезные философы не любили площадных споров: «В них всегда легче сказать что угодно, чем то, что нужно». Но другие не жалели для них никаких софизмов. Женщина-философ Гиппархия, из богатого дома ушедшая бродяжить с киником Кратетом, переспорила философа Феодора так: «Если Феодор бьет себя, Феодора, — в этом нет ничего дурного; значит, если Гиппархия будет бить Феодора — в этом тоже нет ничего дурного!» А самого Диогена один софист дразнил так: «Я — это не ты; я — человек; стало быть, ты — не человек». — «Отлично! — сказал Диоген. — А теперь повтори-ка то же самое, начав не с себя, а с меня».

Философ Стильпон кому-то доказывал, что вот эта рыба у торговца не есть еда, потому что «еда» — понятие общее, а «рыба» — отдельное, и среди этого разговора отошел и стал покупать эту самую рыбу. Собеседник ухватил его за плащ: «Ты подрываешь свои же доводы, Стильпон!» — «Ничуть, — отозвался Стильпон, — доводы мои при мне, а вот рыбку того и гляди распродадут».

РАСПРОДАЖА ФИЛОСОФИИ

Эту сценку сочинил Лукиан, самый насмешливый из античных писателей, живший уже во II веке н.э.

У Зевса на Олимпе не хватает денег. Он выводит из загробного царства знаменитых философов и выставляет их на продажу, как рабов. «Продаются великие учители жизни! — кричит Гермес. — Кто хочет хорошей жизни, подходи и выбирай по вкусу!» Покупатели подходят и прицениваются.

На помосте — Пифагор. «Вот чудесная жизнь, вот божественная жизнь! Кто хочет быть сверхчеловеком? Кто хочет узнать гармонию мироздания и ожить после смерти?» — «Можно его расспросить?» — «Можно». — «Пифагор, Пифагор, если я тебя куплю, чему ты меня научишь?» — «Молчать». — «Я в немые не хочу! А потом?» — «Считать». — «Это я и без тебя умею». — «Как?» — «Раз, два, три, четыре». — «Вот видишь, а ты и не знаешь, что четыре — это не только четыре, а еще и тело, квадрат, совер-

шенство и наша клятва». — «Клянусь твоей клятвой, не знаю! А еще что скажешь?» — «Скажу, что ты себя считаешь одним, а на самом деле ты другой». — «Как? Это не я с тобой разговариваю, а кто-то другой?» — «Теперь-то это ты, но раньше ты был другим и после будешь другим». — «Так и не умру никогда? Неплохо! А чем тебя кормить?» — «Мяса не ем, бобов не ем». — «Прокормлю! Гермес, запиши его за мною».

На помосте — Диоген. «Вот мужественная жизнь, вот свободная жизнь! Кто купит?» — «Свободная? А я не попаду под суд, купив свободного?» — «Не бойся, он говорит, что он и в рабстве свободен». — «А что он умеет?» — «Спроси!» — «Боюсь, укусит». — «Не бойся, он ручной». — «Диоген, Диоген, ты откуда?» — «Отовсюду!» — «На кого ты похож?» — «На Геракла!» — «Почему?» — «Воюю с наслаждениями, очищаю жизнь от излишеств». — «Что же для этого нужно сделать?» — «Деньги бросить в море, спать на голой земле, есть отбросы, на всех ругаться, ничего не стыдиться, трясти бородою, драться палкою». — «Ругаться и драться — это я и сам умею. Но руки у тебя сильные, в землекопы годишься; если отдадут тебя за два гроша, возьму». — «Бери!»

«А вот две жизни сразу, одна другой мудрее! Кому угодно?» — «Что это? Один все время смеется, другой все время плачет. Ты что смеешься?» — «Над тобой смеюсь: ты думаешь, ты раба покупаешь, а на самом деле — только атомы, пустоту и бесконечность». — «Что пустоты в тебе много, это я вижу. А ты что плачешь?» — «Плачу, что все приходит и уходит, что во всякой радости — горе, а в горе — радость, что нет вечного в вечности, а вечность есть дитя, играющее в кости». — «Не по-людски говоришь!» — «Не для людей говорю». — «Так тебя и не купит никто». — «Все равно достойны слез: покупатели и непокупатели». — «Оба они сумасшедшие: не надо их!» — «Эх, Зевс, останутся эти у нас непроданными!».

«Выводи афинянина». — «Прекрасная жизнь, разумная жизнь, святая жизнь — кому?» — «Как, Платон, тебя опять в рабство продают? Ну а если я куплю тебя, что я буду иметь?» — «Весь мир». — «Где же он?» — «Пред моими очами. Ибо все, что ты видишь, — и земля, и небо, и море, — на самом деле совсем не здесь». — «Где же они?» — «Нигде: ведь если бы они существовали где-нибудь, то это не было бы существованием». — «А почему я их не вижу?» — «Потому что глаз души твоей слеп. Я же вижу и тебя, и себя, и истинного тебя, и второго себя, и вот так все на свете вижу дважды». — «Что ж, купить в одном рабе целый

мир — я готов! Беру его, Гермес».

«Продается доблестная жизнь, всесовершенная жизнь! Кто хочет знать все?» — «Как это: все?» — «Он один — мудрец, а значит, он один и царь, и богач, и полководец, и мореплаватель». — «Он один и повар, он один и плотник, он один и скотник?» — «Конечно». — «Такого раба грех не купить. Стоик, стоик, а ты не в обиде, что ты раб?» — «Нимало. Ведь это от меня не зависит, а что от меня не зависит, то мне безразлично». — «Вот покладистый молодец!» — «Но берегись: если я захочу, то могу обратить тебя в камень». — «Как? Разве ты Персей с головой Медузы?» — «Скажи: камень есть тело?» — «Да». — «А человек есть тело?» — «Да». — «А ты — человек?» — «Да». — «Стало быть, ты — камень». — «Холодею! Пожалуйста, преврати меня обратно в человека». — «В два счета. Камень одушевлен?» — «Нет». — «А человек одушевлен?» — «Да». — «А ты — человек?» — «Да». — «Стало быть, ты не камень». — «Ну спасибо, что не погубил, — беру тебя».

«Продаем самого смышленого, самого толкового, самого дельного! Аристотель, выходи!» — «А что он знает?» — «Он знает, сколько времени живет комар, до какой глубины море освещается солнцем и какова душа у устрицы». — «Вот это да!» — «А еще он знает, что человек — животное смеющееся, а осел — нет, и что осел не умеет строить дома и корабли». — «Довольно, довольно, покупаю его; бери с меня, Гермес, любые деньги».

«Ну, кто у нас еще остался? Скептик? Выходи, скептик, может, кто тебя и купит». — «Скажи, скептик, а что ты умеешь?» — «Ничего». — «Почему?» — «Мне кажется, что вообще ничего нет». — «И меня нет?» — «Не знаю». — «И тебя нет?» — «Подавно не знаю». — «Чему же ты меня научишь?» — «Незнанию». — «Вот уж чему и впрямь больше нигде не научишься! Сколько с меня за него, Гермес?» — «За знающего раба берем пять мин, ну а за такого, пожалуй, одну». — «Вот тебе мина. Ну что, любезный, купил я тебя?» — «Это неизвестно». — «Как? Я ведь заплатил за тебя!» — «Кто знает?!» — «Гермес, деньги и все присутствующие». — «Разве здесь кто-нибудь присутствует?» — «А вот пошлю я тебя жернова ворочать — сразу почувствуешь, кто здесь раб и кто не раб!»

«Полно спорить! — перебивает их Гермес. — Ты ступай за твоим хозяином, а вы все, которые у нас ничего не купили, приходите сюда завтра. Сегодня мы распродавали философов, а завтра будем ремесленников, мужиков и торговцев. Может, они лучше годятся в учителя жизни?»

Дела и годы (до н.э.)

405-367	—	тиран Дионисий Старший в Сиракузах
401	—	поход десяти тысяч греков
396—394	—	Агесилай воюет в Азии
388	—	философ Платон у Дионисия Старшего
387	—	Платон начинает учить в Академии. «Царский мир«.
371	—	битва при Левктре
366 и 361	—	поездки Платона к Дионисию Младшему
362	—	битва при Мантинее
359—336	—	царь Филипп Македонский
355	—	фокидяне захватывают Дельфы
353	—	смерть князя Мавзола, строительство галикарнасского мавзолея
347	—	смерть Платона
344—337	—	Тимолеонт освобождает Сицилию
342—336	—	Аристотель — учитель Александра Македонского
338	—	битва при Херонее
335	—	разрушение Фив. Встреча Александра с Диогеном
335	—	Аристотель начинает учить в Ликее
334—323	—	завоевание Азии Александром Македонским
323	—	последнее восстание против Македонии
322	—	смерть Демосфена
317	—	смерть Фокиона
317—289	—	тиран Агафокл в Сиракузах
315	—	первое выступление драматурга Менандра
310—307	—	поход Агафокла в Африку
ок.306	—	Эпикур начинает учить в Саду
ок.300	—	Зенон начинает учить в Стое
ок.280	—	расцвет Феокрита, сочинителя идиллий

СЛОВАРЬ V

Старые знакомые

Большинство слов, о которых мы говорили раньше, были такие научные, что всякому было ясно: они не русские, они заимствованные, с греческого — так с греческого. А вот некоторые слова совсем простые — такие, что вряд ли кто задумывался над их происхождением. Это потому, что в русский язык они пришли давно, стали привычны и подчас переосмыслились и видоизменились.

АД. По-гречески первоначально подземное царство (и бог, его царь) называлось «не-видимое» — ***а-ид-ес***; и мы, пересказывая мифы, обычно пишем *аид*. Потом это слово стало произноситься *адес*; потом, уже в средние века, — *адцс*; отсюда наше *ад*.

АТЛАС. Атласом или Атлантом (в разных падежах по-разному) звали могучего титана, брата Прометея; за то, что он боролся против богов, ему велено было стоять на краю земли и поддерживать плечами небесный свод; а потом его обратили в высокую гору. Гора эта (вернее, целый массив) — в северной Африке, и до сих пор называется Атлас, а лежащий к западу от нее океан — Атлантический. В XVI в. знаменитый картограф Г.Меркатор, издав альбом географических карт, украсил его переплет фигурой Атласа с огромной сферой на плечах. По этой фигуре все такие альбомы стали называть *атласами*. Название же ткани «атлас» совсем другого происхождения — от арабского слова, которое значит «гладкий».

ГАЗ. Это слово ввел в употребление в начале XVII в. фламандский химик ван-Гельмонт, изучавший состав воздуха. Он говорил, что воздух есть *хаос*, состоящий из разных паров, а слово «хаос» произносил и писал на фламандский лад: *газ*. Слово же ***хаос***, конечно, греческое и означает «беспорядок, всеобщее смешение», а буквально — «пустота, зияние».

ГИТАРА. Это не что иное, как греческая ***кифара***: слово то же (лишь немного исказившееся при переходе из греческого в латинский, потом немецкий, потом польский и потом русский язык), хотя инструмент совсем не тот: нынешняя гитара — инструмент щипковый, а на греческой лире-кифаре играли бряцалом.

ИГРЕК. По-французски это значит «***и*** греческое»: так называется буква ***y***, пишущаяся во французском языке преимущественно

в словах греческого происхождения. Поэтому правильное (французское) ударение в этом слове — *игре́к*; но теперь его все чаще произносят *и́грек*, и это уже перестало быть ошибкой.

ИДИОТ. Было греческое слово ***идиос*** — свой, частный, особый, отдельный; отсюда ***идиотес*** — частное лицо. Греки были народом общительным и общественным; всякий, кто сторонился общественной жизни и предпочитал жить частным лицом, казался им чудаком и даже дураком. Отсюда — нынешнее бранное значение этого слова.

ИЗВЕСТЬ. Мы говорим «негашеная известь»; «негашеная» — это точный перевод греческого слова ***а-сбестос***. Оно было занесено на Русь византийскими каменщиками еще в киевские времена и быстро исказилось по образцу русских слов с приставкой ***из-***: так получилось слово *известь* и все его производные — *известняк*, *известка* и пр. А потом, тысячу лет спустя, слово *асбест* пришло в русский язык вторично — как научное название несгораемого волокнистого минерала, идущего на огнеупорные поделки. На Урале есть даже город под названием Асбест.

КИТ. Было древнегреческое слово ***кетос***, в средневековом произношении ***китос***; оно означало «морское чудовище», большое, страшное и зубастое. Когда греческие переводчики еврейской Библии писали, что пророк Иона был проглочен, а потом выплюнут *китом*, они представляли как раз такое прожорливое чудовище. А уже потом это слово было перенесено на океанских животных, больших и страшных, но не зубастых и не прожорливых.

КОРАБЛЬ. По-гречески ***карабион***, ***карабос*** значило «краб», а потом — легкое морское судно; какое — мы точно не знаем. Отсюда и происходит русское слово; заимствование — очень древнее, из той эпохи, когда греческое ***б*** еще не перешло в ***в***. Отсюда же, через латинский язык, — итальянское и испанское *каравелла*.

КРОВАТЬ. Древнерусский язык перенял это слово из византийского *кравватион*; там оно образовалось из слова *краббатос*, встречающегося в александрийском переводе Библии III в. до н.э.; в Александрию его занесли, по-видимому, македоняне, а в Македонию оно пришло от каких-то соседних балканских народов: в классическом древнегреческом языке его не было. Сначала русское слово *кровать*, видимо, означало богатое ложе греческой работы, в отличие от обычных русских лавок, потом оно переосмыслилось под влиянием схожих русских слов *кров*, *покрывать* и стало означать всякую постель.

КУРОЛЕСИТЬ. В православном богослужении одно из самых частых повторяющихся восклицаний — «Господи, помилуй», по-гречески — ***кирие, элейсон***. Когда богослужение велось второпях, то для экономии времени часть хора пела одно, другая часть — другое, все смешивалось, и только и можно было различить: *кирилейсон*, *киролесу*... Отсюда и пошло значение русского слова: пу-

таться, путать, дурить. «Идут лесом, поют куролесом...» — говорится в старинной загадке про похороны.

МАШИНА. Было греческое слово ***механэ́***, означавшее «орудие», «приспособление»; от него пошло название науки *механика*. В дорийском наречии (с широко раскрытым ртом) оно звучало *махана́*. Из этого наречия оно перешло в латинский язык, но переместило ударение и облегчило средний слог: получилось *ма́хина*. Из латинского слово перешло в польский, опять сменив ударение: *махи́на*; и во французский, сменив вдобавок средний согласный: *маши́н*. В русский язык оба варианта явились одновременно при Петре I и, как ни странно, опять с ударениями *ма́хина* и *ма́шина*. Современное ударение и современное различие значений («неуклюжая громада» и «удобное приспособление») установились лишь к XIX в. Вот как путешествуют ударения.

ТАЙФУН — тихоокеанский ураган. Это китайское слово, означающее сильный ветер. Но когда англичане (веке в XVIII) стали записывать его латинскими буквами, то нарочно записали так, чтобы по-латыни оно читалось *тифон*. А Тифон в греческой мифологии был чудовищем в полмира величиной, нападавшим на самого Зевса; и *тифоном* греки (и римляне тоже) называли ураганный ветер. И вот смелые языковеды предполагают: греческое слово ***тифон*** перешло в арабское *туфан* (что значит «прилив»), арабские мореплаватели донесли его до китайских берегов, там оно вошло в китайский язык и из китайского было возвращено англичанами в греческую мифологию.

ШПАРГАЛКА. Наверное, это — самое неожиданное в нашем списке «старых знакомых» греческого происхождения. Было греческое слово ***спа́рганон***, означало детские пеленки, а заодно всякую грязную и рваную ткань. В средние века оно перешло в латинский язык и стало произноситься *спа́рганум*, а в XVII в. — из латинского в польский, стало произноситься *шпа́ргал* и означать «измаранный клочок бумаги». Отсюда через украинские бурсы это слово благополучно достигло наших школ.

Часть шестая

АЛЕКСАНДР И АЛЕКСАНДРИЯ, или Греция подводит итог

Блажен овладевший знанием:
Нет ему ни народных бед,
Нет для него неправедных дел,
Пред взором его —
Бессмертный космос природы,
И откуда он встал, и как он стоит;
У такого в душе
Нет места недоброму помыслу.

Еврипид



ЮНОСТЬ АЛЕКСАНДРА

Александра Македонского трудно представить себе живым человеком — кажется, что он был мифологическим героем. Он прожил тридцать лет и три года. Он за десять лет покорил почти весь мир. Он был ученик мудрого Аристотеля и поклонник великого Гомера. Он был так прекрасен, что первым в Греции стал брить себе бороду, чтобы она не скрывала черт его лица. Вести о его подвигах прилетали в Грецию из дальних восточных земель и тут же становились легендами.

Рассказывали, будто в ночь, когда он родился, в городе Эфесе сгорел храм Артемиды — одно из семи чудес света, и это потому, что богиня Артемида была в тот час далеко, в македонской столице, и помогала царице Олимпиаде родить Александра. Храм сжег сумасшедший по имени Герострат: он был тщеславен и хотел покрыть свое имя славой, хотя бы и дурною. Его казнили, а имя его запретили произносить, чтобы его желание не исполнилось. Увы, это не удалось: дурная слава легка.

Александру было три года, когда Филипп установил власть над Фессалией, пять лет, когда тот овладел Фракией, десять лет, когда тот прошел за Фермопилы и был принят в Дельфах. Александр жаловался: «Отец все завоюет и ничего мне не оставит!»

Александр учился бегать, ездить верхом, владеть оружием. Бегал он быстрее всех. Филипп спросил его: «Хочешь бежать в Олимпии?» Александр ответил: «Да, если соперники будут цари».

Филиппу подарили коня, он был прекрасен, но так дик, что ни один наездник не мог с ним совладать. Вызвался подросток Александр. Он заметил, что конь боится своей собственной движущейся тени, направил коня против солнца, побежал с ним рядом, а потом неожиданно вскочил ему на спину. Конь взвился и понесся прочь; никто из свиты не мог его догнать. Когда конь и всадник вернулись, Александр был еле жив, конь весь в пене, но уже повиновался

ездоку. Филипп поцеловал сына и сказал: «Ищи себе другого царства: Македония мала для тебя».

Конь этот стал любимым конем Александра и носил его во всех битвах. Звали его Букефал — «Бычья голова». Он умер, когда Александр воевал в Индии. Александр построил над его могилой город и назвал его Букефалой.

Аристотель рассказывал юному Александру, что по учению философа Демокрита таких миров, как наша Земля, существует бесчисленное множество. «А я не владею и одним!» — воскликнул Александр. «Демокрит засмеялся бы, услышав такие слова», — сказал ему Аристотель. Но Александр не смеялся.

Это Аристотель научил Александра любить Гомера. Свиток с «Илиадой» всю жизнь лежал у Александра под подушкой вместе с кинжалом. Это был свиток, сделанный по особому царскому заказу: вся огромная поэма была записана на одной папирусной полосе, и так мелко, что ее (будто бы) можно было хранить в ореховой скорлупе. Он говорил: «Во всем мире я завидую только Ахиллу: у него был друг при жизни и певец после смерти». Когда он переправился в Азию, то первое, что он сделал, — это пришел на место, где стояла Троя, и принес жертвы на кургане Ахилла и Патрокла.

Александр был единственным сыном Филиппа от царицы Олимпиады. Но у Филиппа было много побочных детей от разных любовниц. Александр упрекал отца. Отец отвечал: «Это чтобы ты получил царство не по наследству, а по достоинству».

Но вскоре стало не до шуток. Филипп отстранил Олимпиаду и взял в жены новую царицу. Не прошло и года, как Филипп был убит. Убил его один придворный юноша, обиженный родственниками молодой царицы и не нашедший защиты у царя. Подговорила его к убийству, конечно, Олимпиада. Убийцу распяли, но, когда его сняли с креста, Олимпиада надела на мертвого золотой венок, а потом сожгла его тело над могилою Филиппа. А молодой царице она послала яд, меч и петлю — на выбор.

Гибель Филиппа, конечно, не обошлась без предзнаменований. Он готовил поход на Персию и послал спросить пифию, за ним ли будет победа. Пифия ответила: «Бык увенчан цветами, и близок тот, кто заколет!» Филипп принял это за добрую весть и возгордился. На придворном празднестве было шествие в честь двенадцати богов, на колесницах везли их статуи. Филипп велел вывезти за ними тринадцатую колесницу с собственной статуей и пошел за нею сам, без свиты, в белой одежде. Тут его и убили.

Вся Греция всколыхнулась. Фиванцы и афиняне начали восстание. Но не успели они собрать силы, как под Фивами уже стоял двадцатилетний Александр с македонским войском. Осада была недолгой, а расправа жестокой. Город Фивы был стерт с лица земли; среди развалин оставили стоять только дом поэта Пиндара, прославлявшего когда-то прежних македонских царей. Тридцать тысяч фиванцев были проданы в рабство. Устрашенная Греция оцепенела.

Александр собрал военачальников и сказал им: «Пора идти на Персию». Военачальники молчали, только Парменион, старый соратник Филиппа, сказал: «Сперва, Александр, роди македонцам такого сына, как ты». Но Александр спешил к славе. Поход был объявлен.

Александр явился в Дельфы и спросил у оракула, ждет ли его победа. Пифия отказалась дать пророчество: день был неблагоприятен для вещаний. Александр схватил ее и силой потащил к пророческому треножнику. Женщина, с трудом отбиваясь, вскричала: «С тобой не справиться, Александр!» Он отпустил ее: «Только это я и хотел услышать».

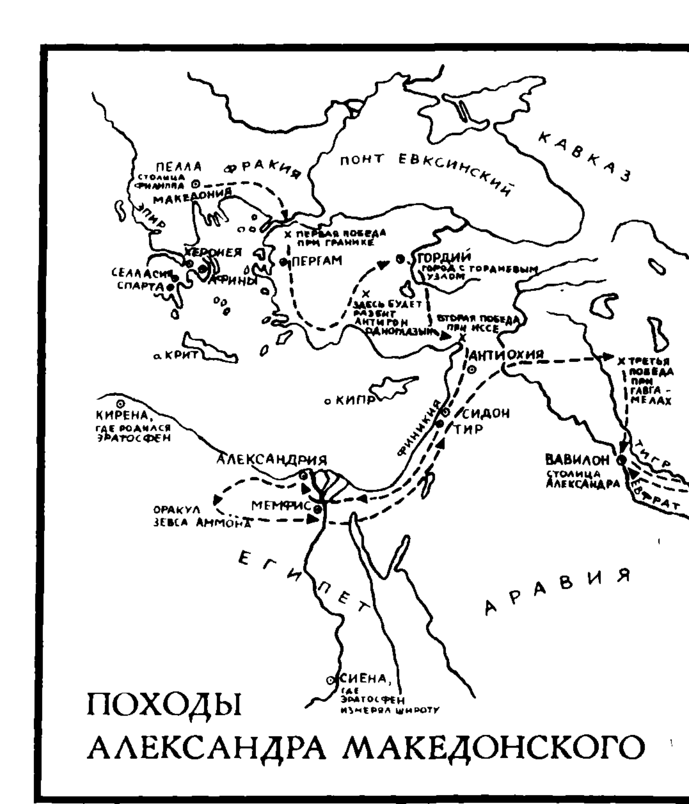
Выступая в поход, он роздал друзьям все свои царские доходы. «Что же ты оставляешь себе?» — спросили его. Он ответил: «Надежду».

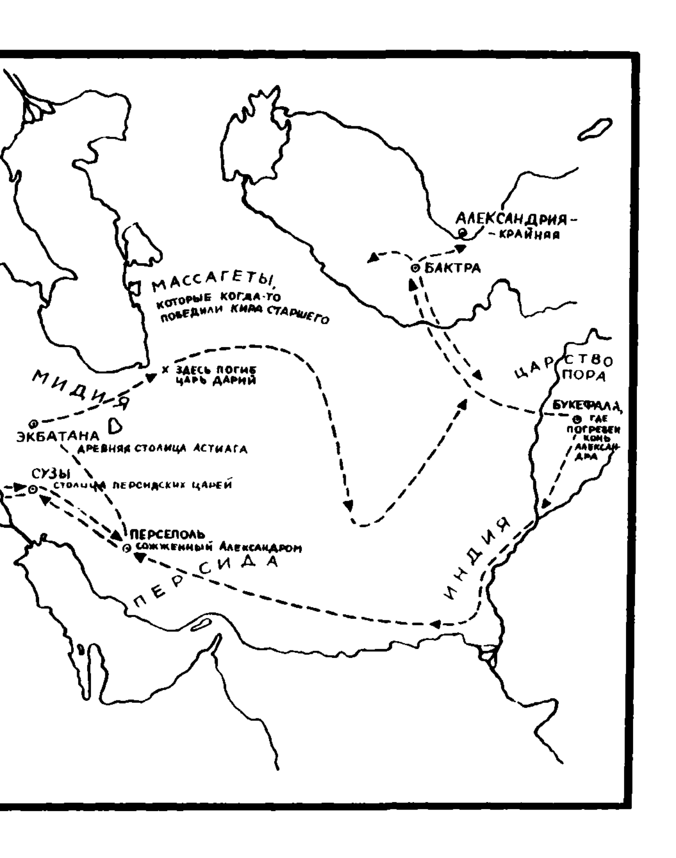
ПОДВИГИ АЛЕКСАНДРА

Александр хотел владеть Азией не как захватчик, а как наследник: по праву самого доблестного и мудрого. Когда он проходил через Фригию, ему показали в храме колесницу древнего царя Гордия, дышло которой было привязано к ярму узлом каната из кизиловой коры. Говорили, что кто развяжет этот узел, тот унаследует власть над всей Азией. Александр попробовал и не смог: узел был запутанный. Тогда он взмахнул мечом и разрубил Гордиев узел. Это вошло в пословицу.

Когда он пришел в Египет, то узнал, что здесь царей считают живыми богами. Тогда он объявил себя богом, сыном Зевса-Аммона. Азиатские народы признали это с готовностью: они привыкли. Греки — другое дело: они негодовали. Афиняне так шумели в своем народном собрании, что оратор Демад им сказал: «Оберегая ваше небо, не прозевайте вашу землю!» Только спартанцы презрительно ответили послу Александра: «Если Александр хочет быть богом — пусть будет!»

Главная борьба за Азию предстояла с персидским царем


ПЕЛЛА
СТОЛИЦА ФИЛИППА
ФРАКИЯ
МАКЕДОНИЯ
ЭПИР
ПОНТ ЕВКСИНСКИЙ
КАВКАЗ
ПЕРВАЯ ПОБЕДА ПРИ ГРАНИКЕ
ХЕРОНЕЯ
ПЕРГАМ
ГОРДИЙ
ГОРОД С ГОРДИЕВЫМ УЗЛОМ
СЕЛЛАСИЯ
СПАРТА
АФИНЫ
ЗДЕСЬ БУДЕТ РАЗБИТ АНТИГОН ОДНОГЛАЗЫЙ
ВТОРАЯ ПОБЕДА ПРИ ИССЕ
о. КРИТ
АНТИОХИЯ
ТРЕТЬЯ ПОБЕДА ПРИ ГАВГАМЕЛАХ
о. КИПР
КИРЕНА, ГДЕ РОДИЛСЯ ЭРАТОСФЕН
ФИНИКИЯ
СИДОН
ТИР
АЛЕКСАНДРИЯ
ВАВИЛОН
СТОЛИЦА АЛЕКСАНДРА
ТИГР
ЕВФРАТ
ОРАКУЛ ЗЕВСА АММОНА
МЕМФИС
ЕГИПЕТ
АРАВИЯ
СИЕНА, ГДЕ ЭРАТОСФЕН ИЗМЕРЯЛ ШИРОТУ
ПОХОДЫ
АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО



АЛЕКСАНДРИЯ-КРАЙНЯЯ
БАКТРА
МАССАГЕТЫ, КОТОРЫЕ КОГДА-ТО ПОБЕДИЛИ КИРА СТАРШЕГО
МИДИЯ
ЗДЕСЬ ПОГИБ ЦАРЬ ДАРИЙ
ЦАРСТВО ПОРА
БУКЕФАЛА, ГДЕ ПОГРЕБЕН КОНЬ АЛЕКСАНДРА
ЭКБАТАНА ДРЕВНЯЯ СТОЛИЦА АСТИАГА
СУЗЫ СТОЛИЦА ПЕРСИДСКИХ ЦАРЕЙ
ПЕРСЕПОЛЬ СОЖЖЕННЫЙ АЛЕКСАНДРОМ
ПЕРСИДА
ИНДИЯ

Дарием Младшим. Александр уже разбил его в одной битве — предстояла вторая. Дарий предложил Александру мир и половину своего царства. Старый полководец Парменион сказал: «Я согласился бы, будь я Александром». Александр ответил: «А я согласился бы, будь я Парменионом». Дарию он написал: «В небе не может быть двух солнц: покорись или бейся». Дарий дрогнул. Перед самой битвой он опять предложил Александру полцарства и огромный выкуп. Александр ответил: «Ты предлагаешь мне то, что тебе уже не принадлежит».

Битва произошла под Гавгамелами. Александр победил. Решающей схваткой был натиск персидских колесниц с широкими серпами по бокам: серпы подрезали врагов под колени, как колосья в поле. Александр приказал своим воинам бить копьями о щиты; страшный лязг испугал вражеских лошадей, колесницы дрогнули и повернули назад.

Дарий бежал. В бегстве его убил изменник — сатрап Бесс. Этим он хотел купить милость Александра. Но Александр ответил изменнику ненавистью. Он не хотел убивать Дария: он хотел принять от него власть и по-царски сделать его своим другом и советником, как когда-то Кир Креза. Бесса он выдал на расправу пленным родственникам и родственницам царя Дария. Они казнили его страшной казнью: изрубили на мелкие куски и из пращей разметали эти куски по пустыне во все стороны.

Александр стал персидским царем. Он взял в жены дочь Дария и знатнейшим македонянам велел тоже взять персидских жен. Пятьсот молодых персов он велел воспитывать по македонскому обычаю. Когда он сидел на троне, ему должны были кланяться по-восточному, земными поклонами. Македоняне начали роптать. Друг Александра Клит крикнул ему на пиру: «Счастливы те, кто погибли раньше, чем нас стали бить персидскими розгами!» Александр метнул копье и убил Клита.

Войско шло дальше на восток. Мимо гробницы великого Дария; на ней было написано: «Я — Дарий, царь великий, царь царей, царь персов, царь народов; никто не сделал столько добра друзьям и зла врагам своим; я мог все». Мимо гробницы великого Кира; на ней было написано: «Я — Кир, царь великий, царь царей, царь персов, царь народов; кто бы ты ни был, путник, я знал, что ты придешь; не лишай меня земли, покрывающей мой прах». Гробница эта стоит до сих пор, и в Иране ее чтут, как святыню. Невдалеке был Персеполь, город царских дворцов, столица Персиды; Александр сжег его до основания, это была расплата за

сожженные Ксерксом Афины. Александр шел дальше: там за Персией была Индия.

В Индии были два царства и два царя: Таксил и Пор. Таксил отказался от боя и стал союзником Александра. Пор принял бой, был разбит, но так понравился Александру, что тот вернул ему царство и тоже сделал его своим союзником. Таксил на вызов Александра сказал так: «Я готов дать тебе то, чего у меня больше, и взять у тебя то, чего у тебя больше; зачем нам биться?» Пор был исполинского роста, в бою он сидел на слоне, как всадник на лошади, и слон хоботом вынимал ранившие хозяина стрелы. Взятый в плен, на вопрос, как с ним обращаться, он сказал: «Как с царем». — «Больше ты ничего не скажешь?» — переспросили его. «Если Александр — настоящий царь, этого довольно», — ответил Пор.

Александр спросил, кто научил Таксила и Пора их благородству и мудрости. Они ответили: «Голые мудрецы». В Греции Диоген был один, в Индии таких мудрецов было много. Они сидели в чаще тропического леса на солнечной поляне, коричневые, прямые, спокойные, не разговаривая друг с другом, погруженные только в свои мысли. Местные жители приносили им по горстке риса в день — больше они ничего не ели. Александр захотел их увидеть. Он послал к ним в лес гонца с рассказом о своих подвигах. Мудрецы сказали: «Неужели Александр не мог добраться до нас без таких хлопот?» Но они согласились видеть его и ответить на его вопросы.

Александр задал мудрецам десять вопросов и получил десять ответов. Первый вопрос был такой: «Кого в мире больше — живых или мертвых?» — «Живых, — ответили мудрецы, — потому что мертвых больше нет». Второй вопрос: «Что кормит больше животных — земля или море?» — «Земля, потому что море — это тоже часть земли». Третий вопрос: «Какое животное самое хитрое?» — «То, которое еще не попадалось человеку». Четвертый вопрос: «Зачем вы склоняли Пора к борьбе со мной?» — «Чтобы он со славой жил или со славой умер». Пятый вопрос: «Что было раньше — день или ночь?» — «День был раньше на один день». («Трудный ответ!» — сказал Александр. «На трудный вопрос!» — отвечали мудрецы.) Шестой вопрос: «Как заслужить любовь?» — «Будь самым сильным, но не самым страшным». Седьмой вопрос: «Как стать богом?» — «Сделай то, что не под силу человеку». Восьмой вопрос: «Что сильнее — жизнь или смерть?» — «Жизнь: в ней больше страданий». Девятый вопрос: «Когда надо человеку уми-

рать?» — «Когда смерть будет для него лучше жизни». Десятого вопроса историки не запомнили.

За Индией лежали новые земли, но после разговора с мудрецами Александру уже не так, как прежде, хотелось их покорять. Войско его, измученное бесконечным походом, роптало и требовало возвращения. Александр повернул. Обратный путь шел через дикую выжженную пустыню. Воды не было, вместо нее из Индии взяли с собой несметные запасы вина. Путь войска превратился в пьяное шествие, всюду гремели чаши, свистели флейты, звучали песни, люди падали и больше не вставали. Александр ехал в колеснице, среди пурпурных ковров, под сенью зеленых ветвей, как бог Дионис. В вине он искал забытья: он не знал, зачем ему жить дальше.

С Александром ехал индийский мудрец Калан: он согласился покинуть родину и стать советником царя. В дороге он заболел и, чтобы избавиться от мучений, сжег себя заживо по индийскому обычаю. («Калан сильнее меня: я сражался с царями, он — с мучениями и смертью», — сказал Александр.) Перед тем как взойти на костер, Калан посмотрел Александру в глаза и сказал: «Мы скоро свидимся». Это было первое предзнаменование смерти Александра.

Вторым предзнаменованием была смерть Гефестиона, лучшего друга царя. Когда-то Александр вместе с Гефестионом вошел впервые к пленным жене и дочери Дария; Гефестион был одет богаче, пленницы приняли его за Александра и простерлись перед ним ниц. «Ничего, — сказал тогда Александр, — он такой же Александр, как и я». Теперь Гефестион заболел, врач назначил ему диету, Гефестион не утерпел и нарушил ее, и это его погубило. Александр был безутешен. В знак траура греки стригли волосы — в память о Гефестионе Александр остриг гривы коням в своей коннице и разрушил зубцы на городских стенах. Вместо погребальной жертвы он пошел в поход на племя коссеев и перебил всех способных носить оружие. В персидском главном храме он велел погасить священный огонь — раньше это делалось только при смерти царей. «Ты не боишься?» — спросили его. Он не ответил.

Третье предзнаменование было таинственное. Александр с друзьями играл в мяч в гимнастической комнате своего дворца. По греческому обычаю играли голыми, сложив одежду на кресла. Вдруг игравшие увидели, что на царском кресле в царском одеянии сидит незнакомый человек: грязный, худой, стиснув зубы и глядя тупыми глазами прямо перед собой. Его схватили; он молчал. Его бросили на пыт-

ку. Тогда он сказал, что звать его Дионисий, родом он из Мессении, сидел в тюрьме, но к нему явился бог Серапис, снял с него оковы и велел прийти сюда, надеть царское платье и молчать. Его казнили. Но Александр был мрачен.

Отчего умер Александр? Трезвые люди пожимали плечами и говорили: «От лихорадки после пьяного пира». Скорее всего, так оно и было. Но никто не хотел верить, что покоритель мира во цвете лет умер так случайно. И рассказывали страшные вещи о том, как его отравили. Отравою была вода Стикса: оказывается, эта адская река в одном месте Греции пробивалась из-под земли на поверхность, катила свои зловещие черные воды, а потом опять уходила под землю. Вода в ней была такая ядовитая, что разъедала даже камень и металл. Не разъедала она только козье копыто. В козьем копыте злоумышленники тайно доставили ее из Греции в Вавилон к Александру. И тут на пиру военачальник Александра Кассандр будто бы тайно уронил несколько капель этой воды в чашу царя.

Он умирал, не оставив наследников своему всемирному царству. Друзья-военачальники толпились у его постели. Александр уже почти не мог говорить. Его спросили: «Кому ты оставляешь царство?» Он прошептал, едва шевеля губами: «Достойнейшему». Его спросили: «Кто будет надгробной жертвой над тобой?» Он выдохнул: «Вы». Когда он умер и начались кровавые войны за власть между его военачальниками, они часто вспоминали это его последнее слово.

Ему было тридцать три года. И потом, два с половиной века спустя, Юлий Цезарь в свои тридцать три года плакал и говорил: «В моем возрасте Александр уже покорил мир!» А преемник Цезаря Август в свои тридцать три года улыбался и говорил: «Не понимаю, почему Александр предпочел покорять чужие царства, вместо того чтобы хорошо править своим?»

СКАЗКА ОБ АЛЕКСАНДРЕ

Если у греков рассказы о подвигах Александра так походили на сказку, то у восточных народов — тем более. Больше всего таких рассказов было у египтян. Это понятно: ведь это у них в стране стоял город Александрия, а в Александрии, в храме при царском дворце, покоилось набальзамированное тело Александра. Египтянам хотелось думать, что этот великий герой — не пришелец, а египетский законный царь, освободивший их страну от персидских поработителей. И они сочинили вот какую историю.

Много тысячелетий правили Египтом и целым миром цари-звездочеты, потомки богов. Последнего из них звали Нектанеб. Однажды, совершая гадания, узнал он страшную весть: боги отступились от своей страны и отдают ее под персидскую власть, а вызволить ее должен его, Нектанеба, сын, который придет из далекой северной страны. Узнав это, Нектанеб тайно бежал из дворца, переплыл море и явился в Македонии, при дворе Филиппа и Олимпиады. Здесь наслал он царю и царице сон: как Зевс когда-то пришел к фиванской царице Алкмене, и она родила от него Геракла, так теперь Зевс желает прийти к Олимпиаде, чтобы она родила от него героя, который будет еще более велик, чем Геракл. Филипп и Олимпиада возликовали и возблагодарили богов. И тогда Нектанеб в образе бога явился ночью к Олимпиаде, и она родила от него Александра.

Александр подрос, и Нектанеб стал учить его звездной науке. Однажды стояли они под звездами на крыше дворца, и Александр спросил: «А могут ли предсказать тебе звезды твою собственную смерть?» Нектанеб ответил: «Да, суждено мне умереть от собственного сына». И тогда Александр столкнул Нектанеба с крыши дворца и, наклонясь, сказал разбившемуся: «А не лживы ли твои звезды?» Но Нектанеб, умирая, ответил: «Нет, умер я в назначенный час и от руки собственного сына, потому что ты, Александр, — мой сын, а не Зевса и не Филиппа...» — и тут он рассказал Александру все о себе и о нем, а потом испустил дух.

Александр возмужал, собрал войско и пошел освобождать отчее царство. Сперва он пошел на запад, покорил римлян, покорил карфагенян, достиг океана у Геракловых столпов на краю света и поставил там надпись. Потом он пошел на юг, и достиг Египта, и увидел там статую Нектанеба, на которой было написано: «Я — царь и бог этой земли, я покинул ее старым, а вернусь в нее молодым, и власть моя будет вновь над целым миром», — и объявил народу, кто он такой, и народ ликовал, и Александр выстроил на этом месте город Александрию. Потом он пошел на восток, победил персидского царя Дария, победил индийского царя Пора, а о том, что было дальше, он сам написал своему учителю, мудрому Аристотелю, приблизительно так:

«А по сокрушении царя Пора пошел я с войском моим еще того далее, к крайнему морю. И путь был лесом, а лес был душен, и шли мы ночью, потому что днем от зноя нельзя было идти. А в лесу том жили дикие люди, ноги раздвоены, как копыта, лица женские, а зубы псиные; и скорпионы длиною в локоть; и летучие мыши величиною

как орлы; и зверь-царезуб, который глотает слона единым глотком. Тридцать ночей мы шли и вышли к великому океану, у которого кончается свет. В том океане виден был остров, и я хотел поплыть на тот остров, но друг мой Филон сказал мне: «Не плыви, царь, а позволь поплыть мне, потому что таких, как я, у тебя много, а такой, как ты, у нас один». Снарядил он челн и поплыл к тому острову, но остров вдруг ушел в пучину морскую, потому что это был не остров, а чудо-кит, и на том месте вода закрутилась крутнем, и погиб мой друг Филон. А у берега того океана растет дерево, на рассвете малое, а в полдень до небес, а ввечеру опять малое; на ветвях того дерева сидят две птицы, лица у них женские, и говорят они греческим языком. Они мне молвили: «Полно, Александр! одолел ты Дария, одолел ты Пора, нет более в мире места для славы твоей». А вокруг того дерева живут люди-безголовцы, у которых глаза, нос и рот — на груди; кормятся они только грибами, каждый гриб величиною с щит, а нравом они просты и добры, как дети. Стал я их спрашивать, какие народы живут от них к северу и югу; и сказали они, что к югу живут амазонки, народ женский, мужчин у них нет, живут они войной, и каждая амазонка отрезает себе правую грудь, чтобы она не мешала ей натягивать тетиву лука; а к северу живут народы Гог и Магог, женщин у них нет, живут они тоже войной, едят только сырое мясо и пьют кровь убитых. Тогда мы пошли к югу; и амазонки не стали с нами воевать, а объявили, что хотят справить свадьбу с моими воинами, чтобы родить от них таких же доблестных дочерей, как отцы. Так мы и сделали, а потом амазонки отпустили нас с честью и дарами. Тогда мы пошли к северу; и здесь на нас вышли восемьдесят два царя народов Гог и Магог, но я победил их, прогнал за высокие горы, а в горах поставил медные ворота на железном пороге, высоты в них шестнадцать локтей, а сторожат их триста моих македонян, триста персов и триста индийцев; когда же Гог и Магог выйдут из-за гор, то настанет конец света. Здесь, в горах, была черная пещера, откуда днем видно звезды, и я вошел туда и услышал голос: «Полно, Александр! я — Сесонхосис, предок твой, первый царь Египта, а ныне бог, но имя мое забыто, а твое будет вечно, потому что ты выстроил город Александрию». Воротясь же к океану, вопросил я людей-безголовцев, какое у них есть славнейшее прорицалище, потому что обняла мою душу забота. И они привели меня в священную рощу Солнца, а там росли два дерева, видом как кипарис, но высотою до небес, и меж ними гнездо птицы феникс, которая смерти не знает, а раз в тысячу лет улета-

ет отсюда в Аравию, там складывает себе костер из благовоний и входит в огонь старой, а выходит юной. Из тех двух деревьев одно говорит по-человечески на восходе, в полдень и на закате солнца, а другое — на восходе луны, в полночь и перед рассветом, и я вопросил те деревья, долго ли мне еще жить, а они ответили: «Полно, Александр! пришло тебе время умереть, а умрешь ты в своем Вавилоне от ближних твоих». И, услышавши это, повернул я мое войско и пустился обратно в Вавилон к ближним моим...»

Эту сказку об Александре греки тотчас пересказали по-гречески (и для верности написали, будто автор ее — Каллисфен, племянник Аристотеля и спутник Александра), с греческого ее перевели на западе по-латыни, на востоке — по-сирийски, а с этих языков — на все остальные, прозою и стихами. И полторы тысячи лет не было на западе и востоке более любимого чтения, чем этот «Роман об Александре», «Искандер-намэ», «Повесть о бранях», «Александрия» или как он еще назывался.

НАСЛЕДНИКИ АЛЕКСАНДРА

Пророчество умирающего Александра сбылось. Тридцать дней тело Александра лежало неприбранным: полководцы спорили за власть. Двадцать лет по всем землям и морям от Афин до Вавилона не утихали войны: полководцы боролись за власть. Александр оставил двух малолетних сыновей, брата, властную мать — все были перебиты, чтобы не мешали сильнейшим. Полководцы сходились в битвах, как бы пробуя силы, и после каждой битвы кто-то погибал и выбывал из большой игры.

Это были сверстники Александра, удальцы в цвете лет и сил. Об одном рассказывали, что он удержал за рога бешеного быка, несшегося на Александра; о другом — что он заступился перед Александром за казнимого, был сам брошен в яму на съедение льву, но одолел льва голыми руками и стал любимцем Александра. Александр не жалел для них ничего: когда один попросил у него на приданое дочери, Александр дал пятьдесят талантов. «Достаточно десяти», — сказал тот. «Тебе достаточно, а мне недостаточно», — ответил царь. Азиатская добыча пьянила их, они купались в роскоши: один ходил в башмаках, подбитых серебряными гвоздями, другой раскидывал шатры длиною в стадий, третий возил за собой на верблюдах египетский песок, чтобы обсыпаться при гимнастике. И они же умели, вскочив с пурпурных ковров, неделями мчаться по горным бездоро-

жьям, замучивая войска ночными переходами, чтобы напасть на соперника врасплох и чтобы тот погиб, не успев понять, с кем он бьется.

Цель каждого была одна: стать царем. Только один, может быть самый талантливый, надеяться на это не мог. Его звали Евмен; он был грек, а македоняне не потерпели бы над собою грека. Он бился не за себя, а за единство распадающейся державы. При Александре он был секретарем — среди македонян с копьями он ходил с писчими табличками в руках. Теперь он воевал, побеждал сильнейших, бойцы его любили, но все равно на военных советах он не смел сидеть во главе македонян, а ставил там пустое кресло и говорил, что это место царя Александра. Его взяли изменой. В плену он тосковал: «Пусть меня отпустят или убьют!» Ему сказали: «Смерти ищут не в тюрьме, а в сражении». — «Я искал, но не нашел сильнейшего». — «Значит, нашел теперь: терпи же его волю». Его уморили в тюрьме голодом.

Победителя Евмена звали Антигон Одноглазый. Он был старше всех соперников, воевал еще при Филиппе, потерял глаз в войне с Афинами. Он первый из соперников объявил себя царем — повязал лоб белой перевязью, диадемой. Льстецы поспешили объявить его и богом — он сказал: «Это неправда, и о том лучше всех знаем я да тот раб, что выносит мой ночной горшок». Держался он запросто; однажды, слушая кифариста, он стал пререкаться с ним, как надо играть, пока тот не воскликнул: «Пусть тебе, царь, никогда не придется так худо, чтобы знать мое дело лучше меня!» Его упрекали за большие поборы: «Александр так не делал». Он отвечал: «Александр пожал жатву с Азии, а я лишь собираю за ним колоски».

Антигон владел почти всей Азией. Обладать Грецией он послал своего сына, отважного красавца Деметрия: «Эллада — это маяк нашей славы, свет которого льется на весь мир». Деметрий высадился в Афинах с грузом хлеба и созвал народное собрание, чтобы его раздать. Говоря речь, он сделал ошибку в языке, кто-то тотчас перебил его и поправил. «За эту поправку, — воскликнул он, — я дарю вам еще пять тысяч мер хлеба!» Обнищалые афиняне не знали, как восхвалить благодетеля. Его поселили жить в Парфеноне; где он сошел с колесницы, там поставили храм Деметрию Нисходящему; месяц мунихий переименовали в деметрий и даже вместо оракула постановили спрашивать вещанья у Деметрия. «Безумцы!» — сказал кто-то. «Безумнее было бы не быть безумцами», — отвечал старый Демохар.

У Деметрия было прозвище Полиоркет — «Градоимец».

Его осадные машины вселяли ужас. Когда он осаждал Родос, то боевые башни его были семиэтажной высоты, а с моря город запирали корабли не в три, а в пятнадцать рядов гребцов. Это тогда он не взял город потому, что боялся сжечь мастерскую художника Протогена. Сняв осаду, он бросил машины на Родосе, и от продажи их родосцы нажили столько денег, что воздвигли на них в своей гавани чудо света — колосс Родосский, самую большую статую в мире, у которой, говорят, корабли проплывали между ног.

Но могущество Антигона и Деметрия было недолгим: против них сплотились четверо младших соперников и пересилили. Это были: Птолемей, умнейший из правителей, хитростью залучивший в свою столицу Александрию драгоценные останки великого Александра; Лисимах — тот самый, который был брошен льву и убил льва; Селевк — единственный повторивший поход Александра на Индию и получивший от индийского царя пятьсот слонов; и Кассандр, который будто бы отравил Александра Великого и теперь не мог смотреть даже на его статуи. Решающая битва произошла в Малой Азии. Антигону было восемьдесят лет, он сидел на коне, как исполин; ему крикнули: «Царь, в тебя стреляют!» — он ответил: «В кого же им еще стрелять?» Слоны Селевка решили исход боя. Антигон погиб, Деметрий бежал. Победители поделили державу: Египет — Птолемею, Азию — Селевку, запад Малой Азии и Фракию — Лисимаху, Македонию — Кассандру.

Деметрий Полиоркет остался царем без царства. Он метался из страны в страну, им восхищались, его прославляли, но закрепиться он нигде не мог. Окруженный в Малой Азии, он сдался на милость Селевка; сыну своему, Антигону Младшему, он переслал приказ: «Считай меня мертвым и, что бы я тебе ни писал, — не слушайся». Антигон умолял Селевка отпустить отца и предлагал себя взамен — Селевк не слушал. Деметрий умер, пьянствуя в плену у Селевка. Сын его, однако, сумел отбить последний, малый, но почетный кусок державы Александра — Македонию.

За царскими победами приходили царские будни: огромными державами нужно было управлять, а это давалось трудно. Еще Деметрию в Греции приходилось высиживать целые дни перед народом, принимая просьбы и разбирая споры. Однажды, изнемогши, он встал; его ухватила за плащ какая-то старушка: «Выслушай и меня!» — «Нет времени». — «Если нет времени, то нечего и царствовать!» Селевк говорил: «Если бы я знал, чего стоит царская власть, я не наклонился бы поднять упавшую диадему». Антигон Младший говорил сыну: «Помни: царская власть — это

только почетное рабство». Сына тоже звали Антигон. Когда против него вспыхнуло восстание, он вышел к народу без стражи, швырнул в толпу царский пурпурный плащ и сказал: «Найдите или такого царя, который бы вам не приказывал, или такого, какого бы вы слушались, а мне ваше царство не в радость, а в тягость!» И народ утих.

Царским обычаем стало держать советников-философов. «Читай книги, — говорил Птолемею старый Деметрий Фалерский, ученик Аристотеля, — они скажут тебе то, чего не посмеют друзья», и Птолемей собирал великую Александрийскую библиотеку. А когда умер несокрушимый стоик Зенон, царь Антигон Младший воскликнул: «Для кого же мне теперь царствовать?»

Время шло, из наследников Александра остались в живых только двое: Лисимах и Селевк. Враждовать им было не из-за чего, но им, помнившим Александра, скучно было доживать век среди молодых деловитых царей-политиков, и они пошли друг на друга, как богатыри, в единоборство. Лисимаху было за семьдесят, Селевку под восемьдесят. Лисимах пал в бою, Селевк был зарезан в походе на Македонию. Это была последняя жертва на тризне Александра.

АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА

> Пусть сопутствует счастье переписавшему эту книгу, взявшему ее в руки и читающему ее.
>
> (Надпись на рукописи речей Демосфена)

Рассказывали, будто Александр, основывая Александрию, начертал на поданном ему плане пять первых букв алфавита: АБГДЕ. Это значило: «Александрос Басилевс Генос Диос Эктисе» — «Александр-царь, порождение Зевса, основал...» Это было предзнаменование, что городу суждено прославиться словесными науками.

Александрия была самым большим городом греческого мира. Она была выстроена по-научному, улицы пересекались под прямыми углами, главная была шириной в 30 метров; обнесенная колоннадой, она тянулась на целый час ходьбы, от Ворот Солнца до Ворот Луны. На центральном перекрестке была площадь, а на площади — исполинский мавзолей с телом Александра Великого. Ближе к морю стоял царский дворец, а при нем — дом, посвященный Музам: Мусей.

Мусей не был музеем в нашем смысле слова: хранить об-

ломки древних культур греки не любили. Это было место, где шла работа над живой культурой, нечто вроде академии наук пополам с университетом. Мысль о Мусее подал царю Птолемею Деметрий Фалерский; здесь на царские деньги велась та самая разработка всех наук сразу, о которой мечтал в своем Ликее учитель Деметрия Аристотель. Царь Птолемей сам приглашал в Александрию лучших ученых и поэтов со всех концов мира. «Курятником Муз» называл Мусей один непочтительный философ. Здесь был двор для прогулок, зал для разговоров, комнаты для занятий с учениками, лаборатории, обсерватории, столовая для общих трапез. А главное, была библиотека.

До сих пор у нас не было речи о библиотеках и очень мало было речи о книгах. Нам странно это представить, но Афины обходились без книг или почти без книг. В маленьких городах, где каждый знал каждого, культура усваивалась с голоса: незнающие спрашивали, знающие отвечали. Кто хотел иметь, предположим, сочинения Платона, тот шел в Академию и сам переписывал их у его учеников. Теперь, после Александра, все переменилось. Мир расширился, люди снялись с насиженных мест, спросить «как жить?» было теперь не у кого — только у умных книг. Люди бросились читать, покупать, собирать книги; в ответ на спрос появились мастерские, где книги переписывались уже на продажу. Самой большой книжной мастерской был Египет: здесь рос папирус, а книги писались на папирусных свитках. И самым большим собранием книг была Александрийская библиотека.

Папирусные свитки греки научились делать у египтян. Шириной они были с эту книгу, а длиной — метров шесть. Бывали и длиннее, но ими уже было неудобно пользоваться. «Большая книга — большое зло», — говорил александрийский библиотекарь, поэт Каллимах. Текст писался на них столбцами шириной в длинную стихотворную строчку. Обычно в свитке помещалась тысяча с лишним строк. Писатели к этому привыкли и сами делили свои сочинения на разделы — «книги» — приблизительно такой длины. Начало и конец свитка приклеивались к палочкам, чтобы за них держать. Держали свиток правой рукой, а разворачивали левой и, читая, перематывали его постепенно с задней палочки на переднюю. Если вы увидите какое-нибудь древнее изображение человека со свитком — приметьте, в какой руке у него свиток. Если в правой, то это книга еще не прочитанная, а если в левой — уже прочитанная.

Строчки разлиновывали свинцовым колесиком, писали тростниковым пером, чернила делали из черного сока кара-

катицы или из «чернильных орешков» — наростов на дубовых листьях. Ошибки смывались губкой или попросту слизывались языком. Заглавия и заглавные буквы писались красным — отсюда выражение «с красной строки». Если книга делалась на продажу, то писец писал аккуратными прописными буквами: буква под буквой, как по клеточкам («по-печатному» — сказали бы мы); если для себя — то скорописью, как попало. Писалинеразделяяслов, а чтобы легче было читать, иногда расставля́линадстроко́йзна́киуда-ре́ния. Паузы отмечали вертикальной черточкой. Много веков спустя из этой черточки получилась наша запятая.

У книготорговцев были книжные мастерские, где изготовлялось сразу по многу экземпляров нужной книги. Ученые рабы-писцы (стоили они очень дорого) сидели в ряд и писали, а начальник прохаживался перед ними и внятно диктовал. Потом, в средние века, книги стали переписываться иначе: писец-монах сидел один в своей келье, держал перед собой нужную книгу и списывал с нее. Ошибок и те и другой делали очень много, но ошибки были разные: у древних переписчиков — слуховые, у средневековых — зрительные. Вместо слова «Иония» античный писец, недослышав, писал «Еония», а средневековый, недосмотрев, — «Нония».

Разобраться в переписываемом подчас бывало нелегко. Представьте себе, что вы на полях вашего учебника записали со слов учителя какое-то добавление. Если учебник печатный, а ваше добавление, понятно, написано от руки, то спутать их невозможно. Если же и учебник, как в древности, рукописный, и добавление ваше рукописное, то легко подумать, что это случайно пропущенная фраза из учебника же и ее надо вставить куда-то в текст. Так античные переписчики и делали, а если получалось нескладно, то подправляли текст по своему разумению. Иногда ошибок нагромождалось столько, что ученые до сих пор не могут восстановить, что же было в первоначальном тексте.

Поэтому александрийские ученые очень старались раздобыть для своей библиотеки самые древние, самые надежные рукописи. Царь Птолемей отдал приказ: на всех кораблях, что заходят в александрийский порт, производить книжный обыск; если у кого из путешественников найдется при себе книга — отбирать, делать копию и отдавать хозяину эту копию, а книгу оставлять для библиотеки. Самые надежные рукописи трагедий Эсхила, Софокла и Еврипида хранились в Афинах, в архиве при театре Диониса. Птолемей попросил под большой залог эти рукописи, чтобы сверить с ними книги своей библиотеки. Афиняне дали, и, ко-

нечно, царь пожертвовал залогом, вернул копии, а рукописи оставил в Александрии.

Не обходилось без соперничества. Цари малоазиатского города Пергама тоже собирали библиотеку. Узнав об этом, египетский Птолемей V запретил вывоз папируса из Египта, чтобы в Пергаме не на чем было писать. Тогда там изобрели новый писчий материал — пергамент. Это были овечьи и телячьи кожи, тонко вычищенные и выглаженные. Из них не склеивали свитки, а складывали тетрадки и сшивали их в книги, вроде наших. Пергамент был гораздо дороже папируса, зато прочней; кроме того, пергамент можно было изготовлять везде, а папирус — только в Египте. Это решило будущую победу пергамента: в средние века, когда вывоз из Египта прекратился, вся Европа перешла на пергамент. Но в древности папирус господствовал, и Пергамская библиотека так и не смогла догнать Александрийскую.

Около 700 тысяч свитков было собрано в Александрийской библиотеке. Здесь хранилось все, что было когда-нибудь написано на греческом языке. Сам список этих книг (со справками об авторах и о содержании) занимал 120 свитков; составил его тот самый Каллимах, который сказал: «Большая книга — большое зло». Кроме главного книгохранилища при Мусее, пришлось выстроить второе, при храме Сераписа. Они простояли шесть с лишним веков. Малая библиотека была разорена в 390 г. н.э., когда христианские монахи громили храм Сераписа. А большая библиотека была сожжена в 641 г. н.э., когда мусульманский халиф Омар взял Александрию. Говорят, он сказал: «Если в этих книгах то же, что в Коране, — они бесполезны; если не то же — они вредны».

«БЕТА-АЛЬФА — БА»

В Александрийской библиотеке занимались всеми науками. Но все науки начинались с одного — с азбуки. Так заглянем же теперь в греческую школу: в этом неказистом месте закладывались основы всего того великого и прекрасного, о чем говорится в этой книге.

Школы были маленькие: человек на двадцать—пятьдесят, чтобы со всеми мог управиться один учитель, в лучшем случае — с помощником. Ютились они где попало — обычно на дому у учителя (а мы знаем, что такое греческие глиняные дома) или в каком-нибудь городском портике, задернувшись занавеской от улицы. Платили учителям мало

21 Зак. 4463.

— примерно как средней руки мастеровым, так что были они люди бедные. Учитель сидел на высоком стуле, а дети вокруг — на складных табуреточках. Столов не было, писали на коленках. Старшие и младшие занимались одновременно: пока одних спрашивали, другие выполняли задание. Занимались и утром и вечером, с большим перерывом на обед. Выходных не было — только городские и семейные праздники. Когда в городе Лампсаке умирал философ Анаксагор и горожане спросили, чем почтить его память, он сказал: «Пусть в день моей смерти у школьников не будет занятий».

Читать учились по складам: «бета-альфа — ба, гамма-альфа — га, бета-ламбда-альфа — бла, гамма-ламбда-альфа — гла...» и так далее, перебирая все возможные сочетания, пока они не начинали узнаваться с одного взгляда. Времени и сил на это уходило невероятно много. Но учителя были неумолимы. Они твердо считали, что чем корни учения горше, тем плоды его слаще, и напоминали ученикам об олимпийских бегунах: на тренировках они подвязывают себе свинцовые подошвы, чтобы потом на состязаниях лететь, не чуя ног. Наш нынешний способ обучения грамоте (не «по буквам», а «по звукам»: м-а — ма...) был изобретен всего сто с лишним лет назад и пробивал себе дорогу с боем: еще Лев Толстой утверждал, что по-старинному, по складам, учились лучше. Одолев склады, читали первые слова — имена богов и героев: «Зевс. А-фи-на. А-га-ме-мнон». За первыми словами — первые фразы; обычно это были поучительные стихотворные строчки:

Прекрасен тот, кто вправду человек во всем...
Приятно, если умный сын в дому растет...
Пусть все несут совместно бремя общее...

Читали только вслух: греческие строчки, где не было пробелов между словами, а были ударения, иначе читать было трудно. Даже на исходе античности на тех, кто умел читать про себя, смотрели как на чудо света. Очень много учили наизусть. Были такие любители, которые знали наизусть всего Гомера; правда, их почему-то упорно считали дураками. У профессиональных ораторов, которым нужно было держать в уме большие судебные речи, память бывала почти фантастическая: они умели, например, прослушав впервые сто строк стихов, тут же повторить их от конца к началу.

Писать учились на дощечках величиной с ладонь, покрытых воском и скрепленных шнурками в книжечку. Писали палочкой, заостренной с одного конца: острым концом

выцарапывали буквы, тупым заглаживали неправильно написанное. Это оказалось очень удобным: так писали потом почти все средневековье. Многие такие деревянные тетрадки сохранились; надо признаться, что буквы в них часто бывают почти неузнаваемы, и ученые с трудом их расшифровывают. Что делать: на воске хорошо пишутся прямые линии, но очень плохо — изогнутые. (Кто хочет — пусть проверит.) Часто можно видеть: верхние строчки на табличке — четкие и аккуратные (они были обведены по трафарету или написаны для образца учителем), а дальше — чем ниже, тем хуже. Впрочем, в современных школьных тетрадках бывает то же самое...

Для упражнения в счете служила клетчатая доска — «абак». В ней были клеточки для единиц, десятков, сотен и так далее; на клеточки клали камешки или бобы, от одного до девяти. На таких клетчатых счетах нетрудно было научиться сложению, вычитанию и даже умножению (делению — гораздо труднее), а потренировавшись, можно было производить эти действия и в уме. Тем не менее с арифметикой древним было тяжело: до нас дошло много случайных обрывков хозяйственных счетов и прочего скучного материала, и ошибок там больше, чем в тетрадке у любого из вас. «Прогресс науки, — сказал один современный математик, — не в том, что мы умеем делать, чего раньше не умели, а в том, что сейчас каждый умеет делать то, что раньше умели лишь талантливые».

Кроме чтения, письма и счета, нужно было учиться музыке и пению: каждому гражданину предстояло хоть иногда участвовать в праздничных шествиях и хорах. Пение было проще, чем теперь: только в унисон, без нынешнего многоголосья, чтобы отчетливее было слышно слова. Зато учиться пению было труднее: перенимать можно было только с голоса, нот не было, в лучшем случае были значки для подкрепления памяти. Пение сопровождалось игрой на кифаре с семью струнами, по которым ударяли костяным бряцалом. Сперва упражнялись и на дудке, но потом бросили: решили, что раздувающиеся щеки уродуют лицо, а стало быть, дудка недостойна свободного гражданина, который должен быть обязательно красив, и дудку оставили рабам.

Вот на эту начальную премудрость тратил юный грек лет шесть—восемь своей жизни — примерно до четырнадцати лет. Эту школу проходили все: неграмотных в Греции не было или почти не было (полуграмотных — сколько угодно). А затем, если у тебя был интерес, способности и деньги, ты мог брать уроки у специалистов — словесников, математиков, врачей.

БОЛЬШАЯ ПОРКА

Школьники в Греции, как и во все времена, бывали разные. Поэтому, может быть, не лишней будет и вот такая сценка в стихах, сочиненная поэтом Геродом как раз в то время, о котором мы рассказываем. Называется она «Учитель», действие происходит в школе; к учителю Ламприску является старая мать одного из школьников и тащит за собою сына.

Мать. Ламприск, любезный, пусть тебя хранят Музы!
Будь добр, возьми ты моего сынка в руки,
Да растяни, да всыпь погорячей розог!
Вконец он разорил меня игрой вечной
В орлянку — бабок, видишь ли, ему мало!
Небось давно забыл он дверь твоей школы,
А вот кабак, где пьянка да игра, — помнит!
Доска его вощеная лежит праздно,
Пока он не посмотрит на нее волком
Да и не соскребет с нее всего воска.
В письме не разберет он ни аза, если
Ему не повторить раз пять подряд буквы.
Попросим мы с отцом его прочесть вслух нам
Стихи, какие в школе наизусть учат, —
Он цедит, как по капле: «А-пол-лон — свет-лый...»
«Послушай, говорю, я не была в школе,
Но уж и я и первый беглый раб этак
Прочесть сумеем!» А ему ничто: весел,
На крышу влезет да сидит, спустя ноги;
Его-то мне не жаль, а только жаль крышу:
Как завернут дожди, так это мне, бедной,
За черепицу каждую платить надо!
Ох, дура я: ослов ему пасти впору,
А я-то грамоте его учить стала,
На черный день подспорье чтоб иметь в сыне!
Ламприск, прошу я, сделай для меня милость:
Отделай мне сынка, чтобы вовек помнил!
Учитель. Давно готов, не надобно и просьб лишних!
Эй, Эвтий, Финтий, взять его, держать крепче!
Каков малец! Из бабок, говоришь, вырос,
А с голытьбой в притоне биться рад в деньги?
А ну-ка, где мой бич, где бычий хвост едкий,
Которым я лентяев по спине мечу?
Сын. Ой, милый, ой, Ламприск, ой, всех богов ради,
Не надо бычьим: бей меня другим лучше!
Учитель. Нет, дрянь ты, малый! Если попадешь в рабство,
То грош тебе цена там на любом рынке!

Сын. А сколько же ты мне ударов дать хочешь?
Учитель. А ровно столько, сколько мать твоя скажет!
Сын. Ой, сколько, мать? Ой, ой, в живых оставь только!
Мать. А столько, сколько вынесет твоя шкура!
Сын. Ой, я не буду! Ой, Ламприск, не бей больше!
Учитель. Ишь, что за голосок! А ну, молчать, слышишь?
Сын. Молчу, молчу; ой, ой, не убивай насмерть!
Мать. Дери его, Ламприск, не отпускай парня!
Учитель. Довольно: он уже пестрей змеи пестрой;
Ужо еще, как отвечать урок будет,
За каждую ошибку я сполна всыплю.
Вот так-то: хочешь меду — берегись жала!

УРОК СЛОВЕСНОСТИ

Мы не знаем, как была устроена работа в александрийском Мусее. Есть предположение, что в нем было четыре отдела: по словесности, по математике, по астрономии, по медицине. Допустим, что это было так. Главным, во всяком случае, был отдел словесности: недаром гордостью Мусея была библиотека. Главой Мусея непременно был ученый-словесник. А поначалу старались, чтобы он был к тому же и сам поэт, то есть человек с особенно тонким вкусом.

Первая забота хранителей библиотеки была в том, чтобы установить надежный текст классических писателей с Гомером во главе. Это было непросто. Мало было разобраться в ошибках множества рукописей. Нужно было еще решить, достоин ли получившийся текст великого Гомера. И тут начинался безнадежный спор о вкусах.

Есть два имени, которые с тех самых пор стали нарицательными для строгих критиков: Зоил и Аристарх. Зоил — это критик злой и придирчивый, а Аристарх — суровый, но справедливый. У Пушкина одно стихотворение начинается: «Надеясь на мое презренье, седой Зоил меня ругал...», другое: «Помилуй, трезвый Аристарх моих бакхических посланий...» Зоил жил немного раньше, Аристарх немного позже описываемого времени, но отличились они именно в этом споре о вкусах.

«Илиада» начинается с того, что Агамемнон оскорбил жреца Хриса и Аполлон за это наслал на греков мор: пришел к греческому войску («...он шествовал ночи подобный», — говорит Гомер: ночь всегда была страшна для светолюбивых греков) и стал поражать его незримыми стрелами:

В самом начале на месков напал он и псов празднобродных,
После постиг и народ...

«Мески» — это значит «мулы» (по-гречески здесь стоит такое же малопонятное слово). Но если так, то Аполлон ведет себя нехорошо: хочет наказать греков, а начинает с ни в чем не повинных животных. И поэт его описывает нехорошо: светлый солнечный бог не может быть «ночи подобный». Вот такие упреки и предъявлял Гомеру Зоил; было их столько, что книга его называлась «Бич Гомера». А Аристарх заступался за Гомера примерно так. Во-первых, «мески» в старинном языке, может быть, значило не только «мулы», а и еще что-нибудь, например «часовые». Во-вторых, для начала эпидемии это очень правдоподобная картина: от солнца разогревается земля, от земли поднимаются ядовитые пары, от них первыми погибают четвероногие животные, а от них заражаются люди. А в-третьих, и в-главных, так достигается постепенность нарастания беды: вот Аполлон приближается, вот как бы в предупреждение гибнут животные, и вот, наконец, мор поражает людей. Слова же «ночи подобный» не значат «темный, как ночь», а значат «страшный, как ночь» и поэтому вполне уместны.

Эти споры были очень полезны: они учили греков не только любить Гомера, но и понимать, почему они его любят. Но, конечно, как во всяких спорах, здесь было очень много и лишних слов, и лишнего самомнения.

Лишние слова выплескивались в комментарии — примечания к стихам. Комментированное издание «Илиады» выглядело так: крупными красивыми буквами писался текст Гомера, а на полях и между строк мелким почерком рябили примечания. Комментировалось буквально каждое слово: почему «в самом начале», а не просто «вначале»? кто такие «мески»? можно ли сказать «напал» о выстреле из лука? относится ли слово «празднобродных» (то есть попросту «бродячих») только к псам или также и к мескам? и так далее. Что не помещалось между строчек, о том писали отдельные книги. Один словесник о шестидесяти строчках «Илиады» (это был очень скучный перечень троянских войск) написал тридцать книг комментариев. Самым же плодовитым александрийским ученым был Дидим, сын Дидима, по прозвищу Меднобрюхий: за свою жизнь он написал то ли 3500, то ли 4000 книг, причем сам уже не помнил, о чем он писал, о чем нет, и некоторые книги сочинял по два раза.

Особенное раздолье здесь открывала мифология. Как звали няньку царя Агамемнона, сколько лет было Елене в

начале Троянской войны, точно ли прозвище Аполлона «Сминфий» означает «мышиный» и почему — обо всем этом спорили до потери сил. Сами цари забавлялись этими спорами. Птолемей поддразнивал александрийских словесников: «Ахилл — сын Пелея, а чей сын Пелей?..» — пока один из них ему не ответил: «Вот ты — сын Лага, а чей сын Лаг?» И Птолемей умолк, потому что в цари он попал из не очень-то знатного рода.

Победами в этой ученой игре словесники хвастались как дети. Одного из них за вечную похвальбу дразнили «Сам себе бубен». Звали его Апион. Ему мало было вычитывать интересные редкости из старых книг, он уверял, будто изучил колдовство и нарочно вызвал с того света тень Гомера, чтобы спросить его, где же он все-таки родился и кто были его родители. Правда, когда его спрашивали: «Где же? Кто же?» — он отвечал, что Гомер запретил ему это разглашать. Другой словесник получил прозвище «Есть-или-нет» — это потому, что за обедом он не мог взять куска в рот, не припомнив, упоминается ли это кушанье у древних писателей и что о нем говорится. А третий, чтобы казаться начитанным, заучил начальные строчки множества стихотворений и щеголял ими в разговорах.

АРИФМЕТИКА В СТИХАХ

За уроком словесности следовало бы устроить урок математики. Но о математике в этой книге мы уже говорили; поэтому ограничимся здесь образцами математического жанра, редкого в наши дни: арифметическими задачами в стихах. Автора их звали Метродор, он жил лет через пятьсот после описываемого времени и был учеником Диофанта Александрийского, который считается отцом алгебры. Все задачи его похожи друг на друга и не так уж трудны, как вы сейчас увидите.

Первая из них посвящена поэтом своему учителю:

Гробница Диофанта

Здесь погребен Диофант. Дивись великому чуду:
Числа на этой плите скажут усопшего век.
Волей богов шестую часть жизни он прожил ребенком
И половину шестой встретил с пушком на щеках.
Часть седьмая прошла — и с подругою он обручился;
С нею пять лет проведя, сына дождался мудрец.
Бедный сын! Вдвое меньше отца он прожил на свете,
И возложили его на погребальный костер.
Дважды два года еще отец оплакивал сына;
Тут и нашел он конец жизни печальной своей.

(Ответ: Диофант прожил 84 года.)

Хариты и корзины

Шли Хариты, несли корзины, и было у каждой
Поровну яблок. Навстречу им девять Муз. Захотелось
Музам яблок; и дали Хариты им поровну яблок,
Так что поровну стало у каждой Хариты и Музы.
Молви, какую роздали долю из каждой корзины?

(Харит, конечно, было три, а Муз — девять. Ответ не зависит от того, сколько было яблок: каждая Харита отдала три четверти того, что у нее было.)

Дележ яблок

С яблони яблок нарвав, раздала их Миртида подругам:
Пятую долю дала Хрисиде, четвертую — Гере,
А девятнадцатую отделила для милой Псаматы;
С частью десятой ушла Клеопатра, а с частью двадцатой —
Парфенопея; двенадцать плодов получила Евадна.
Только сто двадцать себе и оставила яблок Миртида.

(Сколько было яблок? Ответ: 380.)

Дележ орехов

Рос орешник, и было на нем много-много орехов.
Но подошел к нему человек, и орешник промолвил:
«Пятую часть моих орехов взяла Парфенопа,
Четверть взяла Аганиппа, потом Филинна — восьмую
Часть, потом Орифия — седьмую, потом Евринома
С веток моих обрала шестую долю орехов.
Трое Харит унесли сто шесть орехов, а девять
Муз забрали каждая по девять. Вот и осталось
Только семь орехов на самой дальней из веток!»

(Ответ: на орешнике было 1680 орехов.)

Часовщик

«Лучший часовщик Диодор, скажи и поведай,
Сколько часов протекло с тех пор, как вскатилось на небо
Солнце?» — «Три пятых возьми уже миновавшего срока —
Вчетверо против того остается ему до заката!»

(Прошло 3 и 9/17, остается 8 и 8/17 часов.)

Пора вставать

Эй, просыпайтесь, заря занялась! Уже миновала
Пятая часть трех восьмых неминовавшего дня.

(Прошло 36/43, осталось 11 и 7/43 часа.)

Спорят две статуи

— Дай мне две мины, и стану я вдвое тебя тяжелее!
— Дай мне столько же ты — тяжелей тебя вчетверо стану.

(Первая статуя весит 3 и 5/7, вторая — 4 и 6/7 мины.)

То же самое

— Дай мне десять мин — стану втрое тебя тяжелее!
— Дай мне столько же ты — тяжелей тебя впятеро стану.

(Первая статуя весит 15 и 5/7, вторая — 18 и 4/7 мины)

УРОК АСТРОНОМИИ

Третьим отделением александрийского Мусея было астрономическое. Что услышим мы здесь?

Земля — шар, говорят нам александрийские астрономы. Кто решил это первый — неизвестно; наверное, пифагорейцы, они ведь считали шар совершеннейшим телом. А теперь это признают уже все. Если спросить доказательств — скажут и о том, что на севере видны не те созвездия, что на юге, и о том, что при лунном затмении тень Земли на диске Луны всегда круглая. Это мы знаем. А дальше?

Земля — шар; это значит: центр этого шара — «низ», а со всех сторон от него — «верх». Все, что есть на свете твердого, падает «вниз» и сбивается здесь в ком, это и есть земной шар. Все, что есть на земле жидкого, тоже льется вниз, но вода легче земли, и она разливается слоем поверх этого шара. Все, что есть на земле воздушного, стремится уже не вниз, а вверх (посмотрите на пузыри в воде); поэтому воздух ложится вокруг центра мира третьим слоем, поверх земли и воды. Все, что есть огненного, тоже стремится вверх, и еще сильнее (посмотрите на языки пламени); поэтому огонь ложится поверх земли, воды и воздуха четвертым слоем — это здесь гремят грозы и сверкают молнии. Так все четыре стихии находят каждая свое место на земле и над землей. Они не враждуют, как когда-то у Эмпедокла: они дружно сплотились в устойчивое целое.

А дальше? Из чего состоит небо? Хочется предположить: из того же огня, и мы видим его в Солнце и в звездах. Оказывается, нет! Из огня, но не из того. И земля, и вода, и воздух, и огонь от природы движутся по прямой: одни падают вниз, другие взлетают вверх. А в небе прямолинейных движений нет — только круговые. (Взгляните, как вращается звездный свод, и убедитесь сами.) Стало быть, там над нами — особая, пятая стихия, которой на земле нет. Так рассудил Аристотель и назвал ее старинным словом «эфир», что значит «пылающий». А по-латыни ее будут называть «пятой сущностью», «квинтэссенцией».

Но не все эфирные светила одинаково чинно ходят по звездному своду. Семь из них имеют собственные пути:

Солнце, Луна и пять планет — Гермес-Сияющий, Афродита-Светоносная, Арес-Огневой, Зевс-Лучезарный и Кронос-Ясный. У Солнца и Луны пути тоже круговые, а у пяти планет — досаднейшим образом запутанные: то светило появится в одном созвездии, то сдвинется к другому, то исчезнет совсем. За это и дано им название: «планета» — значит «бродяга».

Так что же, выходит, не все небесные тела движутся по кругам? Не беспокойтесь, все. Может быть, вы видели китайскую игрушку: костяной шар с прорезями, в нем другой такой же, в нем третий, и каждый может вращаться в любом направлении. Представьте, что планета прикреплена к внутреннему, третьему шару. Она движется вокруг его оси. Но сама эта ось вставлена в другой, средний шар, а он в свою очередь вращается вокруг совсем иной оси, а эта ось вставлена в наружный шар, который вместе с нею поворачивается в третьем направлении. Так наша планета участвует сразу в трех круговых движениях, а от этого, если смотреть из центра, кажется, что путь ее — петлистый. Вот так и в небе: каждую маленькую планету движут несколько огромных шаров, только шары, конечно, не костяные, а эфирные. Если рассчитать хорошенько размер и скорость каждого шара, то можно объяснить извилины всех планетных путей.

Такая «теория концентрических сфер» в эти александрийские дни была последним словом науки. Она объясняла все, что можно было видеть в небе, — так что жаловаться на нее не приходилось. Но больно уж она была громоздкой! Все небо оказывалось набито прозрачными шарами, вращающимися друг в друге в разных направлениях: 55 сфер было нужно Аристотелю, чтобы нести всего лишь семь светил. Поэтому в следующие века на смену была выработана теория попроще — так сказать, не система шаров, а система колес. Представьте себе большое колесо на оси. В обод его вбита сбоку другая, маленькая ось, и на нее надето другое, маленькое колесо. А к ободу маленького колеса прикреплена планета. Оба колеса вращаются, мы смотрим из центра и видим у планеты тот же петлистый путь. Это — та самая система Птолемея, которую сменила потом система Коперника. Описал ее астроном Птолемей (тезка египетских царей) лет через четыреста после нашего визита в Александрию, уже при римлянах.

Но и эта «теория эпициклов» (дополнительный круг — по-гречески «эпицикл»), особенно с наросшими на ней уточнениями и усовершенствованиями, со временем оказалась слишком сложной. Недаром через тысячу лет после

Птолемея один испанский король, любитель астрономии, вздохнул: «Если бы Господь Бог спросил моего совета, я бы предложил ему устроить мир попроще». Вот тут и явился Коперник со своей системой. Не думайте, что она объясняла небесные движения лучше, чем Птолемеева. Она объясняла их хуже! (Сейчас скажу, почему.) Но она была проще, а измученные потребители предпочитали результаты пусть менее точные, зато более легкие. Неточна же была система Коперника потому, что Коперник по старой аристотелевской привычке считал орбиты Земли и планет кругами, а на самом деле они — овалы, эллипсы. Это впервые рассчитал Кеплер, и на этом кончается античная астрономия: рухнуло противопоставление «на земле все по прямой, а на небе — по совершенному кругу», земля и небо оказались подчинены одним и тем же законам.

МИФЫ ЗВЕЗДНОГО НЕБА

Кроме астрономии александрийских обсерваторий, была еще астрономия народа и поэтов. Она оказалась гораздо более живучей: теорию сфер или эпициклов вспоминают теперь только историки науки, а названия небесных созвездий и сейчас в ходу те же, что и у греков. Однако мифы, связанные с этими названиями, помнит уже не всякий. Напомним их.

Главное внимание наблюдателей привлекала неширокая полоса тех созвездий, в которых только и можно было увидеть пять планет, Луну и Солнце. Эта облегающая небо полоса (зодиак — «звериный круг») была поделена на двенадцать созвездий. Овен — это тот золотой баран, за руном которого плавали в Колхиду аргонавты. Телец — тот бык, в которого превращался Зевс, чтобы похитить возлюбленную царевну Европу. Близнецы — Диоскуры Кастор и Полидевк, сыновья царицы Леды, один — бессмертный, от Зевса, другой — смертный, от земного отца, но они так любили друг друга, что боги не пожелали их разлучать. Рак — это тот, который вцепился в ногу Геракла, когда тот бился с лернейскою гидрой (созвездие Гидры находится тут же, рядом). Лев — это, конечно, немейский лев, жертва первого подвига Геракла. Дева — богиня Правда, последней из богов покинувшая грешную землю; рядом с нею Весы — символ ее справедливости. Скорпион — чудовище, убившее Ориона, который убегает от него на противоположном конце неба; о них речь будет дальше. Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы — об этих созвездиях ничего внятного греки

рассказать не могли; самое большее, они предполагали, что Водолей — это, может быть, Ганимед, чашник Зевса, или Девкалион, герой всемирного потопа.

Выше над горизонтом созвездия располагались пятью мифологическими группами. Над Рыбами и Овном разыгрывался миф о Пéрсее. Здесь в самой вышине находились царь Цефей и царица Кассиопея, которая похвасталась, что она прекраснее морских нимф. За это Посейдон наслал на их страну чудовищного Кита, который виден над горизонтом. В жертву Киту пришлось отдать царевну Андромеду — она распростерта в промежутке. Но ее спас герой Персей в окрыленных сандалиях — вот он подлетает со стороны Тельца.

Возле Тельца и Близнецов неистовствует Орион. Это дикий охотник, сын Земли; он попытался напасть на саму богиню Артемиду, но та кликнула Скорпиона, и тот ужалил Ориона в пятку. И Скорпион и Орион с его двумя охотничьими Псами, Большим и Малым, были вознесены на небо. Орион не успокоился и тут: он преследует дочерей Атланта, нимф Плеяд и нимф Гиад, вскормивших когда-то бога Диониса; нимфы прячутся от него в созвездие Тельца. На эти бесчинства смотрит сверху созвездие Возничего — загадочная фигура с яркой звездой Капеллой на плече. «Капелла» — значит «коза»: это та коза, мóлоком которой был вскормлен малютка Зевс и рог которой изображался потом как рог изобилия.

Над Девой и Весами стоит Волопас (Боот), он же Медвежий Сторож (Арктур), со своими Гончими Псами. Если он Волопас, то он пасет семь волов — семь звезд Большой Медведицы. Если он Медвежий Сторож, то история его драматичнее. Зевс влюбился в нимфу Каллисто, спутницу Артемиды, и она родила ему сына Аркада. Возмущенная Артемида обратила Каллисто в медведицу. Аркад вырос, стал охотником, встретил на охоте свою мать в виде медведицы, не узнал ее, погнался за нею, и в последний миг Зевс их спас от преступления, обратив в созвездия. С одной стороны от Волопаса-Арктура — Северная Корона, подаренная богом Дионисом своей невесте царевне Ариадне, спасительнице Тесея в Лабиринте; с другой стороны — Волосы Ариадны, переименованные услужливыми александрийскими астрономами в Волосы Береники. Когда царь Птолемей III шел на войну, жена его Береника отрезала себе волосы и принесла их в храм как жертву за благополучное возвращение мужа; на следующий день ей объявили, что жертва ее принята и волосы ее уже находятся среди звезд.

Над Скорпионом в небе расположились два божьих сына,

причисленные к богам. Это Змееносец с двумя змеями в раскинутых руках — в нем видели Асклепия, сына Аполлона, великого врачевателя, сраженного молнией Зевса за то, что он дерзнул исцелять людей не только от болезней, но и от смерти. И это Геракл, рвущийся со своей палицей к небесному полюсу: там над ним — его враг, Дракон, охранявший золотую яблоню Гесперид, плоды которой сорвал Геракл в своем предпоследнем подвиге.

От Стрельца до Рыб по небу раскинулись три Аполлоновых и два Зевсовых созвездия. Зевсовыми были крылатый конь Пегас и священная птица царя богов Орел, клевавший когда-то Прометея; в этого Орла вонзается Стрела, посланная Гераклом. Аполлоновыми были его священная птица Лебедь и рядом с нею — Лира и Дельфин, память о спасении его певца Ариона.

Наконец, Млечный Путь, пересекающий все небо, тоже имел свое мифологическое объяснение. Геракл хоть и был сыном Зевса, но мать его была смертная, и, чтобы сделаться впоследствии богом, он непременно должен был пососать молока богини Геры, супруги Зевса, а Гера Геракла ненавидела. Хитрый Гермес улучил время, когда Гера спала, и приложил малютку Геракла к ее груди. Проснувшаяся Гера гневно оттолкнула младенца, молоко ее брызнуло и образовало Млечный Путь.

Такова была эта небесная мифология. Для астрономов она заменяла сетку координат. Звезды назывались так: «на правой ноге Цефея, на левой ноге Цефея, на поясе его справа, над правым его плечом, над правым его локтем, на груди, на левой руке и три на тиаре, северная, средняя и южная, а всего в Цефее десять звезд». И потом уже для каждой из них вычисляли на небесном своде широту и долготу.

УРОК ГЕОГРАФИИ

В тот самый век, когда мы с вами посещаем Александрию, произошло большое научное событие: греки измерили Землю!

Обойти земной шар с землемерной саженью в руках, конечно, невозможно. Здесь надо было использовать математику. Это сумел сделать очередной заведующий Александрийской библиотекой — Эратосфен, по прозвищу Бета, то есть «номер два». Это значит, что он был и поэт, и филолог, и историк, и географ, и астроном, и математик, но ни в одной области не был лучше всех, а непременно кому-то

уступал: был «номером два». Однако ближе всего к первенству был он, по-видимому, все-таки в географии.

На юге Египта был город Сиена — ныне Асуан, где стоит большая нильская плотина. Сиена лежала как раз на северном тропике: раз в году, 22 июня, солнце в полдень стояло там в зените и предметы не отбрасывали тени. (Путешественники нарочно приезжали в Сиену посмотреть на такую диковину.) Этим и воспользовался Эратосфен. Александрия была севернее, там от предметов и в этот день падали тени. Эратосфен измерил, под каким углом они падают, — получилось семь с лишним градусов, одна пятидесятая часть окружности. Следовательно, заключил Эратосфен, расстояние по суше между Сиеной и Александрией равняется одной пятидесятой части всей окружности земного шара. Расстояние это у египтян считалось равным 5 тысячам стадиев, то есть около 800 километров (египетский стадий был немного короче обычного). Следовательно, окружность Земли была в 50 раз больше — около 40 тысяч километров.

Точно это или неточно? Две тысячи лет спустя, накануне французской революции, французские астрономы сделали такое же измерение у себя во Франции и получили окружность Земли ровно в 40 тысяч километров. (Говорю «ровно», потому что именно от этого измерения пошла наша нынешняя единица «метр»: она равна «одной сорокамиллионной парижского меридиана».) Точность Эратосфенова измерения изумительна. Это одна из самых славных побед античной науки.

На этом большом шаре мир, известный грекам, занимал неутешительно маленькую полосу земли: от Северного моря до Сахары, от Атлантического океана до Индии. Это была «обитаемая земля» — по-гречески «ойкумена». Эратосфен вычислил и ее размеры. Для этого нужно было определить широту и долготу разных мест Земли и, зная расстояние между ними в градусах, перевести его в стадии. Определять широту греки уже умели — мы видели, как Эратосфен определил широту Александрии по полуденной высоте солнца. Определять долготу было гораздо труднее. Рассчитывать приходилось, например, так. В ночь перед победой Александра при Гавгамелах было лунное затмение. В лагере Александра его видели через два или три часа после заката, а в Сицилии — как раз на закате. За час небо поворачивается вокруг Земли на одну двадцать четвертую оборота — на 15 градусов. Стало быть, между Гавгамелами и Сицилией 30 или 45 градусов разницы, то есть (для этой широты) то ли 2 тысячи, то ли 3 тысячи километров с лишним.



Почему на наших географических картах мы изображаем север вверху, а юг внизу? Может быть, потому, что наши карты до сих пор делаются по образцу римских и греческих, а для римлян и греков на севере их земли были высокие горы (Альпы и Балканы), на юге же их земля полого нисходила к Средиземному морю. Самую первую карту сделал, говорят, Анаксимандр, ученик Фалеса Милетского. В комедии Аристофана «Облака» такую карту показывает философ мужику: «Вот этот кружочек — Афины!» — а мужик не верит: «Совсем не похоже!» Градусную сетку впервые рассчитал и нанес на карту великий географ Эратосфен. А рисовать ее так, чтобы меридианы, сходясь к полюсам, сближались и очертания земли не искажались (это называется «коническая проекция»), первым стал астроном Птолемей, о котором вы уже читали. Карту Птолемея, целиком и по частям, перерисовывали средневековые переписчики его сочинений, при этом искажая ее почти до неузнаваемости. Ученым нового времени приходится только догадываться, какой вид она имела первоначально. Предполагается, что приблизительно вот такой

А точнее? Точнее не сказать, потому что точно определить час ночи по громоздким греческим водяным часам было невозможно. (О минутах и секундах и говорить не приходилось: даже слов таких не было в греческом языке.) Все-таки даже по таким приблизительным наблюдениям Эратосфен сделал свой расчет. Получилось, что ойкумена занима-

ет приблизительно четверть земной поверхности, половину полушария.

Вы видели старинные изображения царей со скипетром в правой руке и державой в левой? Что такое эта «держава»? Шар, разделенный на четыре части двумя линиями, по экватору и по меридиану, а сверху крест. Это не что иное, как копия первого греческого глобуса, изготовленного в Пергаме через сто лет после Эратосфена, — «четвертушечная Земля», как потом называли ее в Риме. Две «реки-океана» перекрещивают мир; между ними находятся: в северном полушарии — наша ойкумена и рядом с ней материк периэков, «рядом живущих»; в южном — материк антэков, «напротив живущих», и материк антиподов, «под ногами живущих».

Чтобы не обидно было занимать на глобусе так мало места, греки всячески подчеркивали, что остальные области мало приспособлены для жизни: на севере слишком холодно, а на экваторе так жарко, что переплыть через него в южное полушарие все равно нельзя. Кто заплывал на юг или на север слишком далеко, тем попросту не верили. Так, не верили рассказу о финикийцах, плававших вокруг Африки, и Пифею — открывателю Норвегии.

Финикийские моряки плавали вокруг Африки по приказу египетского царя еще при Фалесе Милетском. Они вышли из Красного моря, а через три года вернулись через Гибралтарский пролив. Каждый год они восемь месяцев плыли, а на четыре месяца высаживались, сеяли и собирали хлеб на дальнейшую дорогу. Они рассказывали, что в пути они видели солнце с северной стороны. Греки читали этот рассказ и не верили: ведь пересечь жаркий экватор невозможно. А для нас это лучшее доказательство, что они и вправду побывали в южном полушарии.

Пифей плавал по Северному морю во времена Александра Македонского. Он первый объехал Британию, где добывалось олово, и германское побережье, где добывался янтарь. Он заплывал на север до тех мест, где туман так густ, что море сливается с небом и корабль не может идти, и где лежит земля Крайняя Фула, в которой летом не заходит солнце, а люди едят хлеб из проса и пьют пиво. И современники, и потомки единодушно считали Пифея лжецом: ведь под полярным кругом жить невозможно. А нынешние ученые уверены, что он и вправду побывал в Норвегии.

Плавание на запад считалось возможным, и Эратосфен даже считал, что так можно доплыть и до Индии. Но попыток никто не делал: греки привыкли плавать в виду берегов и открытого моря боялись. И только однажды, через триста

лет, римский поэт и философ Сенека — поглядев, вероятно, на глобус с «землей периэков» — заставил хор в одной своей трагедии петь такие слова:

Пройдут века, и пора придет:
Океан разомкнет оковы земель,
И новый мир откроют моря,
И не будет Крайнею Фула.

В новое время это считалось пророчеством об открытии Америки.

ЧУДЕСА ПРИРОДЫ

Здесь, собственно, следовало бы за уроком географии устроить урок естествознания. Но естествознанием в Мусее занимались мало. Аристотель был отцом зоологии, его ученик Феофраст — отцом ботаники и минералогии, но продолжателей у них не было: были только популяризаторы. А популяризация делалась обычными приемами: выхватывалось случайное, но необычное и яркое, терялось важное, но менее занимательное. Вместо книг о природе получались книги о чудесах природы. Только по ним и знакомились с миром любознательные читатели. И вот что они могли там прочитать.

Зверь мартихор водится в Индии: он шерстью красен, телом как лев, но лицо у него человеческое, только зубы растут в три ряда и острые, как у собаки. Хвост у него длинный, а на хвосте растут острые жала, как у скорпиона, каждое длиной в четыре ладони, а толщиной в тростниковый стебель. Он их мечет хвостом, как стрелы, и они одним уколом убивают всех людей и зверей, кроме лишь слона. Бегает мартихор быстрей оленя, а ревет, как труба. Этого зверя видел Ктесий, греческий врач персидского царя Артаксеркса, на которого ходили десять тысяч греков.

Ящер хамелеон замечателен не только тем, что меняет цвет. Если хамелеон сидит в траве, а над ним пролетает ястреб, то ястреб падает мертвым. Если жечь на дубовых дровах хамелеонову голову, а на глиняном черепке — печень, то можно вызвать бурю. Если левую хамелеонову ногу сжечь с травкою, тоже называемой «хамелеоновою», а пепел закатать в глиняный шарик и положить в деревянный сосуд, то несущий этот сосуд станет невидим.

У слона ноги толстые, поэтому он не умеет ни ложиться, ни вставать, а спит, прислонясь к дереву. Чтобы поймать слона, эфиопы подпиливают дерево, упавшего добивают и у туши его живут целой деревней, пока не съедят.

Лось — такой зверь, что когда на него охотишься, то поймать или убить его нипочем нельзя, а можно только случайно, когда охотишься на другого зверя.

Египетские лягушки и собаки очень умные. Лягушка, если на нее нападает змея, хватает поперек рта длинный прутик, и с таким прутиком змея не может ее проглотить. А собаки пьют из Нила только на бегу, своротив голову на сторону, потому что иначе их тут же схватит крокодил.

На острове Сардиния растет трава; кто ее поест, тот умирает от приступов неодолимого хохота. До сих пор в языке осталось выражение «сардонический смех».

Настоящая краска киноварь получается только из смеси крови умирающего индийского слона и раздавленного им дракона. Всякая другая киноварь — подделка.

Драконов камень — бесцветный, прозрачный и такой твердый, что не поддается обработке, а добывается он из мозга дракона, причем дракон непременно должен быть жив, иначе камень от огорчения мутнеет. Дракона подстерегают сонным, окуривают цепенящим зельем и вырезают камень.

Пемза холодит и сушит; когда пьяницы пьют взапуски, то они, чтобы больше выпить, сперва принимают порошок пемзы, но этим они подвергают себя смертельной опасности, если не напьются до потери сознания.

В персидских Сузах летом стоит такая жара, что ящерицы, перебегая улицу, умирают от солнечного удара, а зерна, просыпанные на солнцепеке, подпрыгивают, как на сковороде.

В южной Аравии столько благовоний, что ими топят костры, а когда арабы от этого запаха дуреют, то приходят в себя, нюхая вонючую земляную смолу — асфальт.

В Эфиопии есть квадратное озеро, вода в нем цветом и запахом, как красное вино, и кто ее напьется, с тем будет припадок, и он начнет сам себя обвинять в таких грехах, о которых давно позабыл.

Фракийцы отмечают каждый свой счастливый день белым камешком, а несчастный — черным, и после смерти человека подсчитывают, был покойник счастлив или нет. «Неразумные! — замечает один писатель. — Разве не бывает так, что счастье одного дня бывает причиною несчастья многих лет, а несчастье — причиною счастья?»

УРОК МЕДИЦИНЫ

> Жизнь коротка, путь искусства долог,
> удобный случай мимолетен,
> опыт обманчив, суждение трудно.
>
> Гиппократ

В четвертом отделении александрийского Мусея мы, скорее всего, застали бы вскрытый труп на операционном столе, а над ним — спорящих ученых.

Вскрытый труп — это новость для греческой науки. Вскрывать трупы грекам казалось нечестивым, и о строении человека они судили только по вскрытым животным да по изувеченным телам на войне и по наблюдениям за здоровыми — на гимнастических площадках. Но здесь, на египетской земле, где спокон веку покойников вскрывали и бальзамировали, отказаться от суеверного страха было проще. На вскрытии легче было узнать, как устроены ткани тела, и труднее — как они работают. Понадобилось многое переосмыслить в своих представлениях — отсюда и споры.

Что люди знали о своем живом теле до сих пор? Оно теплое (а мертвое становится холодным). Оно дышит (а мертвое не дышит). Оно принимает в себя пищу, а выделяет по большей части разные жидкости: слюну, слезы, пот, мочу, гной... Если разрезать руку — пойдет кровь; если разрезать живот — потекут еще какие-то жидкости. Главные части тела — голова и сердце; если их проколоть — человек умирает. Как все это объяснить?

Первым напрашивающимся объяснением была теория соков. Мы встречались с ней, когда речь шла о четырех стихиях Эмпедокла. Человек устроен подобно миру — из тех же элементов. Стихии воздуха в теле соответствует кровь, она горячая и влажная, порождается в сердце, сильнее всего — весной. Огонь — это желтая желчь, горячая и сухая, порождается печенью, сильнее всего — летом. Земля — черная желчь, холодная и сухая, порождается селезенкой, особенно — осенью. Вода — это слизь, холодная и влажная, порождается мозгом, особенно — зимой. Все жидкости в теле смешаны из этих соков. Равновесием этих соков заведует наше внутреннее тепло. Если равновесие нарушается — наступает болезнь. Например, от избытка слизи бывают водянка, воспаление легких, понос, головокружение, а от недостатка слизи — падучая болезнь и столбняк. Чтобы болезнь прошла, нужно, чтобы внутреннее тепло «переварило» избыток сока и выделило его в отбросы. Момент этой «переварки» — критический день болезни, после этого

наступает выздоровление, смерть или повторный цикл до нового критического дня. (Греки часто болели малярией, при которой бывают именно такие периодические приступы.) Врач должен рассчитать критический день и помочь организму избавиться от избыточных соков — кровопусканием, рвотным, слабительным или промыванием. Больше он ничего не может, он лишь помощник при самоисцеляющей силе природы. Средства его — чистота, покой, свежий воздух, легкая пища (для еды — ячменная каша, для питья — вода с медом или уксусом). Главная забота врача — даже не диагноз, а прогноз: не так важно назвать болезнь, как предсказать ее течение — когда будут облегчения, когда обострения, и смертельные ли. Кстати, такие прогнозы внушат уважение к врачу — даже если больной и умрет.

Такова была медицина, которой учил величайший ученый в истории греческой, да, пожалуй, и мировой медицины — Гиппократ, современник Сократа и Платона, тот, который лечил от мнимого безумия смеющегося философа Демокрита. Он — человек эпохи маленьких городов-государств, и на больных своих смотрит как на маленькие, но самостоятельные государства: у каждого — свой склад, свой закон здоровья, его нужно разгадать и поддерживать, а вмешиваться и перелаживать его — нехорошо. Любопытно, что даже заразой при болезнях Гиппократ интересовался мало (а заразу знали отлично — одна афинская чума чего стоила!) — настолько привык он, что каждый больной — сам по себе и непохож на других.

Со времен Гиппократа прошло сто с лишним лет. Многое изменилось. Вместо маленьких республик явились большие царства. И в больных стали искать не собственных законов здоровья каждого, а общих законов здоровья, которым подчиняются все, то есть стали думать не о республиканском равновесии четырех соков, а о той державной силе, которая их регулирует. Гиппократ называл эту силу «тепло», Аристотель ее переименовывает в «дыхание». У него в мироздании, кроме четырех земных стихий, была пятая, небесная, — эфир; так и в теле, кроме четырех соков, было еще «дыхание», «дух», по-гречески «пневма», и в ней жила душа. Теперь нужно было найти для нее место в теле: недаром в Александрии начали вскрывать трупы. Тут и начались споры: последователи Гиппократа отводили для пневмы мозг, последователи Аристотеля — сердце. (Оттого мы и говорим без различия: «У него прекрасная душа, у него золотое сердце».) А затем надо было объяснить, по каким каналам она и другие соки расходятся по телу. Здесь тоже было о чем спорить: допустим, вены — для крови, нервы — для

пневмы, а вот артерии — непонятно: у живого человека из них течет кровь, а у мертвого они спавшиеся и пустые; может быть, они для воздуха? И наконец, если пневма такая главная, то, может быть, остальные четыре сока и вовсе не важны, а все болезни происходят от непомерного напряжения или расслабления твердых тканей — тех, через которые проходит пневма?

Вот об этом, вероятно, и спорят сейчас над вскрытым телом старый «жидкостник»-гиппократовец Герофил и молодой «пневматик»-аристотелевец Эрасистрат. Оба они прославились исследованиями нервов и пульса (где же и искать пневму, как не в пульсе?). Герофил сверял ритм пульса с музыкальным ритмом, а Эрасистрат по пульсу распознал тайную любовь царского сына. У царя Селевка-Победителя занемог неведомо чем его сын Антиох. Эрасистрат стал щупать ему пульс, пульс был вял и вдруг забился стремительно. Врач оглянулся — через комнату проходила молодая мачеха царевича, по имени Стратоника. Эрасистрат сказал царю: «Твой сын умирает от любви к недоступной женщине». Селевк воскликнул: «Разве есть для царского сына недоступная женщина?» — «Он умирает от любви к моей жене». — «Неужели ты не откажешься от своей жены ради блага моего, моего сына и моего государства?» — «Он умирает от любви к твоей жене». Обрадованный Селевк тотчас развелся с женой, выдал ее за сына, в свадебный подарок им выстроил город Стратоникею, а Эрасистрат стяжал громкую славу.

Но переспорил его все-таки Герофил: за ним был авторитет великого Гиппократа. И учение о соках преподавали европейским врачам до самого XIX века.

Гиппократова клятва

Так называлась присяга, которую приносили греческие врачи, начиная обучаться своему искусству. Клятвы, составленные по этому образцу, приносятся врачами до сих пор.

«Клянусь Аполлоном-Целителем, Асклепием и всеми богами и богинями! Врача, научившего меня искусству, я буду чтить, как отца, во всем помогать ему и делиться с ним. Искусство, которому меня научили, я буду сообщать своим сыновьям, сыновьям своего учителя и ученикам, принесшим эту присягу, но никому другому. Я буду лечить больных на пользу их здоровью, сообразно с моими силами и моим разумением, стараясь не причинять им ничего недоброго и вредного. Если кто попросит у меня смертельного средства, я не дам ему и не покажу пути для этого. Чисто и непорочно буду я вести свою жизнь и вер-

шить свое искусство. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, не имея никаких дурных умыслов по отношению к нему и домашним его. Что бы я в том доме ни увидел или ни услышал из того, что не подлежит разглашению, я буду молчать о том, как о тайне. И если буду я верен этой клятве, то да пошлют мне боги счастие в жизни и славу в искусстве на вечные времена, если же нарушу ее, то да свершится все обратное этому».

УРОКИ, КОТОРЫХ НЕ БЫЛО

Почти не было в Александрии уроков физики и совсем не было уроков химии.

Древние греки были хорошими математиками и плохими физиками. Причина была все та же: рабовладельческие привычки. Математика была работой умственной и имела дело с идеальными квадратами и треугольниками. А физика должна была наблюдать совсем не идеальный земной мир, да еще с помощью приборов самой что ни на есть ручной работы. Понятно, что математика считалась наукой, достойной свободного человека, а в физике все время мерещилось что-то ремесленное и рабское. А о химии, которая без рукодельных опытов даже наблюдать ничего не может, не приходится и говорить.

Если я все же заговорил об этих двух науках, то вот почему. В книгах по истории науки (особенно популярных) о греческой физике обычно судят очень сурово: перечисляют ложные мнения Аристотеля и говорят, что они задержали развитие науки почти на две тысячи лет. Мне хочется заступиться за Аристотеля: сказать, что он представлял себе законы природы совершенно так, как представляли бы их мы, если бы смотрели на мир не по учебнику, а своими глазами.

Три ошибочных мнения было у Аристотеля. Во-первых, что «природа боится пустоты», мир плотно заполнен веществом. Во-вторых, что тела движутся, только когда на них действует сила, движения по инерции нет. В-третьих, что тяжелые тела падают быстрее, чем легкие. Подумайте, и вы увидите: все три полностью соответствуют тому, что мы видим вокруг себя.

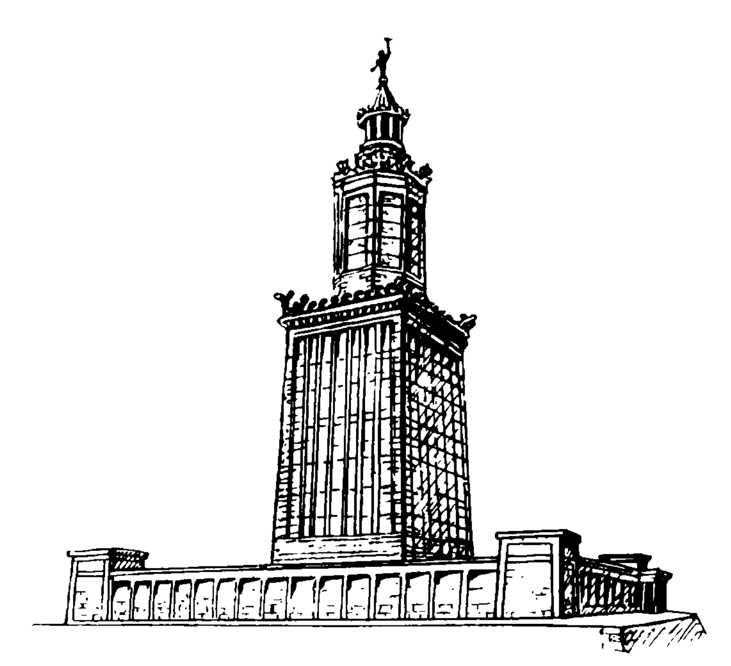
«Природа боится пустоты». Разве не так? Видели мы когда-нибудь вокруг себя пустоту? Что нам и могло бы показаться пустотой, на самом деле — воздух; это показал еще воздухолов-Эмпедокл. Поставим в воду отвесную трубу, будем подымать в ней поршень — вода пойдет за поршнем, не позволит образоваться пустоте. Теперь мы знаем: вода

пойдет за поршнем не на любую высоту, а только до десяти с лишним метров. Но с такими высокими водоподъемными трубами люди не имели дела до самого XVI века, когда пошла по Европе мода на фонтаны. Теперь мы знаем: воду поднимает по трубе не страх пустоты, а давление тяжести воздуха на поверхность воды снаружи трубы. Но грекам казалось, что этого не может быть, потому что воздух тяжести не имеет и стремится не вниз, а вверх — как пузырь в воде. Все от наблюдения — сомнения даже не возникают.

«Нет движения без приложенной силы». Только одно движение возможно без приложения силы и, стало быть, «естественно»: падение. Всякое другое перемещение «искусственно»: требует приложения силы. Поставь телегу — она так и будет стоять; впряги в телегу лошадь — она поедет. Правда, одно повседневное действие в это вроде бы не укладывается: когда мы бросаем камень, он летит, хотя рука его больше уже не толкает. Но мы помним: в природе нет пустоты, вокруг камня находится воздух, его частицы и продолжают толкать камень вперед. Объяснение сложноватое, но наблюдениям не противоречит. Теперь мы знаем: без приложенной силы, по инерции возможен не только покой, но и равномерное прямолинейное движение. Но наблюдать это невозможно, а вывести гипотетически грекам было не по нраву. Они привыкли представлять мир спокойным и устойчивым, чтобы все тела в нем сохраняли свой покой или падали туда, где надеются его найти.

«Тяжелое падает быстрее, чем легкое». Здесь любой опыт подтвердит вам: да, скорость падения зависит от веса и даже от формы падающих тел; да, железный шарик упадет быстрее, чем железный лист, а железный лист быстрее, чем бумажный. Теперь мы знаем: это только от сопротивления воздуха, а в пустоте они все падали бы с одинаковой растущей скоростью. Но опять-таки пустоты в мире нет; более того, именно этим примером Аристотель доказывал, что ее и не может быть. Ускоряясь в пустоте, говорил он, скорость движения стала бы бесконечной, а это невозможно; стало быть, пустоты нет. Страх бесконечности ничуть не ослабел в греках со времен Ахилла и черепахи.

Вот так и возникают ложные теории: сперва — бесспорные наблюдения; потом — объяснения, с виду простейшие и естественные, а на деле подсказанные вечной греческой любовью к устойчивому порядку и нелюбовью к хаосу, в частности к пустоте и к бесконечности; и наконец — сцепление этих объяснений в стройную систему, где они поддерживают друг друга. А затем такая система стоит, пока ее



Фаросский маяк: четырехгранная башня, потом восьмигранная, потом круглый верх. Впоследствии по этому образцу стали строиться башни церквей и колоколен. Свет его был виден в море за 50 км. Простояв пятнадцать веков, он рухнул от землетрясения. Название его стало нарицательным и живет еще в нашем слове «фары»

не разрушит, с одной стороны, накопление новых наблюдений и опытов, с другой стороны, смена вкуса к устойчивости и покою вкусом к движению и простору. (Это случится в XVII веке при Галилее и Ньютоне.)

Мешали эти теории практике или нет? Мешали, но мало. Представление о том, что в водоподъемных трубах природа боится пустоты, ничуть не помешало александрийскому механику Ктесибию изобрести пожарный насос и водяной орган. Представление о том, что брошенный камень летит, движимый постоянной силой, не помешало именно в эти годы завести настоящую античную артиллерию: катапульты — исполинские луки и пращи на колесах, бившие камнями и стрелами с такой силой, что еще в начале XX века некоторые военные специалисты серьезно думали, не возродить ли их в современных армиях. (Изобретены эти орудия впервые были еще при тиране Дионисии Сиракузском. «Вот и конец пришел воинской доблести!» — грустно сказал спартанский царь Агесилай, когда ему показали такую дальнобойную катапульту.) А неверные понятия о па-

дении тел не помешали выстроить у входа в александрийскую гавань седьмое чудо света — Фаросский маяк, башню высотой с 25-этажный дом, простоявшую, не падая, ни много ни мало полторы с лишним тысячи лет — до XIV века.

Античные физики знали зажигательное стекло. Но ни телескопа, ни микроскопа они не изобрели, а пользовались таким стеклом для шуток: например, чтобы навести солнечные лучи на восковую дощечку в руках увлеченного читателя да и растопить на ней все буквы. Античные техники знали силу пара. Но паровой машины они не построили, а построили игрушку для взрослых: маленький котел, сам собой вертящийся на оси. Не в том дело, будто они не могли создать промышленную технику современного типа, а в том, что они не хотели этого. Вспомним еще и еще раз, что мы видели в главе «Летосчисление»: античный человек испугался бы даже мысли об обществе, стремительно развивающемся неведомо куда. Он хотел общества устойчивого и постоянного, где завтра похоже на вчера и где рабов вполне хватает, чтобы прокормить господ и доставить им возможность беззаботно заниматься красивыми умозрениями.

САМЫЕ-САМЫЕ

Мы уже перечислили вразнобой все семь чудес света — самые знаменитые создания рук человеческих. Напомним их подряд: это египетские пирамиды; висячие сады Семирамиды в Вавилоне; статуя Зевса в Олимпии работы Фидия; храм Артемиды Эфесской, сожженный безумным Геростратом; мавзолей Мавзола Галикарнасского; колосс Родосский — статуя бога Гелиоса в родосской гавани и, наконец, Фаросский маяк на острове перед Александрией.

Греки любили состязания — любили выяснять, кто самый-самый... Мы уже знаем, что у них был список девяти самых великих лириков; точно так же были списки десяти самых великих ораторов (Демосфен, Лисий, Гиперид, Исократ...), пяти трагических поэтов (Эсхил, Софокл, Еврипид...), пяти эпических поэтов (Гомер, Гесиод...) и так далее.

В одной комедии перечисляется, что можно найти самое лучшее для пира: повара из Элиды (там они упражнялись над олимпийскими жертвами), котлы из Аргоса, вино из Флиунта, ковры из Коринфа, рыба из Сикиона, флейтистки из Эгия, масло из Афин, угри из Беотии, сыр из Сицилии... В другой комедии такой список еще длинней: там есть и

травы из Кирены, и рыба с Черного моря, и яблоки с Эвбеи, и изюм с Родоса, и финики — откуда? — конечно, из Финикии, и рабы из Фригии, и наемные воины из Аркадии.

Кто был самый худой человек? Филет с острова Кеоса: он был такой легкий, что ветер сдувал его с ног, и он должен был постоянно носить свинцовые сандалии.

Кто был самый толстый человек? Дионисий, тиран города Гераклеи: у него под кожей был такой слой жира, что он уже не чувствовал прикосновений и жил в полудремоте, а когда с ним нужно было говорить, его кололи длинной иглой.

Кто был самый зоркий человек? Сицилиец Страбон, который, стоя на сицилийском берегу, считал суда в гавани Карфагена, на африканском берегу — по другую сторону Средиземного моря. А может быть, не он, а скульптор Мирмекид, сделавший из меди колесницу меньше мухи и корабль меньше хвоинки сосны?

Кто был самый меткий человек? Индийский стрелок, попадавший из лука в перстень. Александр Македонский захотел увидеть его искусство. Тот отказался. Его повели на казнь; по пути он сказал стражнику: «Я несколько дней не упражнялся и боялся не попасть». Александр отпустил его и одарил за то, что он предпочел смерть бесчестью. А когда к Александру явился другой самый меткий человек, умевший без промаха метать вареные горошины на острие иглы, то он получил от Александра в награду за такое редкое искусство всего только меру гороха.

Кто был самый глупый человек? Афинянин Кикилион, который сидел на берегу моря и пытался пересчитать все морские волны.

Кто был самый памятливый человек? Трудно сказать. Фемистокл знал по именам всех афинских граждан, царь Кир — всех персидских воинов, посол царя Пирра Киней с одного раза запомнил всех римских сенаторов, царь Митридат Понтийский знал 22 языка, а философ Хармад мог процитировать любое место из любой книги, которую он в жизни читал («а читал он все», — добавляет сообщающий это историк).

Кто был самый льстивый человек? Некий Стасикрат, предлагавший вырубить статую Александра Македонского из горы Афон (той самой, где когда-то разбился персидский флот), чтобы она держала в одной руке город, а в другой — реку.

Кто был самый тщеславный человек? Карфагенянин Ганнон, которому мало было почета от людей, и он хотел поче-

та от животных. Он наловил птиц и стал учить их говорить по-человечески: «Ганнон — бог!», и они научились. Тогда Ганнон с радостью отпустил их на волю, чтобы они разнесли эту весть по всей земле, но глупые птицы, как только вылетели, сразу забыли всю науку и опять защебетали по-птичьи. После этого Ганнон приручил льва и заставил его ходить за собой и носить поноску, но карфагенским старейшинам это не понравилось, они обвинили Ганнона в стремлении к тирании и казнили его.

Кто был самый обжорливый человек? Может быть, афинянин Нотипп, про которого в комедиях говорилось: «Пошлите его на войну, он один сможет проглотить целый Пелопоннес!» А может быть, это была женщина по имени Клео, которая перепивала и переедала всех мужчин; шутили, что перед ней, как перед Медузой Горгоной, пища от страха обращается в камень.

Кто был самый долголетний человек? Исократ прожил сто лет и в 94 года написал одну из лучших своих книг; софист Горгий прожил 107 лет и, умирая в дремоте, сказал: «Сон передает меня своему брату — Смерти»; а гадатель Эпименид, как мы помним, будто бы прожил 157 лет, но из них 57 лет проспал.

Кто умер самою необычною смертью? Пожалуй, один философ, который умер от хохота, видя, что день, в который ему было предсказано умереть, подходит к концу, а он все еще жив.

Кто был самый первый?.. Здесь у греков были списки длинные-предлинные. Земледелию научила людей Деметра, виноделию, конечно, Дионис. Буквы грекам привез из Финикии Кадм. Пилу, топор, бурав, отвес и клей изобрел Дедал. Паруса — сын его Икар (вспомним, как «сказку начинали оспаривать»). Гончарное колесо и якорь — почему-то наш знакомый скиф Анахарсис. Монархию «изобрели» египтяне, демократию — афинский герой Тесей (даром что царь!), а тиранию — Фаларид с его медным быком. Первый корабль был, конечно, у аргонавтов. Лук изобрели скифы, дрот — амазонки, а меч и копье — спартанцы. И так далее.

Кто был самый остроумный человек? Здесь рещить всего трудней: остроумных людей в Греции было столько, что в Афинах существовал целый клуб остряков, за протоколы которого царь Филипп Македонский предлагал большие деньги.

ЧЕЛОВЕКУ СВОЙСТВЕННО СМЕЯТЬСЯ

«Человеку свойственно смеяться» — слова эти принадлежат Франсуа Рабле и стоят в стихотворном вступлении к его чудо-роману «Гаргантюа и Пантагрюэль». Но мысль эта принадлежит Аристотелю, который первый сказал, что из всех живых существ смеяться умеет только человек. Греки никогда не забывали, что человеку свойственно смеяться, мы уже имели много случаев в этом убедиться. Вот еще один такой случай: отрывки из греческого сборника анекдотов под названием «Филогелос», что значит приблизительно «Смехач». Любимый герой этого сборника — «педант», ученый человек с удивительной логикой.

Педант, гуляя, заметил на улице врача, который обычно его лечил, и стал от него прятаться. Приятели спросили его — зачем? Он ответил: «Я очень давно не болел, и мне перед ним стыдно».

Педанту сделали операцию горла, и врач запретил ему разговаривать. Педант велел своему рабу отвечать вместо себя на приветствия знакомых и при этом сам говорил каждому: «Не прогневайтесь, что за меня с вами здоровается раб: это потому, что врач запретил мне разговаривать».

Сын педанта играл в мяч и уронил его в колодец. Заглянув туда, он увидел свое отражение и крикнул: «Отдай мяч!» Не получив мяча, он побежал к отцу и пожаловался. Отец пришел к колодцу, заглянул туда, увидел свое отражение и сказал: «Добрый человек, отдайте ребенку мяч».

Педант хотел спать, но у него не было подушки, и он велел рабу подложить ему под голову горшок. Раб сказал: «Он жесткий». Тогда педант велел набить горшок пухом.

Педант хотел узнать, хорошо ли он выглядит во сне. Для этого он лег перед зеркалом и закрыл глаза.

Педанту приснилось, что он наступил на гвоздь; проснувшись, он перевязал себе ногу. Приятель спросил, почему он это делает; узнав, в чем дело, он сказал: «Поделом нам, дуракам: зачем мы спим разутыми!»

Двое педантов шли по дороге, и один из них по нужде немного задержался. Вернувшись, он увидел надпись, оставленную товарищем на верстовом столбе: «Догоняй меня», и приписал внизу: «А ты подожди меня».

По реке плыла груженая лодка, глубоко осевшая. Педант сказал: «Если воды еще немного прибудет, то она пойдет ко дну!»

Педант плыл по морю; разразилась сильная буря, и его рабы стали плакать. «Не плачьте, — сказал он, — в моем завещании я вас всех отпускаю на волю!»

У педанта было хорошее вино в запечатанном кувшине. Раб просверлил кувшин снизу и понемножку отпивал вино. Хозяин удивлялся, почему вино убавляется, а печать цела. Приятель ему посоветовал: «Посмотри, не отпивают ли его снизу?» — «Дурак, — ответил педант, — ведь вино-то убавляется не снизу, а сверху!»

Педант увидел двух братьев-близнецов, сходству которых дивились люди. «Нет, — сказал педант, — первый похож на второго больше, чем второй на первого».

Педант разговаривал с двумя друзьями. Один сказал: «Нехорошо убивать овец: они дают нам шерсть». Другой сказал: «Нехорошо убивать и коров: они дают нам молоко». Педант сказал: «Нехорошо убивать и свиней: они дают нам мясо».

Педанту сказали, будто ворон живет больше двухсот лет. Он купил себе ворона и стал его кормить, чтобы проверить.

У педанта в доме жила мышь и грызла книги. Чтобы отомстить ей, он стал надкусывать мясо и класть ей в темное место.

Педант купил дом и, высовываясь из окна, спрашивал прохожих, к лицу ли ему этот дом.

Педант продавал дом и повсюду носил с собою кирпич в качестве образца.

Педант пришел навестить больного друга. Вышла заплаканная жена и сказал: «Его уже нет!» Педант сказал: «Когда вернется, передай, что я заходил».

У педанта умер сын. Встретив его школьного учителя, он сказал: «Простите, учитель, что мой сын не пришел в школу: он умер».

Анекдоты были не только о педанте. В Греции были два города, о жителях которых, вроде как о наших пошехонцах, постоянно рассказывали смешные вещи. Один мы знаем — это Абдера, где когда-то объявили сумасшедшим философа Демокрита. Другой — это Кима в Малой Азии. Когда Гомер скитался с песнями по Греции, в Киме его не оценили, и он проклял этот город: «Пусть здесь не родится ни один великий человек!» Проклятие это, пожалуй, все же не сбылось: родом из Кимы был один историк, ученик Исократа, описавший год за годом всю греческую историю с древнейших времен. Он был большой патриот и всюду вставлял упоминания, что в таком-то году случилось в Киме, а если вставлять было нечего, то писал: «В Киме в этом году ничего не произошло».

В Киме два человека купили по горшку сушеных фиг, но, вместо того чтобы есть каждому из своего горшка, они потихоньку таскали фиги друг у друга. Прикончив чужой

горшок, каждый взялся за свой собственный и обнаружил, что он пуст. Они потащили друг друга в суд; судья внимательно их выслушал и велел им обменяться пустыми горшками и заплатить друг другу штраф.

В Киме хоронили знатного человека. Подошел приезжий и спросил: «Кто это умер?» Один кимеец обернулся и сказал: «Вон тот, который лежит на носилках».

Один человек из Кимы жил в Александрии, и там у него умер отец. Он отдал тело отца бальзамировщику и спустя положенное время попросил его обратно. У бальзамировщика были и другие покойники, поэтому он спросил: «Какие приметы были у твоего отца?» Кимеец ответил: «Он кашлял».

Отчего у города Кимы была такая дурная слава, тому было два объяснения. Первое — простое: хотя Кима — приморский город, его жители триста лет не брали пошлины с приплывающих кораблей; из этого все сделали вывод, что кимейцы триста лет не замечали, что их город стоит у моря. Второе объяснение замысловатее. В Киме у городского совета не было денег, и он попросил в долг у городских богачей под залог общественных портиков на главной площади. Вернуть долг город не смог, и портики перешли в собственность богачей, а те запретили горожанам гулять под ними. Но в дождливую погоду богачи чувствовали угрызения совести и посылали на площадь глашатая, который кричал: «Заходите под портики!» Приезжие из этого сделали вывод, что в Киме живет такой народ, который не знает даже, что в дождь нужно прятаться под портики.

ГАЛЛЬСКОЕ НАШЕСТВИЕ

Чаша испытаний, выпавших Греции, была еще не полна. Оставалось пережить еще одно: нашествие варваров. Не восточных варваров Ксеркса, за которыми была память о дивных громадных царствах, — нет, северных варваров, незнакомых не только с законом, но и с царской властью, не имеющих за собой ничего, кроме отчаянной дерзости и храбрости. Это была как бы репетиция тех нашествий, которые семьсот лет спустя закончат собой всю историю древнего мира и будут названы «великим переселением народов».

Сейчас переселяющимся народом были галлы. Они жили в средней Европе, там их потеснили германцы, и они хлынули в поисках земли и добычи на юг и на юго-восток. Те, которые шли на юг, разорили Италию, со словами «Горе

побежденным!» взяли дань с Рима и взяли бы самый Рим, если бы гуси, загоготав вовремя на стене, не разбудили спавших защитников: так «гуси Рим спасли». А те, которые шли на юго-восток, перевалили через Балканы и оказались теперь на пороге Македонии и Греции. Это было ровно через двести лет после нашествия Ксеркса.

Македонским царем в это время был мимолетный Птолемей, по прозвищу Молния. Это был такой царь, что благочестивые люди не сомневались: галльское нашествие — это кара богов за его преступления. Ему не было и сорока лет, а он уже был виновником убийства отцом сына, убийства друга, убийства женщины с детьми.

Вот как это было. У александрийского царя Птолемея, умнейшего из наследников Александра, было два сына от двух жен: старший, Птолемей-Молния, пылкий и неукротимый, и младший, Птолемей-Филадельф («Братолюб»), спокойный и разумный. Умирая, старый Птолемей оставил царство не старшему сыну, а младшему. Оскорбленный Птолемей-Молния бежал в Азию к Селевку и стал ждать своего часа. Час наступил, когда началась война старых исполинов, Селевка и Лисимаха. Семейные раздоры александрийского двора эхом откликнулись при Лисимаховом дворе: старый Лисимах был женат на сестре Филадельфа, молодой сын его — на сестре Молнии, обе женщины ненавидели друг друга, и жена Лисимаха одержала верх: царь приказал заточить и убить собственного сына. Это было первое убийство. После этого и двинулся на Лисимаха Селевк, разбил его, уничтожил, вступил в Македонию и здесь у придорожного алтаря был убит сам — не кем иным, как собственным гостем и спутником Птолемеем-Молнией. Это было второе убийство. Птолемей объявил себя царем бесхозной Македонии, и первым его делом была казнь вдовы Лисимаха с ее детьми. Это было третье убийство. Потом прошли считанные месяцы и наступила расплата: на Македонию надвинулись галлы, войска Птолемея-Молнии были разбиты, сам он убит, и память о нем осталась недобрая.

Высокого роста, светловолосые, синеглазые, без бород, с длинными висячими усами, разукрашенные золотыми ожерельями и браслетами из своей добычи, галлы были неистовы в сражении. Они, как пифагорейцы, верили в переселение бессмертных душ и потому не боялись гибели. Пленников они десятками убивали в жертву богам. В плен они не сдавались: если не могли убежать, то убивали себя. Потом, когда гроза миновала, греческие мастера внимательно и с уважением изображали гибнущих галлов в своих скульптурах. Одна из таких скульптур, «Умирающий гладиатор»,

вдохновила Байрона, а потом Лермонтова на знаменитые стихи.

Три больших похода совершили галлы на греческие земли. Первый поход отбили боги, второй — царь, а третий — князь.

Первый поход был на Дельфы: варваров издалека манила слава их богатств. Прямо из Македонии галлы двинулись на юг. Число их казалось грекам несметным. Вновь, как двести лет назад, греки встретили варваров у Фермопил, вновь отбили их лобовой натиск и вновь были обойдены по тайной кружной тропе. Греческое войско отступило на священную гору Парнас; Дельфы лежали, открытые варварам. Вот здесь и вступились боги за свою святыню: это было последнее вмешательство сказки в греческую историю, и о нем рассказывали с упоением. Богов было трое: дельфийский Аполлон, землеколебатель Посейдон и лесной Пан. Аполлон грянул грозой и бурей в лицо недругам — во вспышках молний грекам виделась фигура бога. Посейдон сотряс землю непривычным галлам землетрясением, и с окрестных гор на галльский стан покатились громадные глыбы. А Пан посеял в галльском полчище тот «панический» страх, который и теперь называется этим именем: отважные гиганты испугались неведомо чего, в собственных криках им чудились греческие, в греческих — галльские, они бросались, ничего не видя, друг на друга, и больше галлов пало от своих же мечей, чем от греческих. Говорят, когда-то Александр Македонский спросил галльских послов: «Боитесь вы меня?» Галлы ответили: «Мы боимся только одного: что небо рухнет на землю». В страшный день перед Дельфами галлам показалось, что небо рушится на землю, — и они обратились в бегство. Божий гнев преследовал их до конца: племена, к которым переходило награбленное в Греции золото, вымирали от мора одно за другим, пока не решено было бросить это проклятое золото в священный пруд галльских богов близ реки Гаронны. А когда в эти галльские места пришли римляне и вытащили золото из пруда, то сделавший это полководец вскоре же потерпел страшное поражение и умер в изгнании.

Второй поход галлов был в Азию. Там враждовали меж собою полузависимые князья, до которых не доставала крепкая рука царя Селевка. Один из них пригласил галлов к себе на помощь, обещав богатую добычу; галлы пришли и уже не ушли. Они грабили Малую Азию из года в год, и греческие города не жалели денег, чтобы откупиться от них. Наконец на них вышел сам царь Антиох, сын и наследник Селевка. Галльское воинство выглядело так страш-

но, что Антиох почти не надеялся на победу. Победу доставили ему слоны: от вида и рева неведомых чудовищ галлы бросились в бегство, не сойдясь даже на выстрел из лука; их конница смешалась с пехотой, их боевые колесницы — здесь, в Малой Азии, появились у них и такие — губили их собственное войско. Победители ликовали, Антиоху было поднесено модное прозвище Спаситель, но Антиох был мрачен. Он сказал: «Да будет нам стыдно, что победою мы обязаны только неразумным животным!» — и приказал на победном памятнике изобразить только слона с поднятым хоботом и ничего более.

Третий поход галлов был на Пергам. Это был неприступный город на крутой горе, где когда-то царь Лисимах сложил свои сокровища и оставил при них верного человека из рода Атталидов. Лисимах погиб, Атталиды стали князьями Пергама, обстроили его на Лисимаховы деньги прекрасными храмами и портиками, завели вторую в мире библиотеку с ее пергаментными книгами. Пергамские богатства не давали покоя галлам: они двинулись войной на Пергам и были разбиты князем Атталом. И эта победа была увековечена по-царски: сын Аттала Евмен воздвиг в Пергаме небывалой величины алтарь с надписью «Зевсу и Афине, даровательнице победы, за полученные милости». Это была постройка величиной в половину Парфенона; поверху шла колоннада, окружавшая жертвенник, к которому вела лестница в двадцать ступеней высоты и двадцать шагов ширины, а понизу шел рельефный фриз высотою в рост человека, бесконечной полосой огибавший здание, и на этом фризе изображено то же, что было выткано на покрывале парфенонской Афины, — борьба богов с гигантами, победа разумного порядка над неразумной стихией. Здесь схлестываются руки, выгибаются тела, простираются крылья, извиваются змеиные туловища, мукой искажаются лица, и среди теснящихся тел вырисовываются могучие фигуры Зевса, мечущего молнию, и Афины, повергающей врага. Таков был Пергамский алтарь — все, что осталось нам от галльского нашествия.

АГИД И КЛЕОМЕН

Спарта давно уже сошла со страниц нашей книги. Она перестала быть великим государством. О древней простоте и равенстве осталось лишь воспоминание. Когда-то здесь было 9 тысяч равных земельных наделов и 9 тысяч равноправных граждан-воинов. Теперь здесь было 100 богачей-

23 Зак. 4463.

землевладельцев, 600 разоренных должников, от них зависящих, а остальные тысячи давно уже не считались гражданами. Все это нищее многолюдство тосковало о том же, о чем мечтала беднота по всей Греции: об отмене долгов и переделе земель. Кто обещал бедноте отмену долгов и передел земель (а это означало резню богачей), тот дорывался до тирании и держался у власти долго ли, коротко ли, в зависимости от своих дарований. В Спарте случай оказался особый: здесь тираном, обещающим народу отмену долгов и передел земель, стал законный спартанский царь. Это повторилось дважды: при прекраснодушном мечтателе — царе Агиде и при деловитом воине — царе Клеомене.

В Спарте, как и в древности, было два царя из двух династий. Но цари эти были по существу лишь полководцами при правительстве эфоров, избираемом богачами. Да и быть полководцем становилось все трудней: в гражданское ополчение бедняки не шли, нанимать наемников было не на что. А враги у Спарты были сильные: города Пелопоннеса сплотились в Ахейский союз, а города и племена средней Греции — в Этолийский союз. Однажды этолийцы, вторгшись в Спарту, увели 50 тысяч человек пленными рабами; такого позора в истории Спарты еще не было. И только один старик спартанец сказал: «Спасибо врагу: он избавил Спарту от бремени слабых».

Царь Агид был молод. Мысль о возрождении древней простоты и силы кружила ему голову. Он ходил в простом плаще, купался в холодном Еврота, ел черную похлебку и прославлял старинные обычаи. Молодежь прихлынула к нему, а старики чувствовали себя, по выражению историка, как беглые рабы, когда их возвращают строгому господину — Ликургову закону. Агид объявил в собрании, что он и все его родичи отрекаются от своих несметных богатств и отдают их для передела между гражданами. Собрание рукоплескало. Объявили отмену долгов, на площадях разложили костры и жгли в них долговые расписки. Но это длилось недолго. До передела не дошло: знатные товарищи Агида не спешили отдавать свое имущество. Разочарованный народ охладел к Агиду. И тогда началась расправа.

За расправу взялся второй царь — Леонид. Агида хотели схватить — он укрылся в храме. Леонид подослал к нему мнимых друзей, они уверили молодого царя, что он может выйти из храма хотя бы в баню. Греки любили чистоту, и царь поддался уговорам. Здесь-то, на пути из бани, его связали и оттащили в тюрьму. Его спрашивали: «Кто был твоим подстрекателем?» Он отвечал: «Ликург». Палач не решался поднять руку на царя: царь был лицом священным,

его щадили даже враги в бою. Агид сказал палачу: «Не печалься обо мне: я погибаю беззаконно и потому лучше и выше моих убийц» — и сам вложил голову в петлю. Мать Агида стала плакать над его телом — ей крикнули: «Ты думала, как он, — ты умрешь, как он!» И она встала навстречу петле со словами: «Только бы на пользу Спарте!»

Вдову Агида Леонид выдал за собственного сына — юного Клеомена. И здесь случилось непредвиденное. Чем больше Клеомен слушал рассказы жены о ее первом муже, тем больше он проникался любовью к павшему Агиду и ненавистью к собственному отцу. А когда Леонид умер, царь Клеомен стал продолжателем дела царя Агида. Но характер у него был другой. Там, где Агид взывал, убеждал и подавал пример, Клеомен сразу взялся за меч. Из пяти эфоров четверо были перерезаны, пятый укрылся в храме Страха (в Спарте чтили Страх, потому что страхом держится всякая власть). Землю переделили, периэков допустили к гражданству, илотам позволили выкупаться на волю. Войско стали обучать не на старый, спартанский, а на новый, македонский манер. Денег не хватило — Клеомен обратился к египетскому Птолемею, обещая ему за это помощь против Македонии. Птолемей был осторожен: он потребовал заложниками мать и детей Клеомена. Царь был возмущен, но мать твердо сказала ему: «Пока от меня, старухи, есть польза Спарте, не медли!» — взошла на корабль и пустилась с внуками в Александрию.

Клеомен хорошо помнил правило всех тиранов: переворот бывает прочен, только если за ним следуют война, победа и добыча. Он повел спартанцев отбивать Пелопоннес у Ахейского союза. Ему предшествовала слава народолюбца; города сдавались ему и ждали от него того же, что он сделал в Спарте: отмены долгов и передела имущества. Но этого не происходило: Клеоменовой Спарте не нужны были товарищи по свободе, а нужны были покорные союзники. За быстрыми успехами пошли неудачи.

А между тем вожди Ахейского союза всполошились. И, не надеясь справиться с отважным спартанским реформатором собственными силами, они пошли на последнее средство: пригласили в Пелопоннес македонян. Несколько десятилетий Македония, занятая борьбой с галлами и внутренними смутами, не вмешивалась в греческие дела — теперь Греция вновь сама себя выдавала ей с головой. Македонский царь Антигон повел на Спарту свою фалангу. При Селласии произошла битва; войско Клеомена погибло почти полностью. Клеомен ускакал в Спарту. В своем дворце он даже не присел: не снимая панциря, прислонился к колон-

не, уткнувшись лбом в согнутую руку, перебрал в уме последние средства и с последними друзьями пустился к берегу, чтобы отплыть в Египет. Спарта была сдана врагу — в первый раз за всю ее историю.

В Александрии Клеомен себя чувствовал как лев в клетке. Старого Птолемея здесь только что сменил молодой — ленивый и распущенный. Он боялся своего брата и до поры до времени слушался советов Клеомена. «Завести бы побольше царских братьев!» — говорил Клеомен. Когда с братом покончили, Клеомена отстранили. Спартанский знакомец Клеомена привез на продажу царю боевых коней. Клеомен сказал ему: «Привез бы ты лучше арфисток и красивых рабов, на них здесь больше спросу». Это дошло до царя; Клеомену запрещено было выходить из дому. Тогда он решил поднять Александрию на восстание. С тринадцатью друзьями он выбежал на улицу, перебил стражу, обратился с речью к народу, но народ в Александрии был не тот, что в Спарте. На него глазели издали и разбегались при приближении; вокруг была пустота. Тогда спартанцы собрались на площади, и каждый вонзил в себя свой меч. Самый младший обошел павших, проверяя, все ли мертвы, а потом обнял труп Клеомена и закололся над ним. Тело Клеомена царь Птолемей приказал распять, а мать его и детей казнить. Так кончилось возрождение Спарты.

ПИРР ВСТРЕЧАЕТСЯ С РИМОМ

У Македонского царства был сосед-близнец — Эпирское царство, с такими же горами, лесами и сильными людьми. Македонские цари считали себя потомками Геракла, эпирские — потомками Ахилла; между собой они были в родстве. Македонское царство было обращено лицом на восток, Эпирское — на запад, к Италии. Еще когда в Македонии правил Александр Македонский, в Эпире правил его дядя, Александр Эпирский; и когда Македонский пошел завоевывать Персию, то Эпирский двинулся походом в Италию: «Племянник идет в женскую половину мира, я — в мужскую». Италию он не завоевал и скоро погиб в сражении. Но мечта о том, чтобы создать в Европе такую же великую державу, какую Александр создал в Азии, у эпирских царей осталась.

Пирр Эпирский был родственником этого Александра. Он тоже воевал на западе, но великой державы не построил. Он был не строителем, а воином: война опьяняла и увлекала его сама по себе, а зачем и за что она ведется, он не

думал. Он участвовал во всех схватках между наследниками Александра Македонского, дважды был царем бесхозной Македонии, но всякий раз бросал завоеванное и пускался в какую-нибудь новую заманчивую войну. Ему еще не было двадцати лет, когда старый Антигон Одноглазый на вопрос, кто в Греции лучший полководец, ответил: «Пирр, если доживет до старости», — и добавил: «Правда, он умеет играть и не умеет выигрывать».

Народу обычно тяжко приходится от таких правителей, и все-таки он их любит. Однажды Пирру доложили: «Такие-то молодые люди бранили тебя на пиру». Он их вызвал к себе: «Бранили?» — «Бранили, царь, и, будь у нас покрепче вино, еще не так бы бранили!» Пирр расхохотался и отпустил их. Своему вербовщику он говорил: «Твое дело — чтобы парни в войске были рослые и сильные, а чтобы они были храбрые, это уж сделаю я!» И делал.

К этому Пирру пришли за помощью послы из Тарента. Греческие города в Италии были в опасности: до сих пор их соседями были храбрые, но разрозненные италийские племена, теперь эти племена объединил под своею властью Рим. О Риме грекам уже случалось слышать. Слышали, будто он основан потомками Энея, троянского героя, после гибели Трои уплывшего на запад. Слышали, что народ там славен простотой и суровой доблестью, как древние спартанцы. Слышали, что на площади в Риме стоит статуя Пифагора и мудрый римский царь Нума Помпилий считается Пифагоровым учеником. Но воевать с римлянами грекам еще не приходилось.

Пирр бросил все дела и собрался в поход на Италию. У него был советник — оратор Киней, ученик Демосфена; Пирр говорил, что Киней покорил ему больше городов словом, чем сам он — оружием. Киней спросил: «Государь, а что мы будем делать, завоевав Италию?» — «Завоюем Сицилию». — «А потом?» — «Завоюем Африку». — «А потом?» — «Завоюем Македонию и Грецию». — «А потом?» — «Будем жить припеваючи, есть, пить и веселиться». — «Так что же нам мешает заняться этим уже сейчас?» Пирр рассмеялся, но войну все-таки начал.

В Италии Пирр бился с римлянами в трех сражениях. Первое закончилось решительной победой, второе — не решительной победой, третье — поражением.

Первую победу доставили Пирру боевые слоны. Римляне видели их в первый раз и бежали в панике. Объезжая поле и глядя на трупы врагов, Пирр сказал: «Римляне со мной, а я с римлянами могли бы покорить весь мир!»

После победы Пирр послал в Рим Кинея. Он предложил

римлянам мир и союз, если они откажутся от своих завоеваний. Римский сенат уже готов был согласиться. Честь Рима спас старейший из сенаторов — Аппий Клавдий; он был дряхл и слеп, в сенат его принесли на носилках. Он произнес речь: «До сих пор, римляне, я жалел, что лишился зрения; теперь, слыша ваши слова, я жалею, что не лишился и слуха...» Сенаторы устыдились. Киней воротился из Рима ни с чем. «Каков показался тебе сенат?» — спросил его Пирр. «Это — собрание царей», — отвечал Киней.

Римляне сами отправили посольство к Пирру для переговоров о выдаче пленных. Возглавлял посольство Фабриций — он был стар, прост, суров и благороден. Пирр был от него в восторге. Он предлагал Фабрицию перейти к нему на службу и стать первым среди его друзей. «Не советую, царь, — сказал Фабриций. — Когда твои подданные узнают меня, они отнимут престол у тебя и предложат мне». Врач Пирра послал Фабрицию тайное письмо, предлагая отравить царя. Фабриций гордо отказался. Он переслал письмо Пирру с запиской: «Убедись, царь, что ты не умеешь видеть ни своих друзей, ни своих врагов». Пирр воскликнул: «Скорее солнце сойдет со своего пути, чем Фабриций — с пути добродетели!» В благодарность Пирр отпустил без выкупа всех римских пленных. Фабриций не пожелал остаться в долгу и отпустил ровно столько же эпирских пленных. Так в борьбе двух благородств последнее слово осталось за римлянином.

Во второй битве Пирр одержал победу, но понес огромные потери. «Еще одна такая победа, и у меня не останется войска!» — воскликнул он. С этих пор слова «пиррова победа» стали поговоркой. «Ты бьешься с лернейской гидрой, государь, — сказал Киней, — у римлян, что ни год, вырастают новые воины».

После второй битвы Пирр неожиданно оставил Италию и отправился в Сицилию. Как всегда, ему не сиделось на месте. С греческими городами Италии он поссорился, а греческие города Сицилии звали его на помощь против карфагенян. В Сицилии повторилось то же самое. Пирр разбил карфагенян, оттеснил их в самый дальний угол Сицилии, но опять поссорился с греческими союзниками и, не кончив войны, вернулся в Италию. Покидая Сицилию, он сказал: «Какое поле боя мы оставляем римлянам и карфагенянам!»

Третья битва Пирра с римлянами была поражением. Как в первой битве причиной победы, так в этой причиной поражения были слоны. Римляне осыпали их горящими стрелами; молодой слон в первом ряду дрогнул и затрубил; мать-слониха на другом конце строя заслышала голос сына и

бросилась к нему, раскидывая всех на пути; ряды смешались, слоны ринулись на свои же войска, началось бегство и беспорядочная резня.

Дальнейшая борьба была невозможна. С остатками войска Пирр отчалил на родину. Здесь, едва осмотревшись, он бросился в новую войну: против Антигона Младшего, за Македонию и Грецию. Ему хотелось взять Спарту, которую тогда никто еще не мог покорить. Спартанцы ответили так: «Если ты бог, то мы ничем не обидели тебя; если ты человек, то найдется человек и сильнее тебя». Взять Спарту не удалось: город огородился укреплениями, женщины стояли на валах рядом с мужчинами. Пирр отошел и ударил на Антигона, тот не принял боя. Пирр послал сказать ему: «Если ты храбр — прими бой». Антигон ответил: «Если ты у́мен — заставь меня принять бой». Пирр бросился на соседний Аргос, в тесных городских улицах завязалась резня, солдаты не могли пошевелиться, не поранив друг друга. Пирр, возвышаясь на коне, ободрял бойцов; чтоб его было видней, он снял свой знаменитый рогатый шлем. Тут его ударила в шею черепица, брошенная с крыши, и он упал. Воин Антигона хотел отрубить ему голову, но полумертвые глаза глядели так страшно, что рука его дрожала, и он резал долго и мучительно. Антигон заплакал, увидев голову того, кто сражался еще при его деде, и велел похоронить Пирра в Аргосе, на священной земле Деметры.

В Санкт-Петербурге по четырем углам главного здания Адмиралтейства видны на фоне неба четыре сидящих воина. Не все знают, кто они такие. Это четыре самых великих полководца древности: Ахилл, Юлий Цезарь, Александр и Пирр.

АРХИМЕД ВСТРЕЧАЕТСЯ С РИМОМ

«Какое поле боя мы оставляем римлянам и карфагенянам!» — сказал Пирр, покидая Сицилию. Слова Пирра были пророческими. Прошло лишь десять лет после Пирровой войны, и между Римом и Карфагеном началась война за Сицилию. Сицилия в войне не участвовала — она была лишь добычей и досталась победителю, Риму. В Сиракузах правил Гиерон, последний сиракузский тиран. Ловко лавируя меж Римом и Карфагеном, он чудом уберег независимость своего города. Было ясно, что это ненадолго. Началась вторая война, и Сиракузы осадил лучший римский полководец — Марцелл.

В Сиракузах жил в это время величайший математик

древности — Архимед. Обычно математики, мы знаем, свысока смотрели на физику — Архимед был исключением. Даже занимаясь такой возвышенной наукой, как астрономия, он не мог удержаться — построил первый планетарий, круглую машину, в которой от одного завода по небесной сфере двигались все светила, и каждое точно по своей орбите. Такие вещи позволялись ученому лишь как забава: «веселящаяся геометрия», — снисходительно говорили о них. Архимед ими увлекался и поэтому прослыл чудаком.

Народ мало понимал в математике и все-таки слагал об Архимеде легенды. О нем ходило больше анекдотов, чем о любом другом ученом древности. Говорили, будто он был так поглощен своей наукой, что забывал есть, пить и мыться; когда он сидел перед очагом, то чертил круги и треугольники прутом на золе; когда был в бане — чертил пальцем на своем намазанном маслом теле.

Это он, говорят, однажды выскочил из ванны и голый побежал по улицам Сиракуз, крича: «Нашел! Нашел!» (по-гречески: «Эврика! Эврика!»). Дело было вот в чем. Сиракузский тиран Гиерон получил от золотых дел мастера золотой венец и хотел проверить, не подмешал ли мастер в золото серебра. Нужно было сравнить объемы венца и куска чистого золота с тем же весом. Архимед, опускаясь в налитую до краев ванну и глядя, как переливается через края вытесняемая его телом вода, вдруг понял, что именно так можно легко измерить объемы двух тел разной формы.

Это он, говорят, не только изучил законы действия рычага, но и сам построил для Гиерона машину с такой системой рычагов, что один, сидя в сторонке и поворачивая ручку, спустил на воду огромный корабль. Корабль был построен Гиероном в подарок Птолемею Египетскому, и все сиракузяне, впрягшись, не могли его сдвигуть с места. Гиерон был в восторге от этой машины. Архимед скромно сказал: «Дай мне только, где стать, и я тебе сдвину Землю!»

Когда к Сиракузам подступили римляне, Архимед построил для сограждан небывалые военные машины. Это были катапульты, метавшие камни на неслыханные расстояния; это были подъемные краны с крючьями, которые дотягивались до римских кораблей и топили их в гавани. В греческих мифах был сторукий гигант Бриарей; «Бриареем от геометрии» называл Архимеда Марцелл. А солдаты Марцелла в ужасе разбегались, когда над стеной показывалась любая веревка или бревно: «Это Архимед выдумал новую машину на нашу погибель!»

Наконец Сиракузы пали. Началась резня и грабеж. Римский воин ворвался к Архимеду. Тот сидел в саду и

чертил тростью по песку круги и треугольники. Он поднял голову и сказал солдату: «Не наступи на мой круг». Воин понял, кто перед ним, и хотел отвести ученого к Марцеллу. Архимед сказал: «Погоди, я только кончу решение». Солдат не привык к таким ответам: он зарубил ученого.

На могиле Архимеда по его завещанию вместо памятника было поставлено изображение цилиндра с вписанным шаром и начертано открытое им отношение их объемов — 3 : 2. Полтораста лет спустя, когда в Сицилии служил знаменитый римский писатель Цицерон, он еще видел этот памятник, забытый и заросший терновником.

ФИЛИПП ПОСЛЕДНИЙ ВСТРЕЧАЕТСЯ С РИМОМ

Пока на западе Рим воевал с Карфагеном, а Сицилия лежала между ними, как между молотом и наковальней, с востока за этим внимательно и тревожно следили три царя. Это были: очередной египетский Птолемей — тот самый, которому, по словам Клеомена, арфистки были дороже боевых коней; сирийский Антиох, запоздалый двойник своего прадеда Селевка, прозванный (несколько преждевременно) Великим; и очередной Филипп Македонский, племянник победителя при Селласии, царь, о котором говорили, что он хорош в беде и невыносим в удаче.

Все понимали: кто победит, тот двинется на них, и сухопутный Рим будет опаснее морского Карфагена. Понимали, но не вмешивались: Египет был отвлечен войной с Антиохом, Антиох — усмирением Ирана, где область за областью отламывались от его огромного царства, а Филипп — междоусобицами Этолийского и Ахейского союзов. Когда Рим воевал с Ганнибалом, Филипп вторгся в иллирийские владения римлян, но успеха не достиг; когда Рим победил Ганнибала и тот бежал из Карфагена, Антиох дал ему приют. Рим таких вещей не забывал: новая война надвигалась.

«Черная туча встает с запада, — говорил этолийский оратор перед Филиппом Македонским. — Если она надвинется, конец нашей свободе». И далее следовало не совсем обычное определение этой греческой свободы: «Конец нашим военным забавам: нам нельзя будет воевать и мириться друг с другом, когда нам хочется».

Римляне вступили в Грецию. Они шли мерными переходами; на каждой ночевке они раскидывали квадратный лагерь, укрепленный, как город, с прямыми улицами между палаток. Сражались они непривычно: не сплошной фалангой, а тридцатью отрядами, наступавшими в шахматном

порядке. У каждого воина был вдобавок к обычному оружию тяжелый дрот: он начинал бой как легковооруженный и продолжал как тяжеловооруженный. Выдержать такой удар было трудно. Командовал римлянами Тит Фламинин, неожиданный для греков человек: молодой, говорящий по-гречески, как грек, умеющий побеждать и оружием, и убеждением.

Битва с Филиппом произошла в Фессалии. Она была нечаянной. По фессалийской равнине тянулась гряда холмов — по-гречески Киноскефалы (по-русски «Собачьи головы»). По одну сторону холмов заночевали римляне, по другую — македоняне. Сами не зная того, они провели ночь в получасе ходьбы друг от друга. Наутро и Фламинин и Филипп выслали передовые отряды занять холмы. В утреннем тумане эти отряды столкнулись на холмах. Завязалась стычка, стали подходить подкрепления. Македонской фаланге трудно было держать строй среди холмов, римским отрядам — гораздо легче. Фаланга дрогнула, ряды ее смешались; победа осталась за римлянами. Филипп запросил мира.

Военную победу Фламинин сумел закрепить мирной. Власть Филиппа в Греции держалась на трех крепостях — Деметриаде, Халкиде, Коринфе. Их называли «оковами Греции». По мирному договору Филипп освобождал эти крепости, а Фламинин их занимал. Греки роптали: «Рим снял оковы с наших ног и надел нам на шею». Фламинин добился у сената позволения вывести войска из крепостей, оставив Грецию грекам. Народ собрался в Коринф на Истмийские игры. Здесь, в промежутке между состязаниями, римский глашатай объявил: отныне Греция свободна от всех иноземных гарнизонов и налогов. Люди не верили ушам; объявление пришлось повторить. Тогда раздался такой крик ликования, что птицы над стадионом замертво падали в толпу. Фламинина, освободителя Греции, стали чтить, как бога; еще триста лет спустя в Греции стояли храмы, посвященные «Аполлону и Фламинину».

За войной с Филиппом последовала война с Антиохом. Царские послы стращали греков, перечисляя рода пеших и конных царских войск. «Не пугайтесь, — сказал грекам Фламинин, — есть много кушаний из одного мяса под разным соусом; так и это все одни и те же сирийцы, только с разным оружием». Военным советником у Антиоха был великий враг Рима — Ганнибал. Тщеславный царь устроил перед ним парад своих войск: пехоты, конницы, колесниц, слонов — в золоте, серебре, в значках, украшениях, бляхах. «Как по-твоему, достаточно этого будет для римлян?» — «Достаточно, — ответил Ганнибал, — хоть они и очень

жадные». Он понимал, что для римлян это войско будет не угрозой, а добычей.

Война длилось четыре года. В решающей битве при Магнесии Антиох потерял 50 тысяч человек, римляне (так они утверждали) — только 300. Римлянами командовали два брата Сципиона: старший, прославившийся победой над Ганнибалом и за это прозванный Африканским, и младший, за теперешнее сражение получивший прозвище Азиатского. На Антиоха была наложена огромная дань; чтобы выплатить ее, он пошел с войском обирать вавилонские храмы и там погиб. Сын его был уже во всем покорен римлянам. Когда он попробовал было продолжать наследственную войну с Египтом, римский посол по имени Попилий приказал ему: «Выведи войска назад». Царь сказал: «Я подумаю». Попилий обвел мечом круг у его ног и велел: «Думай, не выходя из круга». Царь повиновался, а слова «Попилиев круг» стали поговоркою.

Филипп Последний доживал жизнь, копя злобу и силу для ответного удара на Рим. У него было два сына: благородный Деметрий, друг римлян, и низкий Персей, ненавистник римлян. По наговорам Персея Филипп убил старшего сына; это его надломило, убитый стал являться ему во сне, Филипп перестал спать и умер от тоски. Рассчитываться с Римом пришлось Персею. Битва произошла при Пидне, у подножия облачного Олимпа. Все войско Персея было изрублено, Персей спасся, переодевшись простым всадником. Римский полководец Эмилий Павел обещал ему жизнь. Персей хотел броситься к его ногам. «Остановись! — крикнул Эмилий. — Не заставляй меня думать, что ты сам заслужил свое несчастье своим малодушием!» Македония была расчленена на четыре части и скоро стала римской провинцией. Персей умер в плену. Два его сына умерли вместе с ним. Третий остался жив; потом он служил писцом в римском городе Альбе и за красивый почерк был на хорошем счету у начальства.

РИМ ПРИНИМАЕТ НАСЛЕДСТВО

Торжество победы называлось в Риме «триумф». Это было праздничное шествие войска и полководца среди народных рукоплесканий через город, через площадь, на Капитолийский холм, к храму Юпитера — покровителя римского народа. Победу над Македонией праздновали три дня. Такой богатой добычи Рим еще не видел. В первый день везли на 250 телегах статуи и картины греческих мастеров. Во

второй день несли захваченное оружие и 750 бочек с серебряной монетой. В третий день вели 120 жертвенных быков с вызолоченными рогами, несли 77 бочек с золотыми монетами, везли дорогое убранство царского двора. На телеге везли оружие и диадему Персея, за телегой шли царские дети с толпой наставников, горько плача, а за ними, в темном платье, с немногими друзьями — бесчувственный от горя царь Персей. Наконец на колеснице, в пурпурном плаще, ехал победоносный Эмилий Павел с лаврами в руке. Перед колесницей несли 300 золотых венков — дары от греческих городов, а за колесницей шло войско, отряд за отрядом, распевая победные песни.

Вся добыча пошла в казну. Она была так огромна, что с этих пор Рим навсегда перестал собирать налоги с римских граждан. Для себя Эмилий Павел оставил только одну ее часть: ворох свитков греческих книг, библиотеку македонских царей.

Эмилий Павел, братья Сципионы, Тит Фламинин — это были римляне уже иного закала, чем несгибаемый Фабриций, восхищавший Пирра Эпирского. Их тоже невозможно было сбить с пути добродетели, как солнце с небесного пути. Но с суровостью они умели соединять мягкость, с римской мощью — греческую образованность, с заботой о государстве — заботу о собственной славе. Как когда-то Филипп Македонский, как Антигон Одноглазый, как внук его Антигон, почитатель Зенона, они знали: награда подвигам — слава, а глашатаи славы — греки, и только они. И римские полководцы учили греческий язык, перенимали греческие нравы, везли в Рим греческие картины и статуи. На их счет строились на площадях храмы и портики с коринфскими колоннами. Их дети учились читать по «Одиссее» в топорном латинском переводе самого первого римского поэта — пленного грека из Тарента. Их вольноотпущенники перелицовывали по-латыни комедии Менандра, и на праздниках народ сбегался к подмосткам их смотреть — если поблизости не было более интересной травли зверей или выступлений канатоходцев.

Вкус ко всему греческому становился в Риме модой, иногда смешной. О полководце Муммии, разорителе Коринфа, рассказывали, будто он, вывозя из Коринфа драгоценные старинные статуи и вазы, предупреждал корабельщиков: «Если потопите — стребую с вас новые». Сенатор Фабий Пиктор написал первую римскую историю от Энея до победы над Ганнибалом — на греческом языке: чтобы греки читали и уважали своих победителей. В предисловии он извинялся за возможные ошибки в греческом языке. Суровый

Катон, поборник древних нравов, сказал: «Зачем извиняться за ошибки, если их можно не делать? Кто неволил тебя писать по-гречески?» Сам Катон написал первую римскую историю на латинском языке и первый стал записывать речи, которые произносил в сенате. Он не любил ораторских красот и говорил: «Держись дела, слова найдутся», но своими собственными словами дорожил, как грек.

В Риме много лет жила тысяча знатных греков — заложников, взятых после битвы при Пидне. В живых оставались уже немногие. Они просили отпустить их на родину. Сенат спорил. Катон сказал: «Разве нет у нас дел поважней? Не все ли равно, кто похоронит кучку дряхлых греков — наши могильщики или ахейские?» Среди этих заложников был знаменитый историк Полибий. Он просил вернуть изгнанникам их почетные должности. Катон с ласковой улыбкой произнес: «Как по-вашему, если Одиссей забыл в пещере Киклопа шляпу и кошелек, станет ли он возвращаться за ними?»

Полибий жил в Риме, в доме Эмилия Павла, был воспитателем его сыновей — один из этих сыновей скоро станет разорителем Карфагена — и писал историю. Он оглядывался и думал: как случилось, что на его глазах, за время жизни одного поколения, мир из греческого стал римским? И мир представлялся ему огромным механизмом, где во всех государствах, малых и больших, то быстрее, то медленнее, роковым круговоротом совершается смена государственных устройств. Монархия вытесняется аристократией, аристократия — демократией, демократия — тиранией, то есть опять монархией, и каждая фаза — это сперва краткий расцвет, потом долгий упадок. Сейчас в расцвете Рим. Три власти в нем хорошо уравновешены: монархию представляют консулы, аристократию — сенат, демократию — народное собрание; поэтому колесо его истории вращается медленно, господство его будет долгим. Пусть так: все лучше, чем греческая вольность воевать и мириться, когда хочется. Полибий был прав: римской власти над миром хватило еще на шестьсот лет.

«И УЧИТЕЛЬ ГОВОРИТ: «НАЧНИТЕ СНАЧАЛА...»

У римского поэта Горация есть знаменитая строчка:

Греция, взятая в плен, победителей диких пленила...

Так оно и было. Рим правил, и часто правил круто, но во всем, что касалось наук и искусств, философии и красноречия, он был верным учеником Греции. Римских детей

старались учить греческому языку раньше, чем родному латинскому; римские юноши приезжали в запустелые, обедневшие Афины брать уроки в Академии, Ликее, эпикурейском Саду и Портике стоиков; римские наместники, проезжая через Грецию в свои провинции, наносили визиты знаменитым греческим философам; римский император Марк Аврелий сам написал книгу по философии (и прекрасную книгу!), и написал ее на греческом языке. Греция дала еще много и отличных писателей, и больших ученых. Но сейчас, прощаясь со свободной Грецией, хочется подумать не об этих великих людях, а о тех маленьких, из которых выходят великие. Заглянем в последний раз в греческую школу. Сейчас у нас к этому есть совсем особенный повод.

Не только римляне учили греческий язык — грекам тоже приходилось учить латинский. Они делали это неохотно: они гордились собственным языком, они привыкли, что на всех окраинах мира варвары стараются говорить по-гречески, а не греки по-варварски; недаром во всем множестве книг, оставшихся нам от античности, нет ни одного, скажем, греко-египетского или греко-скифского словаря. Но нужда есть нужда, и греческие мальчики стали учить латынь в школах по таким же простеньким учебникам, по которым вы начинаете учить английский или немецкий. Учебники — недолговечные книги; вы сами знаете, как быстро они затрепываются и погибают. До нас почти чудом сохранился один такой учебник. В два столбца, по-гречески и по-латыни, в нем выписаны нехитрые тексты: изречения, Эзоповы басни, мифы, рассказ о Троянской войне и — самое интересное — школьный разговорник. Послушаем же эти коротенькие фразы, похожие на те, которые, конечно, приходилось сочинять и вам.

ПРО ТУ ОРТ^{x}Р'У ЭГРЕГ'ОРЕСА ЭКС^x'ЮПНУ. АН'ЕСТЕН ЭК ТЕС КЛ'ИНЕС. ЭК'АТ^{x}ИСА. 'ЭЛАВОН ^{x}ЮПОДЕСМ'ИАС, САНД'АЛИА; ^{x}ЮПЕДЮС'АМЕН...

До зари я пробудился от сна. Поднялся с постели. Сел. Взял ремешки, сандалии; обулся. Попросил воды умыться. Умываю сперва руки, потом лицо. Умылся; вытерся; отдал полотенце. Надел хитон на голое тело; подпоясался. Помазал голову маслом и причесался. Надел белый плащ. Вышел из спальни с дядькою и с нянькою поздороваться с отцом и матерью. Поздоровался с обоими и поцеловал их. А потом вышел из дому.

АП'ЕРХОМАЙ ЭЙС ТЕН СХОЛ'ЕН. ЭЙС'ЕЛЬТ^{x}ОН. 'ЭЙПОН: «Х'АЙРЕ, КАТ^{x}ЕГ'ЕТА!» КАЙ АВТ'ОС МЕ КАТЕФ'ИЛЕСЕН КАЙ АНТЕСП'АСАТО...

Прихожу в школу. Вошел. Говорю: «Здравствуй, учитель!» И он меня тоже поцеловал и поздоровался. Раб мой дает мне таблички, пенал, грифель. Севши на место, провожу черту, стираю ее. Списываю с прописей; списав, показываю учителю. Он исправляет, зачеркивает. Приказывает мне читать. Потом приказывает передать другому.

ЭМ'АНТ^{x}АНОН ^{x}ЕРМЕН'ЕВМАТА; АП'ЕДОКА. «АЛЛ ЭВТ^x'ЕОС ^{x}ЮПАГ'ОРЕВЕ М'ОЙ!» ^{x}ЮПЕГ'ОРЕВСЕ М'ОЙ СЮММАТ^{x}ЕТ'ЕС. «КАЙ СЮ!» — ФЕС'ИН. 'ЭЙПОН АВТ'О: «АПОД'ОС ПР'ОТОН...»

Я выучил слова; я ответил. «А теперь подиктуй мне!» Товарищ мне диктует. «И ты!» — говорит он. Я ему говорю: «Ответь сначала слова». А он мне говорит: «Ты что, не знаешь, что я их еще до тебя ответил?» Я говорю: «Врешь, не ответил». — «Не вру!» — «Ну, если не врешь, то подиктую».

ЭН Т'УТОЙС КЕЛ'ЕВСАНТОС ТУ КАТ^{x}ЕГЕТ'У ЭГ'ЕЙРОНТАЙ ^{x}ОЙ МИКР'ОЙ ПРОС ТА СТОЙ^x'ЕЙА КАЙ ТАС СЮЛЛ'АБАС...

Тем временем по приказу учителя малыши берутся за буквы и слоги. Диктует им их один из старших. А остальные по порядку отвечают помощнику учителя слова, записывают стихи. Написали, и я кончил первым. Потом, когда мы сели, я учу правила грамматики. Меня вызывают читать; я слышу, как другие пересказывают, излагают смысл, называют действующих лиц. Меня спросили по грамматике: «Какое слово говоришь? Какая это часть речи?» Я ответил; просклонял слова по родам, разделил стихи на стопы.

^{x}ОС ДЕ П'АНТА Т'АВТА ЭПР'АКСАМЕН, АП'ЕЛЮСЕН ЭЙС 'АРИСТОН. АПОЛЮТ^x'ЕЙС ДЕ ЭПАН'ЕРХОМАЙ ЭЙС ТОН 'ОЙКОН. АЛЛ'АСО. ЛАМВ'АНО 'АРТОН КАТ^{x}АР'ОН, ЭЛ'АЙАС, ТЮР'ОН, ИСХ'АДАС, КАР'ЮА...

Когда мы все это сделали, учитель отпустил нас на завтрак. Отпущенный, прихожу я домой. Переодеваюсь. Беру белый хлеб, маслины, сыр, фиги, орехи, пью холодную воду. Позавтракав, опять прихожу в школу. Вижу, учитель читает. И учитель говорит: «Начните сначала...»

Дела и годы (до н. э.)

356	—	родился Александр Македонский
336	—	Александр становится царем
334	—	Александр идет на Персию
332	—	основание Александрии
331	—	победа при Гавгамелах
327—326	—	Александр в Индии
323	—	смерть Александра
316	—	Антигон Одноглазый побеждает Евмена
307	—	Деметрий Полиоркет в Афинах
301	—	Антигон Одноглазый разбит соперниками
285—246	—	Птолемей II Филадельф и расцвет александрийского Мусея
283	—	смерть Деметрия Полиоркета
281	—	битва и смерть Лисимаха и Селевка
280—275	—	война Пирра в Италии и Сицилии
279	—	галлы перед Дельфами
264—241 и 218—202	—	Рим и Карфаген воюют в Сицилии
244—241	—	царь Агид в Спарте
237—221	—	царь Клеомен в Спарте
ок. 230	—	расцвет математика Эратосфена
221	—	битва при Селласии
219	—	Клеомен погибает в Александрии
212	—	падение Сиракуз и гибель Архимеда
197	—	поражение Филиппа Македонского при Киноскефалах
196	—	Фламинин провозглашает свободу Греции
190	—	поражение Антиоха Великого при Магнесии
ок. 180	—	строительство Пергамского алтаря
168	—	поражение Персея при Пидне. Конец Македонии

СЛОВАРЬ VI

Что общего?

Бывают родственные слова, родство которых видно сразу. *Логика, биология, диалог, логарифм* — здесь каждый, даже не зная греческого языка, догадывается, что в словах есть какой-то общий корень. А бывают такие слова, родство которых не бросается в глаза: иногда потому, что исказилась их форма, иногда потому, что слишком далеко разошлись значения. Вот несколько семейств таких неожиданных родственников.

КОСМОС и КОСМЕТИКА. Греческий корень ***косм-*** означает «порядок». Высший образец порядка для грека — мироздание; поэтому оно называется ***космос***. Сотворение мира (***космогонию***) греки представляли себе как превращение беспорядочного *хаоса* (буквально «зияния») в упорядоченный *космос*. Отсюда всем известное слово ***космонавт*** («плаватель по космосу»), отсюда же и слово ***космополит*** («гражданин мира», сравни: *полит-ика*): так называли себя люди, отказавшиеся от родины, например Диоген. Но порядок для грека всегда прекрасен; поэтому ***косметика*** означает буквально «наука об украшении», а обычно — пудру, крем и прочие средства для лица. Вспомните, кстати, и собственное имя Кузьма (***Косьма***), которое значит «украшение». А русские слова *косматый, космы* волос никакого отношения к греческому корню не имеют: это случайное созвучие.

ГИМНАЗИЯ и ГИМНАСТЕРКА. Греческий корень ***гимн-*** означает «голый». Занимаясь спортом, греки раздевались догола; поэтому занятия эти назывались ***гимнастика***, а помещение для этих занятий (больший двор с колоннадой, подсобными помещениями и купальней) — ***гимнасий***. Эти гимнасии быстро стали чем-то вроде клубов, в них любили беседовать философы. Поэтому в Европе XVII—XVIII вв. словом ***гимназия*** стали называть школы с преподаванием латинского языка, служившие подготовкой к университету (где лекции читались по-латыни). Это значение перешло и в русский язык. Слово *гимнастика* тоже перешло во все европейские языки, а от него (через редкое слово *гимнастёр* — то же, что ***гимнаст***) образовалось слово гимнастёрка — одежда для гимнастики. А слово ***гимн***, торжественная песня, тоже греческое, но пишется иначе (корень ***^{x}имн-***) и, стало быть, к этому семейству не принадлежит: опять случайное созвучие.

МЕТРО и **МИТРОПОЛИТ**. Корень со значением «мать» — по-гречески ***метр-***, в позднем произношении ***митр-***; а город по-гречески *полис* (отсюда *политика*, отсюда *Неаполь*, *Севастополь* и т.д.). Стало быть, ***метрополия*** — это «город-мать», от которого зависят «города-дочери», то есть колонии. (Почему мать и дочери, а не отец и сыновья? Потому что *полис* по-гречески женского рода.) В написании ***митрополия*** — это главный город православной церковной провинции, а главный священник этой провинции — ***митрополит***. Во французском же произношении ***метрополь*** стало значить просто «столица», а прилагательное ***метрополитен*** — «столичный»; так называлась компания, строившая в Париже в конце XIX в. подземную железную дорогу, так стала называться и сама эта дорога, а потом очень скоро название это сократилось в ***метро***. А корень ***-метр-*** (мера) здесь ни при чем: он пишется через краткое ***е***, которое в ***и*** не переходит.

ТЕАТР и **ТЕОРИЯ**. Слово *т^х^еаомай* значит «смотрю, рассматриваю». Отсюда ***театр*** — «зрелище»; отсюда же и ***теория*** — «(умо)зрение», и ***теорема*** — «предмет рассмотрения, предмет умозрения». Для греков, как всегда, «понять» означало «как своими глазами увидеть».

ТРАПЕЦИЯ и **ТРАПЕЗА**. Слово *трапедза* значит «стол», *трапедзион* — «столик». От первого слова пошла наша ***трапеза*** (застолье); от второго — ***трапеция*** (четырехугольник с двумя параллельными и двумя непараллельными сторонами, а затем гимнастический снаряд такой формы). На Черном море есть город ***Трапезунд*** (по-турецки *Трабзон*), основанный когда-то греками из аркадского городка, тоже Трапезунда; считается, что это название могло быть дано по плосковерхой «столовой горе» над одним из этих городов. Может быть, вам попадалось у Островского или Щедрина выражение «в бедном *затрапезном* платье...»: это не значит «в платье, в котором сидели за столом», это значит «в платье из грубой полосатой ткани фабрики Затрапезнова»; а эта фамилия, в свою очередь, значит что-то вроде «Застольников».

ЭНЕРГИЯ и **КАТОРГА**. Корень *-эрг-* означает «работа»; маленькая единица измерения работы так и называется ***эрг***. Приставка ***эн-*** означает «внутри»: ***энергия*** — это то, внутри чего как бы заключена возможность работы. Приставку ***ката-*** вспомните сами; от нее слово *ка́тергон* значит «отработка». В средневековой Византии так назывались гребные галеры, на которых гребцами были осужденные преступники; это слово перешло в русский язык в форме ***каторга*** («тьму прекрасных кораблей — барок, каторог и шлюпок из ореховых скорлупок...» упоминает в своих стихах Пушкин); а потом так стала называться не только галерная, но и сибирская ***каторга***. Корень ***эрг-*** может «перегласовываться» в ***орг***, и тогда от него происходят и ***о́рган*** (действующая часть тела), и ***орга́н*** (музыкальный инструмент), и ***организм***, и ***организация***.

Наконец, встречаясь со звуком *о*, звук *э* в греческом языке сливается в *у*: из *хейро-эргия* (ручная работа) получалось ***хирургия***, и таким же образом возникли ***металлургия*** и ***драматургия*** — «металлоделье» и «драмоделье».

МЕТАЛЛ и ПАРАЛЛЕЛЬ. Слово *аллос* значит «другой», *аллелон* — «друг друга». Вспомните корень *-агор-* в греческих именах и корень *-эрг-*, о котором только что шла речь, и вы поймете слова ***аллегория*** (иносказание) и ***аллергия*** (заболевание, при котором организм неправильно, по-другому, срабатывает в ответ на какой-нибудь раздражитель). Если вы интересовались наукой генетикой, то знаете слово ***аллель***: ген синеглазости и ген кареглазости будут аллелями гена цвета глаз. ***Параллели*** — это линии, которые идут мимо, вдоль (вспомните приставку ***пара-***) друг друга. А ***металл*** — это то, что залегает в земле не в чистом виде, а *мета алла* (вместе с другими породами), и что необходимо *металлан* — выискивать (глагол того же корня).

ПЛАЗМА и ПЛАСТИЛИН. Глагол *плассо* значит «леплю», прилагательное *пластикос* — «лепкий», удобный для лепки, существительное *пласма* — «вылепленная фигура» (а заодно и «выдумка»). Отсюда наше слово ***пластический*** — объемный, ощутимый, хорошо оформившийся, такой, что можно потрогать, а от него ***пластмасса*** (легко формующаяся масса) и хорошо известный каждому ***пластилин***. А со словом ***плазма*** произошло недоразумение. В XIX в. один малосведущий в греческом языке биолог назвал так жидкую, то есть как раз самую бесформенную, часть крови, а в XX в. физики перенесли этот термин на самое бесформенное состояние вещества, когда в нем при сверхвысоких температурах разрушаются даже атомы. Русские же слова *пласт*, *пластина*, *пластать* (родственные слову «плоский») к этому семейству не относятся.

СТИХИ и СТИХИЯ. Оба эти слова происходят от греческого *стихос* — «ряд». ***Стихи*** — это ряды, которыми располагаются строчки поэтического текста. А ***стихии*** — это те простейшие единицы, из которых выстроены эти ряды; первичное значение этого слова — попросту «буквы», а производное — например, те самые элементы мироздания, о которых говорил когда-то Эмпедокл. *Элемент* — это, собственно, и есть латинский перевод слова *стихия*; но происхождение этого латинского слова неясно. Было предположение, что слово это выдумано когда-то искусственно из названий первых букв второго десятка алфавита: *эль-эм-эн-т*. Мне это нравится, но языковеды в этом очень сомневаются.

Вместо послесловия

Напоминание о мифологии

Когда я начинал эту книгу, то хотел ни под каким видом не касаться в ней одного предмета: греческой мифологии. Потому что, начав говорить об этом, трудно было бы остановиться — такая это увлекательная тема. Кончив книгу, я вижу, что не сумел сделать то, что хотел: мифы о греческих богах и героях, хоть и мимоходом, но поминаются здесь не раз. Так уж прочно вошли они в состав греческой культуры — даже в самых, казалось бы, прозаических ее проявлениях. Книги с пересказами греческих мифов на русском языке, к счастью, есть. Может быть, многие их читали — или прочтут, если захотят. А для тех, кто их не знает или не помнит, — вот несколько слов, чтобы эти разрозненные мифологические имена складывались хоть в какую-то общую картину.

Всякая мифология — мы помним — представляет мир большим домашним хозяйством, в кото-
63 ром управляется одно семейство богов. Но в семействе этом сменяются поколение за поколением, и у богов это происходит драматичнее, чем у людей. Боги-сыновья скидывают богов-отцов, но сами живут в вечном страхе, что их скинут боги-внуки. Только греки в своей мифологии сумели развеять это гнетущее ощущение. Они представили себе, что мятеж богов-внуков уже подавлен, наступило всеобщее замирение и мир будет существовать неизменно, спокойно и вечно.

Боги-отцы у греков назывались титанами, боги-дети — олимпийцами, а боги-внуки — гигантами.

Вначале были только первобог и первобогиня — Небо и Земля, Уран и Гея. У них родилось первое поколение богов — титаны, но родитель Уран не давал им власти. Тогда титаны свергли родителя и стали править миром сами.

Главного из титанов звали Кронос. Он боялся,

что точно так же и его с братьями свергнут его
будущие дети. Поэтому всех детей, которые у не-
46 го рождались, он тотчас пожирал заживо. Спас-
тись удалось лишь одному — тому, которого зва-
42 ли Зевс. Он вырос, скрытый на острове Крите,
322 его вспоила молоком коза. Выросши, он восстал
на Кроноса, низверг его и заставил изрыгнуть со-
жранных им братьев и сестер. Потом была вели-
300 кая война богов-детей с богами-отцами — титано-
махия. Младшие боги одержали верх, поселились
на горе Олимп и начали править миром. Зевс
стал владыкой неба, его брат Посейдон — влады-
кой моря, третий брат Аид — владыкой подзем-
ного царства.

41 Имена двенадцати богов-олимпийцев вы знае-
те. Три богини среди них были сестрами Зевса —
42 это Гера, ставшая его женой, небесной царицей;
7 Деметра, богиня земледелия, мать Девы-Персефо-
98, 190 ны, которую похитил в жены подземный бог
Аид; и тихая Гестия, богиня домашнего очага.
Семеро было детьми Зевса: Афина, богиня муд-
150, 171 рости, родившаяся из его головы, покровительни-
ца мастеров и воинов; Аполлон, бог-вещатель с
185 луком и лирой, окруженный Музами, покрови-
332 тельницами искусств; Артемида, богиня охоты,
190 попечительница рожениц; Дионис, бог вина и ви-
222 ноделия; Гермес, бог-вестник, покровитель дорог,
46 путников и торговцев; Гефест, хромой бог-кузнец,
и Арес, дикий бог-воин. Только одна олимпий-
ская богиня принадлежала к старшему поколе-
186 нию небожителей — Афродита, родившаяся из
пены морской, царица любви и красоты, мать
95 Эроса, поражающего сердца любовью. Кроме то-
го, над миром продолжал ходить солнечный ти-
тан Гелиос, а вокруг мира продолжал плескаться
106, 192 морской титан Океан. Подземное царство Аида и
Персефоны было окружено ядовитой рекою Стик-
312 сом, через нее перевозил души мертвых мрачный
196 лодочник Харон, а потом их судили загробные
судьи Минос и Эак, сыновья Зевса; это тот Ми-
45 нос, который был критским царем и дал земле
первые законы.

Кроме богов, мир населяли еще и маленькие
люди. Боги их не любили. Их вылепил из глины
44 титан Прометей, дал им жизнь, научил всем зна-
192 ниям и даже похитил для них огонь у богов. За

это Зевс, как мы знаем, распял Прометея на Кавказских горах, а людей едва не погубил всемирным потопом; но из потопа спасся и вновь засе-
7 лил землю герой Девкалион. И тут отношение
Зевса к роду человеческому вдруг — хотя бы на
время — переменилось. Причина этому была вот
какова.

Олимпийцы знали: теперь их черед бояться, что явится новое поколение богов и свергнет их, как они свергли титанов. Это новое поколение уже вырастало в недрах матери-Земли: гиганты, буйные змееногие исполины. Однако Зевсу удалось открыть спасительную тайну: олимпийцы сумеют одержать победу над мятежом гигантов, но только если им помогут маленькие люди — хотя бы один человек. Это значило: о людях нужно заботиться, из них нужно выращивать бойцов, сильных и могучих. Ради этого боги стали сходиться со смертными женщинами, и те рождали от них детей — смертных, но сильных, как полубоги. Их и стали называть героями. Силу свою они упражняли, очищая землю от злодеев и чудовищ.

7, 95 В Фивах рассказывали о герое Кадме, основа-
теле Кадмеи, победителе страшного пещерного
дракона. В Аргосе рассказывали о герое Персее,
который на краю света отрубил голову чудовищ-
347 ной Горгоне, от чьего взгляда люди обращались в
камень, а потом победил морское чудовище —
301, 332 Кита. В Афинах рассказывали о герое Тесее, ко-
торый освободил среднюю Грецию от злых раз-
бойников, а потом на Крите убил быкоголового
7 людоеда Минотавра, сидевшего во дворце с запу-
танными переходами — Лабиринте; он не заблу-
44, 47 дился в Лабиринте потому, что держался за нить,
332 которую дала ему критская царевна Ариадна,
ставшая потом женой бога Диониса. В Пелопон-
несе (названном так по имени еще одного героя
— Пелопа) рассказывали о героях-близнецах Кас-
97 торе и Полидевке, ставших потом богами-покро-
вителями конников и борцов. Море покорил ге-
рой Ясон: на корабле «Арго» со своими друзья-
347 ми-аргонавтами он привез в Грецию с восточного
края света «золотое руно» — шкуру золотого ба-
рана, сошедшего с небес. Небо покорил герой Де-
47 дал, строитель Лабиринта: на крыльях из пти-

чьих перьев, скрепленных воском, он улетел из критского плена в родные Афины, хотя сын его Икар, летевший вместе с ним, не удержался в воздухе и погиб.

Главным из героев, настоящим спасителем бо-
100, 333 гов, был Геракл, сын Зевса. Он был не просто
смертным человеком — он был подневольным
смертным человеком, двенадцать лет служившим
слабому и трусливому царю. По его приказам Ге-
ракл совершил двенадцать знаменитых подвигов.
Первыми были победы над чудовищами из окре-
331 стностей Аргоса — каменным львом и многоголо-
331 вой змеей-гидрой, у которой вместо каждой от-
рубленной головы вырастало несколько новых.
Последними были победы над драконом дальнего
333 Запада, сторожившим золотые яблоки вечной мо-
лодости (это по дороге к нему Геракл прорыл
Гибралтарский пролив, и горы по сторонам его
313 стали называться Геракловыми столбами), и над
46, 196 трехголовым псом Кербером, сторожившим
страшное царство мертвых. А после этого он был
призван к главному своему делу: стал участником
в великой войне олимпийцев с мятежными млад-
150, 353 шими богами, гигантами, — в гигантомахии. Ги-
ганты швыряли в богов горами, боги разили гигантов кто молнией, кто жезлом, кто трезубцем, гиганты падали, но не убитые, а лишь оглушенные. Тогда Геракл бил в них стрелами из своего лука, и больше они не вставали. Так человек помог богам одержать победу над самыми страшными их врагами.

Но гигантомахия была лишь предпоследней опасностью, грозившей всевластию олимпийцев. От последней опасности спас их тоже Геракл. В
своих странствиях по краям земли он увидел на
192 кавказской скале прикованного Прометея, терза-
333 емого Зевсовым орлом, пожалел его и стрелою из
лука убил орла. В благодарность за это Прометей открыл ему последнюю тайну судьбы: пусть Зевс не добивается любви морской богини Фетиды, потому что сын, которого родит Фетида, будет сильнее отца, — и если это будет сын Зевса, то он свергнет Зевса. Зевс послушался: Фетиду выдали
не за бога, а за смертного героя, и у них родился
47 сын Ахилл. И с этого начался закат героического
века.

На пиру победного примирения, когда справляли свадьбу Фетиды, мать-Земля взмолилась к Зевсу: «Тяжко мне: слишком много стало на мне людей, слишком больно они топчут меня и рвут мне грудь плугами; облегчи меня!» Зевс подумал: гиганты побеждены, власть олимпийцев утверждена навеки, род героев больше ему не нужен; пусть же теперь люди сами перебьют друг друга, чтобы легче стало Земле. И он наслал на мир две великие войны, в которых погибли последние поколения героев: одну — между греками и греками, другую — между греками и заморскими народами.

Первая война была Фиванская. В Фивах поссо-
рились из-за власти два брата-царя и убили друг
друга в поединке. На Фивы пошли походом спер-
8 ва «Семеро против Фив» со всей Греции, а потом
сыновья этих Семерых, Фивы были разорены
почти до основания. Когда спрашивали, за что,
— отвечали: за то, что отец царей-братоубийц,
мудрый Эдип, сам того не зная, убил своего отца
и женился на своей матери. Но на вопрос, а за
что Эдипу выпал такой страшный грех, ничего
ответить не могли: такова была судьба и воля бо-
гов.

Вторая война была Троянская. Троей назывался
ся город в Малой Азии (другое его название —
Илион, поэтому поэма о Троянской войне —
«Илиада»), союзниками троянцев были и фра-
кийцы на севере, и амазонки на востоке, и эфио-
пы на юге. Боги помогли троянцам похитить пре-
97 краснейшую из греческих женщин — Елену, же-
ну спартанского царя Менелая. Чтобы отбить ее,
ополчились все греческие герои во главе с братом
187 Менелая Агамемноном, царем Аргоса (поэтому
греков в этой войне иногда называли «аргивяне»,
но чаще «ахейцы»). Война длилась десять лет.
Главным греческим героем был Ахилл, главным
троянским героем — Гектор. В этой книге Троян-
15 ская война поминается дважды — сперва Гоме-
48 ром, всерьез, а потом Дионом Златоустом, паро-
дически. Кончилась она тем, что Ахилл убил
Гектора, но потом сам погиб, и грекам пришлось
8 брать Трою не силой, а хитростью: лучшие герои
засели в исполинском деревянном коне, троянцы
ввезли деревянного коня в Трою, сопротивляв-

185 шийся этому жрец Лаокоон был наказан богами,
а ночью греки вышли из коня и открыли город-
ские ворота своим товарищам. Троя была стерта
с лица земли; Ахиллов сын Неоптолем, мстя за
отца, жестоко убил и старика-отца Гектора, и
младенца-сына Гектора. Многие греческие герои
погибли на обратном пути. Менелая с Еленой за-
97 несло в Египет (мы помним, что об этом сочинил
Стесихор). Самый хитроумный из героев, царь
15 Одиссей, скитался десять лет, чуть не погиб в пе-
365 щере одноглазого людоеда-киклопа, а у себя на
родине должен был сперва скрываться под видом
44 нищего, чтобы его не убили соперники, захва-
тившие власть.

Главный вождь греков Агамемнон, отправля-
ясь в поход, должен был принести в жертву бо-
187 гам свою родную дочь Ифигению: это тоже была
воля богов. Он поплатился: жена не простила ему
смерти дочери. Когда он вернулся, она коварно
убила его. Она тоже поплатилась: маленький сын
их Орест вырос на чужбине; вернувшись, он по-
197 молился на могиле Агамемнона и, мстя за отца,
убил свою мать. Теперь очередь платиться была
за Орестом. Богини мщения Эриннии терзали его
и довели почти до безумия. Тогда Зевс распоря-
дился, чтобы этот спор решился людским судом.
В Афинах будто бы уже существовал суд ареопага
— чуть ли не с Тесеевых времен; перед судьями
предстали Орест и Эриннии, он оправдывал месть
за отца, они — месть за мать. Голоса судей разде-
лились поровну; тогда сама богиня Афина приба-
8 вила свой голос в оправдание Ореста, и с тех пор
в афинском суде равенство голосов означало оп-
равдание. Так суд граждан решает спор между
богами и человеком: на этом кончается век геро-
ический и начинается исторический.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть шестая. **АЛЕКСАНДР И АЛЕКСАНДРИЯ, или Греция подводит итоги**

Михаил Леонович Гаспаров
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГРЕЦИЯ

Редактор *А.М. Зотова*
Художник *Я.А. Маликов*
Технический редактор *И.И. Володина*
Корректоры *В.Н. Шеманина, И.М. Оказов*
Компьютерный набор *Е.Б. Филюшовой*
Оформление и выпуск *А.В. Пахомовой*

ТОО «Новое литературное обозрение»

Адрес издательства:
129626, Москва,
абонементный ящик 55,
тел.: (095) 976-4788
факс: (095) 977 0828
e-mail: nlo.ltd@g23.relcom.ru

ЛР № 061083 от 6.05.97

Формат 60X84 1/16. Бумага офсетная № 1.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 24.
Зак. № 4463.
Отпечатано с оригинал-макета
в ППО «Известия»
Москва, Пушкинская пл., 5



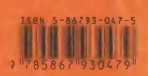
 ГРЕКО-ЛАТИНСКИЙ КАБИНЕТ Ю. А. ШИЧАЛИНА 



НЛ

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

МОСКВА


ISBN 5-86793-047-5
9 785867 930479